

ISSN 0130-7673

Ж О В Ы И  
М И Р

2

Ж О В Ы И  
М И Р

1988

2



1988



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 2

Февраль, 1988 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
БУЛАТ ОКУДЖАВА — Бешшумная эскадрилья, стихи	3
ИОСИФ ГЕРАСИМОВ — Ночные трамваи, повесть	6
ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА — Когда я думаю о ней..., стихи	78
МАКСИМ КОРОБЕЙНИКОВ — Рассказы о войне	81
ЕВГЕНИЙ РЕЙН — Художник и модель, стихи	93
БОРИС ПАСТЕРНАК — Доктор Живаго, роман. Продолжение. Публикация, подготовка текста Е. Б. Пастернака и В. М. Борисова	96
МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН — Из цикла «Усобица». Подготовка текста, публикация и предисловие А. В. Лаврова	158
<b>ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ</b>	
ИВАН МАРКЕЛОВ — Пусковой объект	163
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
АНДРЕЙ НУЙКИН — Идеалы или интересы? По страницам газет и журналов. Окончание	205
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
В. ОСКОЦКИЙ — Логика недоверия	229
Л. АННИНСКИЙ — «Пред волею и бедой»	237
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
Валентин Берестов «И опять я в мыслях полагаюсь на слова людей...».	246
Э. Бабаев Сообщающиеся миры.	
Александр Зорин. Ключевое слово.	

(См на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	255
<b>И. Погребов.</b> Критика нужна. но какая?	
<b>ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ</b>	
<b>В. ЛЫСЕНКО</b> — Гармония — вместо хаоса	258
<b>А. Е. ШНЕЙДЕР</b> — Суворов я его солдаты	260
<b>КОРОТКО О КНИГАХ:</b>	
Э. Ефремова. — Александр Житинский. Потерянный дом, или Разговоры с милордом. Роман. ◆	
Илья Фояков. — Борис Сиротин. Родное имя. Стихотворения. ◆	
Евгений Сидоров. — В. Барлас. Глазами поэзии. Об открытиях искусства и современных поэтах. ◆	
В. Андреевский. — Владимир Карпец. Муж отечестволюбивый. Историко-литературный очерк. ◆	
Владлен Сироткин. — Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев. ◆	
Анна Пастухова. — Г. Данаилов. Не убить Моцарта!	266
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	272

---

---

---

## БУЛАТ ОКУДЖАВА



### БЕСШУМНАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ

\* \* \*

Распахнуты дома. Безмолвны этажи.  
Спокойным сном охвачены квартиры.  
Но к зимней печке ухо приложи —  
гудят  
    за кладкою Mortиры.

Гуляет тихий вечер по земле,  
беспечный... Но в минуту роковую  
толченый перец в склянке на столе  
готов напомнить пыль пороховую.

Стоит июль во всей своей красе,  
за поворотом женщина смеется,  
но шаг — и стратегическим шоссе  
дорожка к дому  
    обернется.

По улицам, сливая голоса,  
неотличимы брат от брата,  
текут и строятся в полки и корпуса,  
которым не даровано возврата.

Где родились мы? Под звездой какой?  
Какие нам определяют силы  
носить в себе и ярость, и покой,  
и жажду жить, и братские могилы?

\* \* \*

На полянке разминаются оркестры духовые  
и играют марш известный — не известно для чего.  
Мы пока еще все целы, мы покуда все живые,  
а когда настанет утро — там посмотрим, кто кого.

И ефрейтор одинокий шаг высокий отбивает,  
у него глаза большие, у него победный вид,  
но глубоко, так глубоко, просто глубже не бывает,  
он за пазухою письма треугольные хранит.

Лейтенантик моложавый (он назначен к нам комбатом)  
смотрит в карту полевую, верит в чудо и успех.  
А солдат со мною рядом называет меня братом:  
кровь, кипящая по жилам, нынче общая на всех.

Смолкли гордые оркестры — это главная примета.  
Наготове все запасы — крови, брани и свинца...  
Сколько там еще осталось? Три-четыре до рассвета,  
три-четыре до победы... три-четыре до конца...



\* \* \*

Как время беспощадно,  
дела его и свет...  
Ну, я умру, ну, ладно —  
с меня и спросу нет.

Какой счастливой схваткой  
охвачен он теперь,  
подкованною пяткой  
захлопывая дверь?

А тот, что с нежным пухом  
над верхнею губой,  
с еще нетвердым духом,  
разбуженный судьбой...

Под звуки духовые,  
не ведая о том,  
как сладко все впервые,  
как горько все потом.

\* \* \*

Старики умирать не боятся.  
Им геройски погибнуть не труд.  
Только нечего зря распалиться —  
все равно их на фронт не берут.

Умирают в боях молодые,  
хоть не хочется им умирать.  
Лишь надежды свои золотые  
оставляют меж нами витать.

И бесшумная та эскадрилья  
наводняет то полдень, то мрак...  
Тени черные. Белые крылья.  
И от глаз не укрыться никак.

\* \* \*

Над площадью базарною  
вечерний дым разлит.  
Мелодией азартною  
весь город с толку сбит.

Все прочие мотивчики  
не стоят ни гроша,  
покуда здесь счастливики  
топчутся, чуть дыша.

Еврей скрипит на скрипочке  
о собственной судьбе,  
а я тянусь на цыпочки  
и плачу о себе.

Какое милосердие  
являет каждый звук!  
А каково усердие  
лица, души и рук!

Снует смычок по площади,  
подкрадываясь к нам,  
все музыканты прочие  
укрылись по домам.

Как плавно, по-хорошему  
тьма переходит в свет...  
Да вот беда, от прошлого  
никак спасенья нет.

\* \* \*

Лечу над картою судьбы,  
зеленой дымякою одетой.  
Километровые столбы  
мне не видны на карте этой.

Еще неведомо, кто прав,  
и что прошло, и что настанет,  
и по-хозяйски за рукав  
никто не дергает, не тянет.

Лечу над пухом облаков.  
Прохладна их немая гряда.  
И до московских дураков  
пока что далеко отсюда.

Еще ни впадин и ни гор,  
и время ничего не значит,  
но твой, отечество, укор  
уже сквозь облако маячит.

\* \* \*

Ах, что-то мне не верится, что я, брат, воевал.  
А может, это школьник меня нарисовал:  
я ручками размахиваю, я ножками сучу,  
и уцелеть рассчитываю, и победить хочу?

Ах, что-то мне не верится, что я, брат, убивал.  
А может, просто вечером в кино я побывал?  
И не хватал оружия, чужую жизнь круша,  
и руки мои чистые, и праведна душа?

Ах, что-то мне не верится, что я не пал в бою.  
А может быть, подстреленный, давно живу в раю:  
и рощи там, и кущи там, и кудри по плечам,  
а эта жизнь прекрасная лишь снится по ночам?

\* \* \*

Над глубиной бездонных вод,  
над атлантической громадой  
взлетает солнечный восход,  
рожденный райской канонадой.

Внизу — Европа в облаках.  
А тут — пушкарь Он знает дело:  
горит фитиль в его руках —  
и птица райская взлетела.

Гордись, пушкарь, своей судьбой,  
глашатай правды и свободы,  
покуда спорят меж собой  
внизу эпохи и народы,

пока твой свет с собой зовет,  
пока чисты твои одежды...  
Ведь что мы без твоих щедрот,  
без покаянья и надежды?



---

---

ИОСИФ ГЕРАСИМОВ

★

## НОЧНЫЕ ТРАМВАИ

*Повесть*

*Глава первая*

**П**авел Петрович не сразу понял, что происходит, чудилось: в стилой мгле движутся на скорости трамваи, дуги их, проскакивая стыки проводов, обдают небо фиолетовыми вспышками. Так шли трамваи в ту ночь из города к заводу, а потом обратно, они разворачивались на кольце, из проходной к вагонам бежали люди с носилками. Может быть, в ту ночь собрали к месту аварии все городские трамваи, потому что не хватило машин «скорой помощи», да их и было-то раз-два и обчелся. А потом небо между заводом и поселком полыхало от вспышек. Он бежал с матерью, догоняя скрежещущий вагон.

Такое снилось ему много раз, и он знал: сон не к добру, за ним последуют неприятности; люди только делают вид, что не верят снам, а на самом деле...

Когда сознание прояснилось, Павел Петрович подошел босиком к окну, отдернул штору. При мигающем свете фонарей гнуло деревья, листву их словно обжигало зеленым пламенем с бледно-рыжими язычками; у одного из деревьев треснула вершина, качнулась и, ослепив белизной надлома, рухнула вниз, сгинула в темноте. В то же мгновение молния озарила двор, уставленный машинами, купол церкви вдали; рвануло так, что стекла в окне заняли. Потом все звуки заглушил тяжелый плеск воды; очертания домов смазались, а фонари расплылись в маслянистые пятна. Павел Петрович заметил, как в нескольких окнах на противоположной стороне улицы зажегся свет и сразу же погас — гроза разбудила не только его. Он перевел взгляд в ту сторону, где стояли машины, нашел свою и задернул штору.

Захотелось пить; Павел Петрович нащупал на тумбочке стакан с водой — вот уж несколько лет он ставил его на это место перед сном, чтобы не тащиться на кухню, — сделал несколько глотков и лег в постель. Можно было бы и уснуть, но тяжелый плеск дождя мешал. Павел Петрович обычно не маялся бессонницей, просто иногда просыпался среди ночи от боли в спине или суставах, но вскоре опять засыпал. Полтора года безделья — это ведь тоже жизнь, и к такой, если она становится неизбежностью, можно привыкнуть. Впрочем, эти полтора года он сам называл с т и х и й н ы м с у щ е с т в о в а н и е м, когда нет ни цели, ни задачи, ни обязанностей, а только возможность самому определять, как провести день, неделю, месяц; все было в его воле и власти, и ни перед кем не надо было отчитываться. Сам себе хозяин! Все же у него хватило сил отрешиться от

прежнего образа жизни, не дать разбухнуть обиде. Зачем? Это он раньше был тщеславен и считал: истинное его назначение повелевать людьми во имя принятой идеи. Но еще до того, как пришлось уйти от дел, Павел Петрович понял: давно уж он стал не кем иным, как исполнителем, а исполнитель может быть плох, может быть хорош, но он не способен подняться над тем, что порождено временем... И стоило к этому прийти, как происшедшее сделалось яснее и такая ясность стала приносить успокоение. Попадая в круг людей, оказавшихся в том же положении, что и он,— а подобное случалось или в санатории, или в поликлинике, или в дачном поселке,— слушая их сетования, их брюзжание: мол, не оценено столько лет самоотверженного труда,— он видел никчемность всего этого, испытывал злость. Не сдерживаясь, обрывал: раскудахтались! Потом сам же и подсмеивался над собой: чего петушиться, коль все уже позади, радуйся, что пенсию положили хорошую, врачей оставили, деньги имеются. Ну а то, что один — невелика беда, даже есть преимущества, вот хотя бы освобождение от каких-либо обязанностей.

Страсти, которыми он жил много лет, улеглись, а если иногда и беспокоили, то не так уж тревожно. Постепенно Павел Петрович привык к рутинному существованию, много читал, пытался писать, хотя понимал: это не его стезя, самообман, видимость дела,— но так ему было легче, потому что порой возникала надежда: в процессе этих занятий родится нечто такое, что станет его подлинным увлечением. Когда эти мысли и чувства охватывали его, он забывался, но приходило отрезвление, понимал: тщеславие не покинуло его, в нем все еще живет желание совершить нечто неожиданное, способное удивить тех, кто пытался о нем забыть...

Павел Петрович прежде никогда не задумывался, удобное у него жилье или нет. Ему выделили квартиру, когда он перебрался в Москву; дом был добротной послевоенной постройки, комнаты с высокими потолками, в стороне от шумных улиц.

В этом доме жили еще два министра, иногда они по утрам встречались во дворе, когда за ними приходили машины, здоровались, перебрасывались шутками; один из них даже в те времена, когда Павел Петрович переехал в Москву, казался ему стариком, таким он до сих пор и остался, высокий, костлявый, улыбчивый, с короткой бородкой. Другой — моложавый, с лоснящимися щеками, черноволосый, с восточным акцентом — умер лет пять назад от инфаркта. Ни с одним из них Павел Петрович дружен не был, да их пути, кроме этого двора и некоторых заседаний, не слишком часто пересекались, и все же друг к другу они относились с почтением. А вот их шофера дружили. Перекуривая во дворе в ожидании шефов, невольно пробаблывались о всяких делах. Гавриил Матвеевич, старый, самоуверенный водитель, нет-нет да и посвящал Павла Петровича в некоторые события, происшедшие с именитыми соседями. Не кто иной, как Гавриил Матвеевич первым сообщил Павлу Петровичу, что «чернявый» попал в нехорошую историю, сейчас партконтроль ее разгребает, и вряд ли «чернявый» усидит в кресле, может даже быть изгнан с позором, потому как у него под крылом раскопали группу взяточников. Но министр до позора не дожил, похоронили его с почестями, да и позднее о нем дурных слов не говорили. Что же касается Старика, то и ныне Павел Петрович мог иногда наблюдать, как тот бодренько проходит к своей машине и, прежде чем сесть, улыбочиво пожимает руку водителю. Никакие ветры, как бы сильны они ни были, не сумели его свалить, и люди, стоящие над ним, понимали, что на всех этапах отрасль, которую и создал-то сам Старик (он был ученым и практиком), без него и ныне, когда выросло столько его учеников, обойтись не может, ибо конечной цели у этой отрасли нет, она в постоянном развитии, и в этом развитии одна мечта порождает другую, а каждая из них воплощается в реальность.

Но это особый случай, может быть, даже выдающийся. Большинство из тех, кто становится во главе огромного дела, тонут в повседневной суете, и наступает миг, когда, окончательно захлебнувшись в событиях, они перестают им сопротивляться, теряют возможность управлять, и, конечно же, смена таких людей становится необходимостью.

Возможно, подобными размышлениями Павел Петрович пытался успокоить себя. Возможно. Но, однако же, теперь он был твердо убежден: провал и начинается с того, что люди, надрываясь, дабы угнаться за мчащимся на всех парах прогрессом, кроме ступеньки вагона, на которую необходимо им вскочить, не видят ничего да и увидеть не могут — ведь стоит отвлечься, как ухнешь в яму или разобьешь башку о столб. Все так. И все же жаль, что он не знал этого раньше, вернее, он знал, даже Соня предупреждала: «Ты остановись, оглянись», — но вся-то штука в том, что оглядываться было недосуг, это, мол, дела второстепенные, а потом-то и выяснилось, что они и есть наиглавнейшие; выяснилось, да поздно.

Нет, недаром, видно, Соня так не хотела переезжать в эту квартиру. Прежде в ней жил известный академик, но год как умер, семья его выехала. Соню пугало, что они займут место покойника. Однако страхи вскоре прошли, она с удовольствием обставлялась, завезла новую мебель, в столовой был поставлен тяжелый буфет и круглый стол, была куплена спальня, а в кабинет привезли старинный стол, когда-то принадлежавший отцу Сони.

Странно, конечно, но лишь оказавшись не у дел, Павел Петрович обнаружил, что не знает всерьез своего жилья; он как бы заново увидел все это: и мебель, и ковры, и большой натюрморт в столовой — его Соня купила на Арбате, когда еще там существовал знаменитый комиссионный магазин, — и гравюры на стенах кабинета. Это были старинные гравюры с изображением замков, храмов, уголков древних городов, он задерживался подле них подолгу и словно совершал путешествие в неведомые страны и времена. Однако самым удивительным оказалось содержание шкафов в его кабинете, он даже не ведал, что у него такая богатая библиотека. Книги покупала Соня, лишь в последние годы, когда они стали дефицитом, распространялись по списку, ему отбирал книги помощник. Павел Петрович ставил их в шкафы, но читать было некогда; времени едва хватало на сон и на еду да порой на телевизор, главным образом программу «Время».

Да, книги оказались его могучими союзниками, они съедали время. Павел Петрович поглощал их с жадностью, сладостно было уходить в познание чужого мира, следить за незнакомыми судьбами; более всего его захватывали мемуары, хотя он довольно быстро распознал, что большинство людей, писавших их, приукрашивали события, вольно или невольно старались выпятить свою роль и свое значение в делах, где они были лишь участниками; попадались и откровенные хвастуны, пытавшиеся доказать: без них и дела бы не было. Так как ко многим описываемым событиям Павел Петрович имел хотя бы косвенное отношение, то ему было любопытно сопоставлять знакомые факты с тем, как трактует их тот или иной автор, радовался, когда уличал кого-нибудь в недобросовестности.

Начитавшись воспоминаний, Павел Петрович задумался: не попытаться ли самому изложить на бумаге пережитое? Эта мысль все укреплялась и укреплялась в нем, и он сел за письменный стол.

Павел Петрович без особого труда написал несколько страниц, потом понял: может запутаться, — и решил составить нечто вроде плана. Но по мере того как число страниц увеличивалось, в нем угасал интерес к работе, начинало чудиться: да ведь писать-то, собственно, не о чем. Это когда он трудился, жизнь казалась перенасыщена делами, каждая минута была на учете, а теперь, издали, те же годы

выглядели рутинными, однообразными, замыкающимися в круг уже предрешенных событий, куда лишь изредка врываются непредвиденные обстоятельства. Это его огорчило, и, собрав в папку написанное, он сунул ее в стол...

Ливень за окном шумел ровно и мощно, в его мерный плеск вплетались удары капель о жестяной карниз, и под эти звуки Павел Петрович стал задремывать, и тут раздался резкий звонок. «Телефон», — подумал он и протянул руку к тумбочке, где стоял аппарат, но звонок не повторился; тогда Павел Петрович сообразил: звонят в дверь; включил ночник — на часах было восемнадцать минут четвертого. Кого могла принести нелегкая? Он встал, сунул ноги в тапочки и, стараясь ступать неслышно, вышел, не зажигая света, в прихожую, глянул в дверной глазок. На лестничной площадке прямо перед ним стоял худощавый парень в потемневшей от воды джинсовой курточке, с надеждой и нетерпением смотрел в дверь. Кто такой, откуда? Как в дом-то проник? Наверно, лифтер дрыхнет... Парень поднял руку, намереваясь позвонить еще раз, и тут Павел Петрович увидел его глаза — черные, жгучие. Ленька! Вот так история — родного внука не узнал! Хотя, конечно, мудро узнать, года два не виделись. Но ведь предупрежден был о его приезде, как можно было забыть? Да очень просто: дня приезда Ленька не назвал.

С неделю назад вечером, когда Павел Петрович сидел за письменным столом, раздались длинные гудки. Межгород. Павел Петрович снял трубку и услышал бойкий мальчишеский голос: «Павел Петрович, дед... Это я, Леонид. Мне в Москву надо. Пустите?» Павел Петрович насторожился — не случилось ли чего с Люсей. «А мать... в курсе?» — спросил осторожно. «В курсе. Дело за вами...» Это было радостно: если Люся разрешила сыну пожить у него, стало быть, что-то в ней сдвинулось, ведь могла для сына найти приют у подруг, да и отец Леньки проживает в столице... «Какого черта ты меня на вы величаешь? Дед я тебе или не дед? Давай на ты, а то не пу-щу. Договорились?» «О'кей!» — весело отозвался Ленька, и сразу же пошла гудки отбоя.

Всю неделю Павел Петрович жил в предвкушении праздника — наконец-то кончится его одиночество. Парню сейчас около восемнадцати, пора в институт, а поступит — будет жить у него...

Однако ж прошла неделя, пошла вторая, а от внука вестей не было. Самому звонить не хотелось — ведь не дочь обратилась к нему, а Ленька, мало ли что, Люся могла все перерешить и распорядиться по-иному.

Люся, Люся. Дочь... Никто ведь не знает, как саднит эта рана, ничем ее не залечишь... Года два назад Павлу Петровичу выпала командировка в Воронеж, он мог бы и не ехать, но поехал, надеясь повидать дочь и внука. Однако к себе Люся его не пригласила, Ленька же лежал в больнице с переломанными ногами: свалился с третьего этажа, ладно хоть жив остался.

И вот этот ночной визит.

Павел Петрович торопливо отворил дверь. Ленька улыбался во весь рот, высокий, худой, с кривым носом, осыпанным крупными веснушками; он вымок до нитки, с куртки капало на пол.

— Салют, дед!

— Салют, — засмеялся Павел Петрович — Проходи быстрее.

Ленька подхватил чемодан, прихрамывая, переступил порог.

— Что так поздно?

— Самолет на четыре часа запоздал. Потом телегу еле нашел. А таксер попал — полная швабра. Выкинул не на том углу. Пришлось небесный душ принять.

— Переодеться у тебя есть во что? Беги в ту комнату, а я чай поставлю.

За окном было светло, дождь все еще плескал, асфальт во дворе покрылся водой. Павел Петрович поставил чайник на плиту, и тут же вошел Ленька в синем спортивном костюме, босой, сказал бойко:

— Ну что, дед, я тебя не очень беспокою?

Павел Петрович смотрел на этого высокого кривonosого парня с черными глазами, унаследованными от матери, хотелось прижать его к себе, расцеловать. Давным-давно не испытываемое им чувство родственной близости оказалось так сильно, что почувствовал: еще немного — и у него повлажнеют глаза, а это было непривычно, даже более чем непривычно.

### *Глава вторая*

После грозы жара спала, омытые деревья выглядели необычно зелеными. Было около двух часов дня, Павел Петрович в эту пору чаще всего выходил на бульвар прогуляться и нынче не изменил привычке, шел, поглядывая на обломанные ветви, лежащие подле чугунной решетки.

Доминошники и шахматисты стояли на своих местах, окружив несколько скамеек. Всякий раз, когда Павел Петрович проходил мимо них, они примолкали, он чувствовал на себе их взгляды, иногда до него доносились брошенные ему вслед фразы — то уважительные, то злорадные. Поначалу удивлялся: откуда знают его, ведь не кино-артист, не эстрадная звезда. Объяснил Дроздец:

— Тут все на учет поставлены.

— Кем?

— Молвой. Каждому свое клеймо. Для упрощения жизни. Народ привык, чтобы человек на своей ступени значился. Вам здесь ходить не по чину. Генералы должны жить на дачах, растить клубнику и писать мемуары.

— А я?

— Ну, вы... Вы деятель. Вам полагается быть в загадочном уединении.

— Глупость какая!

— Конечно. Но пенсионеры — народ требовательный, они тоже порядка жаждут и по-своему его понимают. Вы же тут — чужак. Вам на троих скинуться не предложишь.

Павел Петрович рассмеялся, объяснение показалось бредовым. Впрочем, чего еще можно было ожидать от Дроздеца, который нагло и неожиданно пристал к Павлу Петровичу месяца три назад на бульваре. Снег уже сошел, хотя еще лежали темные его бугорки в затененных местах, и оттуда тянуло погребной сыростью, но на солнце было приятно. Павел Петрович шел не спеша и вдруг услышал тонкий, как у мальчишки, голосок:

— Доброго денечка, Павел Петрович.

Павел Петрович неторопливо обернулся и увидел на скамье странного человека с седой окладистой бородой, в потертой шапке пирожком; сквозь очки смотрели колючие глаза; подле него стояла модная клетчатая сумка, из которой торчала крышка термоса.

— Мы знакомы? — спросил Павел Петрович.

Человек почесал бороду и захихикал:

— Вы мне — да, а я вам...

Павлу Петровичу показалось — видел он этого человека, может быть, в министерстве, да и было что-то в этом бородатом любопытное, нечто старомодно-интеллигентское, и Павел Петрович присел рядом.

— Объясните.

Но тот приподнял термос, спросил:

— Кофейком угостить? Настоящий, не растворимый.

— Давайте.

Бородатый ловко извлек из сумки стаканчик, налил кофе, протянул Павлу Петровичу:

— Держите за верх. Горячий. А касаемо объяснений... Могу представиться. Фамилия моя — Дроздец. А профессия по нынешним временам клязник-профессионал. Занимательная, доложу вам, профессия. — Он хихикнул, но не злобно. — На вас тоже писал. И самонадеянно полагаю: имею к вашему снятию определенное касательство.

Павел Петрович неторопливо пил кофе и почему-то проникался любопытством к этому человеку. Конечно, слова Дроздеца, кроме улыбки, ничего вызвать не могли, уж он-то хорошо знал: никакие письма на него, даже самые злые, ничего не решали, потому что при отстранении от должности действовал совсем иной механизм, неизменно сложный для непосвященных и довольно простой для Павла Петровича. Но объяснять этот механизм Дроздецу было бы крайней нелепостью.

— Так ведь на меня многие писали, — сказал он спокойно. — Это обычно.

— Согласен, согласен, — закивал Дроздец. — Это даже в моду вошло — на начальство писать. Да ведь истинных профессионалов мало. И перед вами один из них. Ну, дело прошлое, и потому могу довериться. Я ведь писал про Институт. Сам копался. И до вашего бывшего зятя товарища Бастионова докопался. А там, где он, там и вы. Вот так! — И в его тонком, с хрипотцой голоске почувствовалась торжествующая нотка.

Теперь Павел Петрович удивился по-настоящему, слова этого человека касались события, в котором тугим узлом завязалось многое. Когда даже отдаленным намеком возникало упоминание институтского дела, Павел Петрович воспринимал это болезненно.

— Ну что же, — мирно вздохнул он. — Писали так писали. Вам что, такое занятие удовольствие доставляет?

— Ну, коли иного нет, — ухмыльнулся Дроздец, — так и такое доставляет. Согласитесь: есть ведь благородство в том, чтобы неожиданную истину извлекать. Я ведь сам из закоренелых чиновников. Ученую истину в трудах своих добывает. А чиновник... Должно же как-то себя тешить. А то ведь от тоски удавиться можно.

Вокруг был весенний день, запахи оттаявшей земли, а перед глазами Павла Петровича тряслась седая борода, смеялись колкие глаза, увеличенные толстыми стеклами.

— Спасибо за кофе, — сказал Павел Петрович. — Пойду...

— Да, да, — сразу же согласился Дроздец. — Извините, что от мочи отвлеч... Я тут бываю, если захотите еще поговорить, так я с удовольствием.

— Понял, — улыбнулся Павел Петрович, потом шел от него и думал: конечно, человек странный, да, может, и наговаривает на себя, мол, «клязник-профессионал», просто шебаршится от безделья, понять можно.

Потом он встречался с этим стариком еще несколько раз; разговоры были какие-то пустячные, необязательные. Дроздец ни на что не напрашивался, ни во что не лез, но было такое ощущение: он все время чего-то ждет, только Павел Петрович никак не мог понять — чего же.

Нынче Павел Петрович увидел Дроздеца; тот сидел на обычном месте, был в шляпе, похожей на панаму, в холщовом пиджаке, махал рукой, показывая, что хочет перемолвиться с Павлом Петровичем.

— Да вы сегодня в веселье пребываете! — воскликнул Дроздец. У этого бородача глаз наметан, от него не скроешься.

— Внук приехал, — объявил Павел Петрович и сам удивился, что ответ прозвучал несколько торжественно.



Дроздец поправил очки, и глаза его прицелились; Павлу Петровичу почудилось, что зрачки расширились, а в крапчатой радужке началось броуновское движение.

— А что, у папаша места для сына не отыскалось?

Павла Петровича передернуло, он насторожился, до нынешнего дня Дроздец старался быть деликатным, а тут вдруг... Да и взгляд его сегодня не нравился Павлу Петровичу.

— Стало быть, не отыскалось,— жестко ответил он, показывая этим, что не позволит обсуждать подобное, и, чтобы отвлечься, взглянул на проходившую женщину: невысокую, плотную, с тугими бедрами, в розовых легких брюках и таком же мешковатом пиджаке. Женщина почувствовала его взгляд, повернула к нему круглое лицо с ямочками; вспыхнувшее в ней любопытство сразу же угасло, но все же, гордясь собой, своим крепким телом, двинулась дальше, не очень при этом поспешая.

— А они еще вас чувствуют, Павел Петрович.

— Кто?

— Женщины,— хохотнул Дроздец.— Вы бы еще вполне могли женой обзавестись.

Вот этого, когда лезли в его интимную жизнь, Павел Петрович по-настоящему не терпел. Он поднялся.

Но Дроздец неожиданно крепко ухватил его за рукав.

— А я вам, Павел Петрович, весточку в клюве принес. Сидел тут вас дождался. Не объявились бы, сам нагрязнул.

— Что такое?

— А вот...— Дроздец приблизил лицо, заговорил торопливо: — Фролов вашего Бастионова в первые замы берет...

Если что и могло удивить Павла Петровича, то именно это; по его разумению, подобное никогда, ни при каких обстоятельствах не могло и не должно было случиться. Сейчас постоянно кого-то заменяли — не всегда хорошо и правильно, по мнению Павла Петровича, он ведь невольно следил за перестановками, многих знал лично; неизбежность этого была очевидна. Павел Петрович понимал: наивно полагать, что перемещения улучшат состояние дел. И в прежние времена меняли людей на разных ответственных постах — сам пришел к руководству отраслью с должности директора завода,— однако же эти меры лишь на недолгое время взбадривали ход жизни, затем все возвращалось на прежние, привычные круги; благие порывы хирели, намерения оступались намерениями; покров, сотканный из новых слов и формулировок, спадал, обнажая неизменную сущность. Многоопытные люди так и говорили: «А горшки-то все на своих местах!» И все шло старым, проторенным путем — иногда чуть лучше, но чаще хуже. Однако же, пережив встряску, люди набирались опыта и внутренне были готовы в случае необходимости отрешиться от старых словесных формул и принять новые, твердо зная, что сущности они не меняют. Так бывало до сих пор. Своего взгляда Павел Петрович никому не навязывал, хотя и отступаться от него не думал. Но в последнее время ему начало казаться, что обычными заменами дело не кончится, они лишь часть некоего большого и всерьез продуманного плана, смысла которого Павел Петрович пока не осознал. Он понимал: Фролов, сменивший его на посту министра, на целых восемь лет старше Павла Петровича — в этом тоже была несправедливость.— неизбежно уйдет, но прежде, чем это случится, необходимо подготовить преемника по-настоящему стоящего руководителя. Им мог быть кто угодно, но только не Андрей Бастионов. Конечно, Павел Петрович сам повинен в возвышении бывшего зятя, но приход того к управлению отраслью означал бы для Павла Петровича больше чем поражение, то был бы крах всех надежд на подлинный взлет дела, которому он отдал жизнь...

Дроздец явно наслаждался его растерянностью, и Павел Петрович готов был взвиться: тебе-то, мол, что за радость?! Но тренированное годами умение быть сдержанным победило, и он деловито осведомился:

— Фролов уже взял Бастионова?

— Я не сказал «взял», я сказал: берет. Значит, окончательно не решили. Как бывает — вы-то знаете...

Да, он знал, как все это происходит, хорошо знал и потому подумал: можно ведь и остановить. Дроздец, конечно же, угадал его мысли:

— Да вмешайся вы, и, может...

Павел Петрович внимательно посмотрел на него:

— Что вы имеете в виду?

— А то самое, Павел Петрович, то самое...

Он как-то уж очень торопливо поднялся, взял свою сумку и неприятно хихикнул. Павел Петрович полез за сигаретами и когда поднял голову, Дроздеца уже не было, он словно испарился.

«Черт знает что происходит», — чуть ли не вслух произнес Павел Петрович... Впервые за последние полтора года в нем возникла острая жажда действий, он ощутил, как все в нем напряглось, как участились удары сердца. Да, он мог вмешаться, еще мог. Ведь дело совсем не в Андрее Бастионове, а в понятиях более высоких и важных, чем назначение на должность, тут дело в целой жизненной направленности, и коль не вмешается... Да он никогда себе этого не простит! Однако же и тут не нужна горячность, надо все спокойно обдумать и тогда уж решать... Только так, только так.

А как же все странно сошлось: приезд Леньки и сообщение о его отце. А может, и нет здесь случайности?

Павел Петрович не стал обедать, возбуждение лишило его аппетита, он съел бутерброд с колбасой, запил пепси-колой и прошел в кабинет. Здесь были разбросаны Ленькины вещи, скомканные джинсы валялись на диване, одна кроссовка стояла подле стола, другая у порога. «Обормот,— усмехнулся Павел Петрович.— Ну, ты у меня попрыгаешь!»

Вообще-то внук ему понравился, хотя разговор у них во время ночного чаепития произошел странный. Ленька набивал рот колбасой, давился горячим чаем; распахнутая куртка спортивного костюма обнажала голую загорелую грудь; Ленька постоянно смеялся или криво усмехался. Усмешка у него была явно отцовская.

— Ты Москвы-то, наверное, совсем не знаешь,— говорил Павел Петрович.— Хоть и москвич. Тут ведь родился. Однако ж сколько тебе было, когда увезли? Десять? Ну да, десять! Квартиру-то эту помнишь?

— Но ведь мы не тут жили, в Останкине.

— Верно. Все же бабка с тобой именно здесь много дней провела. Родители твои сначала студентами были, потом карьеры делали.

— Ковер помню,— сознался Ленька.— Вон там, в спальне. Я его ножом полоснул. Бабка потом зашивала. Она маленькая была, но по затылку била крепко. Вот и запомнил...

Никакой дырки на ковре Павел Петрович не замечал; впрочем, Соня могла от него скрыть, а вот рука у нее действительно была тяжелой, но Леньку она редко наказывала, любила паршивца.

— Слушай, давно спросить хочу... ты не из-за девчонки ли с третьего этажа сиганул?

Ленька с трудом слотнул, запил чаем и только после этого сказал:

— Из-за девчонок сейчас даже с первого прыгать не стану. Наблюкался...

— Напился?

— Да нет.— И опять по губам его скользнула бастионовская усмешка.— Школа теперь не алкоголит. Она больше химичит. Нюхают и дуреют. Галлюцинации, острые ощущения. Говорят, молодость к ним тяготеет.

— Это вы что же, наркоманами заделались?

— Есть и наркоманы. Но их боятся. Да и дорого. А поглюкаться — это вроде моды. Но глупость, конечно, страшная.

— Ты когда понял, что это глупость, после того, как охромел, или до?

— Пожалуй что и до,— серьезно ответил Ленька.— Но поддался соблазну испытать.

— Хорошо хоть жив остался.

— Хорошо,— согласился Ленька.— Даже очень хорошо... Только не смотри на меня так строго. Глупость каждый может сотворить. А для меня подобное — давно оставленный рубеж. Голова, дед, нужна. Туманить ее не будем.

— Это к каким же свершениям готовишься?

— А по семейной линии. В технари.

— На экзаменах не завалишься?

— Я медалист, дед. Важно собеседование. Вроде бы готов,— сказал он просто, без бахвальства, и это понравилось Павлу Петровичу. Вообще парень ему нравился.

Они легли спать в шестом часу, а когда Павел Петрович поднялся, Леньки уже не было.

### *Глава третья*

Павел Петрович сел за свой стол, отвернулся от разбросанных по кабинету Ленькиных вещей; лучше забыть об этом беспорядке, чем раздражаться. Из окна кабинета была видна улица; рабочие собирали с тротуара и проезжей части обломанные ночной грозой тополиные ветви, складывали в кузов грузовика... Павел Петрович понимал: дело ему предстоит неприятное, потому и отвлекается на пустяки. Когда еще шел бульваром после встречи с Дроздецом, решил: надо будет все поднять об Андрее Владимировиче Бастионове, все, что у него есть. А есть у него папочка с документами, он ведь недаром ее в свое время завел, вроде бы на всякий случай. Но, видимо, и тогда уже у него было подозрение, что такой случай представится. Кому как не Павлу Петровичу было знать, что из себя представляет Бастионов и что от него можно ожидать, ведь он сам его создал.

Документы начинались пожелтевшей газетной вырезкой... Противенькое дело, полнейшая белиберда, а из-за него они все чуть не попали в гнусную историю, да, собственно, и попали, стоило немалых унижений, чтобы из нее выкарабкаться.

К тому времени Андрей Бастионов уже был женат на Люсе да и вообще преуспел: в двадцать шесть был кандидатом технических наук, думал о докторской. Все верно, все верно, однако вряд ли Андрей Владимирович без помощи тестя смог бы сделаться в свои годы директором НИИ, правда, плохонького, состоящего при министерстве чем-то вроде пансионата для престарелых, или, как шутили в кабинетах, «устарелых», куда спихивали людей, чтобы они не оказались на улице. Не Павлом Петровичем было такое заведено, а Кирьяком, тот любил, чтобы его считали человеком широким и добрым. Андрей был направлен в институт не случайно, нужно было одним ударом разбить устоявшееся. Потому что к тому времени, став

министром, Павел Петрович отчетливо видел: без серьезной науки отрасль не поднять, проектных институтов мало, исследования ограничены, а в Академии наук опереться не на кого, академики чванливы, у них больше — теория, с ними можно дружить, но надеяться на них нельзя. Есть только один выход: создать свое.

Прежде на НИИ смотрели с усмешкой, ведь при каждом министерстве были свои институты. Такова была дань времени, почти мода, как, впрочем, и многочисленные отделы научной организации труда, ими бахвалились, бренчали, как медалями, их любили поминать в докладах, но всерьез не принимали: есть, мол, наука и есть, кто же против нее, на Западе есть, и мы не лыком шиты. Шла даже борьба за престижность: чем больше НИИ при министерстве, тем оно солиднее, вот они и плодились чуть ли не прямым делением, хотя проку от них было чуть. Однако же, как и у всякого явления, так и у этого, показного, были свои причины, и главная из них, пожалуй, — установившаяся в те годы жажда красоты: лучше, мол, ходить в шитом золотом мундире, чем в нормальном костюме, потому как мундир слепит глаза и не разглядеть за ним пустоты, которую он скрывает. Но не это сейчас важно, а другое: Павел Петрович задумал создать не формальный, а настоящий мозговой центр. Может быть, на него повлияла поездка в Японию, а может, она была только толчком для осуществления задуманного ранее. Андрей по всем статьям подходил для решительных действий. Он был яростно тщеславен и потому жадно насыщался знаниями, цеплялся за любую стоящую информацию, прекрасно владел английским, выписывал специальные журналы из других стран.

Будущий директор НИИ легко защитил диссертацию вовсе не потому, что тесть расчистил ему дорожку, его работа была серьезна, и люди, независимые от министерства, говорили: она вполне тянет на докторскую. Но тут уж Павел Петрович вмешался, посоветовал не идти на это во избежание лишнего шума; все придет в свое время. Андрей еще студентом мотался по заводам, и когда был в аспирантуре, работал без продыха. Трудолюбия ему было не занимать. Расчет у Павла Петровича был точный: этот парень быстро собьет активную группу из тех, с кем учился и кого узнал на заводах, он выметет весь склочный хлам из института, посадит своих ребят, а те тоже тщеславны, они будут рваться к работе. Так и произошло.

С первых дней Андрей повел дела круто и умело, но никто, кроме домашних, не знал, что главное решалось поздними вечерами вот здесь, в этом кабинете. Павел Петрович, конечно же, верил в Андрея, однако считал: должен оборонить его от неприятностей и срывов своим опытом, ведь разгон заржавевшего НИИ — дело непростое; а увольнять людей, не имея причин, нельзя. Да, конечно, операция была не из легких, но она удалась. Павел Петрович нашел и фонды для НИИ и валюту, чтобы купить нужные приборы. Однако игра стоила свеч, остальное было пустяками... Кроме одного. Вот этой желтевшей вырезки из газеты...

Когда помощник положил перед Павлом Петровичем номер газеты с обведенной красным карандашом статьей, он сначала ничего не понял. Заголовок отдавал дурным вкусом, но зато сразу обращал на себя внимание: «Бастионов берет бастионы». Ниже более мелким шрифтом было набрано: «К чему ведет вседозволенность». То, что Павел Петрович прочел, никак не вязалось с Андреем, во всяком случае с тем его обликом, который укрепился в сознании. Но постепенно его сомнения развеялись.

В ту пору вот уж третий год по столице бегали нарядные, веселые «Жигули». Они были не так дороги и многим облегчали жизнь, за ними стояла слава старинной итальянской фирмы, и, конечно же, владение этой машиной входило в понятие престижности. Попросила купить «Жигули» и Люся, наверное, не без ведома Андрея...

Павел Петрович пробежал глазами пожелтевшую вырезку, воскрешая детали происшествия. Автор статьи не чуждался лирики, был он в то время молод и готовил себя для более славных дел, чем газетная хроника, и добился своего, став автором детективных романов. В корреспонденции умело нагнетался контраст между наглым, безответственным характером Андрея и теми, кто его ловил. Автор обрисовал троих общественных автоинспекторов, рабочих известного в Москве завода, патрулировавших в ту ночь. Это были славные, спокойные и смелые ребята, стоявшие на страже порядка и законности. Около полуночи они обратили внимание на «Жигули» 10—50 ММА. Автомобиль битком был набит пассажирами, даже на переднем сиденье рядом с водителем вместо одного сидели два человека. Один из инспекторов, высунувшись из патрульной «Волги», светящимся жезлом предложил водителю «Жигулей» остановиться, но тот не только не притормозил, а резко увеличил скорость. Началась погоня.

С Ленинградского проспекта нарушитель круто свернул на Беговую улицу. Обычно перегруженная транспортом, она в этот час была пустынна; «Волга» без труда поравнялась с «Жигулями», водитель снова отказался подчиниться команде инспектора и затормозил лишь возле нового дома.

По воле случая Павел Петрович бывал в этом доме, осматривал квартиры, которые выделили здесь для работников министерства; это было не его делом, но вокруг жилья возникла нехорошая возня, и он решил вмешаться. У дома был проходной двор, и, конечно же, те, кто сидел в машине, это знали, потому сюда и стремились, чтобы в темноте скрыться. Они это и сделали, пока останавливалась «Волга». Старший наряда подбежал к нарушителю и потребовал документы. Тот, делая вид, что подчиняется, неожиданно сорвал машину с места, но, не справившись с управлением, выскочил на тротуар, где сбил невесть откуда взявшегося пешехода.

Один из дружинников побежал вызывать «скорую помощь», а двое других снова кинулись в погоню. Теперь они были не одни, к ним присоединился на новенькой «Волге» шофер одной из московских автобаз. «Жигули» метались по переулкам, уходя от преследования. Нечто подобное видел Павел Петрович на экране телевизора в приключенческих фильмах; зрелище это было всегда захватывающим, и автор, конечно же, такое учитывал.

Преступник — уже преступник, а не нарушитель! — сам себя загнал в тупик, юркнув в Электрический переулок, выезда из которого не было; однако же и тут он пытался оказать сопротивление: маневрируя машиной, сдавая ее то вперед, то назад, не позволял дружинникам приблизиться. И тогда один из них, улучив момент, вышиб боковое стекло, распахнул дверцу и выволок из кабины распоясавшего хулигана. В отделении милиции, куда тот был доставлен, просмотрели его документы и ахнули: перед ними находился директор научно-исследовательского института Андрей Владимирович Бастионов.

Автор сразу же выдвинул предположение: этот молодой человек многообещающий ученый, уже немало добившийся в жизни, видимо, не выдержал испытания успехом и решил: ему все дозволено! Пресса не раз затрагивала эту важную проблему, она беспощадно разоблачила пьяные оргии одного из любимых болельщиками-москвичами футболиста, не пощадила известного киноактера, который тоже вел себя вызывающе, нарушив правила уличного движения. И, конечно, в случае с Бастионовым тоже должна была восторжествовать справедливость. Но... Вот это «но» с многоточием было не случайным, за ним следовали настораживающие слова: «...дальнейшие события приняли неожиданный оборот». А заключалась эта самая неожидан-

ность в том, что когда дружинник разбивал боковое стекло, то осколком у Бастионова раскололо надбровье. Задержанный потребовал медицинской помощи. Врач записал, что Андрей пьян, увез его в больницу, а оттуда Бастионов отправился домой.

Наутро молодой директор НИИ явился в дежурную часть отделения милиции, и тут, к великому удивлению автора корреспонденции, ему вернули водительское удостоверение, он опять сел за руль и направился на станцию технического обслуживания, чтобы вставить разбитое стекло и вообще привести машину в порядок.

Описание этой истории заканчивалось гневно: автор выражал уверенность, что ни распоясавшийся Бастионов, ни те, кто стоит за ним, не уйдут от заслуженного наказания.

Павел Петрович, еще читая статью, понял, что же на самом деле произошло. Накануне Андрей со своими ребятами стремительно выдал крайне необходимую промышленности установку. Правда, нечто похожее было у австрийцев, но стоило очень дорого. Установка же Бастионова была не только дешевле австрийской, но и проще в эксплуатации, ее можно было немедленно запускать в серию, о чем и решила дней десять назад государственная комиссия. Это была первая крупная победа обновленного НИИ, и ребята наверняка отметили это дело. А год назад вышел Указ об усилении борьбы с пьянством, и когда их обнаружил патруль... Это в первое мгновение Павел Петрович подумал, что с Бастионовым ничего подобного случиться не может, а потом прикинул: такой, как Андрей, иначе вести себя и не мог, прежде всего он решил выручить ребят, укрыть их от неприятностей, потому и гонял по городу, чтобы дать им возможность смыться, а затем позаботился о себе. Последствия могли быть очень серьезными: Бастионов при покровительстве Павла Петровича многих обидел, ведь пришлось расчищать НИИ, обиженные воспользуются выступлением газеты, и тогда...

Когда Павел Петрович читал газету, помощник стоял рядом. Это был особый человек. Павел Петрович после смерти Кирьяка, при котором помощник служил еще до министерства в обкоме, потом в совнархозе, не решился его поменять. Да, наверное, сие было бы и невозможно. Помощника звали Иван Сергеевич, но так обращались к нему только к самому, а за глаза называли — Клык. Сам Павел Петрович, уже став министром, забываясь, обращался или к секретарю, или к водителю: «А где там Клык?» Никто не удивлялся. Видимо, некоторые из сотрудников даже не знали его фамилии. Скорее всего кличку он получил из-за двух острых, чуть выпирающих наружу зубов, необычно прикусывающих нижнюю губу, но это не портило его пухлого, гладкого лица с открытым лбом обрамленным вьющимися седыми волосами; пугали неподвижные глаза, лишенные живого блеска, они были так непроницаемы, что даже трудно сказать, какого они цвета. Клык двигался, несмотря на свою грузность, легко, почти бесшумно, говорил односложно, чаще молчал, но внушал страх. Даже Павел Петрович, когда был замом у Кирьяка, побаивался этого человека. И, конечно, не только из-за зубов за ним укрепилась кличка, в ней ощущалась угроза, она словно бы предупреждала об опасности. Однако, возможно, такое больше мнилось или намеренно внушалось окружающим самим Клыком. Павлу Петровичу прежде думалось: в кабинете при закрытых дверях Клык ведет себя с министром как-то иначе, чем с окружающими, может бытьставляет ему какую-то особую информацию. Когда Павел Петрович сел на место Кирьяка, то ничего такого не обнаружил, однако же страх перед помощником полностью не отступил — объяснения этому не было. Однажды он спросил у водителя Гавриила Матвеевича: «Вы семью-то Ивана Сергеевича знаете?» Тот ответил охотно: а как же, прекрасно знаю, он семьянин настоящий, трое детей, сын уже женат, инженер, они все с большим почтением

к Ивану Сергеевичу, очень душевная семья. Это почему-то удивило, тем более что сам Клык никогда о своей семье не говорил.

Павел Петрович знал, как, впрочем, и другие работники: Клык может все, если, конечно, захочет... Вот почему, прочитав статью, он неторопливо закурил, потом взглянул на помощника, стоящего неподвижно, как манекен, в отутюженном черном костюме, как всегда в белой рубашке и строгом галстуке, сказал:

— Сможем вмешаться? (Клык подумал и утвердительно кивнул.) Надо замять это дело, и чем быстрее, тем лучше.

Клык еще раз подумал и кивнул на дверь в комнату, которая была за кабинетом,— нечто вроде гостиничного номера, там было все необходимое для отдыха и стоял шкаф, набитый всякой всячиной, которую накупил на деньги Павла Петровича тот же самый Клык в закрытых сувенирных киосках.

— Я возьму,— сказал он, проскользнул бесшумно за дверь и вскоре вернулся с электробритвой фирмы «Браун» и коньяком «Камю», все это ловко завернул в цветную бумагу и направился к выходу.

Павел Петрович сказал ему вслед:

— Пусть Андрей Владимирович не позднее чем через час будет у меня.

Клык даже не обернулся.

Прежде чем заняться делами, Павел Петрович прикинул: как быть дальше? Решение нашлось сразу, его подсказала газета. Она была рассчитана только на столичных жителей, ни в области, ни в республики газета не попадала. «Ладно, так и будет»,— решил он и сразу же принялся за неотложные телефонные разговоры.

Зять появился довольно быстро, он вошел в кабинет стремительной походкой, краснощекий, с колючими рыжеватыми усиками, белозубой улыбкой, на нем был легкий, словно из тончайшего алюминия, костюм с голубой водолазкой; улыбка не сошла с его лица, даже когда он заметил на столе газету; указав на нее, спросил:

— По этому делу вызывали? Будет вздрюк?

— А ты ждешь, что тебе спасибо скажут?— Недавно пережитое унижение перед Клыком вылилось гневом:— Почему, черт возьми, обо всем этом я должен узнавать из газеты?! Да ты понимаешь, что за этим стоит?! Загремишь, олух небесный, под суд. Я тебя выручать должен? Ты ведь человека сбил!

— С этим — порядок,— приподняв большую ладонь, ответил Андрей.— Был в больнице. Хороший парнюга попался. Наш брат технарь. Из гостей возвращался, поддал немного. Небольшое сотрясение и перелом. Уже выписался. Ребята его к жене на дачу доставили. Там долечится. Так что он в больнице три дня был. Убыток я ему компенсировал. Доволен.

Павел Петрович смотрел на этого здорового русоголового человека с крепкими нервами и крепкими мышцами; порез над левым надбровьем еще краснел, но затянулся. Все у него было хорошо, все нормально. Другого бы Павел Петрович выставил за дверь и, может быть, снял с директорства, чтобы не заносился, но этот... этот был мужем его дочери, любимым учеником.

— Сегодня же,— сказал жестко Павел Петрович,— сейчас же в командировку. И чтобы месяц о тебе в Москве ни слуху ни духу. Как это могло попасть в газету?

— Точно не знаю,— с небрежной легкостью ответил Андрей,— но предположение есть. Шустов, бывший начальник производства НИИ, дядя этого писаки. Возможны и другие варианты.

— Ну так пусть тебя хоть это научит, что тебя далеко не все любят,— зло сказал Павел Петрович.— Мотай отсюда. И без фокусов!

— Слушаюсь!— И, подпрыгнув, как баскетболист, чуть не достав потолок, выскочил из кабинета.

На следующее утро Клык положил перед Павлом Петровичем бумагу; это был пространный милицейский протокол и решение районного прокурора о возбуждении уголовного дела, документ был датирован вчерашним днем и перечеркнут красным карандашом. Интересно, как все это удалось заполучить Клыку, конечно же, не следовало. Павел Петрович поблагодарил помощника, тот принял благодарность равнодушно и беззвучно покинул кабинет. Оставшись один, Павел Петрович взял газетную вырезку и документы, скрепил их и, достав из стола новенькую папочку, вложил все это в нее.

Так вот началось дело Бастионова, которое затем пополнялось все новыми и новыми документами.

Но главным же, конечно, была институтская трагедия. Это не лихая гонка, не сбитый пьянчужка, это двадцать семь человеческих жизней и несколько миллионов рублей убытков. Страшная, чудовищная история! Если один из документов, доказывающий причастность Бастионова к гибели людей, отнести тем, кто занимается назначением на такой важный пост, — все рухнет. Первый заместитель министра. Нет, пожалуй, тут побольше... Фролов далеко не молод. Ясно ведь, что он фигура временная. Значит, Андрей Владимирович должен пройти стажировку, а потом... Министр Бастионов, руководитель отрасли... Сумеет ли ученик Павла Петровича повести это гигантское хозяйство? Конечно, сумеет, и не просто повести, а выдвинуть вперед, он насыщен идеями и внедрять их в жизнь будет твердо. Он ведь еще и ученик Новака, а более ясного ума Павел Петрович не встречал.

Нет, нет, совсем не в этом дело — сумеет ли Бастионов или нет, наверное, более серьезной кандидатуры на такую должность ныне и не сыскать, тут вопрос надо ставить иначе: а можно ли пускать в коридоры власти человека, утратившего понятие о совести?..

Эта бежевая папочка начинена сильнейшей взрывчаткой. Но куда, кому ее направить?

Если нести людям, стоящим над министерством, то они могут спросить: а почему вы, голубчик, хранили все это у себя и не дали ход в свое время? Укрывали? Во имя чего?.. На это невозможно будет ответить, а если все же отважиться... Прошлое порой и без того выглядит уродливым сплавом самых противоречивых деяний. Он может отнести эту папочку только одному человеку — Фролову, дав ему возможность решать, нужен ли ему такой заместитель. Если Павел Петрович отнесет документы Фролову, то тот должен принять на себя и всю ответственность за назначение Бастионова.

Он снял телефонную трубку, набрал прямой номер министра. Ответил Клык:

— Помощник.

Павел Петрович усмехнулся: вот ведь, черт возьми, непотопляемый человек. Если даже через год в министерское кресло сядет Бастионов, он останется.

— Здравствуйте, Иван Сергеевич. Мне Игнат Терентьевич нужен.

— Здравствуйте, Павел Петрович, — бесстрастно ответил Клык, конечно, он узнал его по голосу и произнес имя громко, чтобы Фролов, если он в кабинете, понял, кто звонит.

Пауза была недолгой.

— Сегодня пятница, — все так же бесцветно ответил Клык, и Павел Петрович подосадовал на себя: забыл, что по пятницам в это самое время проходят еженедельные совещания не в стенах министерства. А после совещания Фролов почти наверняка отбудет на дачу. Конечно, министр не каждую пятницу требовался на тех совещаниях, возможно, и сейчас, сделав знак рукой: мол, соединять не надо, — сидит у себя в кабинете.

— Завтра он будет?

Не все знали, что в министерстве нынче работают и по субботам.



— Не думаю. Но вы позвоните.

Тогда Павел Петрович решительно сказал:

— В понедельник. Пусть найдет для меня несколько минут.

— Доложу,— пообещал Клык.

По интонации его голоса Павел Петрович понял: в понедельник он будет принят,— и положил трубку не попросившись, хотя делать этого не следовало. Но в нем уже выросло раздражение.

Павел Петрович снова взглянул в окно; судя по всему, жара усилилась, и ему остро захотелось за город. «Что я здесь торчу? Оставлю записку Леньке и махну на дачу». Он тут же подумал: давно не видел Нину, а она может быть свободна на субботу и воскресенье. Он иногда брал ее с собой, и она радовалась этим поездкам. Подумав так, он снова потянулся к телефону.

### *Глава четвертая*

Павел Петрович купил «Жигули» два года назад, еще до ухода из министерства, купил, не особенно задумываясь, зачем ему эта машина, просто захотелось, чтобы она была. Теперь же казалось: он не зря позаботился о личном транспорте, словно предвидел, что колеса понадобятся. В городе, конечно, можно было обойтись и без них, но вот ездить на дачу лучше на машине...

Павел Петрович не без труда втиснулся в автомобильный поток. Пятница летом — день особый, дороги, ведущие за город, насыщаются плотно, густо, и надо быть внимательным.

Как хорошо, что он застал Нину дома, она и в самом деле обрадовалась:

— Ну, чудо! А я думала к подруге напроситься, она снимает в деревне. Да там куча мала. Я быстро соберусь. Мне подъехать или ты?

— Через часок жди меня на Ленинском, неподалеку от перехода.

— Ага! — весело отозвалась она.

Нина появилась в его жизни четыре года назад, когда Сони уже не было. Он все еще не мог опомниться от трагедии с Институтом и смерти жены, хотя прошло достаточно времени. Бастионова он от себя отстранил, тот даже не осмеливался позвонить. Новака не стало, никого не стало. Об отдыхе он и не помышлял. С заводов шли прекрасные сводки, но он-то знал: дела в отрасли скверные, большинство директоров блефуют, хитрят с планами — научились переказывать карты, как заправские шулера,— важно, чтобы по всем показателям было гладко. Делали это ловко, не переигрывая; если рапорт о перевыполнении плана, то всего лишь на десятые доли процента: и премии пойдут, и дополнительных заданий не навьют, ведь планируют увеличение плана от достигнутого, вот и веди себя осмотрительно.

По бумагам все хорошо, но стоило попасть на любой завод, как обнаруживался завал, цехи старые, а те, что построили два-три года назад, стоят, оборудование ни к черту. Вот и получалось: сверху лак, а внутри гнилье. Павел Петрович все это знал, иногда приходил в глухое отчаяние, особенно после поездок в другие страны, видел, как мощно там идет технологическое переоснащение. Та же фирма Бастионова разработала много новинок, но машиностроители ловко увиливали от заказов, а свои заводы, которые служили базой для переоснащения, не тянули. Ни проработки на совещаниях, ни выговоры, ни предупреждения — ничто не действовало, ситуация складывалась не только тупиковая, но и неуправляемая. Да еще скверно стало с продовольствием, куда ни сунешься — везде нехватки: ни мяса, ни масла, ни овощей. На заводах, где директора побойчее, сумели создать подсобные хозяйства, хоть в столовых кормили сносно. А ес-

ли человеку на заработанное купить нечего, то спроси с него дело... Мир окрашивался далеко не в радужные тона, зато красивых слов вокруг звучало много, причем они составлялись в довольно разумные и броские лозунги. Но все равно надо было действовать, искать — стоять да охать легче всего. Искать. Но что?

Выбил его из колеи, казалось бы, заурядный случай. Павел Петрович возвращался из Лещиновки, где пускали новый цех. Министерство откупило весь мягкий вагон, потому что нужны были места и для ученых и для журналистов...

Вот ведь как меняются времена! Когда был Кирьяк, то для него держали специальный вагон. Но ведь не случайно Кирьяка в шутку называли «министр-фундатор», об этом можно было говорить и всерьез, ведь Кирьяку поручили после совнархоза сбить отрасль. У него не было ни инженерного, ни экономического образования, даже о продукции отрасли он имел весьма смутное представление, выдвинулся из партийных работников. Он добился, чтобы ему выделили вагон, в котором, кроме кабинета и спальных мест, был салон, где собирались на обед или ужин, а то и просто, чтобы не терять времени в пути, заседали. Но вагон обветшал, ремонтировать его по каким-то соображениям не стали, а нового не выделили.

У Павла Петровича было отдельное купе, Клык расположился в соседнем.

День был утомительный, нужно было ложиться, но Павел Петрович ложиться не спешил. Где-то в конце вагона рокотали голоса, скорее всего это не могли утихомириться журналисты. Конечно, надо было лечь, но он почему-то чувствовал — не уснет, тоска исподволь подбиралась к нему.

Поезд прибудет в Москву около шести утра, его отвезут на квартиру, где никто его не ждет, он сумеет лишь принять ванну, слегка позавтракать, переодеться и отправится в министерство, где снова его поглотит обычная круговерть.

Перед тем как лечь, он решил пройти в туалет.

Павел Петрович подергал ручку в уборную, дверь была заперта, хотя красный сигнальный огонек не горел. Идти в другой конец вагона, где слышались смех и голоса, не хотелось, там явно шло застолье, и любой из подвыпивших журналистов мог прицепиться. «Пойду к соседям», — решил Павел Петрович.

Поезд шел быстро, из тамбура веяло гарью и прохладой, скрежетали под ногами переходные мостки; он нажал на дверь соседнего вагона, она подалась с трудом, и сразу его обдало смрадом человеческого пота и дезинфекции.

На полу туалета плескалась вода, зеркало было заляпано зубной пастой. Он хотел было вернуться в свой вагон, но услышал возбужденные голоса. Он не сразу сообразил, что его насторожило. Но когда рокочущий бас повторил зло: «Министерские холуи, с-суки!» — до его сознания дошла и ранее услышанная фраза: «Клоповники бульдозерами в ночь снесли!»

Он вошел в тускло освещенный вагон, запахи влажной одежды и пота сделались гуще, так примерно пахло в вагонах его молодости, когда поезда брали штурмом. Только сейчас Павел Петрович припомнил: шел в свите по перрону и заметил, как шумная толпа осаждала три задних вагона, почему-то большинство людей в этой толпе были с огромными чемоданами и пустыми рюкзаками. Он хотел спросить у сопровождающих, в чем тут дело, но отвлекся.

Все полки были заняты, а те, кому не хватило лежачих мест, дремали сидя. Разговаривали неподалеку от прохода, здесь собралось человек десять, четверо играли в карты, столом служил чемодан. Павел Петрович прислонился к косяку, на него не обращали внимания, чьи-то ноги в носках торчали перед лицом.

— В общагу всех переселили. А как там с семьями зимовать?

— Дом, стало быть, к празднику не сдадут... А ты че, Семен, молчал, когда надо? Мы бы из барака не пошли. А то раскудахтался: «временно, временно»... Знаем мы это «временно»!

— «Семен, Семен»,— передразнил здоровый мужик с плоским лицом и шрамом на переносице; он показался Павлу Петровичу знакомым.— Своя-то голова у тебя есть? Когда это трест к сроку дома сдавал? Поребьешься в общаге! Сдавай!

— А вот тебе с маслом,— взвился кругленький мужичок.— В Сибирь подамся. Мои руки везде дело сыщут.

— А там тебе чего, квартиру приготовили? — произнес кто-то в глубине купе, у окна, Павел Петрович его не видел, но тут чубатый веснушчатый человек лихо ударил картой по чемодану и негромко пропел:

— Когда старый помирал, Серикову наказывал: мяса вовсе не давать и масла не показывать.

— Да будет тебе,— пробурчал на него здоровый Семен.

— А чего «будет»,— не унимался чубатый.— Ты, Семен, больно аккуратный. Все за начальство. А видел бы, как вчера у нас в сборке Сериков крутился. Чуть сам подметалой не стал. Все вылизали, как языками прошлись. Во как министра-то боятся!

— А он за орден крутился! — воскликнули от окна.— Министр ему орден дать обещался.

— Ему что, своих мало?

— А это как денег — лишних не бывает!

— Этих министров, мать их... На кой леший его принесло? Так хоть в клоповнике бы жили, черёда своего дожидались, а теперь в общаге могут и век продержат.

Хоть слова их были и резкими, но говорили они с ленцой, видно, не впервой перемалывая одно и то же; от их разговоров веяло знакомым, давным-давно прожитым, и на какое-то мгновение Павлу Петровичу показалось: время вернуло его лет на двадцать назад. Он почувствовал теплое дыхание на затылке и обернулся. Рядом стоял Клык.

Павел Петрович направился к переходу, в тамбуре остановился.

— Это заводские? Зачем они в Москву?

— За продуктами,— ответил Клык.

— За какими?

— Да за всякими. Что попадет.

— Поэтому такие большие чемоданы?

— Ну, некоторые на бригаду берут, другие для соседей. День в Москве, а вечером обратно.

— Так всегда?

— Кроме субботы и воскресенья.

— Но ведь столько за день не наберешь.

— У них методика отработана. Если что в магазине дают, то задние занимают очередь для передних. Взял два кило, потом опять. Пока чемодан не набьют. Покупают в рабочих районах. Там снабжение получше.

Павел Петрович почувствовал, как подступила тошнота,— так бывало с ним, когда внезапно вспыхивал гнев и нельзя было дать ему вырваться на волю.

— Серикова ко мне. Если спит — разбудите,— сказал он и пошел в вагон.

Павел Петрович прихватил директора завода с собой, чтобы тот сразу после пуска цеха отрегулировал все дела в министерстве без проволочек. В купе он закурил, глядя на мелькавшие за окном огни; важно было хоть немного успокоиться...

Эти люди, работавшие сегодня в цехе, едут в соседнем вагоне, чтобы завтра, как в былые времена мешочники, мотаться по магази-

нам в поисках еды, сам же он три часа назад сидел за обширным столом, заставленным дорогими коньяками, блюдами с мясом, деликатесами, баночками с икрой, слушал велеречивые тосты. А до этого его возили по поселку, он видел чистенькие улицы, нарядные дома с палисадниками, крашеными заборами, проходил цехами, где работали люди в новеньких спецовках. Такого он, когда был директором, сам не делал даже перед приездом главы правительства; недостроенное оставалось недостроенным, несмонтированное продолжало монтироваться. Ну, конечно, улицы украшали. Но ему выгодней было показать все как есть, потому что средств не хватало и можно было сказать: вот видите, еще держу барак, а в наше время это стыдно, фондов же на жилье не дают, помогите. И его понимали. Но сейчас зачем таить, что еще остались клоповники, зачем наводить марафет? Только одна могла быть причина: доложили, что все на заводе и в поселке хорошо, а теперь надо прикрыть грехи. Обман стал нормой.

Вот ведь как все скверно! Павел Петрович был озабочен главным образом технологической перестройкой, а жилье, продовольствие... Разве он должен этим заниматься? Не тридцатые годы и не послевоенные, чтобы министр следил бы и за этим. Директор — вот главный человек в подобных делах. Было тяжело и стыдно.

Сериков, невысокий, кругловатый, с обвисшим брюшком, топорливо вошел в купе, галстук у него был затянут поверх воротника рубашки. видимо, очень спешил. Павел Петрович даже не предложил сесть директору, и тот стоял в проходе, покачиваясь от движения поезда.

— В соседнем вагоне,— заговорил Павел Петрович подчеркнуто спокойно, хотя дыхание его было прерывистым,— едут рабочие вашего завода за продуктами в столицу. Вы можете это объяснить?

— Область нам не выделяет достаточных фондов,— сразу же ответил Сериков.— Мы не первый год бьем тревогу. Но безрезультатно.

— Подсобное хозяйство есть?

— Вообще-то есть...

— Что значит «вообще»? Что выращиваете? Сколько?

— Мы пытались,— неуверенно сказал Сериков.— Но нам указали... У завода — план. Каждый должен заниматься своим делом. У нас и так нехватка рабочей силы.

Павел Петрович посмотрел на этого человека, который сразу сделался ему неприятен; капли пота выступили на высоком, морщинистом лбу директора.

— То, что в стране сложно с продовольствием, знают все, Сериков. Но когда тяжело, то не ждут фондов. Тут у вас земли золотые бурьяном поросли. Позвольте вам напомнить: в Ленинграде в блокаду не только надеялись на завоз, но и на газонах картошку выращивали. А после войны зеленые цехи создали почти все заводы. И у каждого рабочего — заметьте, у каждого — был участок. И заводы восстанавливали. С планом справлялись. Не ждали, что на тарелочке поднесут.

— Не положено,— вдруг жестко сказал Сериков.— Не туда толкаете. Мы сельскому хозяйству и так помогаем.

Вот тут он взорвался:

— А на голодном пайке людей держать положено? А делить хозяйство на тех, кто дает, и на тех, кто берет, положено? Вы что думаете, я не знаю, какую показуху мне устроили? Как бараки за ночь сносили, как семьи по общежитиям распихивали, а холостых — на частные квартиры? Как в новенькие спецодежды срочно людей одели? Это что, для газет? Для киношников? Смотри, мол, белый свет, на образцовый завод.

Но Сериков поспешно вытер лицо чистым платком, глаза его отвердели, смотрели нагло, без страха.

— Навет,— твердо сказал он.— И прощу на меня не кричать.

Павел Петрович потянулся к стакану с боржомом, стоящему на столике, посмотрел, как лопаются у стенок пузырьки,— нужна была пауза, чтобы успокоиться,— отпил несколько глотков и сказал:

— Завтра к вам выедет комиссия. Через десять дней — коллегия.

— Хорошо,— так же спокойно ответил Сериков.— У меня тоже есть свои претензии.

— Могли бы высказать их и сегодня. Спокойной ночи!

Он не видел, как Сериков вышел из купе. Клык стоял рядом, видимо, ожидал распоряжений.

— Я лягу,— сказал Павел Петрович тихо.

Клык вышел.

Но уснуть Павел Петрович не смог. Он был недоволен собой, недоволен тем, как провел разговор с Сериковым. Кричать не надо было, с ним такого давно не было. Он всегда был здоров, ощущал себя крепким, умеющим вести себя достойно и спокойно, но, видимо, есть и этому пределы. Да и беды сваливались одна за другой: смерть Сони, трагедия с Институтом, уход Люси. Все это не прошло бесследно.

Чтобы отвлечься, он стал думать о том, что его более всего занимало в последнее время. Началось с того, что он сравнивал показатели середины пятидесятых годов и семидесятых, соотношения их говорили о серьезных утратах. Но он заметил: производительность труда повышается, когда меры внешнего, принудительного контроля ослабевают и коллективу предоставляется возможность самому организовать с помощью инженеров и мастеров труд, самому определять сроки и темпы, самому размещать оборудование — словом, когда выполнение заданий организуется таким образом, что ответственность отдельных групп и лиц обретает четкий смысл. Эта мысль, ставшая затем для него бесспорной, тогда еще только пробивала себе дорогу, как и другая — что более рентабельно приспособить рабочее место к человеку, чем, как это делается на заводах, человека к рабочему месту...

Уснул Павел Петрович, когда поезд уже подъезжал к Москве.

Он вышел на перрон вместе с Клыком, тот провел его боковым выходом к машине. Они мчались по утренней Москве, и Павел Петрович то ли забылся, то ли на какое-то мгновение сознание у него отключилось, но когда он очнулся, то увидел деревья по обе стороны дороги, длинный забор и спросил:

— Куда мы едем?

— В больницу,— спокойно ответил Клык.

— Какого черта?..

— Не волнуйтесь, Павел Петрович. У вас же лицо все перевернутое. Пусть врачи проверят.

Потом выяснилось — у него резко поднялось давление. Такого с ним прежде никогда не было. Но ведь все болячки начинаются внезапно. Когда Павел Петрович отлежался, врач сказал:

— Благодарите вашего помощника. Вы были на один шаг от инсульта.

Он провалялся две недели, но на работу его не выпустили, отправили на Рижское взморье. Он терпеть не мог никаких процедур, но его успокоили:

— Ничего не надо. Гуляйте побольше у моря, и все придет в норму. Гипертоников мы обычно отправляем туда.

Так он оказался на отдыхе...

Было слишком тихо и необычно от отсутствия телефонных звонков. Ему нравилось бывать на берегу, где бесконечно двигались люди по белому утрамбованному песку, море было холодным, но смельчаки купались. Можно было брести в любую сторону, гул голосов скрадывался, сливался с шелестом волн, дышалось легко, и он обнаружил, что способен подолгу стоять, наблюдая за чайками, за движением судов, проплывающих в серебристой дали...

Клык хорошо его экипировал, купил бежевый с коричневыми разводами спортивный костюм, кроссовки на липучках — обувь эта оказалась удобной, в ней легко было ходить. Сам он мало заботился о своей внешности, что бывает с людьми, уверенными в себе; к тому же был он высок, каштановые волосы с проседью еще оставались густыми, только на лбу образовались две полукруглые ровные залысины. «Ты красивый мужик, — говорила ему Соня. — И подбородок с ямочкой. Это очень симпатично. И нос римский. А вот губы слишком тонкие. Говорят, это у злых». Он смеялся: что же это она за столько лет не смогла определить, какой он. Но потом, когда ее не стало и он вспоминал прожитое с ней, подумал: в самом деле, добрый он или злой?

В первый же день на Рижском взморье ему сделалось тоскливо и он запаниковал, решил — надо найти занятие, хотя не хотелось даже читать. Он стал размышлять о том, что волновало его последнее время; если кто-нибудь из деловых людей, что окружали его, узнает о его мыслях, то удивится или же воспримет это с издевкой. Но он ничего не мог с собой поделать, ему все казалось — он никак не может добраться до сущности неудач отрасли, да и не только ее. Однажды он подумал: промышленность — это вовсе не то, как ее воспринимают, а живая система, подобно пчелиному улью или муравейнику, это прежде всего сообщество людей, где каждый выполняет свою функцию, а заводы — лишь средства производства, позволяющие обеспечить этому сообществу необходимое. А коль живая система, то, значит, как и положено живому, обменивается с окружающей средой энергией, веществом и информацией, ей присуща, как всему живому, способность создавать порядок в противовес хаосу; стремление к гармонии — ее движущая сила. Если же хаос начинает одолевать, значит, в живой системе нарушены единство, целостность, смещены пропорции, она больна и не находит целительного источника в окружающей среде, потому ей не на кого надеяться, она может искать лекаря лишь внутри себя.

Павел Петрович понимал: мысли эти нечеткие. Наверное, единственный, кто бы мог ему помочь в них разобраться, это Семен Карлович Новак. Тот любил такие размышления, любил ошарашивать ими людей. Но Новака не было в живых...

— Извините, пожалуйста, вы не присмотрите за вещами?

Он очнулся и увидел невысокую женщину в желтом махровом халате, с пластиковым пакетом в руках. Он взглянул на скамью, на ней сидели тесно.

— Да, конечно, — согласился он.

Она поставила пакет у его ног, быстро сбросила халат, кинула на песок и побежала к морю. Купающихся было мало, он запомнил, когда выходил на пляж, что на светящемся табло значилось: вода четырнадцать градусов.

Женщина бежала долго, сначала по песку, потом по мелководью, у нее были несколько коротковатые ноги, обнаженная спина покрыта ровным загаром, волосы упрятаны под шапочку. Наконец она достигла глубины и поплыла, над морем висел серебристо-серый туманец, и вскоре женщина словно растворилась в нем. Он вглядывался напряженно, даже заслезились глаза, но никого не увидел; женщина появилась внезапно, потом встала, словно выросла из воды, глубина была немного ниже колен. Она побежала, чуть вскидывая в стороны ноги, брызги разлетались от ударов ее ступней. Еще в воде, неподалеку от влажной песчаной кромки, она сорвала с головы шапочку, густые темно-русые волосы рассыпались по плечам. Сейчас он разглядел ее всю: скорее всего ей было около сорока, чуть курноса, с полноватыми губами.

Женщина подбежала к Павлу Петровичу, засмеялась:

— Ух, здорово!

Было в ней что-то Сонино, он не сразу смог определить, что именно, потом углядел чуть насмешливую улыбку и эти доверчивые глаза, да и рост... Ну, конечно же, она была очень похожа на Соню, та тоже любила купаться в холодной воде; пожалуй, и повела бы себя так же, когда была моложе,— сунула бы свои вещи первому встречному и помчалась к воде. Соня была лишена высокомерия и комплексов, если она чем и обескураживала, то непосредственностью.

— Как вас зовут? — невольно улыбнувшись, спросил Павел Петрович и не удивился бы, услышав в ответ: «Соня»,— но она сказала:

— Нина. А что?

— Хотите, побродим вместе?

— Хорошо. Только я переоденусь... Я рядом живу, в пансионате. Видите деревянный домик за соснами? Седьмой корпус... Я мигом! — И она опять сорвалась с места.

Павел Петрович не успел сигарету выкурить, а Нина уже шла к нему в легких беленьких брючках и розовой кофточке.

— Тронулись? — спросила она.

— Тронулись,— согласился он, и они двинулись по плотному песку.

— Я сейчас бежала и ругала себя: человек сидел, размышлял о чем-то, а я вторглась... Вот тут писатели живут. Вы оттуда?

— Нет. Но ведь не одни писатели размышляют.

— Возможно,— засмеялась она.— Я тут впервые, но мне очень нравится. Такие места для прогулок! Говорят, какой-то начальник, очень большой, конечно, хотел этот пляж перегородить. Для каждого санатория или дома отдыха — отдельно, как в Крыму. Чтобы у спецдач свой выход к морю был. А народ не дал. И это хорошо. Все гуляют. Во-он там Косыгин живет. К нему люди подходят, разговаривают. Я сама видела. Иду и смотрю: очень знакомый человек шагает, а рядом с ним двое. Чтобы не обиделся, кричу ему: «Привет!» Только когда он в ответ кивнул, я ахнула: да это же Косыгин. Стала соседкам по комнате рассказывать, а они смеются. Тут кого хочешь можно встретить. Это замечательно, честное слово. А о чем вы размышляли?

— Так, взбрела одна мысль... — И вдруг Павлу Петровичу нестерпимо захотелось рассказать ей то, о чем думал, проверить: поймет ли?

Нина слушала, чуть склонив голову, и, когда он умолк, решительно заключила:

— Живые системы. Это интересно. Да, интересно.

Позже он свыкся с ее манерой высказываться столь категорично, словно бы подводить черту,— все же она была «учителка», сама так себя называла, преподавала в институте начертательную геометрию. «Студенты жутко ее ненавидят,— рассказывала она во время той первой прогулки.— За что? Думаю, это традиционная ненависть. А когда ненавидят предмет, то и на преподавателя фырчат. А может, я им старой гримзой кажусь... Но цветы дарят. Скорее всего из подхалимажа».

Она ему нравилась все больше и больше. Порой в Нине пробуждалась озорная отвага, и тогда она могла прыгнуть с любой кручи или пойти взять что-нибудь без очереди, а однажды повела себя храбрее мужчин. Был воскресный день, народу на пляже сошлось — не толкнуться, настоящее столпотворение, и тогда Павел Петрович решил увести Нину к себе — она еще не бывала у него, он почему-то стеснялся пригласить ее... Они двигались к дюнам, и Павел Петрович не сразу сообразил, что произошло, когда Нина стремительно метнулась в сторону и врезала сумкой какому-то волосатому типу; тот где стоял, там и сел — скорее от неожиданности, чем от боли. А Нина уже рывком развернула к себе загорелого парня:

— Эй ты, трус! Нечего делать вид, что не видишь, как на твоих глазах бьют женщину!.. Да и все вы... — добавила она, презрительно оглядывая прохожих.

Слова ее подействовали, волосатого скрутили, женщину подняли, увели в сторону. Нина подбежала к Павлу Петровичу и расхохоталась.

— Навела порядок? — озорно спросила она.

— Еще как!

— А у меня опыт. И не такие драки разнимала!

Когда он привел ее к себе, она оглядела двухкомнатный номер и сказала:

— Все равно, кто бы вы ни были, это несправедливо. Мы, три трудящиеся женщины, живем в одной комнате, а вы тут один...

Он начал оправдываться: мол, вообще не стремился на взморье, его сюда почти насильно отправили, боялись инсульта, а сам он хоть сегодня уехал бы отсюда в Москву, потому что ощущает себя человеком только во время работы.

— Да плевать! — сказала она. — Это я просто к слову. — И, приподнявшись на цыпочки, поцеловала его...

Она вошла в его жизнь легко и так же легко существовала в ней. Он часто, когда был занят и не мог ее долго увидеть, тосковал по ней и однажды сказал:

— Может, нам оформить брак? Будем жить вместе.

— Ты с ума сошел! У меня дурной характер. Мы перецапаемся. Сейчас я тебя люблю, а если перестану? Что тогда?

Павел Петрович без труда представил себе это «если», ведь со своим мужем она рассталась в один день; терпела его пьянство, но когда застала дома с девицей... Она не могла иначе. «У меня ведь дочь растет. И вообще, это противно — все прощать».

— А какой у тебя характер? — сказал он. — У тебя прекрасный характер.

— Это тебе кажется. Если будем жить вместе, сразу поймешь — в больших количествах я невыносима. Вот сейчас наши встречи как праздники. А так я начну к тебе приставать со своими делами и дочкиными. Зачем тебе это? И замечания начну делать. Вот мне не нравится, что ты цыкаешь после еды. Сейчас терплю, а если будет так все время, начну воспитывать...

Он рассмеялся; и в самом деле была у него такая дурная привычка. Соне она не мешала, а вот Люся морщилась.

Павел Петрович тосковал по Нине еще и потому, что прожил жизнь однолюба, хотя некоторые сослуживцы принимали его чуть ли не за бабника — может быть, его рост, его крепкое лицо, сколоченное из массивных деталей, так заставляли думать о нем женщин, а те делились своими предположениями с мужчинами. Но его никогда не привлекала охота за юбками, даже в молодости; видимо, погруженность в дела отнимала у него все остальное.

Когда пришлось покинуть министерство «в связи с уходом на пенсию», ему прежде всего захотелось увидеть Нину. Она тут же примчалась и, выслушав его рассказ, сказала:

— Да плевать! Хоть придешь в себя. А то тянул за сто человек. И давление у тебя... Надо же в конце концов пожить нормально.

Он подумал: именно так сказала бы Соня, может, даже теми же словами.

Конечно же, они были разными, эти женщины, и в то же время... Случайно ли встретилась ему Нина? Ведь там, на взморье, он мог заметить и другую, но, увидев Нину, почувствовал: ее нельзя терять. Наверное, есть в человеке некое еще не познанное всерьез чувство, которое и дает возможность предугадать: именно вот этот человек может быть тебе близок... Но нет, при всем их, казалось бы, сходстве Соня и Нина были разными. Вряд ли бы Нина, когда он пришел в министерство и стал работать у Кирьяка, стала бы уговаривать его, как это сделала Соня: «Павлуша, поедem назад, на завод. Ну, честное слово, Москва не для нас. Мы провинциалы... Ну, конечно, в хорошем



смысле провинциалы. У нас все открыто, а ты... ты рассказываешь о какой-то тайной сверхдипломатии. Разве ты способен познать эти чиновничьи игры? Ты инженер. Даже очень хороший инженер. Не для тебя эта бумажная толчея. Давай уедем. Надо только набраться храбрости и сказать: это не моя работа. Сумеешь сказать твердо — поймут!»

Но он знал точно: не поймут. Сделай он, как просила Соня, его тут же затопчут, воспримут это как слабость, а то и высокомерие, хотя то было бы нормальным человеческим шагом, но шаг этот таил серьезную угрозу для других, и те, другие, не позволили бы ему вернуться к работе, где он был хорош. Соня была романтиком, она любила видеть жизнь такой, какой хотелось бы ей устроить ее, иногда выдумывала различные истории, призванные облагородить реальность; он понимал, что она их выдумывает, но не разрушал иллюзий, делал вид, что верит. А Нина определяла окружающее без всякого прикрас, называла вещи своими именами, ей это многое облегчало... И все же было, было нечто объединяющее этих двух женщин...

Он увидел Нину издали, когда ему удалось перестроиться в правый ряд; она стояла у кромки тротуара, у ног ее возвышалась красная спортивная сумка.

Павел Петрович затормозил, Нина открыла дверцу, ловко запустила сумку на заднее сиденье и тут же оказалась рядом с ним, поцеловала в щеку, рассмеялась и лихо воскликнула:

— Пое-ехали!

### *Глава пятая*

Бежевая папка лежала на добротном столе, крышка которого была покрыта прозрачным лаком, высвечивающим фактуру дерева; Павел Петрович провел много часов за этим столом, ему всегда тут хорошо думалось. Окно открыто, видно, как Нина в трусах и бюстгалтере, подставив солнцу спину, ковыряется на заросшей клумбе. Не может без дела...

Он хотел поговорить с Ниной про бежевую папку, но не нашел слов. А ему нужен был совет, очень нужен.

Черт возьми, сколько же бед, сколько несчастий происходит ежедневно на заводах: рушатся кровли, взрываются печи, гибнут люди.

Когда он работал и ему клали на стол сводку по травматизму на предприятиях — а он знал, что сводка далеко не полная, в нее попадали только те случаи, которые нельзя было скрыть, — то ему начинало казаться: они вообще все, где бы ни находились, живут в аварийной ситуации, столько лет вели хозяйство в чудовищной беспечности, твердо и уверенно надеясь на авось. Стоит глянуть, как сдаются объекты, и придешь в уныние. Риск — вот что главное в таких делах. Пронесет или не пронесет? В последнее время что-то редко стало проносить, катастрофа следовала за катастрофой, в постоянной беспечности давно переступили зыбкий предел допустимого...

В сорок третьем, во время зимнего наступления на дороге образовалась пробка: машины, танки, орудия. Справа — болото, слева — минное поле, несколько фанерок с надписью «Осторожно, мины!». Дядька-ездовой с фургоном, груженным ящиками, долго мусолил самокрутку, все вздыхал, потом взвился: «А хрен з ём!» — и дернул лошадей, рванул по минному полю. Все завороженно смотрели, как он несется по снежному насту, и вдруг — взрыв. Ничего не осталось ни от лошадей, ни от ездового. Кровавые куски на ослепительно белом снегу, долгое молчание в колоннах и только чей-то вздох: «Зря, конечно». Это на войне, но в наши-то дни зачем? Откуда это нетерпение, эта постоянная торопливость! Быстрее быстрее, худо ли, плохо ли — все одно, лишь бы быстрее. «А хрен з ём!»

Зачем он об этом? Брюзжание бывшего? А не он ли сам ледяным голосом говорил по селектору: «Через неделю и ни секундой позже.

И чтобы я не слышал: подвели смежники. Нашли формулу для отговорок. Не сдадите — пеняйте на себя!» Этого ледяного голоса боялись, знали — на ветер слов не бросает, пускали в те сроки, которые он назначит, а по прошествии не такого уж длительного времени выяснялось: надо объект останавливать, иначе быть беде. Это вело к новым расходам и к новой спешке. Нельзя было вырваться из этого заколдованного круга, ведь и на него жали и с ним говорили ледяным голосом, но мало кто задумывался: нужно ли вообще этот объект строить, ведь он состарился в утробе матери, еще когда его проектировали. Отставать стало привычным, но только в идеях, а не в количестве объектов. Считалось: это самое количество может заменить качество. Понимал ли он это? Конечно. Скорее всего это и было самым тяжким в его жизни.

Вот Кирьяк не понимал да и не мог понять, ведь он был организатором, а это значило — сам он никакой идеи не нес, да она и не могла у него родиться, ведь он не был специалистом, нахватался верхов, считал себя прирожденным оратором. Полный, с одышкой, он розовел лицом, когда поднимался на построенную в цехе трибуну, маленькие глаза его загорались, и зычным голосом он вещал в микрофон «для народа». У него было несколько отработанных приемов сближения со слушателями. Так, он мог, еще не начиная речи, повернуться к репортерам и сказать, чтобы слышали даже в отдаленных уголках: «А ну, уберите свои лейки-змейки. Не видите, у меня лицо не фототикиническое».

Он прекрасно знал, как правильно произносится это слово, но знал и другое: если вызовет с самого начала дружный смех, то его будут слушать, стараясь не пропустить какой-нибудь другой шутки или серьезного сообщения. Было у него много прибауток, иногда он просто начинал с перелицованного старого анекдота:

— Я нынче як прибыл до вас, то зараз в положение старого генерала попал. Это когда он с ревизией в полк явился. Видит, двое солдат несут из кухни ведро помоев. «Откуда, солдатики?» А те: «С пищеблока». Генерал: «Ложку!» Ему подают, он из ведра — хват, его перекосило: «Помои!» А солдаты в ответ: «Так точно!» Ну, и я ныне у вас в цеховой столовой на такой же крючок попался. Тильки мене директор заверяет, будто то и не помои были вовсе, а наикраший борщ. Так верить мне директору или как, товарищи?.. Ну вот теперь ясно, коли вы так кричите. А с желудка наше рабочее настроение начало берет. Кто ест добре, тот добре работает.

Потом он мог говорить что угодно, не жалея ни директора, ни главного инженера. Те, как правило, стояли рядом потные и потерянные, словно их чуть ли не обнаженными выставили на всеобщее обозрение. Он понимал, что подрывает их авторитет, но шел на это, чтобы возвысить себя, чтобы потом люди говорили: свой мужик, все болячки наши понимает. Проходило время, Кирьяк добивался посрамленному директору награды, и обиженный, получив ее нежданно-негаданно да еще ободренный приветственной телеграммой, прощал министру все.

Кирьяк не любил, когда ему навязывали какую-нибудь сложную идею — все равно не смог бы в ней разобраться, — требовал простоты, чтобы мысль, если она нова, была бы понятна всем, а если не нова, то лучше бы ее преподнести в замысловатой упаковке. Павел Петрович не сразу понял, что этого человека мог бы удовлетворить и самый обыкновенный обман, лишь бы он давал возможность выглядеть отрасли благополучной.

Иногда Кирьяк приглашал Павла Петровича и кого-нибудь еще из заместителей, чаще всего Фролова, к себе на обед в свою комнату отдыха. С Фроловым все было не просто. Первый зам ушел от Кирьяка в Совет Министров, и Фролов рассчитывал, что на эту должность выдвинут его, да так, наверное, и должно было быть, он старше Павла Петровича, и слыт у него серьезней. Но Кирьяк предложил в первые

Павла Петровича, объяснив, что, мол, тот лучше Фролова знает производство. Фролов сделал вид, что покорился, но Павел Петрович ощущал его неприязнь, хотя она не проявлялась открыто.

Стол накрывали обильный, непременно с коньяком. Кирьяк сам брал пухлой рукой бутылку, наливал в хрустальные рюмки. Он знал — Фролов не переносит коньяка, и потому наливал ему больше всех да при этом поддразнивал: «А вот на неделе мне горилку з перцем подали».

Так вот на одном из таких обедов Кирьяк рассказывал:

— В году, пожалуй, так шестьдесят третьем Пищевика пригласили до батьки. Тот и говорит Пищевнику: «Что же эдак плетешься ни шатко ни валко? Народу масло недодаешь. А ведь порешили на обгон идти. Мне наука сказала — масла надо полтора миллиона тонн. А сколько у тебя на блюде? Семьсот тридцать тысяч тонн! Так вот ты возьми карандаш и подбей бабки. Ты масло какой жирности выпускаешь? Более восьмидесяти процентов. А Еврола, между прочим, семьдесят три процента ест. Здоровье берегут. Холестерину меньше. Да ты в деревню поезжай. Глянь, как хорошая баба масло сбивает. Она пахту бережет. Часть в масле оставит, часть скотине отнесет. Вот и думай!» Пищевик от батьки вышел, дал указания на заводы. Ну и ГОСТ, конечно, согласовал. Добыча того масла почти в полтора раза возросла.— И, согнав с лица лукавую усмешку, закончил строго:— Вот бачьте: весь волюнтаризм как на ладошке.

Павел Петрович не знал, есть ли правда в рассказе Кирьяка, но что подобное могло случиться, верил. Кирьяк вроде бы в осуждение это рассказал, но, выпив коньяку, сложил влажные губы трубочкой и, чмокнув ими, словно послав воздушный поцелуй, посмотрел на Павла Петровича и произнес:

— А у нас нет ли где лишней жирности?

Павел Петрович видел: Кирьяк вовсе не шутит, а ищет возможность хорошо выскочить с планом, найти какую-нибудь лазейку, чтобы итоги выглядели более солидно, чем на самом деле есть. Павел Петрович рассердился и сказал резко:

— Нет у нас лишней жирности.

— А ты поищи, поищи,— спокойно ответил Кирьяк.— Ну, а коль не найдешь, то другие найдут. Вот Фролов. Однако и наука есть...

Умер Кирьяк во сне, когда отдыхал в отдельной комнате за кабинетом. Случилось это в семьдесят пятом. Когда Павел Петрович занял его место, то открылось немало неожиданного. Он не спешил перебраться в традиционный кабинет министра, ждал, пока там сделают ремонт, заменят кое-какую мебель. Многие вещи Кирьяка переправили его родственникам, но что-то и осталось. Вот это «что-то» повергло Павла Петровича в недоумение. Прошла неделя, как он начал работать в кабинете министра, и однажды, решив выпить чаю, ушел в комнату для отдыха; задумавшись о чем-то, машинально открыл дверцу белого шкафчика и обнаружил кипу журналов, это были скандинавские порнографические издания самого низкого пошиба. Павла Петровича передернуло. Черт возьми, зачем они были нужны Кирьяку? Солидный человек, в годах. Откуда это любопытство мальчишки к печатным плодам сексуальной революции? А ведь кто-то привозил их Кирьяку. Хотя, может, и в Москве добывали. Скорее всего Клык, более некому. Каких только тайн не таится в человеке...

Павел Петрович вызвал Клыка, но не в эту комнату, а в кабинет, сказал:

— Там, в шкафчике, остался кое-какой мусор. Уберите.

Нарочно ли Клык «забыл» об изданиях?.. Впрочем, об этом не стоило размышлять. Ведь Павел Петрович прекрасно знал — Кирьяк был склонен к лицедейству, заводил самые неожиданные связи: то у него обнаруживался в друзьях известный композитор, автор двух опер, то клоун, а то хирург, делающий операции на сердце; он любил

похвалиться этими знакомствами, они показывали широту его интересов. И, возможно, всю эту продукцию, что хранилась в его шкафчике, Кирьяк добывал не для себя.

Однако же все это было пустяком по сравнению с тем главным, что досталось в наследство Павлу Петровичу. Он ведь был первым замом у Кирьяка и должен был знать все, что творится в отрасли,— случалось оставаться и за министра,— но тут выяснилось: кое-какие важные рычаги были от него скрыты.

Вообще-то в последние два года он не ладил с Кирьяком, даже подумывал уйти из министерства. Главным, конечно, была «Полярка». Эта грандиозная стройка еще в проекте вызвала возражения Павла Петровича. Она не только съедала основные средства, но и возводилась в местах необжитых, где нужно было создавать все: и город, и дороги, везти туда людей. Павел Петрович придерживался идеи вообще ничего нового не строить, лишь обновлять заводы, считал: есть традиционные места развития промышленности, там из рода в род жили люди, знающие дело, у них был опыт, росли дети; если направить усилия на омоложение заводов, те обретут новое дыхание.

Кирьяк же считал: нужно больше предприятий, и чем они будут солиднее, тем ярче начнет выглядеть отрасль. Плевать он хотел на возражения Павла Петровича. Он добился шумного постановления о «Полярке», и та сразу же получила все льготы «стройки века». Впрочем, каждое уважающее себя министерство должно было иметь свою «стройку века». Это могла быть какая-нибудь супердомна, хотя в мире начался процесс перехода металлургии на бездоменное производство; могла быть могучая плотина, хотя специалистам было ясно, что возводить ее на равнинной реке — наносить ущерб и землям и лесам, а достаточной электроэнергии гидростанция не даст; это мог быть и небывалых размеров завод, которому после пуска никак не удавалось войти в ритм, потому что был слишком удален от смежников.

Стройки века, стройки века! О них трубили газеты, особенно упирая на то, что работа кипит в сугубо сложных условиях — то среди болот, то там, где тридцатиградусные морозы норма; и туда направлялись эшелоны с людьми, им хорошо платили, они и в самом деле ворочали на пределе сил, превозмогая болезни, лишения, сражаясь с бездорожьем и гнусом. Павел Петрович не раз задавался вопросом: зачем все это? Ответ он нашел в коротких записях Кирьяка. Прежде он полагал: министр не хочет отставать от моды — все строят, всех обуяла строительная лихорадка, за фонды дрались со скрежетом зубным. Дрался и Кирьяк. А что мы, хуже других?.. Но все оказалось проще и страшней.

Первая же запись, обнаруженная Павлом Петровичем в сейфе, насторожила: «Начать с «Полярки», закончить ею. Остальное утонет». Это были подготовительные заметки к важному докладу. Когда Павел Петрович увидел еще несколько подобных записей, он сообразил: «Полярка» рассматривалась Кирьяком как ширма, она заслоняла собой многие неполадки в отрасли, скрывала курганы хлама, который начал загнивать со всех сторон. Как Павел Петрович не мог додуматься прежде до такого примитива? Да ведь когда мыслишь иными категориями, когда ломаешь мозги над технологическими новшествами, то тебе и в голову не придет, что заглавным надо считать показуху в самом ее примитивном виде. Вот почему Кирьяк барственно разъезжал по Западу, никому не доверяя закупок для «Полярки», он видел себя солидным купцом, перед ним открывались двери знаменитых фирм; он и закупил оборудование на полтора миллиона долларов, которое оказалось начисто непригодным, и никто не знал, что с ним делать. Зато слава об этих закупках как о могучей и выгодной сделке прошлестела по всем ведомствам.

Вот что пришлось разгрести Павлу Петровичу...

Он думал: и прежде «находили» бригаду или одиночек-рекорд-

сменов, создавали им особые условия, а потом в газетах и докладах шумели о них, это тоже были ширмы, за которыми пытались скрыть плохую работу коллективов, но такие трюки быстро раскусили. Но «стройки века» — это не бригада, тут иной размах... Может быть, и не все они походили на «Полярку», да, наверное, не все; скорее всего началось с действительно необходимого, а такие, как Кирьяк, учуяли в этой необходимости возможность эффектным броском вырваться вперед и затушевать грехи отрасли.

И вот Кирьяка нет, а «Полярка» осталась. Подсчитали: пожалуй, дешевле свернуть строительство, чем продолжать его. Но как свернуть? Столько она всего съела, эта «Полярка», да и люди обжились, живут надеждами... Остановить строительство оказалось невозможным. Надо было ускорить ввод. А потом? Потом — куда вывезет. «Поляркой» занимался сам Кирьяк. Когда его не стало, Павел Петрович решил поручить ее Фролову, но тот отлично понимал, какая это мощная мина, как она может сработать в будущем, и предложил создать совет, он затушевывал четкую личную ответственность.

Почему все это Павел Петрович сейчас вспоминал? Да ведь все упиралось в Институт. Вот его-то надо было строить обязательно. Этот самый Институт Павел Петрович и считал для отрасли «стройкой века», хотя шуметь о ней не следовало...

Андрей Бастионов как-то быстро заматерел, ему было только тридцать, а он уже выглядел массивным дядькой — в роговых очках, с высоким лбом, обрамленным русыми волосами, которые падали чуть ли не до плеч, но прическа эта не выглядела вызывающе, как у длинноволосых юнцов, подделывающих свой облик под Иисуса, она придавала Андрею Владимировичу некую барственность, у него и руки сделались пухлыми, и обозначилось нечто похожее на брюшко, только щеки оставались румяными, выдавая его возраст. Было и еще одно: гонкая усмешка на губах, она словно навсегда задержалась на его лице, дабы собеседник чувствовал: Андрей Владимирович не все принимает всерьез. Может быть, так и было на самом деле. Бастионов хорошо образован, часто выезжал за границу, и помощники у него были первоклассные. Он предложил централизовать все пять министерских НИИ, объединить их в единую научно-производственную фирму, где бы шли не только технологические разработки, но и экономические и управленческие. Так Бастионов стал генеральным директором объединенного головного НИИ, а Павлу Петровичу удалось заполучить хорошую площадку на Юго-Западе под новое здание. Ох, какой великолепный домище они построили! Экспериментальные цехи, лаборатории, а на верхнем этаже — спортивный комплекс с бассейном. Редкое по тем временам здание в Москве. Впрочем, всем этим занимался Бастионов, и дела у него шли прекрасно.

Павла Петровича мало заботила семейная жизнь дочери, просто иногда удивлялся: как она сумела еще школьницей разглядеть такого парня, как Андрей? Ему всегда казалось: Люся чем-то похожа на обезьянку — невысокая, черноглазая, с упрямыми складками у рта, у нее быстро менялось настроение: то она была беспечно весела, то становилась дерзкой и надменной, могла поставить на место любого, кто бы попытался ее задеть. И в одежде такие же крайности, то вытертые на сгибах джинсы, туго обтягивающие ягодицы, то строгий английский костюм. Но все ей было к лицу. Честно говоря, он не мог понять почему на нее так заглядывались мужчины, видимо, в ней было нечто такое, что отцу заметить не дано. Он спрашивал об этом у Сони, та загадочно усмехалась: просто ты не все понимаешь в женщинах, — но от объяснений уходила. Однажды он услышал, как Люся материлась; сидела на краешке стола в его домашнем кабинете и, нахмурив лоб, орала в желтую телефонную трубку:

— Слушай, ты!.. Если завтра у меня не будет анализа, я тебя по-

вешу за...— И она четко выговорила, за что повесит неведомого себе-седника, и с отвращением положила трубку.

Павел Петрович был потрясен услышанным, но Люся, увидев его, ничуть не смутилась.

— Ты где этому научилась? — строго спросил он.

— Брось, папа. Я что, в колбе живу? — И она ушла в столовую, делая вид, что ей безразлично, как он к ней относится.

Ему некогда было вникать в ее жизнь, тут он целиком полагался на Соню, но после стычки с дочерью сказал жене:

— Ты бываешь у Люси. Там что, все матерятся?

— Что ты,— замахала руками Соня.— Там если собирается компания, то приходит Новак. А разве ты не знаешь, какой он?

Да, он знал, как к Семену Карловичу Новаку тянутся молодые, а этот профессор вульгарностей не терпел. С Новаком у Павла Петровича вышла история удивительная, редчайшая, можно сказать. Он о Новаке слышал от Андрея, который ставил его на десять порядков выше всех других работников Института, вытаскивал его из академии с большим трудом, дал могучий сектор. Но странность была не в самом профессоре, а в том, как неожиданно пересеклись их судьбы... Много было вокруг Павла Петровича людей и до войны и после нее, сколько встречалось их на военных дорогах, но все куда-то исчезли. А вот Новак... Тут нет никакой случайности, напротив, такая вероятность пересечения судеб должна бы быть, пожалуй, большей, но под эту вероятность подпал всего лишь один человек — Семен Карлович Новак.

А было так. На коллегии обсуждался проект двух новых цехов; надеялись, что вопрос решится быстро, но поднялся худощавый человек с бородкой клинышком и спокойно, без нажима распушил проекты так, что и возразить никто не смог, все лишь охнули от досады. Когда объявили перерыв и Павел Петрович увидел, как Новак достает портсигар, какой-то странный сигнал долетел до него. Ничего, конечно, удивительного не было, что Павел Петрович обнаружил: этот человек знаком ему, да так и должно было быть, ведь тут собрались люди, с которыми он когда-то и где-то встречался. Новак уже закуривал, когда Павел Петрович окликнул его и попросил пройти к нему в кабинет, чтобы переговорить с глазу на глаз. И вот когда они сели друг против друга, Новак сказал, улыбнувшись:

— А ведь когда-то мы были на ты.

Первое, что подумал Павел Петрович: видимо, учились вместе в Уральском индустриальном, но разве всех, с кем учился, упомнишь.

И не ошибся. Но тут было и другое. Новак оказался человеком его детства. Павел Петрович смутно помнил — рядом рос мальчишка, чех. Отец Семена был из Брно, попал с группой легионеров в плен; вернее, дело было так: австрийцы кинули чехов в первую мировую войну под командованием немцев против русских, а чехи стали сдаваться полками, чуть ли не с развернутыми знаменами. Одних занесло в Сибирь, других на Урал; были и такие, что уходили воевать против немцев, и такие, что держались своих, а потом, подняв мятеж, примкнули к колчаковцам, чтобы сохранить легионы, пробиться в родную Чехию.

За отца Семена все решила уральская красавица Настена. Наверное, она и впрямь была чертовски хороша, дочь вальцовщика. Отец Семена женился на Настене, ушел работать на Верх-Исетский завод, а потом... Потом он погиб так же, как и отец Павла Петровича, в страшную ночь, когда шли один за другим, обдавая небо фиолетовыми вспышками, трамваи и плач стоял над толпой на при заводской площади.

Они бежали с матерью, разбуженные соседями, и другие женщины бежали по булыжной мостовой, посреди которой стыло сверкали рельсы. Площадь перед проходными была оцеплена милицией и воен-

ными, а где-то там, в глубине заводского двора, еще полыхало пламя, а потом раздался тупой звон. Это трамваи, они разворачивались по кругу, и нельзя было разглядеть, что же там творится. Толпа стояла тесно, потом в ней завывали, заголосили, и мать тоже завывала. Почему пришли трамваи? Скорее всего не было иного транспорта, а нужно было вывозить тех, кто погиб и был ранен той страшной ночью... Трамваи прорывались сквозь толпу и набирали скорость, скрежеща на рельсах, выбивая на стыках проводов фиолетовое пламя. Павел жал и прыгал на решетчатые ступени, ухватясь за поручень. Дверей в вагоне не было, он ввалился в него и различил среди трупов белое лицо отца и его обгоревшие руки. А может быть, это лицо он видел позднее в гробу, который стоял в зале заводского клуба, их там много стояло, и худой человек в полувоенном френче визгливо кричал, что карающий меч падет на головы диверсантов, отъявленных врагов народа, погубивших лучших людей завода. Око за око, зуб за зуб! Павел тогда впервые услышал эти слова, их шептали вокруг как заклинание. А потом потянулись огромной колонной, несли на руках гробы. И чеканился шаг на черной мостовой. Око за око, зуб за зуб...

В туманной дали послевоенных лет всплывал и зимний вечер, когда Семен притащил Павла к себе, наткнувшись на него в коридоре индустриального. Они сидели друг против друга, пили водку, закусывали квашеной капустой и салом с черным хлебом и не столько о войне вспоминали, как о своих отцах, которых не стало в ту ночь, насыщенную электрическими разрядами. И Семен все время поглядывал на пивную фаянсовую кружку с металлической крышечкой, что стояла на буфетной полке. Ее таскал в ранце легионер первой мировой, захватив как реликвию из любимой пивной в Брно.

Странно, сколько всего забылось, а вот это помнится до сих пор.

Наверное, Павел Петрович встречал Новака и раньше, до коллегии, конечно же встречал, не мог не встретить. И его статьи читал, но то, что этот человек имеет отношение к его прошлому, обнаружилось случайно. Могло бы и не обнаружиться.

Конечно, тот Новак, которого он знал в послевоенное время, был совсем другой человек, не похожий на нынешнего. Но ведь и Павел Петрович стал иным. И странно не то, что они встретились, а то, что Новак признал Павла Петровича, ведь и в его жизни было множество людей и среди них такие, что числились в его друзьях, но затем затерялись во времени и пространстве. Павел Петрович, однако, близким человеком Новаку считать себя не мог, но с той самой коллегии стал пристальней следить за делами профессора.

И все же он не поверил, когда Соня сказала:

— У твоей дочери роман с Семеном Карловичем.

— Со стариком? — ахнул он.

— Ему еще нет шестидесяти, — сказала Соня. — В наше время это не старость.

— Чушь какая-то!

— Для тебя чушь, а для меня трагедия. Вот лопнет ее брак с Бастионовым, что ты тогда запоешь?..

Бежевая папка лежала перед ним на столе, и постепенно выяснялось: в ней были не только документы, направленные против Бастионова, в ней тайно хранились невидимые страницы его собственной судьбы. Да, может быть, подлинная суть его жизни вовсе и не выражалась в его внешних поступках, а была сокрыта от других? Впрочем, подобное происходило и с окружающими. Люся, Новак, Бастионов... Разве он разгадал их?

### *Глава шестая*

Они шли проселочной дорогой, пролежавшей через поле озимой пшеницы, она еще была зелена, но с золотистым налетом, колос был какой-то неуверенный, слабо покачивался на стебле. Дорога была

пуста, в низинах на ней поблескивали лужи. Синяя даль неба покрывалась редкими кучевыми облаками, они застыли в неподвижности и казались одинаковыми, с чуть сероватыми мохнатыми брюшками, а вершины облаков пронзительно светились белизной...

Павел Петрович и Нина миновали овражек, забитый пакетами изпод молока, консервными банками и прочим мусором, и за сосновым перелеском открылось небольшое озерцо с круглым, заросшим кустарником островком. Тропа вела к деревянным мосткам с пошатнувшимися перилами, к скамье под ивой. Нина сбросила с себя легкий ситцевый халат, кинула его на скамью, солнце било по ее телу, высветившая синие жилки на ногах и складки на талии, плечи подгорели. Нина картинно вскинула руки и, легко подпрыгнув, обрушилась в воду.

Павел Петрович немного понаблюдал, как она плывет, перевел взгляд вправо — там, ярко выделяясь белизной, стояла березовая роща, та самая, где в давнюю осеннюю пору он встретил человека в длинном бежевом макинтоше и шляпе, которого когда-то знал весь мир. Вот уж много лет Павел Петрович бывал здесь, и когда шел сюда на прогулку, то неизбежно, хоть мельком, но вспоминал необычную встречу. Было много всякого, но почему-то исповедь человека, в которой сквозила тягостная жалоба, что главное из задуманного не удалось свершить, преследовала его многие годы и только нынче стала более понятной. Может быть, в той исповеди Павел Петрович искал ответ на то, что произошло с ним самим. Не важно, что на поверхность выходили явления вроде бы разного круга: середина пятидесятих и середина восьмидесятых, но у этих разных явлений должна была обозначиться единая причина. Он это чувствовал, и ему мнилось: он близок к разгадке... А отыскал ли причину своей неудачи тот самый человек, с которым Павел Петрович жег костерок на опушке рощи? Пожалуй, на это ответить мог лишь он сам, а его давно нет в живых. Павел Петрович осознавал только одно: вырвавшись однажды из плена усвоенных им понятий и жизненных установлений, сломав самого себя во имя идеи справедливости, этот человек, спотыкаясь и падая, уже не мог повернуть назад, потому что для него это значило снова стать рабом минувшего.

Павел Петрович смотрел в сторону березовой рощи — и словно из дальних лет долетали до него слова, звучал голос с хрипотцой, с легким покашливанием: «А, значит, я так думаю... значит, так: не довел до ума главного. А оно в чем, значит? Идеи, которые берем из прошлого, значит, нового не дают... они со зловонием... в них смердят умершие истины. Это, значит, понятно?.. Э-э, нет, совсем не понятно. Вот тут и была ошибка, значит...»

Случилось это в семидесятом, в ясный и свежий осенний день, Павел Петрович ощущал себя молодым, может быть, даже счастливым — он был переполнен надеждами, и дачу в поселке он только что получил, правда, небольшую, в ней еще пахло краской после ремонта. Соня радовалась этой даче, да и Люся была при них, хотя уже вышла замуж и родила Леньку. Хорошее было время. Пожалуй, лучшие его годы.

Сейчас и не вспомнишь, почему тем осенним утром он решил пройти этой дорогой, шагал бездумно, срубая палкой усохшие зонтики болиголова. Укороченная тень скользила слева и чуть впереди, она казалась смешной, потому что он был высок, правда, узкоплеч, и если приходилось покупать готовые костюмы, то рукава Соня подбивала, но он всегда держался прямо. Впрочем, и сейчас не сутулился, хотя бывают боли в спине. Эта его подтянутость иногда сбивает с толку бывших военных, они почему-то признают его своим, даже интересуются: где служил, в каком звании ушел в отставку... Ну, а тогда... У скамьи на опушке рощи он увидел человека в долгополом бежевом макинтоше, темно-зеленой шляпе, она была низко надвинута на лоб.



Павел Петрович сразу же узнал его, хотя тот стоял боком. Человек присел перед кучкой хвороста, чиркнул спичкой, она у него погасла, он зачем-то посмотрел наверх, и Павел Петрович окончательно убедился, что не ошибся: это круглое лицо с отвисшими щеками было знакомо до мелочей. Человек подул на пальцы, видимо, они у него озябли, и опять чиркнул спичкой, но она погасла снова. Павел Петрович решительно свернул на тропу, ведущую к скамье, быстро огляделся и удивился, что вокруг никого нет. Человек услышал шаги, кряхтя приподнял голову, и Павел Петрович обрадовался его доверчиво-улыбчивым глазам.

— Здравствуйте,— сказал Павел Петрович.— Помочь чем-нибудь?

— Да вот, значит... спички отсырели.

Павел Петрович похлопал себя по карманам, зажигалка оказалась на месте, быстро присел. Меж сухих веток был воткнут клоч бумаги, она сразу занялась, и огонь лизнул сушняк. Пухлые пальцы с желтоватыми ногтями протянулись к костерку, то сжимались, то разжимались, и Павел Петрович вздрогнул от неожиданно отвердевшего взгляда.

— А помню, значит... Вот фамилию... Директор. Верно? Хе!.. Я тогда сказал: этот всем носы утрет... Верно?

— Верно,— отозвался Павел Петрович, чувствуя холодок на спине, потому что никак не ожидал, что этот постаревший человек сумеет его вспомнить, ведь семь лет прошло после их первой встречи. Да и была она... Разумеется, Павла Петровича предупредили о его приезде, и не только предупредили, но и провели подготовку. Он нагрязнул с целой свитой и первым делом выругался, а потом понес, понес, чуть ли не брызгая слюной в лицо, что это не завод, а сортир, в котором надо топить таких руководителей, как Павел Петрович, в собственном дерьме топить!

Тут помощник шепнул Павлу Петровичу, что по вине сопровождающих весь кортеж рванул не по той дороге; машины въехали в карьер, вовсе и не заводу принадлежащий, забуксовали в глинистых лужах, а лимузин пришлось выволакивать трактором. Павел Петрович вдруг разозлился: а, пропади все пропадом, почему он должен терпеть обиды? Он резким протестующим жестом прервал высокого гостя и, успев только увидеть побледневшее до мертвенной синевы лицо секретаря обкома, выложил: завод и так построил дорогу и мост, выручил область, да еще и другое строит, а о карьере пусть позаботятся те, кто отвечает за разработку нерудных материалов, а то одним разогнуться некогда, а другие в носу пальцем чистят, у завода свои проблемы, и немалые, и коль приехали сюда такие лица, то не худо было бы им прежде всего в эти проблемы вникнуть, они для всей отрасли типичны... Пока он это все выдавал, то видел, как стало меняться багровое от гнева лицо, сначала на нем возникло любопытство, потом улыбка.

— Что, значит, идеи есть? Прошу подробней...

И тогда Павел Петрович пошел на крайность, может быть, даже на серьезный риск, но он не хотел упустить возникшей возможности добиться главного: быстрой и решительной реконструкции завода. Нужно было говорить четко и ясно, чтобы была понятна каждая мелочь, он так и говорил и при этом не стесняясь поливал строителей за плохое качество работ, а ученых за нерасторопность, показывая, что ценного соорудили инженеры завода, а они создали установки, которых нет в мировой технике. Он видел — это нравилось, даже вызвало восхищение.

— Вот хоть один по-честному рубит. Давай, директор, давай. Неси на-гора что в душе есть! А вранья я нахлебался... Это же надо, до чего доперли: кукурузу убрать не смогли, так рельсу к трактору присобачили и примяли. Мол, с дороги поле чисто, стебли не стоят, значит. Показушники, мать вашу... Дело нужно, директор, не словеса,

значит, а дело. У нас что, мозги хуже, чем у американцев? Вот-от! — сделал он рукой широкий жест. — Глядите, что на обычном заводе сделали! Европе нос утерли! Веди обедать!

Об обеде позаботился не Павел Петрович, заранее приехали люди, готовили в столовой, и хотя был ноябрь, но откуда-то привезли розы. Обед удался, было шумно, весело, много говорилось: впереди крутые дела, надо наращивать темпы, быстрее, быстрее, чтобы всего было вдоволь, чтобы люди знали: дальше станет легче жить, магазины завалят костюмами, обувью, всеми необходимыми товарами; с жильем-то вот сумели, стронулось дело с мертвой точки — сколько людей в той же Москве в подвалах жили, в ваннах при коммуналках обитали, а бараки — гнойники, хорошо, что их и тут снесли.

— То, что поселок строишь, молодец! Рабочий — хозяин, у него должна быть не только квартира, но и удобства. Это ничего, что потолки низкие. Везде, значит, так... Ну, еще молодой, директор, еще наворочаешь. Ох, и нужны такие, как ты. Чтобы открыто, без пока-зухи!

На прощанье даже обнял Павла Петровича, хотя был ниже его, хлопнул по шее.

Может быть, с этой истории и начала всерьез меняться судьба Павла Петровича; года через два, когда принялись восстанавливать министерства, его отозвали с завода; ведь тогда в свите были люди, которые остались на своих местах, занимались кадровыми вопросами, а он уж значился у них как человек, имеющий свой взгляд, как крепкий руководитель. Это, конечно, он узнал позднее. Но вот уж никак не думал, не гадал, что спустя семь лет встретит на опушке леса этого человека и будет с ним разжигать костерок...

Павел Петрович смахнул со скамьи опавшие листья, и человек, запахнув макинтош, сдвинув со лба шляпу, сел, сложив в замок руки на округлом животике. Теперь он обращался к Павлу Петровичу как к старому знакомому. Смотрел на огонь и говорил, перебивая сам себя, иногда похохатывая; смех у него был необычным, сначала вырывался громким «хе!», потом постепенно уходил куда-то внутрь, словно сглатывался, и затихал. Павлу Петровичу было интересно сидеть с ним и слушать, солнце стало хоть слабо, но прилекать, и здесь, в затишке, было приятно. Конечно, Павел Петрович не мог запомнить всего, что говорилось, но кое-что осталось в памяти. Вот хотя бы слова о вредности отживших идей, об их разлагающей силе... И все же не сам разговор был важен, а состояние человека, испытавшего на своем веку так много всего, что редко, очень редко кому подобное выпадает, но вблизи оказавшегося обыкновенным, старчески болтливым и доступным в своей неприкрытой простоте, способным рассуждать без озлобления и горечи. Вот что тогда потрясло.

И еще слова, сказанные каким-то бесцветным, полным смирения голосом, отчего они звучали еще страшней:

«Это, значит, тяжело доживать, это, так сказать, удел каждого, кто до старости. И, бывает, от скуки можно волком завывать. Но не надо. Все равно в каждой жизни есть смысл... Я вот так понимаю сейчас, когда оглядываюсь... А оглядываться, значит, это и думать, это полезно. Так вот я так понимаю: индивидуальность должна проявляться в инициативе, а решения должны приниматься коллективно. А другого, так сказать, быть не должно...»

Павел Петрович запомнил эти слова. Они казались простыми, ясными и скорбными. А ведь он знал, что, отстраняя от дел этого человека, его обвинили во всех грехах, главным из которых считались произвольные решения, игнорирующие объективные условия и закономерности, надуманные планы. Но это скорее всего были и не планы вовсе, а мечтания, плоды необоримой фантазии, которые людьми кабинетными возводились в закон. Видимо, обещания райской жизни устраивали многих, верить в нее было сладко. Верил и Павел Петро-

вич, ведь поначалу ему удавалось все: и строительство, и новые формы организации производства; да и люди работали жаростно, может быть, впервые за много лет всерьез ощущая, что работают на себя. Да, Павел Петрович верил, хотя сам потом удивлялся, как мог поддаться общему настроению, не отличить фантазию от реальности. Однако, сидя тогда на скамейке, глядя на костерок, Павел Петрович задумался: а может, эти мечтания возникли от нежелания идти по чужим следам, были поиском своего, нетрадиционного пути? Беда же заключалась не в самом этом поиске, а в поспешности, в стремлении утвердить в жизни непроверенное — ведь времени у этого человека оставалось мало, старость шла по пятам.

Павел Петрович не знал тогда, не мог знать, что ему самому придется до времени покинуть место, на которое взошел, и что встреча на опушке рощи в золотой осенний день поможет ему выработать линию поведения.

Конечно, до него доходило: определяют его как человека, способного выдержать любой удар судьбы; но в то же время о нем шла молва, что ему удивительно везет, что он там пройдет, где любой другой спасует. А один из серьезных государственных деятелей бросил фразу: «Доброго бога и телята лижут». Фраза эта пошла гулять по ведомствам; хотя смысла ее никто как следует не разобрал, однако все уловили в ней одобрение деятельности Павла Петровича. Многие из его окружения были убеждены: какие бы тучи ни ступились над головой Павла Петровича, гроза обойдет его стороной. Но вот когда газеты сообщили, что он отставлен от дел «в связи с уходом на пенсию» — хотя шестьдесят три года возраст по нынешним временам для мужчины нормальный, — никто почему-то не удивился.

Обычно о назначении или снятии узнают загадя, а тут все свершилось быстро. Лишь позднее Павел Петрович сообразил, что за месяц до его ухода жизнь обрела некое ровное течение, его никуда срочно не вызывали, как это случалось почти весь год, и он намеренно резервировал время на эти вызовы; о нем вроде бы забыли, и он обрадовался: наконец-то дали возможность спокойно вести дело. Глупо, конечно, обрадовался, должен бы был насторожиться, но не настрожился; впрочем, это ничего бы не изменило. Ему предложили протеститься с коллективом, однако он объявил: сантименты излишни, речи тем более, пенсия же не наказание, и ничего позорного в этом видеть не следует. Ему бросили вслед, теперь уж с явной насмешкой: «Доброго бога и телята лижут». Он даже не поинтересовался, кто это сказал, ушел спокойно, как уходит победитель, а не побежденный, он понимал — выдержкой его многие будут восхищаться, начнут гадать: где-то теперь объявится? — но он знал твердо: трудовой путь окончен...

За лесом, где был пионерлагерь, прозвучал горн, потом врубили музыку, боевой марш потек над сонными деревьями. Как хорошо и чисто вокруг, и все же внешний мир, его зримые контуры не подлинное бытие, истинное чаще всего сокрыто... А Нина радостно кричала, плескаясь в теплой воде совсем как девочка.

### *Глава седьмая*

В душный вечер, когда далеко над лесом вспыхивали беззвучные молнии и дурманно пахло нагретыми за день цветами, на дачу ввалились пыльные, загорелые до черноты Люся и Семен Карлович, оба в шортах, кедах, выгоревших панамах, с большими рюкзаками. Он удивился, какие у Новака крепкие ноги, в буграх и шрамах. Скорее всего Семен Карлович не ожидал встретить в будний день на даче Павла Петровича, и он смущенно топтался на пороге, пока Люся не взяла его за руку и сказала:

— Ванная вон там, по коридору направо. Я после...

Новак кивнул Павлу Петровичу и, торопливо подхватив рюкзак, двинулся в сторону ванной, а Люся как ни в чем не бывало отправилась на кухню, забренчала посудой.

Соня придвинула к Павлу Петровичу разгоряченное лицо, зашептала:

— Ну, вот видишь... Разве это нормально?

— Мам! — раздалось из кухни. — Ленька спит?

— Да нет еще, музыку слушает, — поспешила отозваться Соня. — Поднимись к нему.

— Потом!

Семен Карлович вышел из ванной в свежей белой рубашке и легких брюках — они, наверное, хранились у него в рюкзаке. Бородку он аккуратно расчесал, и она лоснилась, точно смазанная маслом; он еще не надел очков, и на загорелом лице резко выделялись своей бледностью круги вокруг глаз, от которых разбегались такие же светлые, не тронутые солнцем лучики морщин, — это придавало его лицу веселое, даже насмешливое выражение.

Павел Петрович не знал, как себя держать. Замкнутое, недружелюбное лицо Сони, ее сердитый шепот должны были бы настроить его на строгость, но весь вид Семена Карловича располагал к себе; да, честно говоря, он и не видел ничего особенного в появлении Новака. Люся всегда отличалась экстравагантностью и независимостью в поступках, тут удивляться было нечему. Удивляться можно было другому, тому, как бодр и свеж для своих лет Новак...

— Извините, Павел Петрович, за вторжение, но наш путь лежал мимо этих мест, — сказал Семен Карлович неожиданно просто.

— Какой путь? Куда? — спросил Павел Петрович.

— Я сяду, с вашего позволения... Благодарю. Да вот мы с Людмилой Павловной Золотое кольцо осваиваем. За неделю пятьдесят верст прошли.

— Зачем? — спросил Павел Петрович, но тут же спохватился: вопрос нелепый, ведь люди чаще всего путешествуют не ради какой-то цели, а чтобы отвлечься от дел и насладиться красотой разных мест. — Впрочем, путешествия нынче в моде. Многие, говорят, осваивают этот туристский маршрут. Правда, предпочитают на машинах...

Новак усмехнулся:

— У нас, однако, была своя задача... Понять, как древние, неизвестные с системой градусного измерения углов, сумели создать такие поразительные гармоничные арки и купола...

Павел Петрович внезапно рассердился: с одной стороны, мучила неловкость, а с другой — этот дурацкий, никчемный разговор. Ну какое дело Павлу Петровичу до древней архитектуры? А самому Новаку? Взрослые люди... Есть же специалисты, пусть они и копаются в этом. Но тут подумалось: а может, Новак вовсе не тот сугубый рационалист, каким его привыкли видеть? Ведь сколько раз ошарашивал он серьезных ученых, даже Бастионова, нестандартными подходами к проблеме, отыскивая решение там, где никто и не предполагал его, — такое возможно, когда человек видит далеко за пределами заданного.

— Вам что же, эти наблюдения для дела нужны? — немного грубовато спросил Павел Петрович.

— А кто знает! — улыбнулся Новак. — Может, и для дела. Все может в один прекрасный момент озариться неожиданной мыслью. Интуиция... О ней вот говорят, говорят. А что она такое? Думаю, некий обобщенный образ, вбирающий многие детали проблемы. Вот из этих-то деталей и формируется, лепится нечто цельное, которое, конечно же, превышает обычную сумму составных частей. Ведь самое-то главное, Павел Петрович, сумеет увидеть эти взаимосвязи. Древние это знали, они объединяли живую природу с мертвой, и получался храм, который и место красил и сам этим местом красен был. И только не-

творческий человек может противопоставить интуицию рациональному мышлению. Интуиция, или, как ее еще называют, озарение, имеет свою систему и потому может быть усовершенствована. Кажется, просто?

Однако же от этих слов Павел Петрович ощутил еще большее раздражение, потому как уловил в профессорской речи ответ на свои мысли; было неприятно, что Новак их угадал. Да и что происходит? Почему Павел Петрович должен ощущать ущемленность в собственном доме от появления незваного гостя?.. Странный человек, возникший на его пути из прошлого. Однако же нельзя было прочертить никакой прямой из минувшего до нынешнего дня, и дело было вовсе не в том, что между давним временем и теперешним не находилось общего, а в том, что они оба стали иными людьми, с иным мышлением, иным кругом забот; разрыв был так велик, что никакая искусственная попытка сблизить их — вроде отношений дочери с Новаком — не могла бы их соединить. Они жили по-разному, к разному стремились, по-разному видели свои цели, и потому все, что говорил Новак, было чуждо Павлу Петровичу, он просто этого не принимал. И, окончательно рассердившись, сказал грубо:

— Что же, всем этим вы и сбили с панталыку Люсю?

Новак, видимо, не придавал значения его раздраженному тону, длинным пальцем пригладил бородку и улыбнулся:

— Будьте любезны, Павел Петрович, поясните.

— Что пояснить?

— А вот это самое «с панталыку».

И тут его прорвало:

— Да в конце-то концов имею я право знать, что происходит с дочерью? У нее муж, ребенок, работа. Она все это бросает и шагает за вами с рюкзаком. Она ведь не девчонка! Да и вы... Ведь разница в двадцать с гаком лет. Я что же, должен молчать, коль ее семья у меня на глазах разлетается?

Конечно, не надо было все это выкладывать, да еще в такой манере. Соня и та побледнела от страха. Однако Новак не выказал удивления, выслушал все спокойно и так же спокойно ответил:

— Я полагаю, Павел Петрович, что Людмила Павловна самостоятельно мыслящий человек и способна сама принимать решения. Что касается меня, то вы уж извините: я отчетов в подобных делах никому не даю.

Тут из полутьмы выступила Соня, она была бледна, и сцепленные пальцы ее были белы; он никогда не видел ее прежде в таком напряжении и никогда не слышал у нее такого шершавого голоса.

— Да как вы смеете! — выдавила она из себя, но не договорила, потому что Люся в это время протопала босиком из ванной и, встряхивая влажными волосами, стремительно всех оглядела и спросила с вызовом:

— Что здесь происходит?

И Соня шепотом проговорила:

— Ничего.

— Ну, если ничего, — беспечно сказала Люся, — тогда пойдемте чай пить.

— Хорошо, хорошо, — засутилась Соня и первая выскочила в кухню.

Павел Петрович оказался напротив Новака и невольно наблюдал, как тот открывал рот, чтобы откусить от пирога, делал он это очень аккуратно, ни одна крошка не упала ни на бороду, ни на стол; отхлебывая чай, он чуть щурил глаза, стекла очков при этом запотевали — чай был горяч, но это, видимо, не мешало Новаку. Напряжение чувствовалось за столом. Но Новак и Люся молча и с удовольствием ели. Павлу Петровичу все это не нравилось, он устал от своего раздражения, хотелось уйти к себе, плотно закрыть дверь, врубить телевизор,

чтобы полностью отрешиться от происходящего в доме. Но понимал: это не выход, Соня все равно не даст ему уйти.

— Я все-таки не понимаю,— вдруг произнесла Соня,— зачем шататься по церквам?

— Если не понимаешь, мама,— сухо сказала Люся,— то мы не сможем объяснить.

— А ты все-таки попробуй. В мою молодость никто такими вещами не увлекался, хотя церкви были кругом. Но ни их содержимое, ни их облик не входили в понятие культуры. Разве от этого мы были бедней?

— Возможно,— безразличным тоном произнесла Люся.

— Но Семен Карлович... Он тоже... Он немного более старшего поколения, чем я.

Новак добродушно улыбнулся:

— Стараюсь восполнить пробел. Еще Спиноза сказал: незнание не довод, невежество не аргумент.

— Ах вот как! — воскликнула Соня, и в этом восклицании отчетливо пробилося ее высокомерие. Она — дочь поселкового врача, единственного человека, имевшего в жалкую послевоенную пору пианино в доме, библиотеку, копии картин Шишкина и Репина, она, смолоду усвоившая, что принадлежит к особой породе — интеллигенции, не могла терпеть, когда с ней так говорили. — Это что же: неуважение к церкви стало ныне называться невежеством? Может быть, мне вам напомнить, как относились к ней Лев Толстой и другие великие люди? Или они тоже теперь не в почете?

Люся приготовилась ответить, и, судя по ее лицу, нечто резкое, но Новак не дал, он рассмеялся, взял Сонину руку и поцеловал, сказал мягко:

— Не надо, Софья Александровна, возводить все в эдакую степень. Каждый выбирает себе занятие по душе... Ну, извините меня, извините, что потревожил ваш покой. Спасибо за хлеб-соль. — И с этими словами он поднялся, кивнул всем. — И доброй вам ночи.

Павлу Петровичу показалось, что Новак сейчас последует за Люсей в ее комнату, и тогда уж Соню не остановить, по ее лицу и так уже пошли пятна. Но Люся кинула через плечо:

— Я провожу Семена Карловича до автобуса и вернусь.

Павел Петрович знал: в такую пору автобусы ходили редко, но на шоссе, если повезет, можно поймать такси. Новак и Люся ушли. И в это время раздался грохот: Соня ожесточенно швыряла тарелки и чашки в мойку.

— Черт знает что! — донеслось до него.

Он закурил, вышел в гостиную, сел, не зажигая света, у открытого окна; за деревьями в сгустившейся темноте вспыхивали бледно-фиолетовые всполохи и слышался металлический скрежет, словно вдали шли вереницей трамваи, их дуги высекали на стыках проводов холодные вспышки. Он бежал с матерью, догоняя скрежещущий вагон. И где-то бежали рядом Настена, и Семен Новак, и еще множество людей, их крики сливались в единый вопль...

Он смотрел, как высвечивалось вдали небо, из сада долетал запах, какой бывает после электрического разряда... Новак всю жизнь прожил холостяком, до Павла Петровича доходили слухи, что он не был анахоретом, его навещали аспирантки, молодые женщины, они опекали его, ограждали от неприятностей, но никто никогда не осмеливался назвать его бабником. Видимо, есть какая-то система отношений между мужчиной и женщиной, понять которую Павлу Петровичу не дано. Раньше он об этом не думал, а сейчас придется, ведь Соня все равно не даст ему покоя.

Скрипнула калитка, и Люся торопливо зашагала по дорожке; наконец, она увидела огонек его сигареты, приостановилась, спросила:

— Ты что в темноте?

— Зайди,— глухо сказал он.

Она вошла в комнату, но свет не зажгла, села рядом.

— Будешь меня пытаться?

Если бы она не произнесла этих слов, то скорее всего он не стал бы ее ни о чем спрашивать, но тут не смог сдержаться:

— Ты что же... будешь разводиться с Бастионовым?

— Не знаю.

— Как это не знаешь? — удивился он. — Если ты решила весь белый свет посвятить в свои отношения с Новаком...

— А мне плевать! — сказала Люся и рассмеялась. — Он дерьмо, твой Бастионов! Для него я давно не существую! Ему не плевать только на тебя. Но если тебя завтра турнут, он и на порог не покажется. Он ведь не человек, а функционер. Если ему что-нибудь нужно, он всегда возьмет без спросу. Так и девок берет у себя в Институте. Налетит, как петух, потопчет и тут же забывает.

— Ты такое говоришь...

— Я правду говорю,— жестко сказала она. — Конечно, я упрощаю. Легче всего сказать о нем: карьерист. Скажешь так — и всем все вроде бы ясно... Конечно, он карьерист. Но не настолько, чтобы это было главным в нем. Он любит работать и умеет. Не отнимешь. Мозги у него что надо. И ребята рядом с ним крепкие. Но все равно он дрянь, фюрер. Да он задашит любого, кто ему хоть в чем-то помешает. Правда, может и помиловать, если тот ему для дела нужен. Теперь понимаешь?

— Нет,— признался он.

— Конечно,— согласилась она. — Ты его сотворил, потому и не понимаешь. Тебе нужен был такой, как он, да?

— Допустим.

— Вот ты и допустил. Был просто талантливый парень, а стал вождь. Теперь понимаешь?

— Нет. Если он ведет за собой людей, то каким же он должен быть?

— Да, наверное, я и вправду не смогу тебе объяснить,— вздохнула она.

— Значит, мама права,— ответил он. — Ты просто бесишься.

— Господи! — хмыкнула она. — Просто для мамы Бастионов свой. Мальчик из ее поселка, выбившийся в люди. Она им любителю, потому что считает: в его воспитании есть и ее доля.

Вот это было понятно. Андрей и в самом деле вырос на глазах у Сони, в ней сильно почти материнское чувство к нему. Она гордилась им, не раз говорила: «Андрей очень способный. Подумать только: у студента — научные труды. И какие! Вот, пожалуйста, жил при заводе, в поселке... Жаль, папы нет, он бы за Андрея порадовался, он ведь сразу сказал: этот парень — стоящий жених для Люси». И вот теперь брак Люси с Бастионовым грозит развалиться из-за Новака. Прежде она считала Семена Карловича воспитанным, порядочным человеком, а теперь фырчала: «Старый козел...» Однако же Павел Петрович понимал: не так просто тут все, Люся не ангел, от нее всего можно ожидать, но, видимо, и в ее словах об Андрее есть своя правда...

В ту душную ночь, полыхавшую зарницами, Соня не могла уснуть и все повторяла с тоской:

— Это надо же... Нашла себе любовника...

Почему-то большая разница в возрасте казалась Соне особенно предосудительной. Сейчас для Павла Петровича это выглядело наивным. Вот же у них с Ниной разница в двадцать два года, но они и не задумываются над этим...

Нина подплыла к мосткам, держа в зубах выдернутые где-то за островком кувшинки, бросила их на доски, потом пружинисто подтянулась, вскарабкалась на мостки.

— Что ты сидишь такой насупленный! — крикнула она, сдирая с головы мокрую шапочку. — Вода как парное молоко... Ну и что, что без плавок! Тут можно и голышом.

— Не хочется.

— «Не хочется», — передразнила она и плюхнулась мокрым задом на скамью, тут же охватила его руками и, оставляя мокрые пятна на рубахе, поцеловала. От нее пахло тиной, и этот запах был неприятен.

### *Глава восьмая*

В тот год ударили необычно сильные морозы, ртуть в градуснике стояла ниже отметки в тридцать пять градусов. Московский воздух, насыщенный испарениями, во время короткого дня густо желтел, и сквозь этот туман не способно было пробиться солнце, перспектива зданий ступшеывалась, лишалась четкой контурности, казалось, улицы двоятся, за машинами тянулись густые белые хвосты выхлопных газов, и все источало тонкий неприятный звон. До этих морозов выпало много снега, его не успели убрать даже в центре. Пустили машины, чтобы хоть немного расчистить дороги, они набросали снег на газоны, там выросли огромные сугробы, из них торчали вершины лип; сугробы взялись грязно-серой ледяной коркой, это напоминало военное время, когда снег убирать было некому.

Беда произошла вечером, где-то после семи, потом многие говорили: счастье, что так поздно, ведь большинство покинуло здание Института, осталось только двадцать семь человек вместе с охранниками. Но разве уместно тут слово «счастье»? Однако же возможность аварийного исхода видел не кто иной, как Новак. Здание было новым, в нем еще, до сути дела, только начинали обживаться по-настоящему, но это не должно было влиять на сдачу уникальной установки, которую так ждали заводы. Ее смонтировали на третьем этаже в цехе — теперь у Института были свои производственные площади, не надо было их выпрашивать под опытные образцы у заводов. Институт запаздывал со сдачей, но это было нормально. Однако Новак беспокоился как никогда, и не столько из-за установки, сколько из-за здания; возможно, он привык к старому, для него там все казалось надежным, да он и пытался сначала собрать установку на заводе, но выглядело нелепо — ведь простаивал свой цех. Новое роскошное здание с зимними садами в стекланных холлах, низкими потолками, спортивным комплексом на последнем этаже, где был плавательный бассейн, виделось ему чужим, он об этом говорил часто, молодые над ним посмеивались: «Вам бы в земляночку, Семен Карлович». Сам любивший разыгрывать и шутить, он от этих насмешек раздражался — это уж совсем на него не было похоже.

Новак неожиданно устроил разнос заместителю директора по хозяйственной части за то, что обнаружил на верхней площадке, откуда начинается запасная лестница, влажную стену. Указал: это протечки из-за бассейна, пусть немедленно спустят воду; но, как потом узнали, заместитель не внял: подумаешь, влажная стена, не в кабинетах ведь и не в лабораториях, дом еще новый, и не такое бывает. В морозы стену прихватило, образовалась выпуклость, но на нее, кроме тех, кто выходил на лестницу покурить, никто не обращал внимания... Это ведь потом выяснилось, что вода достигла третьего этажа, именно того самого, где расположен был цех с установкой, и напор льда сдвинул строительные плиты. Но главным, видимо, было не это.

Да, Новак что-то предвидел, потому и заявил Бастионову: без официального приказа установку не запустит. Андрей Владимирович ухмыльнулся: о чем речь, он, конечно же, немедленно подпишет приказ, таков порядок. Но Новак выкинул необычное: нет, директор его неправильно понял — копия приказа должна быть у министра. Бастио-



нов упрекнул Семена Карловича в тщеславии: вот, мол, сам министр должен знать о его делах,— однако же копию приказа завез Павлу Петровичу и укатил в Швецию...

Сколько бы ни прошло времени, но Павел Петрович никогда не забудет, как бесшумно возник подле него Клык, припухлое лицо его было непривычно бледно, только глаза по-прежнему оставались непроницаемыми; он весь источал тревогу. Павел Петрович уловил ее сразу, подумал: что-то дома,— и торопливо выдохнул:

— Ну?

Клык не сказал, а проскрипел в ответ:

— Институт рухнул. Все погибли.

На какое-то мгновение Павел Петрович ощутил облегчение: все-таки не дома,— потом он стыдился этого, старался заглушить в себе хотя бы проблеск воспоминания об этом чувстве, но не всегда удавалось, и саднило в душе...

Он тут же вскочил.

— Едем!

Когда Павел Петрович вышел из машины, то чуть не задохнулся от морозного воздуха, в который замешался запах газа и гари. Мощный свет прожектора выхватывал клубящийся столб белого, со зловещими желтыми космами пара и серое здание за ним, подробностей разглядеть было нельзя. Справа стояло несколько пожарных машин, а сами пожарники то исчезали, то возникали из мутной мглы, со скребущим воем подъезжали машины «скорой помощи». Военный человек с передатчиком на груди, который мигал то зелеными, то красными лампочками, подбежал к Павлу Петровичу, доложил обстановку. Из его короткого рапорта можно было понять, что, видимо, во время пуска установки произошел взрыв, который привел к разрушению здания с последующим пожаром; сейчас идут спасательные работы.

— Где тут телефон? — огляделся Павел Петрович.

Ему указали на соседний дом, рядом с которым толпились испуганные люди. Он позвонил Фролову, приказал: тот назначается начальником штаба по ликвидации аварии, пусть немедленно выезжает сюда, штаб скомплектует сам, свяжется с городскими властями и военными, нужна их помощь.

Больше он ничего не мог сделать. Павел Петрович вернулся в министерство, надо было срочно сообщить тем, кому он был подотчетен. Но едва он переступил порог кабинета, как пошли звонки. Он схватил обе трубки разом, и по обеим ему задали один и тот же вопрос: что произошло? Организован штаб, отвечал он, ведутся работы, но, видимо, нужна правительственная комиссия. Ему ответили: будет. Он не уехал в этот вечер домой, все время принимал донесения от Фролова, заснул лишь под утро часа на три. Конечно, было много дел, но он все оставил, поехал к Институту.

По мере того как машина двигалась в густом потоке — проезжая часть из-за плохо убранного снега была сужена, и потому часто образовывались пробки,— сделалось совсем светло. Подле Института он остановился, увидел, как тяжело тут работать людям: в морозном тумане фырчали экскаваторы и бульдозеры, они расчистили площадку для заезда машин. Левое крыло здания выглядело так, как это бывало в войну, когда взрывом бомбы сметало стену и обнажались лестничные пролеты. Нижние этажи были завалены битыми, с обнаженной, покоруженной арматурой плитами, всюду сверкали льдистые наплывы. Фролов вышел к нему с запавшими, небритыми щеками, с воспаленными глазами под белесыми ресницами и, притопывая в ботинках от холода, сообщил, что извлечь пока удалось только двоих, оба охранники, один из них был еще жив, но по дороге в больницу умер, однако успел сообщить, что услышал взрыв на третьем этаже, где проходили испытания, а потом здание качнуло и его оглушило. Павел Петрович понимал: с этим еще возиться и возиться,— но, приученный во всем

искать главное, прикинул, кто же здесь повинен. Ответ нашелся сразу. Стоило глянуть на здание, как становилось ясно: основная вина на строителях и проектировщиках; какой бы силы ни был взрыв, он не мог привести к подобным разрушениям — установка находилась в производственном помещении, там были надежные, проверенные конструкции; только строительный брак мог дать такой результат. Но ведь и взрыва не должно было быть. Однако на этот случай был предусмотрен специальный отсек — не рухнул здание, укрывшиеся в нем испытатели отделались бы небольшими травмами...

Павел Петрович еще раз окинул взглядом то, что осталось от Института, и замер — на крыше одноэтажной подсобки, куда вела ржавая металлическая лестница, стояла Люся. Она была в старой, затертой дубленке и пуховом платке, ноги почти по колено утонули в снегу; она вся подалась вперед и словно бы застыла в этом положении; лицо было бело, особенно почему-то выделялся белизной лоб. «Но она же замерзнет!» — чуть не вскрикнул Павел Петрович и бросил Клыкку: — Помогите ей спуститься!

Только сейчас, как это ни странно, он вспомнил, что где-то здесь под развалинами лежит Новак, до этого момента происшедшее воспринималось им в некоем обезличенном виде; рухнувшее здание, установка, бассейн — все это было конкретным, но это конкретное складывалось в одно общее понятие — Институт, и вот теперь из этой обобщенности выступили человеческие лица, прежде всего сам Семен Карлович, потом другие, которых Павел Петрович знал.

Пока Клык карабкался наверх, Павел Петрович увидел на крыше соседнего строения еще нескольких женщин. На их лицах мешались отчаяние и надежда.

Клык тянул к лестнице Люсю, она слабо упиралась. Клык все-таки был мужик, он подхватил Люсю под руки и, держась за поручень, спустился с ней вниз, поставил на землю; ноги не держали ее, она упала на колени, хотела что-то сказать, но заочевенвшие на морозе губы свело, и только глаза, казалось, жили на лице. Выбежал шофер, они вместе с Клыком усадили Люсю в машину, и Павел Петрович приказал ехать к нему домой.

Соня, увидев их, перепугалась, но сразу начала хлопотать, а Павел Петрович заторопился в министерство. Когда он через час позвонил домой, Соня сообщила: у Люси обморожены руки и ноги, начался жар, она в беспмятстве, бредит, рвется к Институту. Сейчас ей дали успокоительного, она спит.

Бастионова вызвали из Швеции. Узнав в аэропорту, что случилось, он, не заезжая домой, направился к Институту. Мороз ослаб, после той его свирепости семнадцать градусов ниже нуля казались чуть ли не оттепелью. Работа по расчистке пошла быстрее, удалось добраться до места, где стояла установка, оттуда извлекали трупы.

Бастионов явился в кабинет Павла Петровича в рваной дубленке, лицо в саже, на лбу кровоподтек — вид такой, словно побывал в хошой переделке.

— Умойся, — приказал ему Павел Петрович.

Клык помог Андрею снять дубленку, повел в соседнюю комнату, где была ванная. У Павла Петровича не было времени, срочно требовалось ехать, но он понимал: нужно хоть несколько минут уделить Бастионову, ввести его в курс событий.

Андрей торопливо вошел в кабинет, на ходу застегивая клетчатый пиджак, длинные русые волосы были мокры, блекло-голубые глаза за стеклами очков потеряли твердый блеск, сделались беспомощными, как у младенца, да и все его лицо с крутыми скулами словно обабилось — другого слова для сравнения Павел Петрович не подобрал. Андрей не сел в кресло, а рухнул в него.

— Все ребята... Трефилов, Ленц, Калабашкин... Такие ребята! — И он неожиданно лающе всхлипнул.

Но Павел Петрович, не давая ему окончательно раскиснуть, сказал:

— Поступишь в распоряжение Фролова. Включайся немедленно. Пока идет расчистка, необходим план восстановительных работ. Всё.

Он видел, как менялись глаза у Андрея; стоило этому человеку получить команду, осознать цель и направление, как он тут же начал действовать.

Павел Петрович быстро зашагал к выходу, подле дверей остановился, обернулся:

— Вечером у нас дома.

Он знал, что ему предстоит сообщить Бастионову, но не хотел делать этого в служебной обстановке...

Вечером Павел Петрович сидел у себя в домашнем кабинете, пил чай. Спальню отдали Люсе, при ней неотлучно находилась Соня; Ленька спал в столовой на диване. Было около одиннадцати, когда он услышал возню в прихожей, потом шаги. Это был Андрей, он вошел, необычно сутулясь, потирая большие красные руки. Несмотря на то, что Бастионов отяжелел, раздался в плечах, сейчас он опять напомнил Павлу Петровичу долговязого, не очень складного мальчишку из заводского поселка.

Андрей сел в кресло по ту сторону стола, утонув в нем, и сразу задрал кверху голову, чтобы видеть освещенное лампой лицо Павла Петровича. А тот все еще пил чай, держа на весу серебряный подстаканник, разглядывая, как кружатся обесцвеченные хлопья лимона. Он ждал, не хотел начинать первым.

— Беда-то какая,— тихо проговорил Бастионов, протирая стекла очков.— Я вдов объезжал. Ленцу тридцать пять было, а у него трое детей. С ума сойти! У Калабашкина молодая жена — теперь вдова. Трефиловы оба, он и она... Мы с Фроловым договорились — нужна помощь семьям погибших, компенсация...

Павел Петрович продолжал неторопливо пить чай. Все, что говорил Андрей, он знал и насчет помощи уже позаботился. Ему было неприятно, что Андрей ни словом не обмолвился о Новаке. А ведь следовало бы... Секретарь Бастионова, пожилая дама, строгая и услужливая, сообщила: у Андрея перед отъездом в Швецию была какая-то стычка с Новаком, они шумно разговаривали в кабинете, Новак вышел от директора в озлоблении. Но секретарь, разумеется, не могла точно знать, о чем они там спорили. Не скажет об этом и Бастионов, но предположить можно многое.

Павел Петрович допил чай, поставил стакан на стол, подошел к окну. Там в темноте работала снегоуборочная машина.

— Почему Семен Карлович возражал против испытаний? — спросил он.

— Никаких возражений с его стороны не было,— сразу же отозвался Андрей,— были сомнения. Образуется гремучая смесь, и при известных условиях...

— Разве это не возражение?

— Нет,— слишком уж торопливо ответил Бастионов и подошел к Павлу Петровичу.— Тут все предусмотрено... Вы что, Новака не знаете? Если бы он возражал, то хоть сто приказов отдай!

Павел Петрович помолчал, вздохнул:

— Ты отдал один.

— Ну и что?

— Новак настоял, чтобы копия его была у меня. Неспроста, видно... Я не буду сейчас заниматься расследованием, но ты и сам должен понять: этого приказа хватит, чтобы тобой всерьез занялись следователи. И тогда скорее всего дело пойдет в суд.

Он сказал это вяло, даже с ноткой усталости, но знал, какой это сильный удар по Бастионову, реакция у того была отменная, он сжал

цепкими пальцами локоть Павла Петровича, и пришлось повернуться к Андрею.

— Вы этого не сделаете,— прошептал Бастионов.

Он все понял, он просчитал мгновенно все возможности, ведь он торчал там, подле Института, сидел в штабе и проверил: вся документация погибла; акт о приемке здания подписывал председатель комиссии Ленц, заместитель Андрея, которого теперь не было в живых. Не так-то уж много надо было ума, чтобы понять: вся вина ляжет на строителей, может быть, отчасти и на проектировщиков из-за этого дурацкого бассейна. Винить во взрыве можно лишь тех, кого уже нет в живых. Бастионов оказывался вне этого дела, если бы не копия приказа, хранящаяся в столе Павла Петровича... Зачем Новак потребовал этого? Об этом знал только Андрей.

— Я обязан это сделать,— сказал Павел Петрович.

— Но тогда... тогда все погибнет.

— А разве этого уже не случилось?

— Нет, не случилось,— неожиданно жестко сказал Андрей, пот выступил у него на лбу, но смотрел он непримиримо.— Министерство давило на нас: быстрее, быстрее!.. Я докладывал: с установкой не все в порядке. Я вынужден был разрешить испытания. Вынужден!

...Да, конечно, он видел в Андрее своего ученика, даже больше чем ученика, он почти по-отечески любил его и знал: Бастионов работник редкий, способный собрать не только нужных людей, но и почти безошибочно направить их в требуемом направлении, даже такого независимого мужика, как Новак, зажег, и тот работал самозабвенно на благо отрасли. Да, Бастионов талантливый человек. Потеря его... Ведь это случайность, что его не было во время испытаний, а то бы и он оказался погребенным под обломками. Но случайность ли?.. Павел Петрович не знает, как не знает и ответа на вопросы, о чем шел у Андрея с Семеном Карловичем спор накануне и почему Новак заставил привезти в министерство копию приказа. Можно было строить любые догадки, но никакой опоры на факты не было.

Да, в этом деле многое сплелось, многое скрутилось в тугую жгут. Сострадание! У него была дочь, у него был внук. Это ведь не важно, что Люся к тому времени уже не любила Андрея, хотя они еще и не развелись. Но быть разведенной — одно, а женой арестованного — другое. И Ленка... Ну а будь на месте Бастионова кто-то другой, хотя бы тот же погребший Ленц? Павел Петрович не колеблясь положил бы копию директорского приказа на стол комиссии. Ведь он и прежде довольно жестко карал провинившихся, люди знали об этом, знал и Бастионов.

Какая странная судьба у Новака. Тут сплошной туман и загадки. Неужто Семен Карлович мог предвидеть исход испытаний? Лично для него опасность ничего не значила, но обречь на смертельный риск других он не был способен. Следствие это доказало, и довольно убедительно: не случись обвала, почти все, кто находился в цехе при испытаниях, остались бы живы, взрыв не мог их убить. Но во время испытаний самое непонятное произошло с самим Новаком. Его не нашли. Извлекли двадцать шесть трупов, двадцать седьмого нигде не было. Его не нашли весной, когда расчистка была закончена, не нашли и позднее, во время восстановительных работ. По этому поводу было много догадок, но ни одна из них не объясняла происшедшего. Павел Петрович считал: Новак кинулся к установке и сгорел. Но так ли это было на самом деле?

Все это было потом, а в тот поздний вечер, когда Павел Петрович и Андрей стояли у окна, оба они услышали слабый вскрик. Люся сидела на корточках в проеме дверей, она была в голубоватой пижаме, в лице — ни кровинки. Она сидела на пороге, сжав руки на животе, и беззвучно глотала воздух. Павел Петрович и Бастионов кинулись к

ней, но она стала отбиваться. От напряжения на ее бледном лице выступил пот, она хрипло кричала:

— Убийцы! Вы все убийцы! Будьте вы прокляты!

Павел Петрович понял: она стояла у дверей давно, скорее всего забрела сюда, услышав голоса. Конечно, если она была свидетелем их разговора — скверно.

Бастионов пытался взять ее на руки, но она не давалась; у нее началась истерика. На шум прибежала Соня, ей удалось увести Люсю в спальню...

Этот поздний вечер и обозначил рубеж между прошлой их жизнью и последующей, хотя понял это Павел Петрович позднее. А в то время его засосали дела, суета повседневности, захватывающая всего человека и стирающая из памяти даже то, что вызвало потрясение.

Люся пролежала около двух месяцев, а когда пришла в себя, то запретила Бастионову появляться в их доме. Тот поселился в институтском общежитии. А летом Соня сообщила: Люся уехала работать в Воронеж. Он порывался встретиться с дочерью, но Соня, отводя глаза и запинаясь, говорила: «Ты не трогай ее, Павлуша. Она не хочет, ты и не трогай». А еще через несколько месяцев Соня встревоженно сообщила: Люсю обманули в Воронеже, им очень нужен был специалист ее профиля, обещали квартиру, но так и не дают, она думает, не уехать ли ей куда-нибудь подальше. Соня рассказывала это все, теребя кисти шали так, что кончики распускались в согнутых пальцах, а глаза у нее были жалкие. Он понял: жена просит помочь дочери, знал, как это нелегко ей дается, ведь о ее разговоре Люся наверняка ничего не знает.

На другой день он позвонил секретарю обкома по вертушке, выложил, в чем дело, тот ответил, что вечером перезвонит. И перезвонил, сказал: институт поступил неосмотрительно, надо было искать человека в своем городе, но сейчас не поправишь, дочь Павла Петровича хорошо прошла по конкурсу, и отзывы о ее работе хорошие. Он не стал допытываться, почему Люся оказалась в Воронеже, наверное, уже выяснил, что у нее нелады с мужем. Впрочем, и у самого секретаря не все было в порядке с детьми. Эх, да у кого сейчас с ними порядок?! В общем, квартиру они в течение недели найдут, но тут же, разумеется, возникла просьба к Павлу Петровичу, благо в области работало два завода их отрасли и один из них явно нуждался в дополнительных средствах. Павел Петрович таких просьб терпеть не мог. Но что было делать? Пришлось идти и на это. Ведь не во вред, а во благо отрасли.

Вечером он сказал Соне:

— Будет квартира у Люси.

Соня улыбнулась, поцеловала его в щеку, сказала:

— Я так и знала.

Конечно, было обидно, что Люся поставила его на одну доску с Бастионовым; порвав с мужем, она отреклась и от отца. В чем он повинен? Прикрыл Бастионова? Ну, если бы Андрей и получил свое, этим Новака не воскресишь. Да и вина Бастионова в гибели Новака сомнительна... Характер у Люси, конечно, не мед. Таким непримиримым трудно живется, хотя тот же Павел Петрович требует от других именно непримиримости, считается, что она и дает возможность добраться до истины. Но одно дело — требовать, другое — ощущать подобное на себе, да еще от близкого человека...

### *Глава девятая*

Через год после катастрофы, когда здание Института было восстановлено, Павел Петрович решил побывать на ученом совете, сказать, что ждет министерство в ближайшее время от своего научного центра. Поднимаясь по наружной лестнице, он обратил внимание на

мраморную доску, вмурованную в цемент цоколя и привинченную крупными медными болтами, такие доски обычно кладут на могилы. Вот и на этой значилось: «Семен Карлович Новак».

Клык увидел его замешательство, шепнул:

— Людмила Павловна настояла.

У Новака не было могилы, но теперь весь этот Институт стал ему надгробным памятником. Наверное, никто не посмел перечить Люсе. Да ведь Новак и был достоин памяти.

А потом, после ученого совета, был разговор с Бастионовым. Андрей воспользовался восстановительными работами и обставил кабинет финской мебелью: низкие черные кресла, белые столы с черными тумбами и ножками, а директорский стол — целое сооружение с телевизионными экранами, селектором, компьютером, подле него черное, с вращающимся сиденьем рабочее кресло.

Они сидели за гостевым столиком в углу, где рядом в пластмассовых ящиках росли пышные кусты экзотического растения с мелкими фиолетовыми цветами, источавшими сладковатый запах. На столе бутылка коньяка, орешки, кофе. Они выпили совсем немного. Бастионов после той давней автомобильной истории славился трезвостью, и эта бутылка была скорее всего данью уважения не только прямому начальнику, но и учителю и близкому человеку.

— Ну что я мог поделать, Павел Петрович? Что? — говорил он глухим голосом, и его широкое, оплывшее книзу лицо с тяжелым подбородком, но все с тем же несходящим румянцем, который теперь казался нездоровым, было печально. — Я ведь знал, что у нее с Новаком. Терпел. Ждал: может, одумается. Все мы не без греха. Ну, нравится ей старик. Пусть. Хотя какой он старик! Любому молодому фору даст. Железный. Я иногда думаю: его не нашли, потому что он расплавился.

Говорил это Андрей даже без намека на юмор да и без гнева, нейтрально как-то говорил, вроде бы жаловался, а вроде бы и нет, и Павел Петрович не понимал, что за этим крылось. Он медленно пил кофе и думал: сколько лет Андрей рядом с ним, он вроде бы знал его самым разным, видел, как тот умеет работать, как стремительно соображает, легко общается с людьми, но все же нечто очень важное все время ускользало от Павла Петровича — чуть приоткроется на мгновение, но тут же исчезнет, и не разглядеть, не понять; только ощущалось — есть тайное и это тайное так скользко, что не ухватишь, и потому порой возникала настороженность: а можно ли этому человеку доверять, как доверял он? Но время мчалось в бешеной круговерти и не оставляло возможности во все это вникнуть всерьез. А Люся... Дело не в том, что она была его женой, жены чаще всего не видят того, что замечают другие, но у Люси особый взгляд. Может быть, это и роднило ее с Новаком?

В тот душный вечер Люся, проводив Семена Карловича к автобусу, сказала о Бастионове: «Им можно восхищаться как работником, но доверять... Он давно научился предавать людей. Ты еще это узнаешь». Он подумал тогда, что Люся имеет в виду супружескую неверность, теперь задумался: а ведь дочь говорила не только о супружестве, с этим было все ясно, речь шла о чем-то более важном. Тот же Новак признавался: вера для него — прежде всего убежденность, что жизнь не ограничена окружающим, главное лежит за пределами познанного, влечение к нему и есть вера, пробуждающая неодолимую волю к жизни. Если этого не принять, то так и будешь топтаться на месте и считать: ничего не надо преобразовывать, достаточно усовершенствовать.

Павлу Петровичу захотелось узнать, разделяет ли мысли Новака Бастионов, и он однажды спросил его об этом. Тот отмахнулся: «Ну, конечно, разделяю, я все с Новаком разделяю». (Потом стало ясно, как двусмысленны слова Андрея.) И когда он это говорил, опять

проглянуло то тайное в нем, что Павел Петрович не способен был уловить. И вот сейчас в кабинете с финской мебелью, за столом с бутылкой коньяка, слушая бесстрастную речь Бастионова, Павел Петрович подумал: а есть ли у безверия свое обличье?

Видимо, он слишком пристально смотрел на Бастионова, тот вдруг стушевался, огляделся, спросил, чуть понизив голос:

— Что-нибудь не так, Павел Петрович?

— Все так,— ответил он и сказал жестко: — Женись-ка ты быстрее, Андрей. Женись, чтобы не суетиться!

И неожиданно услышал покорное:

— Воля ваша.

Эта покорность внезапно рассердила Павла Петровича, и он невольно спросил жестко:

— А те ребята, что погибли здесь, внизу, тебе не снятся?

Лицо Бастионова отяжелело, он коротко вздохнул, сказал:

— А что поделаешь, Павел Петрович, наука требует жертв. Все мы под этим ходим. Разве какое-нибудь большое дело обходилось у нас без человеческих жизней? Всегда кто-то уходит ради блага других.

От злости у Павла Петровича задрожали пальцы, но он смирил себя. Бастионов смотрел непроницаемо, как смотрит человек, ощущая за собой полную правоту. Вот, значит, как успокоил он свою совесть — все оправдал, все расставил по своим местам. Да, ничего не скажешь, этот человек умеет жить спокойно.

После этого разговора жизнь Бастионова перестала интересовать Павла Петровича. Когда видел его на совещаниях, старался не заметить. Оказалось, так вот, отъединенные друг от друга, они вполне могут делать одно дело.

Да и сама встреча в Институте тоже могла забыться, но в тот вечер умерла Соня, и все это связалось вместе: смерть жены, надгробная плита на институтской стене, разговор у Бастионова... Он слишком затянулся, этот разговор, а если бы Павел Петрович поспешил домой... Впрочем, все эти «если бы» — иллюзия надежды: мол, могло быть не так, могло быть иначе,— но за этой иллюзией пустота, а свершившееся — реальность, и только с ней приходится считаться...

Он открыл дверь своим ключом, крикнул: «Соня! Это я!» — скинул пальто и только после этого зажег свет в прихожей. Его не насторожила ни тишина в доме, ни то, что ему не ответили, он шагнул в коридор и замер: Соня лежала на ковровой дорожке в двух шагах от него, халат у нее подогнулся, обнажив синюшные ноги. Он было кинулся к ней, как заметил кровь, струйкой вытекшую у нее изо рта, и ужас охватил его. Он понял, что случилось, понял: ничего нельзя изменить,— и стоял перед Соней на коленях, не способный сделать какое-либо движение. Потом вспомнил: нельзя трогать в таких случаях человека.

Тут же в прихожей был телефон, Павел Петрович торопливо набрал номер спецполиклиники; там, не дослушав его, ответили: сейчас будут. Положив трубку, он хотел встать, но не смог, его сковало словно параличом, он не в силах был оторвать взгляда от седых, закрывавших половину лица Сониных волос. Звонок в дверь вызвал в нем странное чувство бешенства, словно этот звонок был помехой тому отупляющему созерцанию, в котором он ушел и с которым было нелегко расстаться, потому что за пределами его должны были последовать мучения и он это знал.

Пересилив себя, он поднялся с колен, открыл дверь, и сразу на него пахнуло запахами лекарств, люди в голубых халатах оттеснили его, заслонили Соню. Они возились полле нее, что-то измеряли, что-то ощупывали, потом принесли носилки, и тело, укрытое простыней, проплыло мимо.

От рыхлой дамы с зелеными глазами пахло смесью лекарств и французских духов, у нее были маленькие губы, и говорила она чуть шепеляво, по-детски:

— Типичный инсульт. Мозговой удар. Ведь она была гипертоником. Скорее всего час назад. Примите мои соболезнования и мужайтесь.

Он прошел по всем комнатам, заглянул на кухню, в ванную. Он сам не понимал, для чего все это делает, может, в подсознании жила мысль — тень Сони еще где-то здесь и надо ее обнаружить, ведь это несправедливо: она ушла, а они даже не попрощались. Он бесцельно бродил по квартире, пока не споткнулся о поваленный стул. Кто его повалил? Когда?.. Он сел в свое кресло и только сейчас по-настоящему осознал слова рыхлой дамы. Значит, если бы он не разговорился с Андреем, а сразу же поехал домой, этого могло и не произойти. И опять имя этого человека связывалось с бедой, и опять к этой беде Бастионов никоим образом не был причастен.

Надо сообщить Люсе о смерти Сони, но у него не было ни ее адреса, ни телефона. Конечно, если порыться в бумагах Сони или в записной книжке... Но он не мог этого сделать, и придется прибегнуть к испытанному. Звонок Клыку... Но Павел Петрович не успел, Клык сам позвонил в дверь. Видимо, ему обо всем сообщили из спецполиклиники, и помощник сразу же примчался, чтобы не оставлять Павла Петровича одного. Клык потребовал, чтобы Павел Петрович немедленно лег в постель, а через пятнадцать минут сообщил: Людмила Павловна прилетит утром первым же рейсом. Наверное, Клык подмешал в питье снотворное, и Павел Петрович быстро уснул.

Но встретил он дочь только в день похорон.

Павел Петрович подъехал на машине к крематорию и увидел большую группу людей, стоящую у входа, где покоился на каталке гроб. Едва Павел Петрович приблизился к этой группе, как навстречу вышла Люся, она была так же бледна лицом, как в последний день, после которого они расстались. Черная косынка, угольные глаза и синие тени под ними еще более подчеркивали ее бледность. Она молча взяла его под руку, и они вместе двинулись за гробом.

В зале гроб водрузили на возвышение, на балконе небольшой скрипичный оркестр играл что-то скорбное, а Павел Петрович смотрел на спокойное Сонино лицо. За это короткое время он вроде бы свыкся с мыслью, что Сони больше нет, но теперь понимал: он никогда с этим не свыкнется, потому что вся его настоящая жизнь прошла рядом с женщиной, которая мечтала лишь об одном — чтобы всем близким ей людям было хорошо, старалась оберегать их от бед, но так как это было невозможно, то суежилась, иногда мелко хитрила, и во всех этих заботах утонули ее годы, но сама Соня наверняка не чувствовала этого. Ему вдруг сделалось страшно: вот сейчас распадется бездна и Соня исчезнет, исчезнет навсегда, потому, не дожидаясь, когда закончится музыка, он шагнул к гробу и стал поспешно целовать родное лицо. Сильная рука отстранила его, и он услышал шепот Люси: «Папа!»

Домой они возвращались вдвоем. Еще в крематории Павел Петрович сказал Клыку, что никаких поминок не потерпит, он и впрямь не любил этот обычай, не признавала его и Люся. Все же она накрыла в столовой стол, поставила три прибора: себе, отцу, матери.

— Я знаю,— тихо сказала Люся.— Ты любил ее. И она тебя любила. Вся жизнь вы были вместе и, наверное, стали одним целым. Пусть земля ей будет пухом, папа.

Он видел, как сухи глаза Люси, как бледно ее лицо, но у него самого навернулись слезы, он не сумел их даже вытереть. Выпил водки из большой рюмки. Сделалось легче, он оглядел столовую, взглянул на пустой прибор — да, вот здесь, поближе к дверям, чтобы



всегда можно было выскочить на кухню, любила сидеть Соня. Много лет это место было ее.

— Послушай,— сказал он дочери.— Возвращайся сюда. Зачем тебе там?

Люся спокойно отставила от себя рюмку, сказала:

— Я понимаю, тебе тяжело будет одному... Я понимаю. Но ты крепкий человек. Ты сумеешь...

— Я такой же, как все,— поморщился он.— Но я не за себя. Я хочу, чтобы ты была тут и Ленька. Ведь он растет.

Люся взяла сигарету, закурила, выпустила тонкую струйку дыма.

— Мне там легче и проще,— спокойно сказала она.— Может быть, я и урод моральный,— усмехнулась она.— Не знаю... Но я не умею прощать.

— Разве меня надо прощать? — сказал он.— Если речь о Новаке, то его гибель — это травма и для меня. Зачем ты так, дочь?

— Речь не о Новаке,— сказала она.— Хотя он единственный человек, с которым я бы могла быть счастлива. Речь о Бастионове.

— Так в чем же моя-то вина? Если Бастионов...

— Ты прости меня, папа,— тихо сказала Люся,— наверное, нам не надо было вообще говорить об этом. Особенно сегодня... Мама, может, еще слышит нас. Но она знала. Я сказала ей все... Теперь я понимаю: она тебя щадила. Она всегда тебя щадила. Но я... я виню тебя. Виню в том, что ты внушил Андрею, будто ему едва ли не все дозволено — по сравнению с нами, простыми смертными. Еще бы, ведь он ближе многих других к божеству...

— К какому божеству?!

— Божество — это ваша отрасль. И, как всякое божество, она требует жертвоприношений. И вы идете на это, хотя сами того не замечаете. Как не замечаете, что понятие «божество» не обозначает ничего действительного. Так и ваша отрасль. Можно молиться на нее, но это пустота, огражденная щитами планов.

— А что действительно?

— То, что живет, дышит, радуется и любит. А отрасль может быть только служанкой. Не она над человеком, а человек над ней. Если это делается нормой, то невозможной станет ни гибель людей ей в угоду, ни другие уродства. Виновных всегда должна ждать кара, это они пусть усвоят твердо. А безнаказанность, папа, это преступление... Ты меня прости...

Конечно, это ненормально — такой разговор за поминальным столом, но если бы он происходил и в другой обстановке, все равно выглядел бы нереальным. Бледная, хрупкая женщина с воспаленными глазами ровным голосом непреклонной фанатички пыталась раскрыть перед ним никчемность его трудов. Как можно было все это принять? Он понимал: за ней стоит тень Новака, человека, однажды и навсегда уверовавшего, что творения его рук и ума должны нести только благо людям. Но так не бывает. Выношенное человеческим мозгом и воплощенное в реальность его руками может оборачиваться и добром и злом. На свете нет ничего однозначного. Это истина. Тот же Новак твердил слова Нильса Бора: есть два вида истины — тривиальная, которую отрицать нелепо, и глубокая, для которой обратное утверждение — тоже глубокая истина...

Перед ним сидел не чужой человек, а его дочь, она сейчас судила его и его дела, определяя, что в них добро, а что зло. Да разве такая неистовая непреклонность способна нести благо? В ней самой неизбежно таится угроза насилия. Как она этого не замечает?

Он быстро устал от своих мыслей и вздохнул:

— Ну, вот. А мать умела прощать. В кого же ты у нас такая?

— В маму,— как-то неожиданно совсем по-девчоночьи ответила она.— Мама была добра, но прощать... Ну, ладно, отец. Я сейчас уеду. Живи как хочешь. Я ведь от тебя ничего не требую.

Она встала, поцеловала его и ушла, а он остался один, совсем один в этом доме.

Минуло время, и Павел Петрович, мучаясь бессонницей, не раз мысленно возвращался к этим странным поминкам, заново спорил с Люсей, приводил невысказанные доводы и пришел, может быть, действительно к бредовой мысли, что отрасль огнюдь не пустота, как это пыталась утверждать его дочь, и не божество, а живая структура. Однажды родившись, это определение не покидало его, часто тревожило, как тайна. И в этом мысленном споре он определил и особую сущность Бастионова, где главным было безверье. Этот вечно ускользающий даже от пристального взгляда, упрятанный в глубину характера стержень был особого качества, он позволял быть широким и скованным, щедрым и скупым, у него не было внешних границ, они определялись обстоятельствами, они даровали человеку свободу действия, не ограничивая средствами, и потому при быстром и ловком уме давали возможность без особых душевных затрат добиться желаемого. Безверье не ведает измен, ибо оно все соткано из них.

Но был ли на самом деле Бастионов таким? Может быть, все обстояло проще?..

Однако Павел Петрович теперь видел и ощущал Андрея Владимировича именно таким и сожалел, что это прозрение запоздало.

### *Глава десятая*

Было еще рано, не более пяти часов, он проснулся от щелбета птиц за открытым окном. Нина спала, откинув скомканное одеяло, согнув колени и уткнув лицо в подушку так, что нос некрасиво сдвинулся; на лице застыло мучительно-сладостное выражение, отчего брови ее сошлись, а уголки губ опустились. Павел Петрович понял, что больше не заснет, потихоньку покинул постель, натянул спортивные штаны и куртку, сунул ноги в кроссовки и выбрался в окно. От дома шла тропинка к лазу в заборе, этот лаз когда-то сделал Ленька, а Павел Петрович поправлять не стал — он никогда не думал, что на дачу могут забраться воров.

Трава была влажная, и штаны внизу быстро намокли, но он не обратил на это внимания. У него не было цели, он просто выбрался на тропу, ведущую к опушке леса, и, когда вышел к ней, внезапно остановился — его мгновенно оглушил мощный птичий пересвист.

Этот забытый мир звуков окружил Павла Петровича, вошел в него, и тогда ставшее уже привычным зеленое поле с позолотой, березовая роща вдаль, и небо, подкрашенное снизу желтым, все с теми же неподвижными облаками, и хвойные ветви сосен, и тропа, выходящая по опушке, — все это тоже словно бы вошло в него, и он сам стал частицей окружающего. Он уж забыл, что такое бывает, а ведь подобное случалось и прежде, в детстве и юности, случалось и вызывало необъяснимые слезы.

Время текло, и утро созревало, наполняясь звуками моторов, человеческими голосами, и тускнел, делался суетливым птичий гомон. Было жаль утрачиваемого ощущения слитности с окружающим, он вспомнил, как Новак ссылался на какого-то философа: счастье — это когда вся природа стала моим телом. В ту пору слова эти показались вычурными. Но сейчас, когда он еще не отошел, еще был во власти причастности к окружающему, принял эти слова. Он неторопливо пошел по траве, понимая — чувство радости скоро развеется. Так и происходило: по мере того как он шагал и как раскалялось утро в привычном быте — стуке топора, фырчании трактора, лае собак, отдаленной перебранке, — возникало и то, что, казалось, на время улеглось в мыслях, а теперь опять начинало свою мучительную работу, требуя ответа: как же быть с этой бежевой папочкой?

Можно со всем смириться, махнуть на все рукой, сказать: да я-то тут при чем? Пусть все происходит, как происходило. Бастионов пойдет в первые замы, потом возглавит отрасль. Эка невидаль! Ну еще один высокопоставленный чиновник, обладающий властью казнить и миловать, созидать и разрушать. Что проку от вмешательства во все эти дела? Все равно течение жизни изберет свое русло и направится по нему независимо от воли и умения любого из таких, как Андрей. И все же, все же...

Да, конечно, у Бастионова было и другое на совести, кроме Института; было не очень чисто-плотное дело с валютой, об этом тоже имелся документ, правда, лет пять назад подобное большим грехом не считалось, с валютой ловчили многие, кому разрешались частые выезды. Были неприятности и с распределением квартир, но что тут поделаешь, надо было срочно собрать людей, способных в какой-то мере заменить погибших, а не все такие жили в Москве, прежде чем приглашать их, нужно было позаботиться о жилье. И все же закон есть закон.

Однажды, услышав, как Павел Петрович распекает директора завода: «Вы, видимо, забыли, закон одинаков для всех»,— Новак неожиданно рассмеялся. Это было неуместно, и Павел Петрович сердито спросил: «Вы что?» А тот, потерев кончик бородки и хитро прищурив глаза под очками, сказал: «Знаете, где это я впервые прочел? В декларации прав человека, составленной Робеспьером. Если память мне не изменяет, то статья шестнадцатая так и гласит: «Закон должен быть одинаков для всех». Возможно, эту мысль высказывали и раньше. Даже наверняка высказывали. Только я-то нашел ее у Робеспьера. И вот уж почти два столетия человечество бьется за то, чтобы воплотить ее в жизнь. Ну, и как вы думаете, преуспели?»

Когда это происходило, Павлу Петровичу было не до шуток, он отмахнулся. Они шли заводским двором, наспех прибранным, но все равно были видны конструкции, уже пришедшие в негодность, как их ни укрывали. Это раздражало, как и многое на заводе, раздражали суетливость худосочного, насмерть перепуганного главного инженера, тупая самоуверенность директора. Раздражала погода с промозглым туманом, густо севшим на крыши цехов. И лишь одно неунывающее лицо — Семена Карловича.

Они приехали на этот завод, чтобы решить, вести на нем реконструкцию или принять иные меры. Здесь в последние годы все заваливалось, и вот придумали поменять профиль завода, это даст новое направление производству. Все этому радовались, все поддакивали, и Павел Петрович понимал почему: получают передышку, не будет такой тяжелой заботы о плане, многое можно будет свалить на реконструкцию. Его убеждали: надо решаться,— и кивали, радостно кивали головами. Но что-то жало. Новак то балагурил, то вот влез в разговор со своим Робеспьером. До декларации ли сейчас? Но Новак внезапно остановился посреди двора, огляделся вокруг, сказал: «Бред какой-то — менять профиль». И Павел Петрович сразу его понял. Все обоснования, что выдвигались раньше, сразу полетели к чертям. А Новак уже махал длинными руками и бил наотмашь: разорвутся сложившиеся связи, а к чему приведет перемена — непредсказуемо. Не все перемены, не все обновления дают подъем. Не надо кричать: нашли, мол, твердую основу. Нет никакой основы, все блеф во имя временного спасения, и никто не поручится, что дальше эти самые перемены не приведут к провалу. Уж лучше снести этот расшатавшийся завод и возвести новый, но не нарушать взаимосвязей.

Они стояли разинув рты — и главный инженер, и директор, и мужичок-хитрячок, начальник объединения, они не все понимали в горячей речи Новака, но то, что их хитроумный замысел лопнул, со-

знавали отлично. Этот тощий высокий человек, профессор, начальник институтского сектора, был сейчас для них опасней любого врага.

В заключение Новак, дергая свою бородку, сказал: «Я останусь здесь. Может быть, даже месяца на три. Думаю, этого хватит, чтобы найти живую воду».

Вот когда по-настоящему испугались все окружавшие Павла Петровича, они сообразили: этот отчаянный профессор и в самом деле все тут распотрошит, а тогда окажется — они обыкновенные прохиндеи, решившие обвести вокруг пальца министерство.

«Так и решим», — сказал Павел Петрович. И вмиг стгнули замаячившие было деньги, фонды, передышка, и все лица в ненависти обратились к Новаку. «Они его тут схарчат, — подумал Павел Петрович. — Пусть на первый месяц останется при нем Клык. Я обойдусь».

Но очень скоро выяснилось: совсем не надо его оборонять, он завоевал прекрасных союзников среди молодых инженеров, кое-кого вызвал из Института, и они за три месяца такого наворочали! Расчистили завалы в цехах, упростили линии, и завод задышал, словно хорошо прокашлялся, хворь из его потрепанного тела начала уходить.

«Года три подышит полными легкими, — сказал Новак. — А за это время создадим серьезный план реконструкции. И все дела!»

Нет, не все. Не так прост был этот директор, он вырос в этих местах, здесь он утвердился и требовал поклонений, чужаков не терпел и побегал в обком. А там всерьез занялись доносом: мол, все, что натворил профессор-гастролер, ломает идею стабильности. И понесли, понесли. Вроде бы чепуха, а отмываться пришлось. В область выехал Бастионов, молодой, барственный, он умел внушать доверие. Выступил на бюро обкома, убедил: все сделанное Новаком только на пользу заводу.

Это событие затем обсуждали в кабинете Павла Петровича. Новак оглаживал свою бородку, Андрей вальяжно раскинулся в кресле. Была минута роздыха, потому и слушали Новака, а слушать его было всегда интересно. На сей раз Семен Карлович говорил о зависти, о силе страшной и лютой, — одержимые ею люди не только строчат доносы, но идут и на убийство. Зависть родилась от Адама и Евы, она плод их грехопадения: и был Авель — пастырь овец, а Каин был земледелец. Братья принесли дары богу, добытые трудом: Каин от плодов земли, а Авель от первородных своего стада. Но принят был дар только младшего брата. И познал Каин зависть, потому как труды брата были отмечены милостью, а его отвергнуты. И совершилось убийство в поле, и земля пропиталась кровью первого мученика, перестав давать силу обрабатывающим ее. Все живое отвратилось от братоубийцы, и всякий, кто встретит его, мог кинуть в него камень и убить. И тогда сказал Каин богу: наказание мое больше, нежели снести можно. И сделано было Каину знамение от бога, чтобы никто, встретившийся с ним, не убил его. Каинова печать, знак, невидимый глазом... Его через тысячелетия пронесли потомки старшего сына Адама и Евы, им отмечены все, кто совершает поступки, порожденные завистью, — жлет, доносит, клеветает...

Каинова печать... Если Павел Петрович отнесет бежевую папку Фролову, не проступит ли эта печать на его челе? У Павла Петровича не было зависти к Бастионову. Тут другое, совсем другое — жажда справедливости. Но иные завистники и так толковали свои действия: каинова печать не мистический знак, а реальность. Павел Петрович уверовал в это после слов Новака. Конечно, этот мужик умел убеждать, и стоит ли удивляться, что Люся пошла за ним...

Павел Петрович сел на поваленное дерево неподалеку от мутного ручья. То была старая ива, она росла тут давно, казалась несокрушимой, но недавняя ночная буря свалила ее, внутри, меж желтых острых расщепин, обнажилась труха...

Странно все-таки, что это дело с Бастионовым так его захватило и мучает и он не может принять решения. Это он-то, который славился всегда неколебимой решительностью. Он ведь должен бы забыть об Андрее, вычеркнуть его из памяти — хотя бы после того, что пришлось ему испытать на совещании в строгом зале с добротными деревянными креслами, с возвышением, где стояли ничем не покрытый стол и трибуна с государственным гербом. Председатель комиссии говорил странно, его голос звучал так, словно падали листы жести, и слова были беспощадны: «Две недели спасатели извлекали из-под обломков фрагменты человеческих тел». Зал, где привыкли, чтобы оратор выступал не более пяти минут, глухо молчал, и от всего этого делалось страшно. Павел Петрович знал выводы комиссии, знал, кто идет под суд — проектировщики и строители. Получалось, что его министерство выглядело жертвой, потому что люди, подписавшие акт приемки здания, погибли. Но от этого не было легче.

Как только закончили с этим делом, он вышел из зала, подошел к полукруглому окну с белой сборчатой занавеской, смотрел на влажную Кремлевскую стену, темные ели подле нее, покрытые крупными каплями, — в Москве наступила оттепель, два дня шли дожди. Павла Петровича тошнило. Когда он приезжал к Институту и смотрел, как шли там работы, замечал: работяги в ободренных касках, не очень-то таясь, торопливо лакали из бутылки, потом, утершись рукавом, ныряли в расщелины и вытаскивали оттуда нечто окровавленное, фрагменты человеческих тел... Именно этот эвфемизм бил особенно больно и беспощадно. А Бастионова даже не было в этом зале...

Вечером, когда он увидел его сытую, расплывающуюся физиономию, то прошел мимо. Он не мог с ним говорить. Всю жизнь он помнил далекое: шли один за другим через ночь трамваи, от их дуг рассыпались искры и высвечивалось фиолетовым небо, они были загружены трупами и ранеными людьми. Стон и плач висели над городом... Сколько потом было разных смертей, но скрежет трамвайных колес, крики матери и его бег за вагоном, чтоб вспрыгнуть на ступеньку, не забылись, остались навсегда, как и страшное лицо отца, лежавшего на носилках в проходе вагона...

Но что любопытно: в семидесятом вон там, на опушке березовой рощи, человек в шляпе и в макинтоше, глядя на пламя небольшого костра, говорил: «Этот авантюрист, значит, он был такой иезуит-организатор, все мог, значит, и так ставил вопрос: дайте мне любого на ночь... мог даже фамилию назвать такого-то и такого-то... фамилия, значит, честного человека. Так вот, значит, дайте мне его на ночь, а утром он признается, что он английский король. Я не знаю, как он это делал... Но он был, значит, мастер на такое. А после войны сказал: нужно громкое доброе дело... как в других странах. Амнистию большую. Тогда выпустили уголовников, всяких там рецидивистов, значит. Было много писем. Особенно от интеллигенции, зачем, мол, их выпустили, ведь грабежи, убийства. После войны, значит... Потом уж, когда был Двадцатый съезд, стало ясно: он думал, значит, набрать свои заслуги по наведению порядка. Он всегда так делал: сначала раскрутит безобразие, значит, потом его устраняет, а себе — заслуги... Такой страшный человек, можно сказать — зверь...»

Слушая это, Павел Петрович вспомнил смутные слухи, блуждавшие по поселку: мол, авария в мартене не случайна, да, конечно, цех старый, там многое надо было менять, так ведь и хотели, но дело совсем не в этом. Взорвали-то нарочно, чтобы была гибель людей и чтобы можно было после нее арестовать всех неугодных. Так и случилось: по ночам разъезжали по поселку «воронки»... Павел Петрович долго сомневался в истинности этих слухов, но после

встречи в семидесятом задумался: а ведь и в самом деле мог найтись такой, кому нужна была «диверсия», чтобы калечить судьбы человеческие и властвовать над запуганными. Все могло быть...

### *Глава одиннадцатая*

Павел Петрович встал с поваленной ивы, двинулся к дачам. По дороге догнал старуху, она толкала коляску, на которой разложены были влажная редиска, зеленый лук, морковь, стояла миска с творогом. Павел Петрович знал ее, она много лет возила всякую всячину в поселок и жаловалась: надо, мол, все продать, а то зять домой не пустит, держит ее дома за Христа ради, жаден страшно, а куда ей, старрой, деться, если она ему на бутылку не наберет. Сначала Павел Петрович верил, потом узнал: она врет, живет одна, никакого зятя у нее нет, по утрам от нее несет перегаром. Но что за жизнь она прожила? Почему стала такой? Кто ж об этом знает... Он купил у нее несколько пучков редиски, луку и прямой дорогой прошел к даче.

Увидел в окно, как Нина причесывается перед зеркалом,— она была одета, словно собралась в город, и это насторожило. Он был плох с ней этой ночью, ему показалось, она обиделась, он подумал: может, он стар для такой женщины? Она сказала раздраженно перед сном: «Ты какой-то чужой сегодня. Думаешь о чем-то своем, а я для тебя совсем не существую. Зачем было ехать сюда?»

Павел Петрович хотел незаметно влезть в окно, но Нина обернулась.

— Беглец,— сказала она.

Он встал на колени, протянул ей редиску, как цветы.

— Подхалим,— сказала она.— Идем зазтракать. Все на столе.

— Уезжаешь? — спросил он.

— Почему так решил?

— Оделась...

— А-а. Я подумала: мы погуляем, пойдем к реке. А там публика...

После завтрака он поднялся из-за стола, закурил, взгромоздился на подоконник, а она занялась уборкой.

— Послушай,— сказал Павел Петрович,— я хочу с тобой посоветоваться.

— Ты со мной посоветоваться?! — Нина вскинула брови, и недоверчивая усмешка скривила ее рот.

— Почему удивляешься?

— Потому что это первый раз,— сказала она и оставила тарелки в мойке, вытерла руки полотенцем и сразу же села на стул, замерла, как ученица.— Ну, я слушаю.

Он задумался: а что он ждет от Нины, какой совет она может дать, разве знает она все тонкости? К тому же в повседневности таких историй, как назначение Бастионова, не бывает, люди живут проще, без тех усложненных взаимоотношений, что рождаются в верхних эшелонах управления, им чаще всего наплевать, кто придет и вместо кого, ведь от этой перемены для большинства людей мало что меняется, а если меняется, то это принимают как должное. И все же... Ведь есть же у Нины свой взгляд и ум у нее хваткий.

— Советуйся,— поторопила она.— Я жду.

Он сполз с подоконника, сел к столу и, сцепив руки в замок, стал говорить о Бастионове, сначала — очень коротко — как об ученике, как о зяте, а потом стал рассказывать об аварии в Институте. Он заметил, как от его рассказа бледнеет Нина, как она прикусила губу и стиснула пальцы.

— Я знаю об этом,— тихо проговорила она.— У моей подруги муж там погиб... Это был какой-то ужас! Но я не поняла: при чем тут твой зять?

— У меня есть копия приказа. Они шли на явный риск. Но его не было во время испытаний, а те, что занимались установкой...

— Он знал, что будет взрыв?

— Нет. Но все равно его бы судили. Других-то документов не сохранилось, а под приказом его подпись.

Нина курила редко, но тут потянулась к пачке, взяла сигарету, затянулась, но неудачно и сразу закашлялась, глаза покраснели, за-слезились.

— А ты... Где ты был?!

— При чем тут я? — удивился он.— У меня было более тридцати заводов, кроме этого Института. На каждом гибли люди. И сейчас гибнут. Мог ли я лезть во все щели?

— Мог, не мог... — беспощадно сказала она. — Ты обязан был лезть. Иначе зачем ты вообще? Плевать я хотела на приказ и на твоего зятя. Эта бумага у тебя на столе лежала. И ты знал, что риск. Или не знал?

— Пожалуй что и не знал. Нет, не знал.

— Ну, совсем хорошо! А я-то думала... Вот дура! Я-то думала, ты за правду пострадал. А за это дело... У тебя же власть была! Ты ведь мог приказать: не смейте, если не уверены! А ты небось совсем о другом думал... Знаю я вас, все вы, пока жареный петух не клюнет, не почешетесь. Вот и ты...

Он никогда не видел Нину такой злой. Губы ее совсем сузились, и ему подумалось: вот такой же была Люся, когда кричала: «Убийцы!» — так же смотрела непримиримо, а он не понимал, в чем его-то она винила.

— Ты что? — сказал он.— В чем ты меня винишь?

— А кого, кого винить?! — выкрикнула она.— Тех, кто на том свете? Или эту дешевку, твоего зятя? Да он же мелочь. А ты... Тебе, когда паек давали, машину, дачу и всякую другую хреновину, то, наверное, про вредность думали. Ладно, за вредность должны давать.— И вдруг она почти взвизгнула: — Но дают-то, чтобы за каждую жизнь в ответе был... На заводах, видишь ли, у него гибли! А что ты сделал, чтобы не гибли? Бумажки старые берет? Да подотришь ты ими... А я-то, дура, тебя жалела. Ну и правильно, что тебе под зад дали. Я бы знала — еще добавила! — Она вскочила и словно подросла, вся натянулась, сжала кулачки.— Я туда, на Юго-Запад, моталась, я помню, как там бабы выли. Да я, если бы хоть капля моей вины была, я бы не знаю, что с собой сделала. Руки бы на себя наложила.— Она неожиданно прижалась лбом к стене и заплакала.

Он видел только ее плечи, сразу сделавшиеся беззащитными, и вдруг рассердился, сказал зло:

— Хватит!

Но она не обернулась, продолжала плакать.

— Хватит, я сказал,— стараясь быть спокойным, произнес он.— Может, ты и права, может, и моя там вина... Трамвай вот вижу во сне.

— Какие трамваи? — отрывая лицо от стены, спросила она.

— Неважно,— сказал он, потому что все равно не смог бы объяснить, какие это трамваи.— Но что может поделать человек, когда должен отвечать за все, но не за всех? Когда сам себе не принадлежишь?.. Когда я командовал отделением, даже взводом, каждый солдат — это и я сам. Его ранили — это и меня ранили. А генерал? Если в бою он потерял сто человек, для него это было нормально, минимальные потери. Принимай или не принимай такое, но это правда.

— Но сейчас не война,— сказала она.

— А что сейчас? — выкрикнул он. — Мир?.. Где ты этот мир видишь? Дома? На работе?

Он взял еще сигарету, пальцы у него дрожали, он и сам не ожидал, что так заведется.

Она смотрела на него заплаканными глазами и неожиданно сказала негромко:

— Павел, я тебя больше не люблю.

— Ну что же, — вздохнул он. — Я ведь уже стар. Не мальчишка.

— Нет, не в этом дело. Ты чужой. Ты всегда был чужой, но я думала, это не важно. А в эти дни... Ты жил совсем отдельно от меня. Дальше будет еще хуже.

— Ты хочешь, чтобы мы больше не виделись?

Она подумала и неожиданно сказала в раздражении:

— Да я сама не знаю, чего хочу. Уедем отсюда, и побыстрее.

«Вот почему она оделась», — подумал он и пошел в комнату собираться...

В понедельник без десяти минут час Павел Петрович поднялся по ступеням парадного подъезда, открыл тяжелую дверь, и старый охранник, знавший его давно, в почтении склонил голову. К лифту надо было пройти вестибюлем, отделанным плитами серого мрамора, где у газетного киоска толпилась очередь. Люди с любопытством оглядывались на Павла Петровича. Около лифтов тоже скопился народ, но его молча пропустили вперед. На третьем этаже дверь распахнулась, и он ступил на ковровую дорожку. Этот этаж был министерский, и здесь не суетились, старались ходить и говорить тихо, да и не у всякого работника возникало желание лишней раз попасть на глаза министру или его заместителям. Но едва Павел Петрович двинулся в сторону приемной, как коридор наполнился гулом голосов, покотился навстречу людской поток — судя по всему, только что закончилось совещание, люди замелькали совсем рядом, кто-то здоровался, кто-то нагло заглядывал в глаза, и Павел Петрович сообразил, почему Фролов назначил именно это время для встречи. То были минуты перед обеденным перерывом, когда коридоры наполнялись людьми, и Фролов не мог отказать себе в удовольствии выставить на обозрение бывшего своего шефа, идущего к нему на прием.

Павел Петрович мог бы заранее догадаться, что Фролов выкинет нечто подобное; сейчас небось нет кабинета в этом солидном здании, где бы не шушукались о появлении Павла Петровича, не строили догадок о цели его визита. Такая смута в умах, силящихся разгадать то, что сверху видится простым и ясным, всегда забавляла Фролова, он считал это неизбежным в жизни чиновного люда, даже любил говаривать: «Тайна заставляет людей напрягаться и делает их осмотрительней». Тут была какая-то управленческая тонкость, которую Павел Петрович так и не познал. Конечно же, покойный Кирьяк должен был взять в первые замы Фролова, тот был не только старше Павла Петровича, но и отрасль знал лучше, были у него давние связи с различными комитетами и ведомствами, он был крепкий аппаратчик. Потом, когда Кирьяка не стало, Фролов сделался союзником Павла Петровича — как-то вдруг обнаружилось, что разногласия, которые прежде у них возникали, были и не разногласия вовсе, а так, недоразумения, просто Павел Петрович не всегда верно понимал Фролова из-за недоговоренностей. Вот хотя бы «Полярка», детище Кирьяка. Напрасно Павел Петрович кидался на Фролова как на человека, который поддерживает ее строительство. Разве серьезный специалист пойдет на такое? Но что поделаешь, приказывали. Однако, если покопаться в документах, легко выяснить, что именно Фролов первым выступил против «Полярки», а ему зажали рот. И напротив, все, что выдвигалось Павлом Петровичем, сразу подхватыва-



лось Фроловым... Да, подхватывалось, но сам он об этом, как помнилось Павлу Петровичу, нигде прямо не заявлял, и получалось как-то само собой: Фролов — за, но... А что конкретного было за этим «но», никто не знал. Павел Петрович понимал: Фролов и в самом деле тонкий и умный аппаратчик, и эти «но» — его запасный выход, тайная тропа для отступления или обходного маневра. Разгадав это, Павел Петрович не огорчился, ведь важно было, чтобы Фролов не мешал, а настоящих помощников можно было найти и без него.

Почти у порога приемной ждал Клык, одетый, несмотря на жару, в черную неизменную тройку; правда, здесь работали кондиционеры. Он склонил голову:

— Добро пожаловать, Павел Петрович.

Его неподвижные, кукольные глаза, как всегда, ничего не выражали. Женщина-секретарь и машинистка были новыми, но, увидев Павла Петровича, приподнялись в знак уважения, видимо, Клык предупредил их. Он умело, без тени угодничества забежал вперед и открыл дверь в кабинет министра.

Фролов встал со своего места и, пока Павел Петрович двигался ковром, обогнул стол, вытянул навстречу обе руки. Он улыбался, обнажая ровные вставные зубы, был по-прежнему подтянут, сухопар, с веснушками на крепком носу, некогда рыжеватые волосы его поседели, приобрели мягкий палевый цвет, но были гладко зачесаны — привычек он не изменил, все же ему было под семьдесят. И очков он по-прежнему не носил, хотя глаза стали не так остры, приходилось шуриться.

— Здравствуй, здравствуй, Павел Петрович,— говорил Фролов, чуть шепелявя.— Рад, весьма. Присаживайся.

Он первым опустился в кресло подле круглого столика, так уж было принято еще со времен Кирияка. Если разговор шел за этим столиком, то носил вроде бы не официальный, а дружеский характер. Прежде на этот столик могли подать и коньяк, но нынче пошли строгости, все делали вид, что и понятия не имеют о спиртном. Клык не покинул кабинет, а остался возле телефонов, это значило: Фролов наказал ему быть во время разговора тут.

Едва Павел Петрович переступил порог этого кабинета, в котором провел столько разных дней, целую сложную, ни с чем не сравнимую жизнь, ему стало не по себе: ведь каждый предмет здесь был знаком и прежде воспринимался как личный, свой, а теперь стал чужим. Будто вернулся в родной дом, а там все загажено, все осквернено чужим присутствием. Но стоило ему сесть к круглому столику, увидеть надменность в лице Фролова, ощутить идущий от министра запах дорогого одеколона, как он устыдился возникшего чувства и сразу решил: надо быстрее кончать.

— Вот, Игнат Терентьевич,— сказал он строго, как привык говорить с этим человеком.— Это документы. Они касаются Бастионова.— И он положил на стол бежевую папочку.

Фролов не взглянул на нее, но что-то насмешливое мелькнуло в его глазах, эдакое, что показывало его удовлетворение.

— Полагаешь, Павел Петрович, они мне нужны? — спросил Фролов.

— Полагаю,— уже сердясь сам не зная почему, сказал Павел Петрович и тут смутно ощутил: а ведь Фролову об этих документах известно,— и перевел взгляд на Клыка... Нет, Павел Петрович никогда не показывал этой папочки своему помощнику, но Клык, конечно же, мог знать ее содержимое.

— Ну, хорошо, хорошо,— сразу же согласился Фролов и приветливо улыбнулся.— А живется как, Павел Петрович? Вид-то у тебя молодежный. Небось в турпоходы начал ходить... Да не хмурься, я ведь интересуюсь, потому как и у меня не за горами пенсия.

Он таял на глазах от доброжелательства, вопросы его были ник-

чемными, и отвечать на них не хотелось. Павел Петрович подумал: ну, протечет еще несколько минут в этом пустопорожном разговоре, ведь ни Павлу Петровичу, ни Фролову более сказать друг другу нечего. Он принес документы, передал их, а дальше пусть болит голова у Фролова.

— Вот к тебе и сделал первый турпоход,— усмехнулся Павел Петрович.— А про документы сам решай. Если же и моя тут вина, то я готов ответить.— И встал.

Клык проводил Павла Петровича до коридора; пока шел к лифту ковровой дорожкой, спиной чувствовал на себе взгляд бывшего помощника, и когда неожиданно повернулся, то явственно увидел на лице Клыка торжествующую ухмылку — она мгновенно стерлась, и Клык, словно окончательно прощаясь, склонил голову.

Выбравшись из здания, Павел Петрович сразу же попал в толчею, и его вынесло к станции метро, но он не спустился вниз, а перешел дорогу и направился в сквер. До дому было не так далеко, и лучше было пройтись пешком. На небольшой площадке стояло несколько ларьков, там клубился народ, покупали какие-то пироги, пакетики с хрустящим картофелем, упакованный в целлофан мясной фарш — его вид вызывал дурноту. Почему-то все неприятное стало бросаться в глаза: мятые стаканчики из-под мороженого, промасленная бумага, в которую заворачивали пирожки, торопливо жующие люди.

В дневные часы Москва была неопрятна, это только по утрам она выглядела умытой и ухоженной. Павел Петрович обнаружил неопрятность города, когда стал ходить по нему пешком, а до этого из окна машины город казался таким, словно сошел с открыток, а вернее сказать, с экрана, каким его показывали по телевизору. В прежние времена, когда он работал на заводе и приезжал в столицу по вызову, жил в гостинице, его угнетали московское многолюдство и суэта, об этом всегда говорили приезжие, но все же походы в магазины были приятны, продавцы поражали вежливостью, особенно в больших гастрономах, где все делалось быстро и красиво, и когда покупался сыр или колбаса, там осведомлялись: как их нарезать — потоньше или покрупней, он всегда восхищался этой работой продавцов. И рестораны он любил — с хорошей едой и плутоватыми официантами, легко распознающими, кто ты и чего стоишь, любившими пускать пыль в глаза лакейской виртуозностью.

Однако же сейчас ничего этого в магазинах не было, несколько раз Павел Петрович наткнулся на пьяных продавщиц, слушал их яростную ругань с пенсионерами, хватавшимися за сердце. А универсамы, где надо было толкать тележки на колесиках, обходя бесконечные и полупустые прилавки, а потом выстаивать длинную очередь в кассу ради пакета молока, он не любил. Неподалеку от дома нашел булочную и молочный магазин, иногда покупал что-нибудь на рынке...

Павел Петрович много раз думал: а что с ним-то произошло, чем он так подставился? Утратил ли он ощущение реальности или в самом деле оказался неспособным вести отрасль дальше? А может, обстоятельства так сошлись, что вообще ничего поделать было более нельзя? Идеи, которые он выносил в душе, зажег ими Бастионова, в ту пору не могли покинуть лабораторий и оказаться на просторе действительности, чтобы отвоевать себе место под солнцем. Ведь вот что любопытно: когда после совнархозов вновь образовали министерства, все заводы круто пошли вверх. Вторая половина шестидесятых была их золотым веком. Это сейчас, оглядываясь, можно различить в минувшем полный кавардак, который, как ни странно, и помог подняться многим. Совнархозы ликвидировали, а министерство не обрело полной власти, еще долго носили столы из кабинета в кабинет, переставлялись, перестраивались, толкались, судили-рядили,

обвиняли друг друга, спорили, какими директивами начать обстрел заводов, а заводы работали, они умели видеть подальше иных, они воспользовались свободой и сделали за два-три года то, что и за иное десятилетие не наворочаешь. Павел Петрович все это видел, ему ли было не знать, что такое для директора развязанные руки, он это видел и наивно полагал — так будет дальше. Но министерство набирало силу, оно все увеличивалось и увеличивалось в объеме, мощные главки, или, как их стали называть, объединения, превращались в крепкие ведомства, все более отдаляясь друг от друга, отрасль раздробилась, и заводы оказались в полной зависимости от объединений. И уж понять было нельзя, кто такой директор, есть ли у него хоть какие-нибудь права или только одни обязанности. И все стало сохнуть на корню, ветшало оборудование, падал интерес людей, всем на все стало наплевать.

А рапорты были хорошими, и Кирьяк с высоких трибун весело бахвалился, пересыпая речь колкостями в адрес других министерств, и, слушая его, люди веселились: вот мужик, за словом в карман не лезет. А потом... Павел Петрович и без того знал: многое в бумагах самая настоящая липа, — но тут решил: наизнанку вывернется, но получит реальную картину. И когда расчистил, то открылось страшное: отрасль недодавала почти треть из того, что значилось в рапортах. Кирьяк умело лепил их. «Будем ломать!» — решил Павел Петрович. Но что тут началось! Поднялись начальники объединений: не дадим записать себя в обманщики!

Ну, это можно было побороть — кого убрать, кого взять на испуг. А вот с другим было посложнее. Некий завод в завале. Но он же на территории какой-то области, а не в безвоздушном пространстве. И стоило сказать: «Э, братцы, да вы же ни в жизнь плана не дадите!» — как сразу грозный звонок из обкома Павлу Петровичу: по вашей милости вся промышленная картина области портится, думали, вы нам поможете, а вы палки в колеса; лучше бы денег дали, фонды... А где их взять? Одна «Полярка» сколько съедает! Натиск был могучий. Телефоны не умолкали. И Павел Петрович не устоял... Раз не устоял, два. И понеслось. Там план подправили, тут подправили. А когда Павел Петрович упорствовал, то сыпались жалобы в Совет Министров. Ведь люди лишались больших заработков, премиальных; жаловались обкомы, заводы, да из объединений тянулся поток анонимок...

В министерстве возникали и быстро осваивались какие-то люди, от которых потом многое зависело. Уследить за всем этим было невозможно, даже за заместителями не уследишь, их стало девять, у каждого свой штат, свои друзья и недруги, свои амбиции и обиды. Разберись-ка с ними. Ох, тонко и умело расставлял Фролов своих. Вдруг всплыл в министерстве Сериков, тот самый директор, из-за которого Павла Петровича едва инсульт не хватил. Пока Павел Петрович в больнице отлеживался, пока загорал на Рижском взморье, Фролов провел коллегую. Серикова пожурили, а через некоторое время он оказался в Москве в должности главного инженера объединения.

Павел Петрович, увидев его, спросил Фролова: «А этот как тут очутился?» У Фролова же ответ был готов: «Порекомендовали, он ведь с производства, такие люди нужны...» Запарка была жуткая, и Павел Петрович об этом разговоре забыл, еще не закончив его, а вспомнил, когда в числе других документов увидел письмо этого Серикова о том, что Павел Петрович груб с людьми, о чем ему во время инспекционных поездок сообщали такие-то и такие-то, и еще писал, что министр судит о заводах поверхностно, не вникает в их проблемы, а решая все кавалерийскими наскоками. Письмо было злое, потому и запомнилось. Конечно, из-за таких писем министра не снимают, не предлагают ему уйти на пенсию, но когда идет разбор де-

ла, то и такое письмо в строку. А их было не так уж и мало. Вот для чего перетягивал Фролов в министерство обиженных Павлом Петровичем. То были мины замедленного действия, подложенные на всякий случай, в надежде, что, когда придет час, они сработают. И час пришел...

Но Бастионов... Нет, это уже не удар по отставному министру, а опора и надежда, такому в свое время можно будет передать министерство, чтобы уйти красиво, при полном параде. Тут Фролов прав.

### *Глава двенадцатая*

Павел Петрович сел на скамью подле липы с зацементированным дулом, вяло подумал: может быть, все-таки подойдет Дроздец? Спешить было некуда, дома никто не ждал — Ленька предупредил, что явится вечером. Сегодня утром внук для начала привел его в смущение: поднявшись, Павел Петрович, как обычно, направился в ванную, но его опередила тоненькая девушка в мужской рубашке, промчалась босиком из кабинета, сверкая розовыми ляжками...

Павел Петрович лег рано, приняв побольше снотворного, потому что нервы были взбудоражены прощанием с Ниной. Все же эта женщина была ему дорога, и ссора с ней угнетала.

Они доехали до города молча, она сидела всю дорогу насупившись, и Павел Петрович не знал, как вести себя. Только когда остановил машину подле ее дома, она повернулась, и он удивился страдальчески-виноватому выражению лица.

— Я плохая? — спросила она.

Ему это не понравилось, в словах ощущалось кокетство, которого раньше он в ней не замечал.

— Зачем ты об этом? — сказал он.

— Испортила отдых,— вздохнула она.

— А мы и отдыхали,— успокоил он.— Но, наверное, мне не надо было посвящать тебя в мои дела.

— Может быть,— согласилась она.— А вообще, я вся в раздрыгге. Ну, будь здоров.— Она торопливо поцеловала его в щеку и, схватив сумку, выскочила из машины.

Он смотрел, как она шла к подъезду — обыкновенная, уже немолодая женщина с коротковатыми ногами,— и подумал: ему было хорошо с ней, но, пожалуй, близким человеком она не стала, не могла стать, где-то у нее была своя, главная жизнь, а в жизни Павла Петровича она появлялась как бы мимоходом, и вообще, если говорить серьезно, кроме Сони у него и не было никогда близкого человека. Соня понимала его всего, даже когда не соглашалась с ним.

Да, Нина не стала ему близка, и все же сделалось грустно, что он теряет ее. Она скрылась из глаз, и он вздохнул, потому что не был уверен, что снова когда-нибудь увидит ее...

Он проспал почти двенадцать часов. Не слышал, когда вернулся Ленька, а утром пришлось затаиться у себя в спальне, подождать, когда протопает назад девица, а та не спешила, он слышал — принимает душ. Тогда он кашлянул, и из коридора до него донесся веселый голос Леньки:

— Дед, ты не спишь?

— А ну давай сюда,— приказал Павел Петрович.

Свеженький Ленька в пятнистой майке и джинсах явился перед ним, подергивая кривым носом, улыбаясь во все лицо.

— С добрым утром!

— Это что ты у меня развел? Откуда эта гетера с розовой задницей?

Ленька захохотал:

— Да что ты, дед! До гетеры ей далеко. Она всего лишь абитуриентка нашего, воронежского разлива. Девочке сегодня ночевать негде было. Я обязан был дать ей приют.

— В своей постели?

— Обижает, дед. Ты уж извини, но она тосковала на диване в столовой. Я ее немного знаю. Мама тоже. Честное слово, она хороший человечек.

— А черт вас всех сейчас разберет: кто хороший, кто плохой. Я могу наконец пройти в ванную?

Ленька выглянул из спальни, махнул рукой: давай, мол, шагай.

Когда Павел Петрович привел себя в порядок, его окликнули из кухни. Курносенькая, тоненькая девушка с синими глазами, подкрашенными синим — это уж явно было ни к чему, — назвалась Катей. Орудая за столом, спросила:

— Кофе или чай?

— Все равно.

— Тогда кофе. Судя по вашему лицу, вам надо взбодриться. — Она говорила как будто приказывала, не было даже намека на смущение. — Омлет я сотворила. Переходите на самообслуживание.

Павел Петрович усмехнулся, посмотрел на нее прицельно, спросил:

— Тоже в студентки?

— Если получится, — кивнула она, откусив большой кусок хлеба, намазанного вареньем. — А не получится — тоже не пропадем. Дела найдутся. Это вот Ленька везун. Медаль! Ха! Только у ненормальных сейчас медали.

Ленька улыбался до ушей, неторопливо отпивая чай.

— Значит, у меня внук ненормальный? — поинтересовался Павел Петрович.

— Выходит, что так, — согласилась Катя. — Даже переспать со мной испугался. Думает, я у него на шее повисну. Я плевать хотела, как и на других. У меня знакомые сегодня приедут, так что вы не беспокойтесь, я к ним отправлюсь...

Она ела и говорила, крошки иногда вылетали у нее изо рта, но в ней было что-то озорное и приятное, хотя несла она бесстыжую мешанину, но Павел Петрович понимал: это — бравада, а может быть, она подсмеивалась над ним, пытаясь его смутить. Ленька же вел себя так, словно весь этот разговор его не касался.

— Какую же профессию выбрали? — поинтересовался Павел Петрович.

— Экономист, — охотно отозвалась Катя.

— Почему?

— Потому что терпеть не могу экономику, — улыбнулась Катя. — А надо заниматься именно тем, что тебе неприятно. Вы не смейтесь! Смеяться легко, если не понимаешь сути проблемы.

— Есть суть?

— Конечно. — Она прожевала кусок, запила кофе. — Она в том, что воля должна преобладать над чувством и мышлением. Все существует ради твоего волевого акта. Я должна победить отвращение к чему-либо и сделать так, чтобы это нечто было в моих руках. Я всегда занимаюсь тем, что мне, в сущности, неприятно. И только побеждая отвращение, чувствую себя человеком.

Ленька захохотал. Катя внезапно рассердилась:

— Заткнись, медалист дешевый!

Но Ленька продолжал хохотать.

— Не принимай ее всерьез, дед. Она начиталась прагматиков. Джемса, Дьюи. У нее тут сдвиг по фазе.

Павел Петрович не знал, кто такие Джемс и Дьюи, никогда о них не слышал, но мало ли о чем он не знает, он учился совсем не тому,

чему учатся эти ребята, у них свои интересы, о которых он и понятия не имеет.

— Ну, ладно, что с вас возьмешь,— сказала, не обидевшись, Катя.— Посуду сами вымоете. А мне бежать на консультацию.

Она выскочила из-за стола, задержалась у выхода, сказала:

— Ленька! Я тебя презираю, потому что ты никогда не поймешь, что безрассудство — праздник существования.

— Но ты же сама только что вопила о воле,— усмехнулся он.

— А воля и безрассудство совместимы. Ты еще слабак в мышлении. Советую подучиться, тем более что сегодня ты был сволочью. Салют! — И, приняв надменную позу, вышла из кухни.

Ленька опять захохотал, а Павел Петрович вдруг обозлился, потому что окончательно понял: его дурачат.

— Ну, ладно,— сказал он сердито.— Кончай цирк! И чтобы больше у себя в доме я всяких финтифлюшек не видел.

Ленька сморщился, жгучие глаза его сверкнули.

— Ну, честное слово, дед, не было никакого цирка. Катька вообще не финтифлюшка. Просто представляется. Да ладно о ней. Не мог же я ее на улице оставить. Мама бы не простила.

Он сумел это сказать так, что Павел Петрович сразу смягчился, закурил. Упоминание о Люсе подействовало на него, он спросил:

— Ну, а мать-то как?

— По-разному, дед. Она хороший преподаватель. Студенты ее уважают...

Он вспомнил, как было с его приездом в Воронеж. Он уже чувствовал, что это последняя командировка, наверное, и в обкоме знали: дни его в должности сочтены,— встретили холодно, номер в гостинице отвели хороший, но говорили сдержанно, а главное, ни о чем не просили. Зачем просить у человека, который все равно не успеет ничего серьезного сделать. Он позвонил вечером Люсе, сказал, что хочет видеть ее и Леньку. Она не удивилась, спокойно ответила: Ленька в больнице, а она придет через час. Он обиделся, потому что ждал — Люся пригласит к себе домой, не чужие ведь, да и посмотреть, как она живет, нужно, ведь после похорон Сони они больше не встречались. Он обиделся, но ничем не выказал этого. Она пришла усталая, уже немолодая, говорила негромко. Ему хотелось пожаловаться ей, рассказать, как скверно у него складываются дела, все расплывается, придется вот-вот уйти на пенсию, но Люся не приняла его жалоб: всем, мол, сейчас нелегко,— назвала больницу, где лежал Ленька, предупредила: пусть едет туда один, у нее завтра весь день забит лекциями. Он потом понял: ее угнетало происшедшее с сыном. Но все равно обида осталась. Ему думалось, что похороны Сони снова сблизили их, но оказалось, что нет.

— Тебе известно, что она отреклась от меня? — неожиданно, глядя прямо на Леньку, сказал Павел Петрович.

— Ты ошибаешься, дед,— ответил внук. Внезапно голос его обрел упругость и категоричность, это был голос Люси, когда она становилась жесткой.— Она когда-то тебе это ляпнула от отчаяния. Это можно понять. Она ведь очень любила Семена Карловича.

— Она что же, во все тебя посвятила?

— Не знаю, во все или не во все,— сказал Ленька, и Павел Петрович удивился перемене его лица: из бездумного, беспечного парня тот превратился в самую строгость, даже Люсина поперечная складка образовалась меж бровей.— Но у нас вроде бы не было тайн... Ей ведь там не очень-то легко. В институте грязи хватает. Она в их мышиной возне не участвует, а это иным обидно, вот и травят ее потихоньку. Но она молодец, на все плюет. А что касается тебя... Ты прости, дед, но она считает: ты себя не на то растратил.

— Значит, осуждает?

— Я бы сказал, жалеет. Это — есть.

— За что же меня надо жалеть? — спросил он, и ему сделалось нехорошо. До чего дожил — сидит с мальчишкой и вытягивает у него ответ: так ли он прожил свою жизнь?

— Знаешь, дед, — сказал Ленька. — Я ведь тебя толком еще не знаю. Но маме я верю. Она говорит: самая твоя большая беда, что ты утратил себя. Может, я не очень ее понял. Но смысла тот, что ты когда-то был независим... Не во всем, конечно, во многом. А потом перед тобой все стали преклоняться. Считали: у тебя воля, сила, умение подчинять людей. Ты поднимался на высоты, падал, но не ломался. А на самом деле... В общем, на самом деле ты был подневольным, тебя плотно приковало к себе время. Свободы не было, а существовало только «надо». Такая тебе выпала пора. Были, конечно, люди, которые пытались противостоять... Вот Семен Карлович. Но, наверное, ему легче, он ведь ученый. Наверное, были и другие... Это мамнины мысли, своих я еще не нажил. Не успел, — улыбнулся он.

Павел Петрович почувствовал, как кровь приливает к лицу, он поймал себя на том, что может сейчас размахнуться и врезать этому дерзкому мальчишке. Это же надо: не успел из яйца вылупиться, а уже всю его жизнь, о которой и знает-то понаслышке, в формулировки уложил... Но, поостыв, понял: сердиться не стоит, мало ли что несёт мальчишка, да ведь и интересно, что о нем думают родные люди, их всего-то...

— Значит, вы меня в утиль списали. Так понимать?

— Да что ты, дед! — удивился Ленька. — Мама тебя любит!

— Хороша любовь. Такого наговорила. Да и когда в Воронеж приехал, на порог не пустила.

Ленька на минуту задумался, почесал лоб, сказал:

— Ты зря, дед, сердисься. Ведь давно известно: чем шире сфера деятельности человека, тем чаще ему приходится приносить личное в жертву долгу. Так происходило и происходит всегда. Весь вопрос только — что означает этот долг. Тут, конечно, можно бить себя в грудь и кричать: мы создали, мы добились, мы победили! Но мама говорит, ты не из таких. Ты даже подвержен самоуничтожению. Она и послала меня к тебе. Сказала: ты живи у него, ему сейчас трудно. Она тебя любит, но Бастионова простить тебе не может.

— Да он же твой отец!

— Я ведь не про себя говорил, я про маму, — улыбнулся Ленька. — Но, может, мы еще к этому вернемся попозже. А мне сейчас в институт надо...

Вот какой разговор был утром.

Стоило Леньке уйти, как Павел Петрович почувствовал себя одиноким и слабым. Эк занесло мальчишку, что, они нынче все такие? А может, в его возрасте и он был таким? Ведь сами когда-то трубили: время требует, время требует... Оно требовало всегда. Ленька задел самое больное. Конечно же, это не внук додумался, а Люся, что он был всего лишь рабом времени и никогда не ощущал себя свободным...

Надо было идти домой, приготовить что-нибудь на обед, но Павел Петрович не мог подняться со скамьи. Сначала ему почудилось — он дождется Дроздеца, но вскоре понял: старик не придет. Да и зачем Павлу Петровичу Дроздец? Получить дополнительную информацию?.. Может быть. Ощущение, что сегодня Павел Петрович в чем-то ошибся, усиливалось, ведь недаром Фролов был подчеркнуто вежлив, а Клык позволил себе ухмылку. Конечно, и Фролов и Клык знают нечто такое, о чем Павел Петрович даже не догадывается. Время нынче сложное, переменчивое, только от одних газет голова кругом идет. Разоблачение следует за разоблачением: тот, с кем встречался Павел Петрович на разных перепутьях, кому симпатизировал, видя в человеке образованность, дипломатическую сдержанность, оказывался крупным взяточником, другой — солидный,

основательный, прекрасный семьянин, не раз выручавший как смежник министерство,— предстал «крестным отцом» банды расхитителей, третий... Честно говоря, во все эти разоблачительные статьи Павел Петрович поначалу не верил, они его даже раздражали. Он понимал: идет замена старых руководителей, это ясно — но зачем подвергать людей очернению? Во-первых, они работали, много работали, во-вторых, если уж на то пошло, то избавиться от них можно и иным путем. Однако постепенно стала вырисовываться общая картина действий, которые сводились к яростному обнажению истинного положения дел, а оно, чем глубже копали, оказывалось все более и более неприглядным.

Когда-то Павел Петрович, заступив на должность после Кирьяка, тоже захотел узнать правду, понимал, что без этого не сможет правильно вести отрасль, он долго и упорно бился за эту правду, и когда она открылась, он ужаснулся. То, что увидел Павел Петрович, было похоже на огромное, некогда чудесное поле, превращенное в свалку, и вот на этом самом поле ему следовало навести порядок. Павел Петрович ужаснулся, но не пришел в отчаяние, его обуял азарт обновления... Наверное, он не рассчитал силы да и понял: поле так запустили, что расчистить его почти невозможно. Дело даже не в отрасли, а во всей системе: одни чего-то недодают, другие стряпают фальшивки, третьи то и дело меняют план... Сбоила не отрасль, сбоила вся система, и происходило это давно, только диву можно было даваться — на чем все держится. Была какая-то главная, стержневая причина этих сбоев, но, видимо, никто до нее не смел обратиться.

Конечно, не один Павел Петрович это понимал, многие, потому и тянули к себе науку, искали новые формы управления, меняли технологии, иногда все это взбадривало отрасль, но к крутым переменам не приводило, а старые долги висели тяжким грузом, и от них нельзя было избавиться, да и накапливались новые.

Ах, как жаль, что ничего этого не сознавал Павел Петрович в восемьдесят третьем, когда пригласил его к себе молодой человек с семью кудряшками на висках, гладкощечкий, с полунасмешливым прищуром синих глаз. Павел Петрович знал его прежде, знал: он любит носить серые костюмы — и его привычку знал: круговым движением пальцев массировать залысины, когда надо было решить нечто важное. Первые же его слова подтвердили то, о чем Павел Петрович уже слышал: здесь, в кремлевском здании, установился новый стиль в разговоре. Тот, кто пригласил, произносил слова негромко, не позволяя себе вспыхнуть или ответить дерзостью на дерзость, как это бывало прежде. Это немного пугало, потому что Павлу Петровичу приходилось выслушивать здесь крутые разносы, здесь могли обругать, могли и похлопать по плечу, рассказать анекдот, и он должен был все это терпеть и уговаривать себя: ничего, смирись ради дела.

Когда Павла Петровича пригласили к человеку в сером костюме, он уже понимал: положение его плохо. Как-то один из крупных руководителей в перерыве совещания взял его под руку, с укоризной сказал: «Да кто же тебя просил так обнажать просчеты отрасли? Опытный человек, а подставился...»

Впрочем, все началось значительно раньше, в первые же дни после переезда в Москву. Павел Петрович был убежден: его пригласили как специалиста, чтобы он мог задать отрасли нужный ритм. Но Кирьяк был не из тех, кто мог выпустить что-либо из-под контроля или поделиться властью. В семидесятом году Павел Петрович уже был опытным работником и мог бы сделать нужные выводы из беседы с человеком в шляпе и макинтоше на опушке березовой рощи, но не сделал, а только запомнил саму беседу. А ведь этот человек начинал ярко, с ниспровержения идолов. Когда он одержал первые



победы, его понесло, намерения явно опережали возможности, но он действовал так дерзко, так яростно, что ему поверили, пошли за ним, дабы за три года создать изобилие в стране... Как же дорого обошлась людям эта вера, многих она привела к духовной катастрофе, бессильному примирению с настоящим: пусть будет так, как будет, а так будет всегда.

У березовой рощи Павел Петрович слушал негромкую исповедь человека, осознавшего свое поражение, он, видимо, страдал от этого сознания, потому и посылал письма с извинениями людям, которых в запальчивости обидел. Он говорил Павлу Петровичу: «Народ, значит, почувствовал себя вольготней. Он получил возможность выражать свои мысли и выражать свое недовольство, а это, значит, неотъемлемое право во все времена. За это право народ платил даже жизнью, даже очень много, значит, людей поплатилось. А потом люди, значит, как говорится, сняли замки со своих ртов, получили возможность не оглядываться. Тут надо было идти дальше, тут надо было дать людям все сказать и послушать их, значит... Писем было много. Они говорили, значит, всю систему надо менять. Мы меняли, а корни оставили... Не легко было сразу, значит. Корни оставили, а от них новые побеги идут. Это беда. Я уж старый, я не знаю, как с этой бедой, это вы думайте, значит...»

Да, в ту пору Павел Петрович всерьез не вник в эти слова, об этом можно только сожалеть. Но ощущение, что вся телега разболталась и громыхает на ухабах, теряя то обод, то спицы с колес, родилось давно, и этим беспокойством жили и томилась.

Где-то в восьмидесятом или восемьдесят первом — точно не вспомнишь, память начала слабеть — Павел Петрович сидел в президиуме какого-то совещания. Зал встал, чтобы приветствовать главного докладчика, а тот короткими шажками шел к трибуне, держа папочку, он нес свое тело, облаченное в синий костюм, прямо, несгибаемо, оно казалось слишком тяжелым для его ног; Павел Петрович видел сбоку его лицо со знаменитыми бровями, оно было замкнуто, обращено в себя, может быть, докладчик беспокоился, как бы не споткнуться и дойти до трибуны. За кулисой стоял полный военный, готовый ринуться на помощь. Павел Петрович несколько раз видел докладчика вблизи, знал — тот любит бесхитростную шутку, с удовольствием смеется, глаза при этом счастливо оживают, и ямочки на щеках становятся глубже. Но к тому времени, как собралось это совещание, докладчик перестал смеяться, часто причмокивал губами, слова произносил натужно, шепелявя, лицо отяжелело.

Он взошел на трибуну, долго надевал очки, отпил из стакана и начал неторопливо, бесстрастно читать, указывая, как плохи дела в стране с управлением. Он говорил об этом и прежде, но тут неожиданно голос его сделался резким, он назвал одного министра, другого — раньше такое не было принято, упоминалась лишь отрасль, что плохо работала, — и Павел Петрович вдруг услышал и свою фамилию. Ему сделалось нехорошо, он знал: завтра доклад появится в газетах, в министерстве будут тыкать пальцем в его фамилию, перешептываться за спиной, строить прогнозы, что вот, дескать, из-за этого упоминания теперь Павла Петровича обязательно снимут с должности. Но более всего его беспокоила Соня. Он сделал ошибку, что не сказал ей, как его чистили на совещании, подумалось: а может, пронесет, может, газеты не дадут фамилий, уж очень это непривычно. Но утром Соня вошла к нему, прижимая маленькие руки к горлу, косая складка у рта дергалась.

— Я слышала по радио на кухне. Ты знаешь? — спросила она.

Вопрос был нелепым, она ведь осведомлена, что вчера он сидел в президиуме совещания.

— Это ужасно, — проговорила она. — Это даже невозможно!

Кто-то тебя вписал. Сейчас будут звонить знакомые. Что мне им говорить? Тебя снимают с работы?

— Нет, меня не снимают,— ответил Павел Петрович веселым голосом,— к сожалению.

— Почему «к сожалению»? — испугалась Соня.

— Устал я, Сонюшка,— вздохнул он.— Не тяну...

Соня некоторое время смотрела на него с жалостью, потом категорично произнесла:

— Паша, тебе надо отдохнуть. Мы поедем с тобой в «Красные камни»...

Они и уехали дней через десять в Кисловодск. Однако Соня не знала самого главного, что случилось на этом совещании... После критической части докладчик перешел к рекомендациям. Павел Петрович слышал в наушниках косноязычный голос, он звучал рядом, спотыкался на сложных словах и терминах, и поначалу Павел Петрович даже не поверил услышанному. В это время и по залу прокатился рокот, докладчик на миг остановился, снял очки, оглядел зал, отпил из стакана и, недоуменно пожав плечами, стал продолжать чтение. А речь шла об автоматике, но то, что предлагалось как новшество, было отжившим, не годилось в нынешний электронный век. Вскоре начался другой текст, зал успокоился.

Случилось так, что в перерыве Павел Петрович последним покинул сцену, вместо того чтобы свернуть в комнату президиума, двинулся по коридору и наткнулся на докладчика. Перед ним в необычной позе стоял помощник — вытянувшись, как солдат, стараясь не мигать бесцветными глазами. Докладчик, шепелявя больше, чем обычно, выговаривал:

— То, что ты дурак, знал я один. А то, что я оказался в дураках, теперь может узнать вся страна. Откуда ты выкопал эту дохлятину об автоматике?

Помощник торопливо облизнул губы, назвал фамилию академика.

— Нашел кого спрашивать! Ему давно пора на Новодевичьем лежать!

Тут приблизился военный и протянул докладчику таблетку и стакан с питьем, тот взял таблетку, слотнул, запил, отвернулся от помощника и пошел дальше.

Помощник скрипнул в досаде зубами, внезапно обернулся, увидел Павла Петровича:

— А ты что тут стоишь? Во-он!

Павел Петрович возражать не стал, прошел в комнату президиума, здесь люди пили, закусывали, он взял стакан боржомом, залпом осушил его, и показалось, вода обожгла горло. Злость вскипела в нем: черт возьми, что же это делается, почему они должны внимать некомпетентным речам, ломать головы над бумагами, спущенными сверху, в которых ничего не поймешь, ибо писаны они невеждами? Неужто они и будут так жить, подчиняясь необдуманному решению, составленным разного рода референтами и помощниками? Эти распоряжения идут вниз и, кроме скептической усмешки, ничего иного не вызывают у специалистов. Так зачем же зачитывать эту речь об управлении, если все в ней зыбко, нет серьезной государственной идеи? Да, корни дали побеги, то, о чем говорил Павлу Петровичу человек на опушке березняка, свершилось... Осознание этого отозвалось в Павле Петровиче болью, и тогда-то в нем укрепилась мысль: он бессилен, он не способен к серьезным делам, все его действия — суета сует.

Когда совещание кончилось и Павел Петрович надевал пальто, его логонько взяли за локоть:

— Извини, Павел Петрович, под горячую руку попал. С кем не бывает.

— Обошлось? — догадался Павел Петрович, разглядывая сияющее лицо помощника.

— Ну, он же мужик! — радостно, взახлеб проговорил помощник. — Да я за него... Понимаешь, думаю: все, пора удочки сматывать. А куда? После такого пойдй найди место. Сижу думаю. А он вдруг подходит, спрашивает: как у тебя сын? Парнишка-то ногу сломал. Представляешь, помнит. Ну, ладно, говорит, скажи сыну, что отец у него хоть и остолоп, но работать с ним можно... Вот, Павел Петрович, когда человек — он всегда человек!

Эта радость разговорившегося помощника, от которого попахивало коньяком — успел выпить на радостях, — еще более удручала.

Потом было, спустя примерно год, еще одно такое совещание, и опять в докладе ругали Павла Петровича, но теперь он отнесся к этому спокойно. Впрочем, в статистическом отчете, опубликованном в печати, значилось, что отрасль выполняет план на сто процентов. Павел Петрович прекрасно знал: это не так, — но отчеты по стране составлял не он, возражать же было глупо, и он принимал происходящее как неизбежность.

Потом был тревожный восемьдесят третий и вызов к человеку в сером костюме. Массируя круговыми движениями затылки, тот неторопливо говорил Павлу Петровичу:

— Результаты глобальной проверки вы знаете. Отрасль в провале. Мы понимаем: вам досталось тяжелое наследство от Кирьяка. Но семь лет вы возглавляете отрасль. Письмо ваше первое в правительство мы подняли. Да, все, что вы написали, внушает тревогу. Но вы ведь не вели настойчивой борьбы. — Он встал, прошелся к окну, за которым видна была Кремлевская стена, внезапно обернулся и с любопытством спросил: — А как вы сами считаете, Павел Петрович, вот сейчас, в условиях повышенной ответственности и требовательности, сможете вести отрасль?

Павел Петрович знал, что за этим обычно следует предложение подумать, все прикинуть, а уж затем через какой-то срок дать ответ. Но надо было ответить честно. За семь лет он чертовски устал от непонимания.

— «Повышенной требовательности»... — усмехнулся он. — Разве когда-нибудь она была занижена?

— Была. Как, впрочем, и сейчас. Вы это должны знать. Так вы не хотите ответить мне на вопрос?

— Хочу. Если все сведется только к требовательности, то нет, не сумею. Надо не только требовать, но и менять, выкорчевывать старые корни.

— Что вы имеете в виду?

— Все. Абсолютно все.

Человек его понял, сказал:

— Пока мы не намерены менять основы основ. — И тут же добавил с участием: — В таком разе вам лучше самому подать заявление об уходе на пенсию...

Он ехал домой и думал: может, и хорошо, что Соня не дожидала до этих дней. Будь она жива, Павел Петрович не дал бы ответа нынче же, а поспешил к ней. Они сели бы в кабинете, Соня выслушала, сказала бы: «Тебе не надо спешить, Паша, видишь ведь, начинаются другие времена. Именно те, которых ты ждал. У тебя есть люди, посоветуйся с ними, подумай. Я несколько не сомневаюсь: вы найдете нужные решения». У нее был ровный учительский и голос; именно так бы она сказала, стараясь успокоить его и утвердить в мысли: ничего страшного не произошло, надо только побороться за себя. Он бы послушался ее, стал созывать одно совещание за другим, мотался бы по заводам, призвал науку... Этот круг он проходил не раз.

Однако же, когда оформлял его уход, в нем вызрела обида: его просто-напросто турнули, потому что он был не ко двору, держался

независимо, ни в какие группы не входил, — а они были, он знал. Особенно разрослась обида весной восемьдесят четвертого, когда стало ясно: никаких особых перемен не будет, слова о повышенной требовательности оставались словами, все входило в прежнее русло, хотя среди народа и жила тревога ожидания. Этот год дал возможность закрепиться Фролову, который до этого чувствовал себя временным. Но, как ни странно, именно тогда Павел Петрович и успокоился. Ведь он мог и в самом деле поверить: пришла пора серьезных перемен, — и влезть в работу, а она оказалась бы напрасной, опять бы все предложения разбились о стену непонимания.

Павел Петрович начал было жить покойной, размеренной жизнью пенсионера, но завертелась эта яростная метель разоблачений в газетах, она все усиливалась и усиливалась, и стало ясно: час пришел, вот-вот примутся выкорчевывать старые корни. Судя по всему — другого пути быть не может.

Особенно его обнадежила свара, в которую он попал месяца два назад, побывав в поликлинике.

Дни были предпраздничные, солнечные, Павел Петрович прошел обязательные обследования и двинулся к воротам, глядя на яркую молодую зелень. Его окликнули.

На скамье, подставив бледное лицо солнцу, сидел тот самый помощник, который когда-то накричал на Павла Петровича. Рядом с ним стояли двое — узколицый человек с золотыми зубами и еще какой-то седой, в легком клетчатом пальто.

— Привет бывшему от бывших! — приветствовал помощник Павла Петровича.

От всей троицы попахивало спиртным, ныне с выпивкой было строго, но, видимо, этим людям нечего было терять.

— Опоздал, Павел Петрович, — сказал, усмехаясь, помощник. — Мы тут «Белого коня» раздавили. Я всегда виски уважал. Сейчас не достанешь, но по старым связям...

Этот человек еще не так давно обладал могучей властью, министры его побаивались, да и не только министры; ведь он действовал от имени хозяина, потому даже личные просьбы помощника воспринимались как указание свыше.

— Ну что же, — сказал Павел Петрович. — На здоровье.

Ему хотелось побыстрее отделаться от этих людей, но не дал золотозубый, схватил Павла Петровича за пуговицу, жестко сказал:

— А как ты на текущий момент смотришь? Мы тут завелись... Правда, пригубили, а ты как стеклышко. Рассуди.

Павел Петрович смутно помнил: кажется, золотозубый был прежде связан с военными, но на «ты» он с ним никогда не был.

— Что вы имеете в виду? — осторожно спросил он.

— А все нынешнее растебайство! — рявкнул он. — Развели, понимаешь... Всех дегтем мажут. Сейчас если начальник, то выходит — сволочь. Никакого уважения! А тут со всех сторон ползут эти патлатые, педики, наркоманы, критиканы. Они, что ли, делать дело будут? В наши-то времена никаких наркоманов и прочей сволочи не было. А порядок был! И войну из-за того порядка выдюжили. Общество от всякой пакости очистили, и потому нас никакой фашист не мог взять. Отборное общество осталось, верное. Каждый выполнял. А если сейчас не вернем того порядка, считай — конец света. Что нужно? Всякие баламуты проявили себя, накричались, бери их тепленькими, как Верховный брал. Сразу порядок наведем. И хлеб будет, и масло, и машин навалом. Человек бояться должен, тогда он и вкальвает. А этот вот, — кивнул на помощника, — о своем тоскует. Добренький, мол, был. А на самом деле он всех-то и распустил. Силы в нем настоящей, крутой не было, чтобы хозяин чувствовался. А когда силы нет, все ржой покрывается... Ну, а этот, — ткнул он жестким пальцем в седого, ткнул, видимо, больно, тот поморщился, — демократ, видишь, великий. Ему

демократия нужна, чтобы его не трогали, благостная такая демократия. Не понимает, дипломатическая душа, что у них свой уклад, у нас свой. Мы без твердости не можем.

Седой хотел что-то возразить, но золотозубый не дал.

— Молчи уж, набрехался достаточно... Ну, а ты на кого ставишь, Павел Петрович?

— Извините, мне пора,— ответил Павел Петрович. Он убрал трясушую руку золотозубого со своей пуговицы, повернулся, пошел по дорожке.

— Видали мы таких! — донеслось до него злобное. — Куда ветер...

Теперь-то он знал, что подобные схватки случаются не только среди бывших, но на всех житейских уровнях и перекрестках, даже в магазинах и метро. Мир вокруг вспенился, забурился, пришел в движение. До сегодняшнего дня Павел Петрович был как бы в стороне от него, но тем, что отнес документы о Бастионове, невольно переступал порог бездействия. Это значило — стычки не миновать.

### *Глава тринадцатая*

Андрей Бастионов объявился вечером, когда Павел Петрович и Ленька ужинали на кухне, но до этого был разговор с внуком, который не хотелось прерывать, а еще раньше позвонила Нина.

— Павел,— сказала она, голос у нее чуть дрожал.— Я не думаю, что мы расстались. Все-таки мы были нужны друг другу. Так мне казалось. Ты понимаешь?

— Понимаю,— сказал он, хотя на самом деле не мог определить, к чему она клонит.

— Я не спала ночь. Я думала. Вот ты упомянул какие-то трамваи. Что это, скажи мне честно.

Голос ее был напряжен, и он догадался: она полагает, что кроме Института у него на совести еще есть нечто подобное, и неожиданно для себя ответил:

— Тревога.

— Что? — удивилась она.

— Я сказал — тревога,— ответил он и вдруг рассердился.— Ты что же, считаешь, у таких, как я, ее вовсе нет?

— Павел! — воскликнула она и неожиданно всхлипнула.— Ты меня гонишь?

— Это ведь ты удрала от меня.

— Но я хочу вернуться. Только мне надо подумать.

Теперь уж он окончательно вышел из себя.

— Думай! — рявкнул он и положил трубку.

И тут же пожалел об этом. Нина выложила все что думает, она переживает, мучается... Нет, это он заставляет ее мучиться, и, может быть, несправедливо... Как же он устал за эти несколько дней. Ведь все, казалось, улеглось, он со всем смирился, но стоило какому-то Дроздецу сообщить ему о Бастионове...

Скверное настроение развеял Ленька, он еще с порога гаркнул:

— Дед! Кричи «ура»! Считаю, я студент.

Павел Петрович пошел ему навстречу, обнял, прижал к себе и ощутил неожиданно сильный прилив радости — вот так же он когда-то обнимал дочь, когда она поступила в институт. Ей было труднее, чем Леньке, она тяжело сдавала экзамены, и Соня молилась по ночам, он слышал эти молитвы и сердился, потому что сам нервничал.

Павел Петрович потащил Леньку на кухню, они снова оказались за столом друг против друга, и на какое-то время почудилось: не было дня, не было похода к Фролову, а все еще длится утро, завтрак и Ленька продолжает разговор.

— Ну, дед, я через день-два тебя покину. Поболтаюсь немного по Москве и домой, в Воронеж. А когда вернусь — в общагу.

— И не вздумай! Места хватит.

— Да не в этом дело. Хочется студенчества по-настоящему хлебнуть. А как без общаги? — Он передернул кривым носом, и глаза его зажглись азартом, ну совсем как у Люси, когда она решалась на что-нибудь отчаянное. — Дед, я тебя вот о чем... Ну, ты всего хватил: работягой бы, мастером, директором, министром. Я знаю, мне мама много говорила. Но ты мне вот в чем признайся: когда тебе было хорошо? Только по-настоящему, честно. Мне это очень важно...

Что Павел Петрович мог ответить?.. Когда было хорошо?

— Не знаю, — задумчиво произнес он. — Впрочем... Мне много раз было хорошо. Пожалуй, когда что-то начинал... Вот после войны. Остался жив, кинулся учиться... Очень было хорошо. Хотя голод, мрак, а хорошо. Потом — завод. Сделали директором. Честное слово, был счастлив. Тут многое сразу сплелось: и добился, и верят, и могу! Начинать всегда прекрасно, тут дело идет об руку с надеждами. Тогда в тебе силы кипят. И веришь: все переверну.

— А потом?

— Потом, — усмехнулся Павел Петрович, — потом разное. Начинается лабиринт. Думаешь, идешь напрямик к цели, а на самом деле совсем в другую сторону... Знаешь, Ленька, ты у меня жизненных рецептов не спрашивай. Пока сам не навернешься, все, что я тебе скажу, — мимо.

— Но у тебя опыт, дед.

— Опыт — это то, что осталось позади. Никто еще никогда не сумел повторить чужую жизнь. Поступок — да, поступок можно повторить. Но лучше искать свое. Ты же утром сам меня в этом уверял... Да не морочь ты себе голову абстрактными мыслями. Если ты технар, размышляй конкретно.

— Не выйдет, дед. Если я замкнусь только на технике — мне хана. Знаешь, у матери остались кое-какие записки Семена Карловича. Там есть над чем подумать. Вот послушай. — Он сунул руку в карман, извлек записную книжку, прищурился, стал читать: — «Мы живем в эпоху, когда техника переросла породившие ее социальные структуры. Это — опасность. Что такое техника? Совокупность операций, которые обладают тенденцией приобретать самостоятельное значение. Технари не переступают пределов дозволенного и подчиненного характера обслуживаемой ими техники. А технократы используют присущую технике склонность превращаться в независимую, самостоятельную ценность. Так они подменяют главное второстепенным, чтобы господствовать в мире, подчинить человека машине, держать его в страхе перед ней...» Как тебе эта мысль, дед?

— Я в этом не силен, — признался Павел Петрович. — Но, может, он и прав. Может быть, и в самом деле надо об этом думать...

Когда-то и его в молодости мучали эти вопросы, он размышлял о технике, ее назначении, но все забылось, ушло, развеялось, а вот Новак... И Павел Петрович внезапно подумал: это ведь удивительно — они там, в министерстве, на совещаниях, заседаниях сидели часами, схватывались по разным техническим проблемам, копались в цифрах, схемах, планах, но он не помнит ни одного спора за много лет — каково же место человека среди наворота этих дел. Правда, любили бросаться словами: «О людях надо думать...» Да вроде бы и думали — как накормить, одеть, обути, занять досуг, но все это входило в общую схему производства и вовсе не касалось более глубинных срезов... Каков человек ныне? Да работник он, и все тут. А о работнике нужно проявлять заботу... Как же это случилось, что о самом главном у них не было речи?.. Почему? Да потому, что для всех них техника — это серьезно, а все остальное — ф и л о с о ф и я, и когда произносили это слово, то крылось в нем пренебрежительное. А этот парень, его внук...

— Послушай, — сказал Павел Петрович. — А почему ты со всем этим ко мне полез?

Ленька усмехнулся. Странная все-таки у него усмешка — вроде бы добрая, но есть в ней и нечто загадочное.

— А к кому же еще, дед? Мне интересно.

— Тогда тебе признаюсь. Все, что ты вычитал у Новака, меня тоже беспокоило. Только по-другому. Мне как-то начало казаться, что промышленность — это живая структура. Главное в ней — сообщество людей. Ну, как пчелиный улей. У каждого своя функция, а на самом деле это цельный организм. А если цельность нарушена, тогда сообщество больно. Но я не довел мысль до конца, не справился...

А Ленька вдруг заволновался, округлив глаза:

— Дед! А ведь это, наверное, самое главное. Ну, честное слово. Техника! Она меняется, она всегда будет меняться, но ведь ради чего-то. А цель может определить только сообщество. Тогда оно найдет и средства и систему действий... Вот ведь в чем дело! Вот!

Теперь уж рассмеялся Павел Петрович — эх парня разобрало! Но договорить им не удалось, потому что в дверь позвонили. Ленька вскочил, выбежал в прихожую, и оттуда донесся голос Бастионова: «Ну, хорош! Торчишь тут, а отцу...»

Павел Петрович вслушиваться не стал, заторопился: Андрея надо принять в кабинете, это ничего, что там беспорядок. Он сорвал со спинки стула пиджак, торопливо надел его, перешел в кабинет и едва опустился в кресло, как на пороге возник Андрей, а из-за его спины выглядывал Ленька.

— Прошу прощения, Павел Петрович, — проговорил Бастионов, — что без предупреждения, но нужда...

Голос у него был веселый, и выглядел Бастионов хорошо. Аккуратная прическа, благородные залысины; он раздался в плечах, снова отрастил усы, щеки хоть и загорели, но румянец с них не исчез. Ему не было и сорока, но во всем ощущалась вальяжность — и в раскованности движений и в бархатистом голосе. Одет он был в дорогой костюм из тонкой, кофейного цвета материи. Бастионов сделал несколько шагов к столу и тут же скосил глаза на Леньку. Павел Петрович понял: не хочет, чтобы при разговоре присутствовал сын, — и весело сказал Леньке:

— Садись, парень, на диван. А ты, Андрей, проходи вот сюда.

Бастионов не выказал неудовольствия и пока сделал несколько шагов к столу, Павел Петрович успел наметанным взглядом определить: Бастионов уверен в себе. Значит, не знает о бежевой папочке. Или... Мысль сработала мгновенно: нет, все знает, иначе бы не явился, и сейчас непременно нанесет ответный удар.

— Я пришел с предложением, — начал Бастионов. — Дело в том, что три часа назад меня окончательно утвердили первым замом Фролова.

Да, несмотря ни на что, Бастионов все же был учеником Павла Петровича, а он всегда считал: оппонента прежде всего надо ошарашить, тогда все пойдет легче. Но Павел Петрович знал и другое: получив удар, ни в коем случае нельзя показывать, что противник достиг цели. Поэтому он спросил как о чем-то обыденном:

— Ну, и какое предложение?

Эта фраза была не проста, раз он не поздравил Бастионова, а спросил тут же о главном, создавалась иллюзия — Павел Петрович обо всем осведомлен. То, что именно так и воспринял Андрей его слова, доказал слабый вздох, который у него вырвался. Ему нужна была пауза на обдумывание, он похлопал себя по карманам и улыбнулся:

— Сигареты забыл. Не угостите?

Павел Петрович пододвинул ему пачку, подождал, пока Андрей прикурит, и, наблюдая за ним, ощутил, как тот вдруг заволновался.

— Нам нужен консультант, — сказал Бастионов. — Консультант при министре. Вы, Павел Петрович, с вашим опытом... Эта должность

новая и независимая. Ну, конечно, кабинет, секретарь, машина, а главное — ваши советы. Я уполномочен просить вас...

Вот этого Павел Петрович не ждал. Его снова зовут на работу, его, человека, отринутого от дел, вымотанного ими, не сумевшего создать крутого поворота отрасли. Он вылетел из седла на резком вираже и смирился с этим. А сейчас?.. Зачем он им понадобился? Может, и в самом деле нужны его советы, ведь когда-то он не так плохо направлял Бастионова, без этого, пожалуй, Андрей Владимирович не стал бы тем, кем он сейчас представляется... Но так ли это на самом деле? Бастионов давно стал самостоятельным, вряд ли ему нужна нянька. Так, может быть, это придумал Фролов? Он стар. Но Андрей способен даже ему дать нужный совет... Значит, все же это идея Бастионова. Или рекомендация сверху? Но там без чьей-то помощи вряд ли вспомнили бы о Павле Петровиче. Хотя кто знает... Видимо, он все-таки и на самом деле еще нужен. А причины... Их не разгадаешь с ходу.

— Я понимаю,— сказал Андрей.— Для вас неожиданно. Но вы подумайте, Понярьте, я буду рад с вами снова работать.

Вот теперь уж нельзя было больше хитрить, теперь надо было идти напрямую.

— Я сегодня, Андрей, отнес Фролову документы.

Бастионов спокойно выпустил струйку дыма.

— Да, я знаю, Павел Петрович,— кивнул он.— Вы, видимо, не хотели моего прихода в министерство. Я понимаю почему... Понимаю. Но, как видите, это ничего не изменило. Хочу сказать сразу: у меня нет к вам претензий. Вы сами учили: дело превыше личных обид. Как видите, я усвоил. А документы... Фролов захотел их получить, вот и задумал всю эту операцию. Глупость, конечно. Ну, получил он эти документы. Я только удивляюсь, как вы-то не поняли сразу, что кроме Фролова они никому не нужны.

Тон у него был доверительный, и в нем не было никакой фальши. Павлу Петровичу сделалось не по себе, он еще ничего всерьез не понял, но почувствовал: его как-то нехорошо, словно мальчишку, провели.

— Почему Фролову? — спросил он сухо.

Бастионов вздохнул:

— Ведь об этой бежевой папочке он знал давно.

— А ты?

— Ну, разумеется. Но мне она была ни к чему, а Фролову...

— Объясни,— строго сказал Павел Петрович и невольно взглянул на Ленку. Тот сидел, вжавшись в угол дивана, и, прикусив губу, напряженно наблюдал за ними. «Зря я его тут оставил»,— мелькнуло у Павла Петровича.

— Фролов, видимо, как и вы, полагает,— сказал Бастионов,— что достаточно иметь такие документы, и можно в любом направлении давать на человека. Это пахнет дешевым шантажом. Но я не виню вас, Павел Петрович. Это навыки старой школы. Шантаж сейчас выглядит наивом, есть тысячи способов противостоять ему. Серьезный человек всегда запасется необходимыми бумагами, и любая комиссия будет вынуждена сопоставлять и то и другое, а на это могут уйти годы. Лишняя волокита, лишнее разбирательство. От подобного все устали. Кому это нужно?.. Ну, скажите мне, Павел Петрович, что в этой жизни менялось после того, как папочка перекочевала из вашего стола во фроловский? Вы что же, в самом деле полагали: у кого эта папка, у того и сила?

— А в чем же сила?

— Только в одном,— неожиданно жестко сказал Бастионов,— уметь делать то, чего не могут другие. Ах, Павел Петрович, Павел Петрович, до чего же все перепуталось в вас: и жажда ясности и порядка, и дурные средства. И ведь не оторвешь одно от другого.



Вот сейчас Павел Петрович и в самом деле был потрясен. Этот вальяжный, холеный человек, которого он же вышестовал, теперь судил и наставлял его, своего учителя.

— Так на кой черт ты меня в советники зовешь? — вдруг рявкнул он.

— Именно поэтому, — кивнул Андрей. — Вы же прекрасный оппонент. Из этой мешанины, что накручено в вас, многое можно вытянуть. А мне очень нужен оппонент. Легче находить истину.

— Тебе что же, Фролова мало?

— Много. Даже с избытком. Его так много, что он не нужен. Он это прекрасно доказал тем, как вытянул у вас эту папочку.

— Ничего он из меня не вытягивал.

Бастионов опять посмотрел на него прямо, губы его чуть дернулись в усмешке, он вздохнул:

— Ну-ну. Тогда вспомните хотя бы, когда вы решили ее отнести Фролову.

И Павла Петровича осенило: Дроздец! Кляузник-профессионал! Он легко завязал знакомство с Павлом Петровичем, кажется, сослался на Новака... Вот ведь, черт, недаром его облик казался знакомым. Где-то Павел Петрович его прежде видел. Да, Дроздец сообщил о назначении Бастионова, сообщил умело, так, что Павел Петрович взвился, закусил удила... Неужто его подослал Фролов? Да уж слишком это все...

Павел Петрович поднялся, подошел к окну. Ему нужно было подумать. Три месяца назад появился на его пути Дроздец, значит, Фролов уже тогда знал, что Бастионов придет к нему в первые замы. Да, конечно, такие назначения не делаются вдруг. Фролов знал и начал к этому готовиться, он вспомнил про бежевую папку и решил заполучить ее. Знал он о ней? Нет, скорее всего ему сообщил об этом Клык. Тогда понятно то спокойствие, с которым принял Фролов папку, понятен и взгляд Клыка, его ухмылка за спиной Павла Петровича... Да, Фролов и Клык не просчитались, они хорошо изучили Павла Петровича, и он сам доставил им эти документы, на блюдечке преподнес.

— Ты знаком с Дроздецом? — спросил Павел Петрович.

— Нет, но слышал. Это человек Клыка. Работал когда-то в министерстве. У Ивана Сергеевича есть такие людишки.

— Какие?

— Ну, это вы уж лучше меня должны знать.

Павел Петрович резко обернулся. Бастионов сидел, закинув ногу на ногу, и гасил в пепельнице сигарету. Ленька, бледный, жался в углу дивана.

— И все же, — строго сказал Павел Петрович.

Бастионов улыбнулся, погладил усики.

— Ну, право, Павел Петрович, вы что, в самом деле? Как же иначе без таких людишек Клык справится? Ему ведь разное поручают.

— Он что, им платит?

— Зачем? Услуга за услугу. Тут разные формы. Кому сына или дочь пристроить, кому что добыть... Потому Клык и держится столько времени. У него в руках ого-го какие связи. Неужто для вас это новость?

Нет, для него это не было новостью. Он сам прибежал не раз к помощи Клыка. Вот же это о вальяжного человека с самоуверенным баском когда-то именно через Клыка спас от суда. Да мало ли что он поручал помощнику... Новость была в другом: у этого помощника чуть ли не целый тайный штат и еще — что Павла Петровича так легко смогли провести, предугадали все его мысли и действия. Но все оказалось ненужным. Бастионову и в самом деле на все наплевать, за ним могучая репутация сильного работника, нестандартные идеи и воля. Потому ему и плевать на документы, что лежат теперь в столе у Фролова. Вот чего Павел Петрович не учел.

Да, у Бастионова всегда была чиста совесть, потому что слово «принцип» было для него пустым звуком. Он верил: всяким там документам, направленным против него, грош цена, у него были свои документы. Но он не мешал заблуждаться ни Павлу Петровичу, ни Фролову. Зачем?

Павел Петрович смотрел в окно, за спиной его было тихо. Проехала «Чайка», сейчас она свернет во двор их дома, и если пройти в спальню, то оттуда будет видно, как вылезет из машины Старик и легкой походкой направится к подъезду. Сколько же ему лет? И сколько лет он работает? Есть ли при нем свой Клык? По той стороне улицы шел человек, он остановился, посмотрел на окно Павла Петровича. Белые волосы, неподвижные, как у куклы, глаза... Нет, Павел Петрович обозначился, или почудилось. «Уедем отсюда, Пашенька, это не твое дело», — шептала Соня и плакала... Неужели он и в самом деле проиграл свою жизнь? Стало душно, наплыл на глаза туман, он встряхнул головой, хотел избавиться от этого тумана, но почувствовал боль, она шла откуда-то снизу и распространялась по всему телу.

Отвратительно пахло лекарствами, полная женщина в белом халате укладывала в металлическую коробку шприц.

— Тебе что-нибудь надо, дед? — увидел он над собой кривоносое лицо Леньки.

Сознание прояснилось. Он лежал у себя в спальне, горел ночник, образуя странные тени на потолке. Ленька сидел на кровати рядом.

— Что со мной? — спросил Павел Петрович.

— Ничего особенного, — твердо ответил Ленька. — Пока велено лежать. Только ты не психуй.

— А где... Бастионов?

— Ушел. Но он заедет завтра. Мама тоже придет утром. Я ей позвонил.

Тогда, наверное, не так все просто, подумал он, если Люся решила приехать, а Ленька старается его ободрить.

— Ты со мной не лукавь, — сказал он внуку. — Я устал от лукавых.

— Я буду при тебе, дед. Мы ведь еще с тобой не договорили.

— Договорим, — вздохнул Павел Петрович. — Обязательно договорим. Только Бастионова больше ко мне не пускай, хотя он и твой отец.

— Не пуццу, — пообещал Ленька.

---

---

---

## ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА



### КОГДА Я ДУМАЮ О НЕЙ...

#### Последние зимы войны

Это черной печали тарелка  
на стене в довоенном меду.

Часовая крылатая стрелка,  
обломаясь, угодила в золу.

Это гордые радиосводки —  
после Курска и после Орла.

И ни крохи у нас, ни щепотки  
хлеба, соли — зима подмела!

Это я — в бесконечной простуде,  
улыбаясь и грезя в жару,  
вижу: яблочко пышет на блюде..  
Очень может быть, вовсе умру.

Это комнаты льдистые своды.  
Это стужа в задутной печи.

Потонули в снегах огороды.  
Будто раны, чернеют грачи.

#### Тридцатая годовщина

*Памяти матери.*

Когда я думаю о ней —  
печали ради, страха ради,—  
в том ветхом, траурном наряде  
она мне кажется древней,  
чем Богородица в окладе..

#### Северо-запад

А где-то юг, приморский ветерок!..  
И гульские, орловские дубровы..  
А здесь — листвы удушливый глоток  
и глины желто-карий лепесток,  
и мягко, низко пролетают совы.

И если в полночь выйду на крыльцо  
при позднем, отлетающем ударе,  
к туманным звездам медное лицо  
закину — в жестком северном загаре,—

то ни о ком уж больше не грущу,  
лишь тайно — в темноте и в позолоте —  
то ль над судьбой полевков трепещу,  
а то ль крылатой радуюсь охоте

и сторожу: взошла иль не взошла  
луна над шумной, темносводной чашей,  
коснусь ствола — как будто бы весла,—  
скользя по этой полночи летящей

куда-то вспять, в те длинные года,  
когда, едва проспавшись после свадьбы,  
жену-неровню увозил сюда  
вдовец, владелец гибельной усадьбы...

Ему-то что: бродяжит средь болот  
с кровавой связкой уток серокрылых.  
А ей — тетрадь, куда писать расход  
муки и дров — все пальчики в чернилах!—

свечей и соли, солода и вин —  
какие вина в этом захолустье?..  
А все ж учись, неволит господин,  
знать толк в соленьях, репе и капусте!

Поглядывай на девушек сенных:  
снут ли веретена, как ведется,  
поскольку из товаров даровых  
один лишь холст в столице продается.

Следи, цветет ли ясноглазый лен  
и что желтеет: рожь или сурепка...  
И не заметишь, как в тебя влюблен  
сосед... Он ездит нехотя и редко.

Он ездит часто! В бричке иль верхом,  
не доезжая до еловой рощи,  
откуда виден этот хмурый дом  
и на веранде — платье... Нету проще

тех ситцев, что кроит себе сама  
былая бесприданница-смолянка!  
А этот дом ей вовсе не тюрьма,  
но рай, где ткется скатерть-самобранка:

покуда муж в отъезде иль кутит  
в губернии, недель не замечая,  
ей сказки вечерами говорит  
седая нянька, барчука качая...

А тихая хозяйка, отложив  
шитье, и счеты, и заемных писем  
стопу, как будто слушает мотив,  
какой пристал, быть может, горним высям.

А после пред иконою, с колен  
не подымаясь и скорбя до света,  
прощенья просит у белых стен  
за то, что ждет — хоть к празднику?— соседа.

За то, что нынче занесла в тетрадь  
совсем не то, чем вотчина богата,—  
мол, в Духов день — такая благодать,  
как будто солнцу не видать заката:

румянится и север, и седой,  
дождем, бывало, отягченный запад,  
ну точно бы шиповник распашной  
цветет, струя медово-знойный запах...

Как будто в поднебесье он расцвел —  
и несколько кустов слетело наземь

для бурых пчелок — золотистых пчел,  
густых отваров, благовонных масел...

А если выйдешь в дальние луга,  
покуда отдыхает косовица, —  
тебе приснятся вовсе не стога,  
а главы храмов — Град тебе приснится

неведомый, где ангелы поют,  
возносят в синь ликующие трубы...  
Часы в столовой хриплым басом бьют.  
Ужели рифма опалила губы

хозяйке-неумехе иль рабе,  
той столбовой — да без двора! — дворянке?..

Гниет камыш на угловой избе.  
Во всем селе ни шифера, ни дранки.

Во всем селе — ни телки, ни козы.  
Лишь чавкает болотная водица.  
И морось, наподобие слезы,  
с утра на тусклых стеклах серебрится.

Плывут в тумане дымные кусты  
недужного столетнего жасмина...  
Щедра же ты на тайные мечты  
и привиденья, северная глина!

И что с того, что нету и следа  
той жизни, о которой в колотушки  
среди круглых лилий сонного пруда  
гремят, как в той Кастилии, лягушки?

И что с того, что пущен с молотка  
тот дом, где я брожу теперь украдкой,  
совой взлетаю или сплю века,  
и греюсь теплой пылью чердака,  
и грежу над прабабкиной тетрадкой?..

Что выцвел, словно поседелый мак,  
печальный флаг над крышей сельсовета;  
ручей гневно катится в овраг,  
кружа листок: «Прием после обеда»...

Что мстительно сырой овражный ветер  
гудит в крапивном, дышащем горниле,  
вздыхая весть из потрясенных недр:  
«В запрошлый год тебя похоронили!»

В запрошлый век... Не ведаю когда...  
И голосом владеть уже забыла.

А кажется: была я молода  
и землю эту тесную любила!



---

---

МАКСИМ КОРОБЕЙНИКОВ



## РАССКАЗЫ О ВОЙНЕ

*Максим Петрович Коробейников родился в 1921 году в многодетной крестьянской семье. С начала войны он на фронте, в действующей армии. После победы остался в Вооруженных Силах.*

*Генерал-майор, доктор психологических наук, профессор.*

*В «Новом мире» печатается впервые.*

*«Бесценными свидетельствами народной жизни» называл А. Т. Твардовский материалы, подобные военным рассказам М. П. Коробейникова.*

### *Не повезло...*

**М**ы сидели в обороне и голодали. Это было, пожалуй, самое тяжелое время. Солдаты слонялись по траншеям и хотя отлично знали, что съестного найти ничего нельзя, все чего-то искали. Вглядывались в грязную и взмокшую землю, еще не совсем сбросившую с себя зиму. Уже не было снега, но еще не появилось зелени. Унылые поля, изрытые окопами и траншеями, изъеденные, как страшной оспой, воронками от снарядов и бомб, простирались вокруг. И среди всей этой плывущей и чавкающей под ногами грязи — люди, измученные, серые, грязные, такие же, как сама эта земля, исстрадавшаяся и усталая от войны.

Мы отлеживались в землянке и, пытаясь скрасить разговорами жизнь, заглушить голод и внутреннее ожесточение, несли всякую чушь.

— Хорошо только одному Василенке,— говорил ротный писарь, которого всерьез называли начальником штаба,— никакого меню, никакой раскладки. Спи себе на здоровье. А всем остальным плохо.

Мой ординарец — большой любитель выпить и поесть и от этого особенно тяжело переживавший голод — старался в лад писарю подшутить над Василенко:

— Сейчас бы шашлык, но шампуров у Василенки нет — заржавели, говорят.

Шутка явно не клеилась, и тогда ротный повар Василенко — маленький, недавно еще похожий на откормленного розового поросенка, а сейчас морщинистый, с отвисшими щеками,— подсел ко мне и начал разговор, будто ни к кому, кроме меня, не обращаясь:

— Эх, товарищ старший лейтенант, что они понимают в кухне! Им любое пойло дай — съедят. А я у себя в ресторане по рыбным блюдам был спец. Возьмешь, бывало, цельного судака, выпотрошишь его через спинку, обмоешь, брызнешь белым вином, а потом развернешь и кожицей вниз положишь на плафон. А плафон-то перед тем маслом смажешь.

Василенко посмотрел вокруг и, увидев, что все затихли и слушают его с вниманием и интересом, торжествующе продолжал:

— Покропишь того судака сверху маслом и опять sprыснешь белым вином. Да что этим-то говорить,— кивнул он на писаря с ординарцем,— они небось кроме самогонки и не пробовали ничего... Потом посолишь, посыплешь перцем и припустишь в духовом шкафу до мягкости. Иначе он сырым будет. Потом-то его в духовой шкаф кладешь только для красоты, что ли, чтобы он корочкой румяной покрылся...

Тут Василенко вздохнул, а писарь произнес:

— Ну, давай-давай.

Василенко продолжал:

— ...переложить судака на металлическое блюдо, на котором он будет подаваться, и заполнить углубление брюшка гарнирами. Положишь шляпки — понимаете? — только одни шляпки от грибов. Да отобьешь у них запах, чтобы маринадом не пахли. Положишь раковые шейки, да оливки и корнишоны, да вареную кнель из судака. Эх, товарищ старший лейтенант, картинка — не оторвешься! Вот когда румяная корочка поверх соуса образуется, вынимаешь его и гарнирчик наведешь: крутоны из белого хлеба, да подкрасишь раковым маслом. Да ведь не видел ваш ординарец в жизни ничего такого, а туда же лезет: «У Василенки шампуры поржавели...» Голова у него, у вашего денщика, поржавела, из нее даже заливного не сделаешь.

Все сидели тихо, и к горлу подступало что-то горькое и сладкое, и хотелось плакать. И есть.

Ночью меня разбудил ротный повар.

— Товарищ старший лейтенант, вставайте скорее, товарищ старший лейтенант!

Я вскочил с нар и, ничего не понимая, начал ругаться:

— Какого дьявола надо?

— Товарищ старший лейтенант, это я, повар Василенко. Мы принесли вам покушать.

Я сел, Василенко поставил передо мной котелок. Я бросился пожирать какое-то мутное хлебово.

— А сами-то ели?

— А мы там покушали, у них.

— У кого?

— Да так, у одних тут, у соседей.

Я съел весь суп и разморился, чувствуя, как кровь отливает от головы, все перед глазами начинало плыть и кружиться в каком-то странном танце.

Засылая, я сквозь сон бормотал ротному повару:

— Спасибо тебе, друг ты мой дорогой.

А с утра все опять сидели голодными, и я не мог понять, видел ли я сон или повар наяву приносил мне что-то поесть.

Ночью меня снова разбудили. Ординарец дергал за плечо и радостно повторял:

— Товарищ старший лейтенант, вставайте, покушайте.

«Господи,— подумал я.— что бы я делал без этих людей?»

Ординарец подал мне котелок с супом и кусок колбасы.

— Вот, кушайте.

Он встал у дверного косяка да так и стоял, любуясь, как я пожираю все, им принесенное.

Следующий день снова прошел тихо. Ночью принесли обед. Тут уж я начал размышлять.

— Слушай, Анатолий,— спросил я своего ординарца,— откуда вы это берете?

Он пожал плечами.

— Ты не крутись,— строго прикрикнул я.

— С немецкой кухни, товарищ старший лейтенант. Мы вечером туда через овраг ходим. Повар у них чумной такой. Наливает

в котелок, а сам «шнель-шнель» кричит. Так мы сами поедим да и для вас захватим. Не бойтесь, мы тоже не внакладе.

— Так вы же попадетесь!— воскликнул я.

— Да там у них темень хоть глаз коли. Все в плащ-накидках. Все кричат одинаково: «Данке, данке, данке шён». Ну и мы тоже. До сих пор жалею — почему не запретил? Видно, тоже молод был и глуп.

А на следующую ночь ворвался ординарец в землянку весь в крови.

— В чем дело?!— крикнул я, понимая, что случилась беда.

— Василенку убили, а писарь ранен.

Я выскочил из землянки. Ночь была светлая.

— Где они?

На носилках принесли писаря.

— Товарищ старший лейтенант, извините, ради бога. Думали, все будет хорошо, а вот что получилось.— В груди у него что-то хлюпало и клокотало.

Я наклонился и посмотрел на него. Писарь выдавил из себя улыбку, как будто оправдываясь.

Его унесли.

Василенко лежал мертвый на проволочном заграждении, головой к нам. Видимо, смерть настигла его на обратном пути, когда он перелезал через проволоку.

— Видишь, к чему это привело?!— крикнул я.

Ординарец оправдывался:

— Так ведь, товарищ старший лейтенант, сколько раз ходили. А тут не повезло — повар другой. Видно, заподозрил. «Хальт!»— закричал, сволочь. Пришлось котелки побросать и деру. Стрелять начали. Вот и беда...

Назавтра я собрал всех солдат и запретил ходить на немецкую кухню.

А голод продолжался, и солдаты опять задумывались — что бы такое предпринять, чтобы выжить.

## Обида

— Слушай, пятый,— кричал комбат в трубку,— хочешь кино посмотреть?

— Какое кино?— удивился я.

Дивизия уже два месяца стояла в обороне на широком фронте. Где-то на юге шли бои. Каждый день сводки Информбюро сообщали о том, что наши войска оставили такие-то и такие-то населенные пункты. Здесь же унылые солдаты охраняли выкопанные кем-то траншеи. Не хватало людей, не было бани. Ходили слухи, что дивизию скоро переведут на тыловой паек и лишат водки, ту самую дивизию, которая в боях местного значения изошла кровью и устала до изнеможения.

И в то же время внезапные, ожесточенные и бессмысленные обстрелы, ночные действия разведчиков противника приводили к тому, что дивизия несла потери и, будучи растянута на десятки километров, пребывала постоянно в состоянии напряженности и тревоги. Каждый день из роты кто-то выбывал убитый или по ранению. Было опасно, страшно и обидно.

И вдруг какое-то кино.

Комбат кричал в трубку, думая, что его плохо слышат:

— Давай бери с собой Григорьяна, Купцова, Сороку и топай к Шульгину. Знаешь Шульгина? Не знаешь? Ну, ПШШС.

ПШШС — так называли капитана Шульгина, помощника начальника штаба полка по шифровально-штабной службе. Как не



знать ПШШС?! Его все знали. Ему было лет сорок, он носил красивую черную бороду и был инженером по образованию.

Я быстро собрал таких же командиров рот, как и сам. Они тоже были немало удивлены и обрадованы. И все мы отправились к Шульгину.

Отправились с радостью, как на праздник. Вместо касок все как по команде надели фуражки с малиновым околышем. Мы были молодые, здоровые, шли легкой пружинистой походкой, веселые и оживленные.

Сначала шли по глубокой траншее, осыпавшейся от времени и обстрела. Шли молча, разглядывая дно траншеи и брезгливо перешагивая через разную живность, то и дело попадавшуюся на пути. Мешали идти и раскиданные повсюду банки из-под консервов, провода, скобы и прочее военное имущество.

Штаб полка располагался в перелеске. Его нетрудно было обнаружить издали — именно сюда тянулись с разных сторон телефонные провода, бежали тропинки. Кругом были вырублены все деревья. Их заменили маскировочные сети. Срубленные ветви, которые когда-то, может быть, и скрывали штаб от постороннего взгляда, сейчас, опаленные солнцем, сгоревшие от зноя, покрасневшие, привлекали к себе внимание.

Землянку капитана Шульгина мы нашли без труда, ввалились в нее сразу все четверо. Шульгин был недоволен визитом, но виду не подал, даже пошутил:

— А я думал, десант.

Я приложил руку к козырьку и доложил по всей форме:

— Товарищ капитан, по приказанию командира третьего батальона следуем в кино. Разрешите получить указания.

В землянке остро пахло хорошим мужским одеколоном. Зеркало, туалетный столик, керосиновая лампа, занавески из парашютного шелка. Мы, болотные солдаты, переглянулись: во живет! И тут заметили, что в углу, у самого изголовья лежанки, сидит девушка, молодая, с красивыми волосами и вздернутой вверх, чуть припухшей верхней губой. После этого мы уже ни на что не смотрели — уперлись в нее глазами.

Капитан Шульгин наклонился к девушке и полушутя предложил:

— Мадемуазель, могу ли я попросить вас составить нам компанию?

Девушка отказалась.

Тогда Шульгин вытянул руку в сторону выхода, вытолкал всех из землянки, закрыл за собой дверь и доверительно проговорил:

— Нечего тут воздух портить.

Первое время мы шли растерянные и удрученные — девица произвела на всех неизгладимое впечатление...

Шли по тропинке, гуськом, мимо громадных сосен, то полнимаясь на пригорки, то бегом спускаясь вниз. Дважды пришлось перепрыгивать через один и тот же ручей. Молодые прыгнули играючи, Шульгин прыгнул тяжело и чуть не свалился в воду — сказывался возраст. Он долго и тщательно вытирал сапоги травой, с трудом нагибаясь и тяжело дыша. Второй раз прыгать не стал, обошел далеко стороной, но где-то снова угодил в грязь и, догнав, снова долго и тщательно, снова отдуваясь и кряхтя, чистил сапоги, которые, к его величайшему огорчению, буквально на глазах теряли блеск и становились удивительно похожими на те, что были на ногах у нас.

Пройдя с километр, мы столкнулись с командирами соседнего полка, тоже направлявшимися в штаб дивизии и тоже в кино. Их группу возглавлял майор. Пришлось пропустить соседей вперед и пристроиться сзади: майор есть майор.

Шульгин шагал самым последним. Он, видимо, обиделся на то, что офицеры соседнего полка прошли вперед, недооценили его веса и влияния, но не хотел, чтобы это заметили.

Шли мы не торопясь, разговаривая, посмеиваясь друг над другом. Если над тропой нависала ветка, передний кричал: «Осторожно!» — отводил ее в сторону и после того с силой отпускал, а задний отскакивал, опасаясь удара.

Но вот передний крикнул: «Под ноги!» — предупреждая о том, что надо быть осторожным. Этот возглас один за другим повторили два десятка человек. И каждый осторожно перешагивал консервную банку из-под тушенки, валявшуюся на тропинке. Шедший впереди Шульгина лейтенант Сорока тоже крикнул: «Под ноги!» И после этого страшный взрыв заставил всех обернуться.

Шульгин лежал на спине, раскинув руки. Первое, что мы увидели: вместо сапог на ногах у него какие-то взмокшие от крови черно-красные тряпки. Вокруг, на зеленом бархатистом ковре мха, — большие капли крови, похожие на кисель. Шульгин стонал и, будто оправдываясь, еще, видимо, не осознавая толком несчастья, которое его постигло, судорожно шептал:

— Ой, ребята, простите. Ради бога простите.

Майор проявил выдержку и распорядительность. Мы забинтовали ноги капитану Шульгину. Потом выбрали две молодые сосны, дружно навалились на них, вывернули с корнем, очистили от сучьев. Сняли поясные ремни, связали стволы, соорудили носилки. Уложили на них капитана Шульгина.

Майор назидательно произнес:

— Вот что значит неосторожность.

Нам он приказал нести капитана Шульгина в полковой медицинский пункт, а своим командирам — следовать за ним в кино.

Шульгин был очень тяжел. Сначала его несли вдвоем. Потом, когда он потерял сознание и стал еще тяжелее, пришлось нести вчетвером. Ручьи переходили вброд. Хуже всего было спускаться с горы. Передние скользили и падали, задние не успевали за ними.

Но вот уже и землянки полкового медицинского пункта. Григорьян привел военврача и санитаров. Можно было идти к себе, в свои роты, на передний край.

По дороге думали о случившемся. Купцов, не обращая ни к кому, вопрошал:

— Вот ты скажи, почему это так? Двадцать молодых парней перешагнули через банку. Только один старик, самый опытный и культурный, пнул ее ногой, словно озорной мальчишка. А?

Сорока имел твердое мнение, он безапелляционно заявил:

— Он любил порядок во всем. Видел, как у него в землянке? Так и здесь: что это банка валяется? Непорядок. Вот и долой ее с дороги. Вместе с ногами...

Григорьян, самый образованный из нас, предложил свое объяснение:

— Вы в Сухуми бывали? Обезьяний питомник видели? Нет? Ну, тогда с вами не о чем говорить.

Но его стали просить:

— Давай, Григорьян, развернись! Покажи свою эрудицию!

И Григорьян снизошел.

— Так вот. Когда обезьяна в клетке, положи ей банан у решетки так, чтобы она чуть-чуть не дотянулась до него лапой, она часами будет биться и пролезать к нему, а выйти в открытую дверь из клетки не сообразит.

— Слишком сложно и далеко от практики, — заключил Купцов.

Я шел молча. Я был уверен, что единственный из всех разгадал истинную причину. Когда пропустили вперед майора, который был вдвое моложе, Шульгин разобиделся. Вот и пнул банку — разря-

дился. Подтверждало мою догадку и то, что Шульгин извинялся. За свою глупую обиду, за раздражение. Так я думал, но сообщать об этом не спешил, шел молча.

У каждого было муторно на душе, каждый чувствовал себя обиженным, что не удалось посмотреть кино. Кто знает, когда еще это удастся.

Я шел по траншее впереди всех и со злостью подбрасывал носком сапога валяющиеся повсюду консервные банки так, что они подпрыгивали выше головы.

## *Неисправимый*

Рядовой Степченко был неисправимый нарушитель дисциплины. Никто из подчиненных не доставлял мне столько хлопот. Своенравный, вечно всем недовольный, с глазами холодными и злыми, обросший, грязный, Степченко, казалось, так и норовил причинить окружающим какую-нибудь неприятность.

Постоянно кто-нибудь жаловался на него. То обидел кого-то при дележке хлеба и сахара, то пихнул, укладываясь спать.

Однажды батальон был выведен на формировку в деревню километрах в десяти от переднего края. Переночевали, а утром к комбату пришла старушка и стала жаловаться на то, что черный солдат, нехрист какой-то, поймал ее курицу и чуть было не отрубил ей голову. Комбат вызвал меня и спросил:

— Как у тебя этого черного звать?

— Степченко.

— Так вот, поговори с ним, чтобы он мародерством не занимался.

Я вызвал Степченко. Он вошел в избу, набычив голову, и устался в пол.

— Степченко, ты что, голодный? Может, тебе увеличить паек? — начал я воспитывать его. — Ты понимаешь, что тебя за мародерство можно судить?!

Он не произнес ни слова. Я еще что-то говорил ему раздраженно, он слушал-слушал, потом поднял голову и спросил:

— Ну, все, что ли?

— Все, я тебя предупредил.

Он вышел из избы такой же, как и вошел...

Старший сержант Тупиков, старшина роты, сказал мне:

— Надо проучить его. Разрешите я проучу.

Тупиков был кадровым сержантом. До войны он прослужил два года, службу знал твердо.

Случай вскоре подвернулся.

В тот день рота находилась на тактических занятиях: рыли окопы и ходы сообщения, маскировали выброшенную землю. Делалось все это с воодушевлением.

И вдруг послышался поросычий визг. Потом крик — голосила какая-то женщина. Крик приближался. Вскоре все увидели Степченко, он бежал к перелеску. Шинель нараспашку, под мышкой поросенок, который истошно визжал. За Степченко гналась женщина — растрепанная, босая. В руках у нее была палка. Степченко дико озирался, но поросенка держал крепко.

Тупиков крикнул:

— Степченко! Ко мне!

Поросенок выпал из рук солдата, перевернулся и побежал, спотыкаясь и вскакивая. Женщина бросилась за ним и вскоре ловко упала на поросенка. Снова отчаянный визг. Женщина поднялась и теперь уже медленно пошла обратно, унося поросенка в подоле платья.

Тупиков отдал команду:

— Привести Степченко!

Двое кинулись к Степченко. Тот стоял мрачный, враждебно глядя на приближающихся к нему солдат.

Тупиков поставил Степченко к изгороди. Солдаты вылезли из окопов и с любопытством смотрели, что будет дальше. Тупиков построил взвод, выкликнул из строя пятерых солдат и стал инструктировать.

Я с ужасом подумал, что Тупиков принял решение расстрелять мародера. Я испугался. И сразу представил себе командира батальона. «Самоуправство,— скажет он.— За самоуправство сам пойдешь под суд».

Но Тупиков подошел ко мне и тихо, чтобы никто не слышал, прошептал:

— Мы попугаем. Не бойтесь.

Тупиков сел, положил полевую сумку на колени, вынул бумагу и карандаш и что-то долго писал. Степченко небрежно навалился на изгородь и с презрением наблюдал за приготовлениями, нисколько не веря в их серьезность. Пятеро с винтовками стояли в ожидании приказа. Лица их были строги и полны решимости.

Наконец Тупиков встал, одернул гимнастерку, поправил ремень и скомандовал:

— Заряжай!

Пятеро вынули из подсумков патроны, зарядили винтовки и взяли их к ноге.

Тогда Тупиков вышел вперед, принял положение «смирно», вынул бумагу и начал читать:

— Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики за мародерство, недисциплинированность, невыполнение приказов командира и недостойное поведение, порочащее высокое звание бойца Рабоче-Крестьянской Красной Армии, красноармеец Степченко приговаривается к высшей мере социальной защиты — расстрелу. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Рота была напугана. Но пятеро отобранных, казалось, готовы были привести приговор в исполнение. Степченко насмешливо, с издевкой смотрел на них, но когда Тупиков начал: «По изменнику Родины, залпом...» — и пять стволов нацелились на Степченко, глаза его забегали. Он посмотрел на Тупикова, потом на меня и стал шарить взглядом по тем пятерым, которые держали винтовки в положении «к бою».

Тупиков скомандовал:

— Огонь!

Грянул залп, дым окутал на время всю картину. И когда все пришли в себя, то увидели, что Степченко лежит. Мы подбежали к нему. Он лежал оглушенный и растерянный. Одна пуля царапнула щеку, другая пробила мягкую ткань правой руки.

Степченко встал, злобно посмотрел на Тупикова и сказал:

— Не подумай, что я испугался. Просто контузило. А вот если я доложу, то тебя расстреляют. По-настоящему. Капитан не в счет. Он тут ни при чем.

Вскоре все забылось, потому что на следующий день рота была поднята по тревоге и марш-броском прибыла на передний край, где побывала в нескольких боях. Степченко был все такой же мрачный и нелюдимый, однако никогда не проявлял себя плохо. Больше того, он отличался выдержкой и стойкостью, хотя вперед никогда не вырывался. Он не был среди тех, кто первым взбирался на высоту, вел за собой других, но и среди тех, кто не выдерживал натиска немцев и первым начинал пятиться, его тоже никто не видел. Он не был ни разу ранен — казалось, пули и осколки обходят его, как заговорен-

ного. Иные за это время уже по два-три раза побывали в госпитале, но Степченко даже не задело. О нем говорили:

— Хороших людей убивают, а этого ничто не берет.

Однажды роты прорвали передний край противника, но немцев в глубине не оказалось. Они не могли уже плотно удерживать оборону. Роты прошли километров двадцать и не встретили ни одного немца. Стрельба слышалась где-то далеко слева и справа. Было так тихо и спокойно, а местность просматривалась на такую глубину, что комбат свернул весь батальон в одну колонну. По существу, это был форсированный марш. Все устали, многие валились с ног. И комбат разрешил большой привал. Дозоры остановились, а колонна втянулась в лощину, и люди запрудили ее, словно вода весной.

Комбат приказал снять вещевые мешки, составить оружие в козлы. Моя рота оказалась в центре этой массы людей и была сжата со всех сторон. Солдаты начали окликать друг друга, но комбат крикнул: «Прекратить шум!» — и все затихли.

Вот в это-то время батальон и оказался свидетелем странного и необъяснимого поведения Степченко. Когда винтовки были составлены в козлы, он начал снимать вещмешок. Лямка мешка запуталась, он с остервенением дернул ее — и ручная граната Ф-1, которая висела у него на пояском ремне, упала ему под ноги, а предохранительная чека осталась на поясе. Предотвратить взрыв было невозможно, и солдаты, которые были недалеко от Степченко и видели, как упала граната, побросались на землю.

Надо сказать, что Ф-1 — самая мощная из всех гранат. Немецкую гранату с деревянной ручкой можно поднять и отбросить так далеко, что она никому не причинит вреда. От нашей РГ можно заслониться вещмешком. От Ф-1 спасения нет. Запал ее горит в течение нескольких секунд. Успеть поднять и отбросить ее в сторону невозможно. Возможно только отшвырнуть от себя ударом ноги. Граната покрыта толстой стальной «рубашкой» с насечкой. Взрыв рвет ее на сотни осколков, и каждый имеет убийную силу до сотни метров.

Текли секунды. Сейчас Степченко ногой ударит гранату, и та полетит в гущу людей.

Но Степченко злобно выругался — и тут прогремел глухой взрыв. Мы подняли головы и увидели кровавые куски — все, что осталось от Степченко. Он упал на гранату, принял на себя ее смертоносную мощь.

Когда оцепенение прошло, солдаты собрали все, что осталось от Степченко, выкопали могилу, захоронили останки. Обложили могилу дерном.

Через полчаса батальон покинул лощину. Но гибель Степченко долго еще витала рядом с нашим батальоном. Люди вспоминали этот случай и удивлялись, почему в тот миг, когда смерть пришла к Степченко, он не отшвырнул ее к другим, а принял сам.

И мы жалели, что ничем не отметили его могилу — ни звездочкой, ни крестом, не оставили надписи, и никто уже никогда не сумеет узнать тайну этой смерти.

## «Я сам!»

В одном из боев погиб командир восьмой роты, и вместо него был назначен младший лейтенант Куликов.

Никто из офицеров его не знал, поэтому к появлению его среди нас был проявлен особый интерес.

Ходили слухи, что Куликов, будучи старшиной роты, один отбил атаку немцев, спас положение в критический для соединения момент, и что за это ему присвоили звание младшего лейтенанта, дали орден Красного Знамени и назначили сразу командиром роты.

По крайней мере на несколько дней он стал, пожалуй, самым популярным человеком в дивизии.

Как-то в обед Куликов позвонил мне:

— Слушай, пятый, это Куликов, приходи ко мне, выпьем.— И добавил безапелляционно: — Пришлю за тобой адъютанта.

Мне не понравилось это панибратство. Я как-никак капитан и ротой команду больше года. И, кроме того, что за нелепость называть связного адъютантом? Что, он ничего не соображает? Адъютант полагается командиру, занимающему должность не ниже чем командир полка.

Вскоре явился «адъютант». Молодой широколицый солдат, видимо, веселый и смелый. Он влез в землянку, мотнул головой в сторону выхода и с улыбкой позвал:

— Пойдем, капитан!

«Судя по «адъютанту», и командир, должно быть, оригинал»,— подумал я, выбираясь из землянки. Следом за мной выскочил Анатолий Михеев, мой связной. Он был недоволен. Я понял, что он сразу же возненавидел этого нахального «адъютанта», который так неуважительно отнесся к его командиру.

Когда подошли к роте Куликова, начался сильный артиллерийский обстрел. Мы укрылись в полуразрушенном подбрустверном блиндаже. Немцы вскоре перенесли огонь на вторую траншею, и на время наступила тишина. И тогда мы услышали крик:

— Нет, ты мне скажи, почему ты спрятался в землянке?

Кто-то пытался ответить, но его снова заглушил крик:

— Ты мне прекрати болтать! Ну и что, что стреляют? На войне всегда стреляют. А ты струсил. Укрылся, видишь ли. Больно уж жить хотишь.

— Мой командир,— оскалив зубы, с гордостью произнес «адъютант».— Это он командира взвода полоскает. Он не любит, когда от огня прячутся. Сам не прячется и другим не дает.

— А как же не прятаться? — спросил я.

— Да вот так,— объяснил «адъютант».— Нашего брата распустит, так все прятаться начнут. Ротный опять один с пулеметом останется.

— Артподготовку надо пересидеть в укрытии,— начал объяснять я в свою очередь,— а потом, когда огонь перенесут, перебраться в первую траншею, чтобы отразить нападение противника. Зачем под огнем сидеть напрасно?

Но «адъютант» не слушал меня.

— Ничего,— говорил он убежденно,— он порядок наведет. Он у нас кремень. Он настоящий хозяин. Сталин в Кремле, а он в роте. Он шутить не любит. Такой не побежит и другим не позволит.

Он говорил и в то же время прислушивался к голосу своего начальника, все еще распекавшего кого-то. При этом вытягивал шею и был явно доволен тем, что слышал.

Мы вылезли из блиндажа и вскоре наткнулись на младшего лейтенанта Куликова. Он стоял у входа в землянку, маленький, худой, грязный, в обгорелом полушубке нараспашку, полы которого были настолько вытерты, что трудно определить, был там когда-нибудь мех или не было никогда. Шея Куликова была обмотана грязной повязкой темно-бурого цвета, бинт, видно, присох к коже, отчего всякое движение головы причиняло боль, от которой лицо ротного невольно кривилось.

Куликов увидел меня и деловито проговорил:

— А, капитан! Ну пойдем ко мне.

Не дожидаясь ответа, он решительно повернулся и нервно зашагал вперед. Его маленькая фигурка с кривыми ногами уверенно и привычно пробиралась между разрушенными стенками траншей и обвалившимися землянками.

Когда мы вошли в блиндаж, мне показалось, что я попал в хлев.  
— Грязно живешь,— заметил я.

Куликову это не понравилось, но он сдержанно сказал:

— Войны без грязи не бывает. И вообще ты мне скажи: мы что тут, чистоту пришли наводить или воевать?! — Потом приказал «адъютанту»:— Ну-ка пусть эти придут.

Вскоре прибыли три командира взвода, три лейтенанта — молодые и такие же грязные и худые, как их командир, но только выше ростом. Куликов накинудся на них, как только они спустились в землянку и понуро встали перед ним.

— Так вот что я вам скажу,— начал он с угрозой.— Хлеб жрете, а воевать вас нет. Наделали вот таких лейтенантов. Я вас предупреждал. Почему опять во время обстрела все попрятались?! Почему я не прячусь?! Учтите, пока я командир над вами, пощады не ждите. Молокососы! Вам известно, должно быть, что я суров к себе, а к другим беспощаден?!

Один хотел было возразить, но Куликов не позволил.

— Молчать! — закричал он.— Кто тебя спрашивает? Подумаешь, какой нашелся. Ты себя еще покажи. Мы на тебя еще посмотрим.

В дверях, привалясь к косяку, стоял «адъютант» и с нескрываемым превосходством смотрел на командиров взводов, которых распекал ротный.

— Кто ты такой? — уже спрашивал Куликов другого.— Вот ты скажи мне, кто ты такой?

Бедный лейтенант хотел что-то сказать, но Куликов крикнул:

— Молчи! Я сам знаю, что ты дерьмо. Ты не командир, ты сопля! А я,— тут он ткнул взводного указательным пальцем,— я скоро Героем Советского Союза буду.

Куликов махнул рукой. «Адъютант» посторонился, давая лейтенантам выйти.

— Бабы,— с презрением произнес Куликов.

Я спросил его:

— Зачем ты их вызвал при мне? Чтобы показать свою власть? Вот, мол, я какой?

Куликов, видимо, не ожидал от меня этого. Он вскочил на ноги и, дико вытаращив глаза, двинулся ко мне, готовый ударить, разорвать, убить. Но у него хватило ума удержаться, и он удержался, хотя в дверях в то же мгновение возник «адъютант». Лицо его не сияло, не улыбалось, а стало отвратительно наглым и злобным. Но тут, отодвинув его назад, в дверях вырос Анатолий. Он был крупнее «адъютанта». Рядом с ним тот явно проигрывал.

Куликов разочарованно и обиженно сказал:

— Я хотел с тобой выпить как с другом, как с боевым товарищем, как с равным. А ты смотри какой брезгливый. Да я лучше вылью, чем пить с таким буду.

— Ну и вылей,— сказал я, поднимаясь,— не хочу я пить с дерьмом. Я с такими никогда не пью.

Когда я выходил, Анатолий пропустил меня и закрыл собой со спины, оказавшись будто неумышленно между мной и Куликовым, а «адъютант» прижался к косяку так, чтобы мне можно было пройти свободно, и дыхнул на меня горячим потом и еле сдерживаемой злобой. Проходя мимо, Анатолий нечаянно двинул его бедром, и тот вылетел вместе с ним из землянки.

Я шел по траншее не оборачиваясь, чувствуя, что Куликов идет где-то сзади и кипит как самовар. Остановившись, он крикнул мне ни с того ни с сего:

— Подумаешь — ваше благородие! Да таких, как ты, еще в гражданскую войну порасстреляли всех. Я читал где-то, как их пускали в расход.

— Дурак ты,— ответил я спокойно.

Куликов задохнулся от злости.

— Да я... я...— в бешенстве закричал он.— Сталин в Кремле, а я в роте. Возьми выкуси. Вот я и младший лейтенант, а ты капитан. А я плюю на тебя. Да я всю дивизию спас!

— Насчет Сталина ты больно высоко замахнулся,— сказал я, стараясь показать выдержку и спокойствие.— Жалко мне тебя, Куликов. Говорят, хороший ты человек был.

— А что? — спросил он, немного остыв и, казалось, даже опешив.

— А то, что доиграешься, вот что,— ответил я.— Сам погибнешь и людей напрасно погубишь. Ну сам-то — черт с тобой. А людей-то за что?

Куликов не сказал ни слова. Потом я услышал, как он крикнул на «адъютанта»:

— Ну ты, азиатская морда! Чё уши развесил? Пшел отсюда! Мало ли что мы между собой говорим. Не твое дело. На то мы и командиры.

Когда я вернулся в свою роту, то совсем успокоился. Меня обрадовало, что первым, кого я увидел у себя, был рослый и веселый солдат. Он ходил взад и вперед по траншее, деловито поглядывая в сторону немцев. Когда я поравнялся с ним, он остановился, браво стукнул прикладом винтовки о землю и произнес:

— Здравия желаю, товарищ капитан.

Я ответил и остановился.

— В гости ходили, товарищ капитан?

— В гости. А что? — спросил я.

— Да так, слава идет плохая. Не дай бог такого командира.

И от того, как широко и радостно улыбался солдат, мне стало спокойнее и веселее.

Утром проснулся, но встал не сразу, нежился, наслаждался теплом, которое шло от печки, только что разожженной Анатолием. Он подкидывал дровишки в огонь и беседовал с ротным писарем.

— А я заметил,— говорил писарь,— вот если кто такой маленький, как Куликов, так самолюбия у него на пятерых хватит. У нас был такой же, аршин с шапкой. Но гордый — не подступись.

— Да разве тут дело в росте,— говорил Анатолий,— не в росте дело. Солдаты из хоззвода рассказывают, что Куликов был мужик как мужик. Он там старшиной был. А как власть дали, сразу не узнать стало. Вот ведь власть-то как человека испортить может. А рост ни при чем, все начальство...

Я насторожился: в чем же начальство-то виновато? Анатолий пошуровал в печке, дрова занялись веселее, разом осветили землянку.

— Ну совершил старшина подвиг. Ну дай ему Героя да поставь командиром пулеметного расчета. Цены человеку не было бы. А то сразу роту, а в ней ни много ни мало, а сто человек. Сам подумай, у кого голова не закружится.

Умный у меня был связной, недаром он хвастался иногда, подвыпив: «Я, товарищ капитан, невысоко сижую. а далеко-о-о гляжу!»

Как-то рано утром Анатолий разбудил меня и сообщил:

— Товарищ капитан, Куликова с «адъютантом» убило.

— Как убило?!

— Во время артналета. Все укрылись, а они остались, не пошли в укрытие. Прямое попадание. Ничего не нашли от них.

— Жалко,— сказал я.

— А там рады все до смерти. Слава богу, говорят, отмучались.

В траншее меня спросил солдат:

— Правда, товарищ капитан, что того младшего лейтенанта справа убили?

— Правда.



— Так вроде и боев не было?

— Попал под налет.

Я уже уходил от него, а он вдогонку мне сказал:

— Я ведь что думаю, товарищ капитан. Не дай бог с нашим командиром каким-нибудь случится этакое. А Куликов-то, хрен с ним. Наших-то больно жалко было бы.

— Да ты что?

— Вот и я говорю, не приведи господь.

Пока мы с ним так разговаривали, прибежал сержант и, показывая вправо, крикнул:

— Немцы, товарищ капитан!

— Где?

— На восьмую роту идут!

Не успел я подать команду, как солдаты начали выскакивать из землянок и устремились вправо на выручку роты, которая только что осталась без командира. Правду говорят, что люди рождаются, чтобы помогать друг другу.



---

---

## ЕВГЕНИЙ РЕЙН



### ХУДОЖНИК И МОДЕЛЬ

#### Сосед Григорьев

Нас двое в пустынной квартире,  
Затерянной в третьем дворе.  
Пока я бряцаю на лире,  
Он роется в календаре,  
Где все еще свежие краски  
И чьи-то пометки видны.  
Но это касается русско-  
Японской забытой войны.  
Ему уже за девяносто.  
Куда его жизнь занесла,  
Придворного орденосца  
И крестик его «Станислав»!  
Придворным он был ювелиром  
Низложен он был в Октябре.  
Нас двое, и наша квартира  
Затеряна в третьем дворе.  
А он еще помнит заказы  
К светлейшему дню именин,  
Он помнит большие алмазы  
И руки великих княгинь.  
Он тайные помнит подарки,  
Эмаль и лазурь на гербах  
И странные помнит помарки  
На девятизначных счетах.  
Когда он, глухой, неопрятный,  
Идет, спотыкаясь, в сортир,  
Из гроба встает император,  
А с ним и его ювелир.  
Забыт он, затерян навеки?  
И все-таки, все-таки нет.  
Соседу вручают повестки  
На выборы в суд и Совет.

Я славлю тебя, государство,  
Твой счет без утрат и прикрас,  
Твое золотое упрямство,  
С которым ты помнишь о нас.

#### Нинель

В те времена она звалась Нинель,  
звучало Нонна как-то простовато.  
Все просыпалось, и цветенья хмель  
нам головы дурил и вел куда-то.

Студентка иностранных языков,  
она разгрызла первые романы,  
и наконец Сережа Васюков,  
как некий шкипер, выплыл из тумана.  
Он по-французски назывался Серж,  
и он пробил годов каменоломню,  
я с ним дружил и все-таки, хоть режь,  
как это получилось, не припомню.  
Он появился сразу, он вошел  
в зауженных портках и безрукавке  
и с самого начала превзошел  
всех остальных беседами о Кафке.  
Он где-то жил в подвале на паях  
с другим таким же футуристом жизни.  
Они исчезли. Заклубился прах,  
и нету их давно в моей отчизне.  
Она осталась и звалась Нинель  
и декадентским мундштуком играет,  
она преодолела канитель,  
взяла барьер. Довольна ли? Бог знает...  
Я помню, как в расширенных зрачках,  
где кофеин перемешался с кайфом,  
я отражался и почти зачах  
в ее унылой комнатке за шкафом.  
На одеяле, вытертом дотла,  
на черной неприкаянной кровати  
мы подружились, и она была  
порой нежна и своенравна к стати.  
Но бедность, бедность, черствый бутерброд  
и голоса соседей через стенку —  
ей наплевать, она кривила рот,  
презрительно играя в декадентку.  
Но почему — играя? Самый ствол,  
все то, что потаенно, а не мнимо,  
все сны, повадки, чувственность и пол —  
все было декадентством в ней, помимо  
простонародной силы и ума,  
полученных в наследство, точно слепок,  
как наша суть, как наша жизнь сама,  
от государства первых пятилеток.  
Она переметнула шаткий мост  
от Незнакомки или Гедды Габлер  
сюда, где гений и больной прохвост —  
Серж Васюков почти ее ограбил,  
все отобрал — корниловский сервиз  
и две картины снес в комиссионку,  
и все-таки он продвигался вниз,  
торчал, сидел и отрулил в сторонку.  
Не то она. Она взяла свое,  
она прошла в газеты и журналы.  
Теперь уже французское белье,  
загранка, Нотр-Дам и Таж-Махалы.  
Невнятные, но бодрые стихи,  
рассказы для детей, инсценировки,  
а там, в пятидесятых, — все грехи,  
все бездны до последней рокировки.  
И все-таки... Я видел, как она  
мундштук подносит к вытянутым губкам,  
как, мертвенно и траурно бледна,  
сидит в застолье и **внимает шуткам,**

как подбирает на ночь портача  
 из молодых литературных кадров  
 и, оживляясь вдруг и хохоча,  
 предсказывает правду, как на картах.  
 Ах, декадентка... Боже, боже мой,  
 куда все делось, нет ее «Собаки  
 бродячей», и отметки ножевой  
 не оставляет Балашов<sup>1</sup> во мраке,  
 не хлещет портер одичалый Блок,  
 и Северянин не чудит с ликером.  
 Закрыто навсегда и под замок  
 то смутное предчувствие, с которым  
 когда-то мы вошли и разбрелись,  
 и все случилось просто и резонно,  
 и все забыто. И остались лишь  
 твой жадный смех и твой мундштук, о Нонна!

### Художник и модель

Тыходишь к большой реке,  
 возле чудищ Египта стоишь.  
 В мастерской на твоём чердаке  
 хлам забвения, тьма и тишь.

Онеще попадет в Мадрид  
 и пробьет Беломорканал,  
 захочетещенавзрыд —  
 он и в Мексике побывал.

Открываешь дверь на балкон,  
 в этот час сверкает залив,  
 и заката Лаокоон  
 стянут тучами вкось и вкривь.

Вшевиотовое нутро  
 он суетименной ГТ,  
 шоколадное серебро  
 ночью падает в декольте.

Погляди на старый портрет,  
 нарисованный так давно,  
 тот, кто был здесь, сошел на нет,  
 словно вышел за полотно.

Чтожебудет в конце концов?  
 Как всегда, ничего и все.  
 А пока с ним нарком Ежов  
 пьет в Алушке Абрау-Дюрсо.

Изфутболка, спартакиад  
 он давно пересажен в «ЗИС»,  
 ноеще он бывает рад  
 выбить в парке почетный приз.

И пройдет миллион эпох,  
 чернозем войдет в мезозой.  
 И мы видим: портрет неплох,  
 светит искренней бирюзой.

Иуже восточный экспресс  
 тащит в девять столиц его  
 и подстегивает интерес  
 все устроить из ничего.

Сквозь испорченные часы  
 виден сурик и изумруд.  
 Жизнь и живопись так чисты —  
 плоть покинут и не умрут.

<sup>1</sup> Некто, набросившийся с ножом на холст И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван» (инцидент имел место в 1912 году).

---

---

БОРИС ПАСТЕРНАК

★

## ДОКТОР ЖИВАГО\*

Роман

4

**В** течение нескольких следующих дней обнаружилось, до какой степени он одинок. Он никого в этом не винил. Видно, сам он хотел этого и добился.

Странно потускнели и обесцветились друзья. Ни у кого не осталось своего мира, своего мнения. Они были гораздо ярче в его воспоминаниях. По-видимому, он раньше их переоценивал.

Пока порядок вещей позволял обеспеченным блажить и чудесить на счет необеспеченных, как легко было принять за настоящее лицо и самобытность эту блажь и право на праздность, которым пользовалось меньшинство, пока большинство терпело!

Но едва лишь поднялись низы, и льготы верхов были отменены, как быстро все полиняло, как без сожаления расстались с самостоятельной мыслью, которой ни у кого, видно, не бывало!

Теперь Юрию Андреевичу были близки одни люди без фраз и пафоса, жена и тесть, да еще два-три врача сослуживца, скромные труженики, рядовые работники.

Вечер с уткой и со спиртом в свое время состоялся, как предполагалось, на второй или третий день его приезда, когда он успел перебраться со всеми приглашенными, так что это не было их первой встречей.

Жирная утка была невиданной роскошью в те, уже голодные, времена, но к ней недоставало хлеба, и это обесмысливало великолепие закуски, так что даже раздражало.

Гордон принес спирту в аптечной склянке с притертой пробкой. Спирт был любимым меновым средством мешочников. Антонина Александровна не выпускала бутылки из рук и по мере надобности разводила спирт небольшими порциями, по вдохновению, то слишком крепко, то слишком слабо. При этом оказалось, что неровный хмель от меняющегося раствора многим тяжелее сильного и определенного. Это тоже сердило.

Всего же грустнее было, что вечеринка их представляла отступление от условий времени. Нельзя было предположить, чтобы в домах напротив по переулку так же пили и закусывали в те же часы. За окном лежала немая, темная и голодная Москва. Лавки ее были пусты, а о таких вещах, как дичь и водка, и думать позабыли.

И вот оказалось, что только жизнь, похожая на жизнь окружающих и среди нее бесследно тонущая, есть жизнь настоящая, что счастье обособленное не есть счастье, так что утка и спирт, которые кажутся единственными в городе, даже совсем не спирт и не утка. Это огорчало больше всего.

Гости тоже наводили на невеселые размышления. Гордон был хорош, пока тяжело мыслил и изъяснялся уныло и нескладно. Он был лучшим другом Юрия Андреевича. В гимназии его любили.

Но вот он себе разонравился и стал вносить неудачные поправки в свой нравственный облик. Он бодрился, корчил весельчака, все вре-

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

Публикация, подготовка текста Е. Б. ПАСТЕРНАКА и В. М. БОРИСОВА.

мя что-то рассказывал с претензией на остроумие, и часто говорил «занятно» и «забавно» слова не из своего словаря, потому что Гордон никогда не понимал жизни, как развлечения.

До прихода Дудорова он рассказал смешную, как ему казалось, историю дудоровской женитьбы, ходившую между товарищами. Юрий Андреевич ее не знал.

Оказывается, Дудоров был женат около года, а потом разошелся с женой. Малоправдоподобная соль этого приключения заключалась в следующем.

Дудорова по ошибке взяли в солдаты. Пока он служил и выясняли недоразумение, он больше всего штрафных нарядов получил за ротзейство и неотдание чести на улице. Когда его освободили, у него долго при виде офицеров рука подскакивала кверху, рябило в глазах и всюду мерещились погоны.

В этот период он все делал невпопад, совершал разные промахи и оплошности. Именно в это время он будто бы на одной волжской пристани познакомился с двумя девушками, сестрами, дождавшимися того же парохода, и якобы из рассеянности, проистекавшей от мелькания многочисленных военных кругом и от пережитков своего солдатского козыряния, не доглядел, влюбился по недосмотру и второпях сделал младшей сестре предложение. «Забавно, не правда ли?» — спрашивал Гордон. Но он должен был скомкать описание. За дверью послышался голос героя рассказа. В комнату вошел Дудоров.

С ним произошла обратная перемена. Препятствие неустойчивый и взбалмошный ветрогон превратился в сосредоточенного ученого.

Когда юношей его исключили из гимназии за участие в подготовке политического побега, он некоторое время скитался по разным художественным училищам, но в конце концов его прибило к классическому берегу. С запозданием против товарищей Дудоров в годы войны кончил университет и был оставлен по двум кафедрам, русской и всеобщей истории. По первой он писал что-то о земельной политике Ивана Грозного, а по второй исследование о Сен-Жюсте.

Он обо всем любезно рассуждал теперь негромким и как бы простуженным голосом, мечтательно глядя в одну точку и не опуская и не подымая глаз, как читают лекции.

К концу вечера, когда ворвалась со своими нападками Шура Шлезингер, а все, и без того разгоряченные, кричали наперебой, Иннокентий, с которым Юрий Андреевич со школьных лет был на «вы», несколько раз спросил:

— Вы читали «Войну и мир» и «Флейту позвоночник»?

Юрий Андреевич давно сказал ему, что думает по этому поводу, но Дудоров не расслышал из-за закипевшего общего спора и потому, немного погодя, спросил еще раз:

— Вы читали «Флейту позвоночник» и «Человека»?

— Ведь я вам ответил, Иннокентий. Ваша вина, что не слышали. Ну, будь по-вашему. Скажу снова. Маяковский всегда мне нравился. Это какое-то продолжение Достоевского. Или вернее, это лирика, написанная кем-то из его младших бунтующих персонажей, вроде Ипполита, Раскольника или героя «Подростка». Какая всепожирающая сила дарования! Как сказано это раз навсегда, непримиримо и прямолинейно! А главное, с каким смелым размахом шваркнуто это все в лицо общества и куда-то дальше, в пространство!

Но главным гвоздем вечера был, конечно, дядя. Антонина Александровна ошибалась, говоря, что Николай Николаевич на даче. Он вернулся в день приезда племянника и был в городе. Юрий Андреевич видел его уже два или три раза и успел наговориться с ним, наохаться, наахаться и наохотаться.

Первое их свидание произошло вечером серого пасмурного дня. Мелкой водяной пылью моросил дождик. Юрий Андреевич пришел к Николаю Николаевичу в номер. В гостиницу уже принимали только

по настоянию городских властей. Но Николая Николаевича везде знали. У него оставались старые связи.

Гостиница производила впечатление желтого дома, покинутого сбежавшей администрацией. Пустота, хаос, власть случайности на лестницах и в коридорах.

В большое окно неприбранного номера смотрела обширная безлюдная площадь тех сумасшедших дней, чем-то пугавшая, словно она привиделась ночью во сне, а не лежала на самом деле перед глазами под окном гостиницы.

Это было поразительное, незабываемое, знаменательное свидание! Кумир его детства, властитель его юношеских дум, живой во плоти опять стоял перед ним.

Николаю Николаевичу очень шла седина. Заграничный широкий костюм хорошо сидел на нем. Для своих лет он был еще очень молод и смотрел красавцем.

Конечно, он сильно терял в соседстве с громадностью совершавшегося. События заслоняли его. Но Юрию Андреевичу и не приходило в голову мерить его таким мерилом.

Его удивило спокойствие Николая Николаевича, хладнокровно шуточный тон, которым он говорил на политические темы. Его умение держать себя превышало нынешние русские возможности. В этой черте сказывался человек приезжий. Черта эта бросалась в глаза, казалась старомодною и вызывала неловкость.

Ах, но ведь совсем не то, не то наполнило первые часы их встречи, заставило бросаться друг другу на шею, плакать и, задышав от волнения, прерывать быстроту и горячность первого разговора частыми паузами.

Встретились два творческих характера, связанные семейным родством, и хотя встало и второй жизнью зажило минувшее, нахлынули воспоминания и всплыли на поверхность обстоятельства, происшедшие за время разлуки, но едва лишь речь зашла о главном, о вещах, известных людям созидательного склада, как исчезли все связи, кроме этой единственной, не стало ни дяди, ни племянника, ни различия в возрасте, а только осталась близость стихии со стихией, энергии с энергией, начала и начала.

За последнее десятилетие Николаю Николаевичу не представлялось случая говорить об обаянии авторства и сути творческого предназначения в таком соответствии с собственными мыслями и так заслуженно к месту, как сейчас. С другой стороны, и Юрию Андреевичу не приходилось слышать отзывов, которые были бы так пронизательно метки и так окрыляюще увлекательны, как этот разбор.

Оба поминутно вскрикивали и бегали по номеру, хватаясь за голову от безошибочности обоюдных догадок, или отходили к окну и молча барабанили пальцами по стеклу, потрясенные доказательствами взаимного понимания.

Так было у них при первом свидании, но потом доктор несколько раз видел Николая Николаевича в обществе, и среди людей он был другим, неузнаваемым.

Он сознавал себя гостем в Москве и не желал расставаться с этим сознанием. Считал ли он при этом своим домом Петербург или какое-нибудь другое место, оставалось неясным. Ему льстила роль политического краснбая и общественного очарователя. Может быть, он вообразил, что в Москве откроются политические салоны, как в Париже перед конвентом у мадам Ролан.

Он захаживал к своим приятельницам, хлебосольным жительницам тихих московских переулков, и премило высмеивал их и их мужей за их половинчатость и отсталость, за привычку судить обо всем со своей колокольни. И он щеголял теперь газетной начитанностью, точно так же, как когда-то отреченными книгами и текстами орфиков.

Говорили, что в Швейцарии у него осталась новая молодая пасия, недоконченные дела, недописанная книга и что он только окунется в бурный отечественный водоворот, а потом, если вынырнет невредимым, снова махнет в свои Альпы, только его и видали.

Он был за большевиков и часто называл два левозеровских имени в качестве своих единомышленников: журналиста, писавшего под псевдонимом Мирошка Помор, и публицистки Сильвии Котери.

Александр Александрович ворчливо упрёк его:

— Просто страшно, куда вы съехали, Николай Николаевич! Эти Мирошки ваши. Какая яма! А потом эта ваша Лидия Покори.

— Котери,— поправляя Николай Николаевич.— И — Сильвия.

— Ну все равно, Покори или Попурри, от слова не станется.

— Но все же, виноват, Котери,— терпеливо настаивал Николай Николаевич. Он и Александр Александрович обменивались такими речами:

— О чем мы спорим? Подобные истины просто стыдно доказывать. Это азбука. Основная толща народа веками вела невысказанное существование. Возьмите любой учебник истории. Как бы это ни называлось, феодализм ли и крепостное право, или капитализм и фабричная промышленность, все равно неестественность и несправедливость такого порядка давно замечена, и давно подготовлен переворот, который выведет народ к свету и всё поставит на свое место.

Вы знаете, что частичное подновление старого здесь непригодно, требуется его коренная ломка. Может быть, она повлечет за собой обвал здания. Ну так что же? Из того, что это страшно, ведь не следует, что этого не будет? Это вопрос времени. Как можно это оспаривать?

— Э, да ведь не о том разговор. Разве я об этом? Я что говорю? — сердился Александр Александрович, и спор возгорался.

— Ваши Попурри и Мирошки люди без совести. Говорят одно, а делают другое. И затем, где тут логика? Никакого соответствия. Да нет, погодите, вот я вам покажу сейчас.

И он принимался разыскивать какой-нибудь журнал с противоречивою статьею, со стуком вдвигая и выдвигая ящики письменного стола и этой громкою возней пробуждая свое красноречие.

Александр Александрович любил, чтобы ему что-нибудь мешало при разговоре, и чтобы препятствия оправдывали его мямлющие паузы, его эканье и меканье. Разговорчивость находила на него во время розысков чего-нибудь потерянного, например, при подыскивании второй калоши к первой в полумраке передней, или когда с полотенцем через плечо он стоял на пороге ванной, или при передаче тяжелого блюда за столом, или во время разливания вина гостям по бокалам.

Юрий Андреевич с наслаждением слушал тестя. Он обожал эту хорошо знакомую старомосковскую речь нараспев, с мягким, похожим на мурлыканье громековским подкартавливаньем.

Верхняя губа у Александра Александровича с подстриженными усиками чуть-чуть выдавалась над нижней. Так же точно оттопыривался галстук бабочкой на его груди. Было нечто общее между этою губой и галстуком, и оно придавало Александру Александровичу что-то трогательное, доверчиво-детское.

Поздно ночью почти перед уходом гостей явилась Шура Шлезингер. Она прямо с какого-то собрания пришла в жакетке и рабочем картузе, решительными шагами вошла в комнату и, по очереди здороваясь со всеми за руку, тут же на ходу предалась упрёкам и обвинениям.

— Здравствуй, Тоня. Здравствуй, Санечка. Все-таки свинство, согласитесь. Отовсюду слышу, приехал, об этом вся Москва говорит, а от вас узнаю последнюю. Ну да черт с вами. Видно, не заслужила. Где он, долгожданный? Дайте пройду. Обступили стеной. Ну, здрав-



ствуй! Молодец, молодец. Читала. Ничего не понимаю, но гениально. Это сразу видно. Здравствуйте, Николай Николаевич. Сейчас я вернусь к тебе, Юрочка. У меня с тобой большой, особый разговор. Здравствуйте, молодые люди. А, и ты тут, Гогочка? Гуси, гуси, га-га-га, есть хотите, да-да-да?

Последнее восклицание относилось к громековской седьмой воде на киселе Гогочке, ярому поклоннику всякой поднимающейся силы, которого за глупость и смешливость звали Акулькой, а за рост и худобу — ленточной глистой.

— А вы тут пьете и закусываете? Сейчас я догоню вас. Ах, господа, господа. Ничего-то вы не знаете, ничего не ведаете! Что на свете делается! Какие вещи творятся! Пойдите на какое-нибудь настоящее низовое собрание с невыдумантыми рабочими, с невыдумантыми солдатами, не из книжек. Попробуйте пикнуть там что-нибудь про войну до победного конца. Вам там пропишут победный конец! Я матроса сейчас слышала! Юрочка, ты бы с ума сошел! Какая страсть! Какая цельность!

Шуру Шлезингер перебивали. Все орало кто в лес, кто по дрова. Она под села к Юрию Андреевичу, взяла его за руку и, приблизив к нему лицо, чтобы перекричать других, кричала без повышений и понижений, как в разговорную трубку:

— Пойдем как-нибудь со мной, Юрочка. Я тебе людей покажу. Ты должен, должен, понимаешь ли, как Антей, прикоснуться к земле. Что ты выпучил глаза? Я тебя, кажется, удивляю? Разве ты не знаешь, что я старый боевой конь, старая бестужевка, Юрочка. С предварилкой знакомилась, сражалась на баррикадах. Конечно! А ты что думал? О, мы не знаем народа! Я только что оттуда, из их гущи. Я им библиотеку налаживаю.

Она уже хлебнула и явно хмелела. Но и у Юрия Андреевича шумело в голове. Он не заметил, как Шура Шлезингер оказалась в одном углу комнаты, а он в другом, в конце стола. Он стоял и по всем признакам, сверх собственного ожидания, говорил. Он не сразу добился тишины.

— Господа... Я хочу... Миша! Гогочка!.. Но что же делать, Тоня, когда они не слушают? Господа, дайте мне сказать два слова. Надвигается неслыханное, небывалое. Прежде чем оно настигнет нас, вот мое пожелание вам. Когда оно настанет, дай нам Бог не растерять друг друга и не потерять души. Гогочка, вы после будете кричать ура. Я не кончил. Прекратите разговоры по углам и слушайте внимательно.

На третий год войны в народе сложилось убеждение, что рано или поздно граница между фронтом и тылом сотрется, море крови подступит к каждому и зальет отсживающихся и окопавшихся. Революция и есть это наводнение.

В течение ее вам будет казаться, как нам на войне, что жизнь прекратилась, всё личное кончилось, что ничего на свете больше не происходит, а только убивают и умирают, а если мы доживем до записок и мемуаров об этом времени, и прочтем эти воспоминания, мы убедимся, что за эти пять или десять лет пережили больше, чем иные за целое столетие.

Я не знаю, сам ли народ подымется и пойдет стеной, или всё сделается его именем. От события такой огромности не требуется драматической доказательности. Я без этого ему поверю. Мелко копаться в причинах циклических событий. Они их не имеют. Это у домашних ссор есть свой генезис, и после того как оттаскают друг друга за волосы и перебьют посуду, ума не приложат, кто начал первый. Все же истинно великое безначально, как вселенная. Оно вдруг оказывается налицо без возникновения, словно было всегда или с неба свалилось.

Я тоже думаю, что России суждено стать первым за существование мира царством социализма. Когда это случится, оно надолго оглушит нас, и, очнувшись, мы уже больше не вернем утраченной памяти. Мы забудем часть прошлого и не будем искать небывалому объяснения. Наставший порядок обступит нас с привычностью леса на горизонте или облаков над головой. Он окружит нас отовсюду. Не будет ничего другого.

Он еще что-то говорил и тем временем совершенно протрезвился. Но по-прежнему он плохо слышал, что говорилось кругом и отвечал невпопад. Он видел проявления общей любви к нему, но не мог отогнать печали, от которой был сам не свой. И вот он сказал:

— Спасибо, спасибо. Я вижу ваши чувства. Я их не заслуживаю. Но не надо любить так запамято и торопливо, как бы из страха, не пришлось бы потом полюбить еще сильней.

Все захохотали и захлопали, приняв это за сознательную остроту, а он не знал куда деваться от чувства нависшего несчастья, от сознания своей невластности в будущем, несмотря на всю свою жажду добра и способность к счастью.

Гости расходились. У всех от усталости были вытянувшиеся лица. Зевота смыкала и размыкала им челюсти, делая их похожими на лошадей.

Прощаясь, отдернули оконную занавесь. Распахнули окно. Показался желтоватый рассвет, мокрое небо в грязных, землисто-горюхих тучах.

— А ведь видно гроза была, пока мы пустословили,— сказал кто-то.

— Меня дорогой к вам дождь захватил. Насилу добежала,— подтвердила Шура Шлезингер.

В пустом и еще темном переулке стояло перестукивание капающих с деревьев капель вперемежку с настойчивым чириканьем промокших воробьев.

Прокатился гром, будто плугом провели борозду через все небо, и всё стихло. А потом раздались четыре гулких, запоздалых удара, как осенью вываливаются большие картофелины из рыхлой, лопатой сдвинутой гряды.

Гром прочистил емкость пыльной протабаченной комнаты. Вдруг, как электрические элементы, стали ощутимы составные части существования, вода и воздух, желание радости, земля и небо.

Переулок наполнился голосами расходящихся. Они продолжали что-то громко обсуждать на улице, точь-в-точь как препирались только что об этом в доме. Голоса удалялись, постепенно стихали и стихли.

— Как поздно,— сказал Юрий Андреевич.— Пойдем спать. Из всех людей на свете я люблю только тебя и папу.

## 5

Прошел август, кончался сентябрь. Нависало неотвратимое. Близились зима, а в человеческом мире то, похожее на зимнее обмирание, предрешенное, которое носилось в воздухе и было у всех на устах.

Надо было готовиться к холодам, запастись пищу, дрова. Но в дни торжества материализма материя превратилась в понятие, пищу и дрова заменил продовольственный и топливный вопрос.

Люди в городах были беспомощны, как дети перед лицом близящейся неизвестности, которая опрокидывала на своем пути все установленные навыки и оставляла по себе опустошение, хотя сама была детищем города и созданием горожан.

Кругом обманывались, разглагольствовали. Обыденщина еще хромала, барахталась, колченого плелась куда-то по старой привычке.

Но доктор видел жизнь неприкрашенной. От него не могла укрыться ее приговоренность. Он считал себя и свою среду обреченными. Предстояли испытания, может быть, даже гибель. Считанные дни, оставшиеся им, таяли на его глазах.

Он сошел бы с ума, если бы не житейские мелочи, труды и заботы. Жена, ребенок, необходимость добывать деньги были его спасением,— насущное, смиренное, бытовой обиход, служба, хождение по больным.

Он понимал, что он пигмей перед чудовищной машиной будущего, боялся его, любил это будущее и втайне им гордился, и в последний раз, как на прощание, жадными глазами вдохновения смотрел на облака и деревья, на людей, идущих по улице, на большой, перемогающий в несчастиях русский город, и был готов принести себя в жертву, чтобы стало лучше, и ничего не мог.

Это небо и прохожих он чаще всего видел с середины мостовой, переходя Арбат у аптеки русского общества врачей, на углу Старо-конюшенного.

Он опять поступил на службу в свою старую больницу. Она по старой памяти называлась Крестовоздвиженской, хотя община этого имени была распущена. Но больнице еще не придумали подходящего названия.

В ней уже началось расслоение. Умеренным, тупоумие которых возмущало доктора, он казался опасным, людям, политически ушедшим далеко, недостаточно красным. Так очутился он ни в тех, ни в сих, от одного берега отстал, к другому не пристал.

В больнице, кроме его прямых обязанностей, директор возложил на него наблюдение над общей статистической отчетностью. Каких только анкет, опросных листов и бланков ни просматривал он, каких требовательных ведомостей ни заполнял! Смертность, рост заболеваемости, имущественное положение служащих, высота их гражданской сознательности и степень участия в выборах, неудовлетворимая нужда в топливе, продовольствии, медикаментах, всё интересовало центральное статистическое управление, на всё требовался ответ.

Доктор занимался всем этим за своим старым столом у окна ординаторской. Графленая бумага разных форм и образцов кипами лежала перед ним, отодвинутая в сторону. Иногда урывками, кроме периодических записей для своих медицинских трудов, он писал здесь свою «Игру в людей», мрачный дневник или журнал тех дней, состоявший из прозы, стихов и всякой всячины, внушенной сознанием, что половина людей перестала быть собой и неизвестно что разыгрывает.

Светлая солнечная ординаторская со стенами, выкрашенными в белую краску, была залита кремовым светом солнца золотой осени, отличающим дни после Успения, когда по утрам ударяют первые заморозки и в пестроту и яркость поредельх роц залетают зимние синицы и сороки. Небо в такие дни подымается в предельную высоту и сквозь прозрачный столб воздуха между ним и землей тянет с севера ледяной темно-синей ясностью. Повышается видимость и слышимость всего на свете, чего бы то ни было. Расстояния передают звук в замороженной звонкости, отчетливо и разъединенно. Расчищаются дали, как бы открывши вид через всю жизнь на много лет вперед. Этой разреженности нельзя было бы вынести, если бы она не была так кратковременна и не наступала в конце короткого осеннего дня на пороге ранних сумерек.

Такой свет озарял ординаторскую, свет рано садящегося осеннего солнца, сочный, стеклянный и водянистый, как спелое яблоко белый налив.

Доктор сидел у стола, обмакивая перо в чернила, задумывался и писал, а мимо больших окон ординаторской близко пролетали какие-то тихие птицы, забрасывая в комнату бесшумные тени, кото-

рые покрывали движущиеся руки доктора, стол с бланками, пол и стены ординаторской и так же бесшумно исчезали.

— Клен опадает,— сказал вошедший прозектор, плотный когда-то мужчина, на котором кожа от похудания висела теперь мешками.— Поливали его ливни, ветры трепали и не могли одолеть. А что один утренняя сделал!

Доктор поднял голову. Действительно, сновавшие мимо окна загадочные птицы оказались вино-огненными листьями клена, которые отлетали прочь, плавно держась в воздухе, и оранжевыми выгнутыми звездами ложились в стороне от деревьев на траву большого газона.

— Окна замазали? — спросил прозектор.

— Нет,— сказал Юрий Андреевич и продолжал писать.

— Что так? Пора.

Юрий Андреевич ничего не отвечал, поглощенный писанием.

— Эх, Тарасюка нет,— продолжал прозектор.— Золотой был человек. И сапоги починит. И часы. И всё сделает. И всё на свете достанет. А замазывать пора. Надо самим.

— Замазки нет.

— А вы сами. Вот рецепт.— И прозектор объяснил, как приготовить замазку из олифы и мела.— Впрочем, ну вас. Я вам мешаю.

Он отошел к другому окну и занялся своими склянками и препаратами. Стало темнеть. Через минуту он сказал:

— Глаза испортите. Темно. А огня не дадут. Пойдемте домой.

— Еще немного поработаю. Минут двадцать.

— Его жена тут в больничных няньках.

— Чья?

— Тарасюка.

— Знаю.

— А сам он неизвестно где. По всей земле рыщет. Летом два раза проводывал. В больницу заходил. Теперь где-нибудь в деревне. Основывает новую жизнь. Это из тех солдат-большевиков, которых вы на бульварах видите и в поездах. А хотите знать разгадку? Тарасюка, например? Слушайте. Это мастер на все руки. Ничего не может делать плохо. За что ни возьмет, дело в руках горит. То же самое случилось с ним на войне. Изучил и ее, как всякое ремесло. Оказался чудным стрелком. В окопах, в секрете. Глаз, рука — первый сорт! Все знаки отличия не за лихость, а за бой без промаха. Ну. Всякое дело становится у него страстью. Полюбил и военное. Видит, оружие это сила, вывозит его. Самому захотелось стать силю. Вооруженный человек это уже не просто человек. В старину такие шли из стрельцов в разбойники. Отыми у него теперь винтовку, попробуй. И вдруг подпеваает клич: «Повернуть штык» и так далее. Он и повернул. Вот вам и весь сказ. И весь марксизм.

— И притом пренастоящий, из самой жизни. А вы что думали?

Прозектор отошел к своему подоконнику, покопался над приборками. Потом спросил:

— Ну как печник?

— Спасибо, что рекомендовали. Преинтересный человек. Около часа беседовали о Гегеле и Бенедетто Кроче.

— Ну как же! Доктор философии гейдельбергского университета. А печка?

— И не говорите.

— Дымит?

— Одно горе.

— Трубу не туда вывел. Надо замазать в печь, а он верно выпустил в форточку.

— Да он в голландку вставил. А дымит.

— Значит дымового рукава не нашел, повел вентиляционным каналом. А то в отдушину. Эх, Тарасюка нет! А вы потеряете. Не в

один день Москва построилась. Печку топить это вам не на рояли играть. Надо поучиться. Дров запасли?

— А где их взять?

— Я вам церковного сторожа пришло. Дровяной вор. Разбирает заборы на топливо. Но предупреждаю. Надо торговаться. Запрашивает. Или бабу-морильщицу.

Они спустились в швейцарскую, оделись, вышли на улицу.

— Зачем морильщицу? — сказал доктор. — У нас клопов не водится.

— При чем тут клопы? Я про Фому, а вы про Ерему. Не клопы, а дрова. У этой всё поставлено на коммерческую ногу. Дома и срубы скупает на топливо. Серьезная поставщица. Смотрите, не оступитесь, темь какая. Бывало, я с завязанными глазами мог по этому району пройти. Каждый камушек знал. Пречистенский уроженец. А стали заборы валить, и с открытыми глазами ничего не узнаю, как в чужом городе. Зато какие уголки обнажились! Амфирные домики в кустарнике, круглые садовые столы, полустгнившие скамейки. На днях прохожу мимо такого пустырька, на пересечении трех переулков. Смотрю, столетняя старуха клюкой землю ковыряет. «Бог в помощь, говорю, бабушка. Червей копаешь, рыболовствуешь?» Разумеется, в шутку. А она пресерьезнейше: «Никак нет, батюшка,— шампиньоны». И, правда, стало в городе, как в лесу. Пахнет прелым листом, грибами.

— Я знаю это место. Это между Серебряным и Молчановкой, не правда ли? Со мной там мимоходом всё неожиданности. То кого-нибудь встречу, кого двадцать лет не видал, то что-нибудь найду. И говорят, грабят на углу. Да и неудивительно. Место сквозное. Целая сеть ходов к сохранившимся притонам Смоленского. Оберут, разденут, и фюить, ищи ветра в поле.

— А фонари как слабо светят. Не зря синяки фонарями зовут. Как раз нашибешь.

## 6

Действительно, всевозможные случайности преследовали доктора в названном месте. Поздней осенью, незадолго до октябрьских боев, темным холодным вечером он на этом углу наткнулся на человека, лежавшего без памяти поперек тротуара. Человек лежал, раскинув руки, приклонив голову к тумбе и свесив ноги на мостовую. Изредка с перерывами он слабо постанывал. В ответ на громкие вопросы доктора, пробовавшего привести его в чувство, он пробормотал что-то несвязное и снова на некоторое время потерял сознание. Голова его была разбита и окровавлена, но черепные кости при беглом осмотре оказались целы. Лежавший был несомненно жертвой вооруженного грабежа. «Портфель. Портфель»,— два-три раза прошептал он.

По телефону из ближней арбатской аптеки доктор вызвал прикомандированного к Крестовоздвиженской старика извозчика и отвозил неизвестного в больницу.

Потерпевший оказался видным политическим деятелем. Доктор вылечил его и в его лице приобрел на долгие годы покровителя, избавлявшего его в это полное подозрений и недоверчивое время от многих недоразумений.

## 7

Было воскресенье. Доктор был свободен. Ему не надо было на службу. В Сивцевом уже разместились по-зимнему в трех комнатах, как предполагала Антонина Александровна.

Был холодный ветреный день с низкими снеговыми облаками, темный, претемный.

С утра затопили. Стало дымить. Антонина Александровна, ничего не понимавшая в топке, давала Нюше, бившейся с сырыми нераз-

горавшимися дровами, бестолковые и вредные советы. Доктор, видевший это и понимавший, что надо сделать, пробовал вмешаться, но жена тихо брала его за плечи и выпроваживала из комнаты со словами:

— Ступай к себе. Когда голова и без того кругом и всё мешается, у тебя привычка непременно говорить под руку. Как ты не понимаешь, что твои замечания только подливают масла в огонь.

— О, масло, Тонечка, это было бы превосходно! Печка мигом бы запылала. То-то и горе, что не вижу я ни масла, ни огня.

— И для каламбуров не время. Бывают, понимаешь, моменты, когда не до них.

Неудачная топка разрушала воскресные планы. Все надеялись, исполнив необходимые дела до темноты, освободиться к вечеру, а теперь это отпадало. Оттягивался обед, чье-то желание помыть горячей водою голову, какие-то другие намерения.

Скоро задымил так, что стало невозможно дышать. Сильный ветер загонял дым назад в комнату. В ней стояло облако черной копоти, как сказочное чудовище посреди дремучего бора.

Юрий Андреевич разогнал всех по соседним комнатам и открыл форточку. Половину дров из печки он выкинул вон, а между оставшимися проложил дорожку из мелких щепок и берестяной растопки.

В форточку ворвался свежий воздух. Колыхнувшаяся оконная занавес взвилась вверх. С письменного стола слетело несколько бумажек. Ветер хлопнул какою-то дальнею дверью и, кружась по всем углам, стал, как кошка за мышью, гоняться за остатками дыма.

Разгоревшиеся дрова вспыхнули и затрещали. Печурка захлебнулась пламенем. В ее железном корпусе пятнами чахоточного румянца зарделись кружки красного накала. Дым в комнате поредел и потом исчез совсем.

В комнате стало светлее. Заплакали окна, недавно замазанные Юрием Андреевичем по наставлениям прозектора. Волною хлынул теплый жирный запах замазки. Запахло сушащимися около печки мелко напиленными дровами: горькой, дерущей горло гарью еловой коры и душистой, как туалетная вода, сырой свежей осины.

В это время в комнату так же стремительно, как воздух в форточку, ворвался Николай Николаевич с сообщением:

— На улицах бой. Идут военные действия между юнкерами, подерживающими Временное правительство, и солдатами гарнизона, стоящими за большевиков. Стычки чуть ли не на каждом шагу, очагам восстания нет счета. По дороге к вам я два или три раза попал в переделку, раз на углу Большой Дмитровки и другой — у Никитских ворот. Прямого пути уже нет, приходится пробираться обходом. Живо, Юра! Одевайся и пойдем. Это надо видеть. Это история. Это бывает раз в жизни.

Но сам же он заболтался часа на два, потом сели обедать, а когда, собравшись домой, он потащил с собой доктора, их предупредил приход Гордона. Этот влетел так же, как Николай Николаевич, с теми же самыми сообщениями.

Но события за это время подвинулись вперед. Имелись новые подробности. Гордон говорил об усилившейся стрельбе и убитых прохожих, случайно задетых шальной пулею. По его словам, движение в городе приостановилось. Он чудом проник к ним в переулочек, но путь назад закрылся за его спиной.

Николай Николаевич не послушался и попробовал сунуть нос на улицу, но через минуту вернулся. Он сказал, что из переулка нет выхода, по нему свистут пули, отбивая с углов кусочки кирпича и штукатурки. На улице ни души, сообщение по тротуару прервано.

В эти дни Сашеньку простудили.

— Я сто раз говорил, чтобы ребенка не подносили к топящейся печке,— сердился Юрий Андреевич.— Перегрев в сорок раз вреднее выстуживания.

У Сашеньки разболелось горло и появился сильный жар. Его отличительным свойством был сверхъестественный, мистический страх перед тошнотой и рвотой, приближение которых ему ежеминутно мерещилось.

Он отталкивал руку Юрия Андреевича с ларингоскопом, не давал ввести его в горло, закрывал рот, кричал и давился. Никакие угрозы и угрозы не действовали. Вдруг по неосторожности Сашенька широко и сладко зевнул, и этим воспользовался доктор, чтобы молниеносным движением сунуть сыну в рот ложечку, придержать его язык и успеть разглядеть малиновую гортань Сашеньки и его осыпанные налетами опухшие миндалины. Их вид встревожил Юрия Андреевича.

Немного погодя, путем таких же манипуляций, доктору удалось снять у Сашеньки мазок. У Александра Александровича был свой микроскоп. Юрий Андреевич взял его и с грехом пополам сам произвел исследование. По счастью, это не был дифтерит.

Но на третью ночь у Сашеньки сделался припадок ложного крупа. Он горел и задыхался. Юрий Андреевич не мог смотреть на бедного ребенка, бессильный избавить его от страданий. Антонине Александровне казалось, что мальчик умирает. Его брали на руки, носили по комнате, и ему становилось легче.

Надо было достать молока, минеральной воды или соды для его отпаиванья. Но это был разгар уличных боев. Пальба, также и оружейная, ни на минуту не прекращалась. Если бы даже Юрий Андреевич с опасностью для жизни отважился пробраться за пределы простреливаемой полосы, он и за чертою огня не встретил бы жизни, которая замерла во всем городе, пока положение не определится окончательно.

Но оно было уже ясно. Отовсюду доходили слухи, что рабочие берут перевес. Бились еще отдельные кучки юнкеров, разобщенные между собой и потерявшие связь со своим командованием.

Район Сивцева входил в круг действий солдатских частей, наседавших на центр с Дорогомилова. Солдаты германской войны и рабочие подростки, сидевшие в окопе, вырытом в переулке, уже знали население окрестных домов и по-соседски перешучивались с их жителями, выглядывавшими из ворот или выходящими на улицу. Движение в этой части города восстанавливалось.

Тогда ушли из своего трехдневного плена Гордон и Николай Николаевич, застрявшие у Живаго на трое суток. Юрий Андреевич был рад их присутствию в трудные дни Сашенькиной болезни, а Антонина Александровна прощала им ту бестолочь, которую вносили они в придачу к общему беспорядку. Но в благодарность за гостеприимство оба считали долгом занимать хозяев немолкаемыми разговорами, и Юрий Андреевич так устал от троесуточного переливания из пустого в порожнее, что был счастлив расстаться с ними.

## 8

Были сведения, что они добрались домой благополучно, хотя именно при этой проверке оказалось, что толки об общем замирении преждевременны. В разных местах военные действия еще продолжались, через некоторые районы нельзя было пройти, и доктор все не мог пока попасть к себе в больницу, по которой успел соскучиться и где в ящике стола в ординаторской лежали его «Игра» и ученые записи.

Лишь внутри отдельных околотков люди выходили по утрам на небольшое расстояние от дома за хлебом, останавливали встречных,

несших молоко в бутылках, и толпой расспрашивали, где они его достали.

Иногда возобновлялась перестрелка по всему городу, снова разгоня публику. Все догадывались, что между сторонами идут какие-то переговоры, успешный или неуспешный ход которых отражается на усилении или ослаблении шрапнельной стрельбы.

Как-то в конце старого октября, часов в десять вечера Юрий Андреевич быстро шел по улице, направляясь без особой надобности к одному близко жившему сослуживцу. Места эти, обычно бойкие, были малолюдны. Встречных почти не попадалось.

Юрий Андреевич шел быстро. Порошил первый реденький снежок с сильным и все усиливающимся ветром, который на глазах у Юрия Андреевича превращался в снежную бурю.

Юрий Андреевич загибал из одного переулка в другой и уже утерял счет сделанным поворотам, как вдруг снег повалил густо-густо и стала разыгрываться метель, та метель, которая в открытом поле с визгом стелется по земле, а в городе мечется в тесном тупике, как заблудившаяся.

Что-то сходное творилось в нравственном мире и в физическом, вблизи и вдали, на земле и в воздухе. Где-то, островками, раздавались последние залпы сломленного сопротивления. Где-то на горизонте пузырями вскакивали и лопались слабые зарева залитых пожаров. И такие же кольца и воронки гнала и завивала метель, дымясь под ногами у Юрия Андреевича на мокрых мостовых и панелях.

На одном из перекрестков с криком «Последние известия!» его обогнал пробегавший мимо мальчишка газетчик с большой кипой свежееотпечатанных оттисков под мышкой.

— Не надо сдачи, — сказал доктор. Мальчик еле отделил прилипший к кипе сырой листок, сунул его доктору в руки и канул в метель так же мгновенно, как из нее вынырнул.

Доктор подошел к горевшему в двух шагах от него уличному фонарю, чтобы тут же, не откладывая, пробежать главное.

Экстренный выпуск, покрытый печатью только с одной стороны, содержал правительственное сообщение из Петербурга об образовании Совета Народных Комиссаров, установлении в России советской власти и введении в ней диктатуры пролетариата. Далее следовали первые декреты новой власти и публиковались разные сведения, переданные по телеграфу и телефону.

Метель хлестала в глаза доктору и покрывала печатные строчки газеты серой и шуршащей снежной крупой. Но не это мешало его чтению. Величие и вековечность минуты потрясли его и не давали опомниться.

Чтобы все же дочитать сообщения, он стал смотреть по сторонам в поисках какого-нибудь освещенного места, защищенного от снега. Оказалось, что он опять очутился на своем заколдованном перекрестке и стоит на углу Серебряного и Молчановки, у подъезда высокого пятиэтажного дома со стеклянным входом и просторным, освещенным электричеством, парадным.

Доктор вошел в него и в глубине сеней под электрической лампочкой углубился в телеграммы.

Наверху над его головой послышались шаги. Кто-то спускался по лестнице, часто останавливаясь, словно в какой-то нерешительности. Действительно, спускавшийся вдруг раздумал, повернул назад и взбежал наверх. Где-то отворили дверь, и волною разлились два голоса, обесформленные гулкостью до того, что нельзя было сказать, какие они, мужские или женские. После этого хлопнула дверь, и ранее спускавшийся стал сбегать вниз гораздо решительнее.

Глаза Юрия Андреевича, с головой ушедшего в чтение, были опущены в газету. Он не собирался подымать их и разглядывать по-



стороннего. Но, добежав донизу, тот с разбега остановился. Юрий Андреевич поднял голову и посмотрел на спустившегося.

Перед ним стоял подросток лет восемнадцати в негнущейся оленьей дохе, мехом наружу, как носят в Сибири, и такой же меховой шапке. У мальчика было смуглое лицо с узкими киргизскими глазами. Было в этом лице что-то аристократическое, та беглая искорка, та прячущаяся тонкость, которая кажется занесенной изда-лека и бьет у людей со сложной, смешанной кровью.

Мальчик находился в явном заблуждении, принимая Юрия Андреевича за кого-то другого. Он с дичливою растерянностью смотрел на доктора, как бы зная, кто он, и только не решаясь заговорить. Чтобы положить конец недоразумению, Юрий Андреевич смерил его взглядом и обдал холодом, отбивающим охоту к сближению.

Мальчик смешался и, не сказав ни слова, направился к выходу. Здесь, оглянувшись еще раз, он отворил тяжелую, расшатанную дверь и, с лязгом ее захлопнув, вышел на улицу.

Минут через десять последовал за ним и Юрий Андреевич. Он забыл о мальчике и о сослуживце, к которому собирался. Он был полон прочитанного и направился домой. По пути другое обстоятельство, бытовая мелочь, в те дни имевшая безмерное значение, привлекла и поглотила его внимание.

Немного не доходя до своего дома, он в темноте наткнулся на огромную кучу досок и бревен, сваленную поперек дороги на тротуаре у края мостовой. Тут в переулке было какое-то учреждение, которому, вероятно, привезли казенное топливо в виде какого-то разобранныго на окраине бревенчатого дома. Бревна не умещались во дворе и загромождали прилежавшую часть улицы. Эту гору стерег часовой с ружьем, ходивший по двору и от времени до времени выходявший в переулок.

Юрий Андреевич, не задумываясь, улучил минуту, когда часовой завернул во двор, а налетевший вихрь закрутил в воздухе особенно густую тучу снежинок. Он зашел к куче балок с той стороны, где была тень и куда не падал свет фонаря, и медленным раскачиванием высвободил лежавшую с самого низа тяжелую колоду. С трудом вытащив ее из-под кучи и взвалив на плечо, он перестал чувствовать ее тяжесть (своя ноша не тянет) и украдкой вдоль затененных стен притащил к себе в Сивцев.

Это было кстати, дома кончались дрова. Колоду распилили и накололи из нее гору мелких чурок. Юрий Андреевич присел на корточки растапливать печь. Он молча сидел перед вздрагивавшей и дребезжавшей дверцей. Александр Александрович подкатил к печке кресло и подсел греться. Юрий Андреевич вытащил из бокового кармана пиджака газету и протянул тестю со словами:

— Видали? Полюбуйтесь. Прочтите.

Не вставая с корточек и ворочая дрова в печке маленькой кочерёжкой, Юрий Андреевич громко разговаривал с собой.

— Какая великолепная хирургия! Взять и разом артистически вырезать старые вонючие язвы! Простой, без обиняков, приговор вековой несправедливости, привыкшей, чтобы ей кланялись, расшаркивались перед ней и приседали.

В том, что это так без страха доведено до конца, есть что-то национально-близкое, издавна знакомое. Что-то от безоговорочной светонности Пушкина, от невияющей верности фактам Толстого.

— Пушкина? Что ты сказал? Погоди. Сейчас я кончу. Не могу же я сразу и читать и слушать,— прерывал зятя Александр Александрович, ошибочно относя к себе монолог, произносимый Юрием Андреевичем себе под нос.

— Главное, что гениально? Если бы кому-нибудь задали задачу создать новый мир, начать новое летоисчисление, он бы обязательно нуждался в том, чтобы ему сперва очистили соответствующее место.

Он бы ждал, чтобы сначала кончились старые века, прежде чем он приступит к постройке новых, ему нужно было бы круглое число, красная строка, неисписанная страница.

А тут, нате пожалуйста. Это небывалое, это чудо истории, это откровение ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщины, без внимания к ее ходу. Оно начато не с начала, а с середины, без наперед подобранных сроков, в первые подвернувшиеся будни, в самый разгар курсирующих по городу трамваев. Это всего гениальнее, Так неуместно и несвоевременно только самое великое.

## 9

Настала зима, какую именно предсказывали. Она еще не так пугала, как две наступившие вслед за нею, но была уже из их породы, темная, голодная и холодная, вся в ломке привычного и перестройке всех основ существования, вся в нечеловеческих усилиях уцепиться за ускользающую жизнь.

Их было три подряд, таких страшных зимы, одна за другой, и не всё, что кажется теперь происшедшим с семнадцатого на восемнадцатый год, случилось действительно тогда, а произошло, может статься, позже. Эти следовавшие друг за другом зимы слились вместе, и трудно отличимы одна от другой.

Старая жизнь и молодой порядок еще не совпадали. Между ними не было ярой вражды, как через год, во время гражданской войны, но недоставало и связи. Это были стороны, расставленные отдельно, одна против другой, и не покрывавшие друг друга.

Производили перевыборы правлений везде: в домовладениях, в организациях, на службе, в обслуживающих население учреждениях. Состав их менялся. Во все места стали назначать комиссаров с неограниченными полномочиями, людей железной воли, в черных кожаных куртках, вооруженных мерами устрашения и наганами, редко брившихся и еще реже спавших.

Они хорошо знали порождение мещанства, среднего держателя мелких государственных бумаг, пресмыкающегося обывателя, и, ничуть не щадя его, с мефистофельской усмешкой разговаривали с ним, как с пойманым воришкой.

Эти люди ворочали всем, как приказывала программа, и начинание за начинанием, объединение за объединением становились большими.

Крестовоздвиженская больница теперь называлась Второй преобразованной. В ней произошли перемены. Часть персонала уволили, а многие ушли сами, найдя, что им служить невыгодно. Это были хорошо зарабатывавшие доктора с модной практикой, баловни света, фразеры и краснобаи. Свой уход по корыстным соображениям они не преминули выдать за демонстративный, по мотивам гражданственности, и стали относиться пренебрежительно к оставшимся, чуть ли не бойкотировать их. В числе этих оставшихся, презираемых был и Живаго.

Вечерами между мужем и женою происходили такие разговоры:

— В среду не забудь в подвал общества врачей за мороженой картошкой. Там два мешка. Я выясню точно, в котором часу я освобождаюсь, чтобы помочь. Надо будет вдвоем на салазках.

— Хорошо. Успеется, Юрочка. Ты бы скорее лег. Поздно. Всех дел всё равно не переделаешь. Надо тебе отдохнуть.

— Повальная эпидемия. Общее истощение ослабляет сопротивляемость. На тебя и папу страшно смотреть. Надо что-то предпринять. Да, но что именно? Мы недостаточно бережемся. Надо быть осторожнее. Слушай. Ты не спишь?

— Нет.

— Я за себя не боюсь, я двуличный, но если бы, паче чаяния,

я свалился, не глупи, пожалуйста, и дома не оставляй. Моментально в больницу.

— Что ты, Юрочка! Господь с тобой. Зачем каркать раньше времени?

— Помни, больше нет ни честных, ни друзей. Ни тем более знающих. Если бы что-нибудь случилось, доверяй только Пичужкину. Разумеется, если сам он уцелеет. Ты не спишь?

— Нет.

— Сами, черти, ушли на лучший паек, а теперь, оказывается, это были гражданские чувства, принципиальность. Встречают, едва руку подают. «Вы у них служите?» И подымают брови. «Служу,— говорю,— и прошу не прогневаться: нашими лишениями я горжусь, и людей, которые делают нам честь, подвергая нас этим лишениям, уважаю».

## 10

На долгий период постоянной пищей большинства стало пшено на воде и уха из селедочных головок. Туловище селедки в жареном виде шло на второе. Питались немолотою рожью и пшеницей в зерне. Из них варили кашу.

Знакомая профессорша учила Антонину Александровну печь заварной хлеб на поду комнатной голландки, частью на продажу, чтобы припеком и выручкой оправдать пользование кафельной печью, как в старые годы. Это позволило бы отказаться от мучительницы времянки, которая дымилась, плохо грела и совсем не держала тепла.

Хлеб хорошо выпекался у Антонины Александровны, но из ее торговли ничего не вышло. Пришлось пожертвовать несбыточными планами и опять ввести в действие отставленную печурку. Живаго бедствовали.

Однажды утром Юрий Андреевич по обыкновению ушел по делам. Дров в доме оставалось два полена. Надевши шубку, в которой она зябла от слабости даже в теплую погоду, Антонина Александровна вышла «на добычу».

Она с полчаса пробродила по ближайшим переулкам, куда иногда заворачивали мужички с овощами и картошкой из пригородных деревень. Их надо было ловить. Крестьян с кладью задерживали.

Скоро она напала на цель своих розысков. Молодой здоровенный детина в армяке, шагая в сопровождении Антонины Александровны рядом с легкими, как игрушка, санями, осторожно отвел их за угол во двор к Громекам.

В лубяном кузове саней под рогожей лежала небольшая кучка березового кругляку, не толще старомодных усадебных перилец на фотографиях прошлого века. Антонина Александровна знала им цену,— одно званье, что береза, а то сырье худшего сорта, свежей резки, непригодное для топки. Но выбора не было, рассуждать не приходилось.

Молодой крестьянин в пять-шесть приемов снес ей дровишки на жилой верх, а в обмен на них поволок на себе вниз и уложил в сани малый зеркальный шкаф Антонины Александровны, в подарок своей молодой. Мимоходом, договариваясь на будущее время о картошке, он прицелился к стоявшему у дверей пианино.

Вернувшись, Юрий Андреевич не стал обсуждать жениной покупки. Разрубить отданный шкаф на щепки было выгодней и целесообразней, но у них рука не поднялась бы на это.

— Ты видел записку на столе? — спросила жена.

— От заведующего больницей? Мне говорили, я знаю. Это приглашение к больной. Непременно пойду. Вот отдохну немного и пойду. Но порядочная даль. Где-то у Триумфальных ворот. У меня записан адрес.

— Странный гонорар предлагают. Ты видел? Ты все-таки прочти. Бутылку германского коньяку или пару дамских чулок за визит. Чем заманивают. Кто это может быть? Какой-то дурной тон и полное неведение о нашей современной жизни. Нувориши какие-нибудь.

— Да, это к заготовщику.

Таким именем, вместе с концессионерами и уполномоченными, назывались мелкие частные предприниматели, которым государственная власть, уничтожив частную торговлю, делала в моменты хозяйственных обострений маленькие послабления, заключая с ними договоры и сделки на разные поставки.

В их число уже не попадали сваленные главы старых фирм, собственники крупного почина. От полученного удара они уже не оправлялись. В эту категорию шли дельцы однодневки, поднятые со дна войной и революцией, новые и пришлые люди без корня.

Выпив забеленного молоком кипятку с сахарином, доктор направился к больной.

Трогуары и мостовые были погребены под глубоким снегом, покрывавшим улицы от одного ряда домов до другого. Снежный покров местами доходил до окон первых этажей. Во всю ширину этого пространства двигались молчаливые полуживые тени, тащившие на себе или везшие на салазках какое-нибудь тощее продовольствие. Едущих почти не попадалось.

На домах кое-где еще оставались прежние вывески. Размещенные под ними без соответствия с их содержанием потребиловки и кооперативы стояли запертые, с окнами под решеткою, или заколоченные, и пустовали.

Они были заперты и пустовали не только вследствие отсутствия товаров, но также оттого, что переустройство всех сторон жизни, охватившее и торговлю, совершалось еще в самых общих чертах и этих заколоченных лавок, как мелких частных, еще не коснулось.

## 11

Дом, куда был приглашен доктор, оказался в конце Брестской, близ Тверской заставы.

Это было кирпичное казарменное здание допотопной стройки, с двором внутри и деревянными галереями, шедшими в три яруса вдоль задних надворных стен строения.

У жильцов происходило ранее назначенное общее собрание при участии представителей из райсовета, как вдруг в дом явилась с обходом военная комиссия, проверявшая разрешения на хранение оружия и изымавшая неразрешенное. Руководивший обходом начальник просил делегатку не удаляться, уверив, что обыск не займет много времени, освобожденные квартиранты постепенно сойдутся, и прерванное заседание можно будет скоро возобновить.

Обход приближался к концу и на очереди была как раз та квартира, куда ждали доктора, когда он подошел к воротам дома. Солдат с винтовкой на веревочке, который стоял на часах у одной из лестниц, ведших на галереи, наотрез отказался пропустить Юрия Андреевича, но в их спор вмешался начальник отряда. Он не велел чинить препятствий доктору и согласился подождать с обыском квартиры, пока он осмотрит больную.

Доктора встретил хозяин квартиры, вежливый молодой человек с матовым смуглым лицом и темными меланхолическими глазами. Он был взволнован многими обстоятельствами: болезнью жены, нависавшим обыском и сверхъестественным уважением, которое он питал к медицине и ее представителям.

Чтобы сократить доктору труд и время, хозяин старался говорить как можно короче, но именно эта торопливость делала его речь длинной и сбивчивой.

Квартира со смесью роскоши и дешевки обставлена была вещами, наспех скупленными с целью помещения денег во что-нибудь устойчивое. Мебель из расстроенных гарнитуров дополняли единичные предметы, которым до полноты комплекта не доставало парных.

Хозяин квартиры считал, что у его жены какая-то болезнь нервов от перепуга. Со многими не идущими к делу околичностями он рассказал, что им продали за бесценок старинные испорченные куранты с музыкой, давно уже не шедшие. Они купили их только как достопримечательность часового мастерства, как редкость (муж большой повел доктор в соседнюю комнату показывать их). Сомневались даже, можно ли их починить. И вдруг часы, годами не знавшие завода, пошли сами собой, пошли, вызволили на колокольчиках свой сложный менуэт и остановились. Жена пришла в ужас, рассказывал молодой человек, решив, что это пробил ее последний час, и вот теперь лежит, бредит, не ест, не пьет, не узнает его.

— Так вы думаете, что это нервное потрясение? — с сомнением в голосе спросил Юрий Андреевич. — Проводите меня к больной.

Они вошли в соседнюю комнату с фарфоровой люстрой и двумя тумбочками красного дерева по бокам широкой двуспальной кровати. На ее краю, натянув одеяло выше подбородка, лежала маленькая женщина с большими черными глазами. При виде вошедших она погнала их прочь взмахом выпростанной из-под одеяла руки, с которой соскользнул к подмышке широкий рукав халата. Она не узнавала мужа и, словно никого не было в комнате, тихим голосом запела начало какой-то грустной песенки, которая так ее разжалобила, что она расплакалась и, всхлипывая по-детски, стала проситься куда-то домой. С какого бока ни заходил к ней доктор, она противилась осмотру, каждый раз поворачиваясь к нему спиной.

— Надо бы посмотреть ее, — сказал Юрий Андреевич. — Но всё равно, мне и так ясно. Это сыпняк, и притом в довольно тяжелой форме. Она порядком мучится, бедняжка. Я бы советовал поместить ее в больницу. Дело не в удобствах, которые вы ей предоставите, а в постоянном врачебном присмотре, который необходим в первые недели болезни. Можете ли вы обеспечить что-нибудь перевозочное, раздобыть извозчика, или в крайнем случае ломовые дровни, чтобы отвезти больную, разумеется, предварительно хорошо закутав? Я вам выпишу направление.

— Могу. Постараюсь. Но погодите. Неужели правда это тиф? Какой ужас!

— К сожалению.

— Я боюсь потерять ее, если отпущу от себя. Вы никак не могли бы лечить ее дома, по возможности участвуя посещения? Я предложил бы вам какое угодно вознаграждение.

— Я ведь объяснил вам. Важно непрерывное наблюдение за ней. Послушайте. Я даю вам хороший совет. Хоть из-под земли достаньте извозчика, а я составлю ей препроводительную записку. Лучше всего сделать это в вашем домовом комитете. Под направлением требуется печать дома и еще кое-какие формальности.

Прошедшие опрос и обыск жильцы один за другим возвращались в теплых платках и шубах в неотапливаемое помещение бывшего яичного склада, теперь занятое домкомом.

В одном конце комнаты стоял конторский стол и несколько стульев, которых, однако, было недостаточно, чтобы рассадить столько народу. Поэтому в придачу к ним кругом поставлены были наподобие скамей длинные, перевернутые вверх дном пустые ящики из-под яиц. Гора таких ящиков до потолка громоздилась в противоположном конце помещения. Там в углу были кучей сметены к стене промерз-

шие стружки, склеенные в комки вытекшей из битых яиц сердцевиной. В этой куче с шумом возились крысы, иногда выбегая на свободное пространство каменного пола и снова скрываясь в стружках.

Каждый раз при этом на один из ящиков с визгом вскакивала крикливая и заплывшая жиром жилища. Она подбирала уголок подола кокетливо оттопыренными пальчиками, дробно топотала ногами в модных дамских ботинках с высокими голенищами и намеренно хрипло, под пьяную, кричала:

— Олька, Олька, у тебя тут крысы бегают. У, пошла, поганая! Ай-ай-ай, понимает, сволочь! Обозлилась. Аяяй, по ящику ползет! Как бы под юбку не залезла. Ой боюсь, ой боюсь! Отвернитесь, господа мужчины. Виновата, я забыла, что теперь не мужчины, а товарищи граждане.

На шумевшей бабе был расстегнутый каракулевый сак. Под ним в три слоя зыбким киселем колыхались ее двойной подбородок, пышный бюст и обтянутый шелковым платьем живот. Видно, когда-то она слыла львицею среди третьеразрядных купцов и купеческих приказчиков. Щелки ее свиных глазок с припухшими веками едва открывались. Какая-то соперница замахнулась на нее в незапамятные времена склянкой с кислотой, но промазала, и только два-три брызга протравили на левой щеке и в левом углу рта два легких следа, по малозаметности почти обольстительных.

— Не ори, Храпугина. Просто работать нет возможности,— говорила женщина за столом, представительница райсовета, выбранная на собрании председательницей.

Ее еще с давних времен хорошо знали старожилы дома, и она сама хорошо их знала. Она перед началом собрания неофициально вполголоса беседовала с теткой Фатимой, старой дворничихой дома, когда-то с мужем и детьми ютившейся в грязном подвале, а теперь переселенной вдвоем с дочерью на второй этаж в две светлых комнаты.

— Ну так как же, Фатима? — спрашивала председательница.

Фатима жаловалась, что она одна не справляется с таким большим и многолюдным домом, а помощи ниоткуда, потому что разложенной на квартиры повинности по уборке двора и улицы никто не соблюдает.

— Не тужи, Фатима, мы им рога обломаем, будь покойна. Что это за комитет? Мыслимое ли дело? Уголовный элемент скрывается, сомнительная нравственность живет без прописки. Мы этим по шапке, а выберем другой. Я тебя в оправдомши проведу, ты только не брыкайся.

Дворничиха взмолилась, чтобы председательница этого не делала, но та и не стала слушать. Она окинула взглядом комнату, нашла, что народу набралось достаточно, потребовала установить тишину и коротким вводным словом открыла собрание. Осудив бездеятельность прежнего домового комитета, она предложила наметить кандидатов для переывбора нового и перешла к другим вопросам. Покончив с этим, она, между прочим, сказала:

— Так вот как, стало быть, товарищи. Будем говорить начистоту. Ваше здание поместительное, подходящее для общежития. Бывает, делегаты съезжаются на совещания, некуда рассовать людей. Есть решение взять здание в распоряжение райсовета под дом для приезжающих и присвоить ему имя товарища Тиверзина, как проживавшего в данном доме до ссылки, факт общеизвестный. Возражений не имеется? Теперь к порядку очищения дома. Эта мера нескорая, у вас еще год времени. Трудовое население будем переселять с предоставлением площади, нетрудовое предупреждаем, чтоб подыскали сами, и даем двенадцать месяцев срока.

— А кто у нас нетрудовой? У нас нет нетрудовых! Все трудовые,— закричали отовсюду, и один голос надрывался: — Это велико-

державный шовинизм! Все национальности теперь равны. Я знаю, на что вы намекаете!

— Не все сразу! Просто не знаю, кому отвечать. Какие национальности? При чем тут национальность, гражданин Валдыркин? Например, Храпугина совсем не национальность, а тоже выселим.

— Высели! Посмотрим, как ты меня выселишь. Продавленная кушетка! Десять должностей! — выкрикивала Храпугина бессмысленные прозвища, которые она давала делегатке в разгаре спора.

— Какая змея! Какая шайтанка! Стыда в тебе нет! — возмущалась дворничиха.

— Не связывайся, Фатима. Сама за себя постою. Перестань, Храпугина. Тебе дай повадку, так ты на шею сядешь! Замолчи, говорю, а то немедленно сдам тебя органам, не дожидаясь, когда тебя на самогоне накроют и за содержание притона.

Шум достиг предела. Никому не давали говорить. В это время на склад вошел доктор. Он попросил первого попавшегося у двери указать кого-нибудь из домового комитета. Тот сложил руки рупором и, перекрывая шум и гам, по слогам прокричал:

— Га-ли-уль-ли-на! Поди сюда. Тут спрашивают.

Доктор ушам своим не поверил. Подошла худая, чуть сторбленная женщина, дворничиха. Доктора поразило сходство матери с сыном. Но он себя еще не выдавал. Он сказал:

— У вас тут одна квартирантка тифом заболела (он назвал ее по фамилии). Требуется предосторожности, чтобы не разнести заразу. Кроме того, больную надо будет отвезти в больницу. Я ей составлю бумагу, которую домком должен будет удостоверить. Как и где это сделать?

Дворничиха поняла так, что вопрос относится к перевозке больной, а не к составлению препроводительной бумаги.

— За товарищем Деминой из райсовета пролетка придет, — сказала Галиуллина. — Товарищ Демина добрый человек, я скажу, она уступит пролетку. Не тужи, товарищ доктор, перевезем твою больную.

— О, я не о том! Я только об уголке, где можно было бы написать направление. Но если будет и пролетка... Простите, вы не мать будете поручику Галиуллину, Осипу Гимазетдиновичу? Я с ним вместе на фронте служил.

Дворничиха вздрогнула всем телом и побледнела. Схватив доктора за руку, она сказала:

— Пойдем наружу. На дворе поговорим.

Едва выйдя за порог, она быстро заговорила.

— Тише, оборони Бог услышат. Не губи меня. Юсупка плохой дорожка пошел. Ты сам посуди, Юсупка кто? Юсупка из учеников, мастеровой. Юсуп должен понимать, простой народ теперь много лучше стало, это слепому видно, какой может быть разговор. Я не знаю, как ты думаешь, тебе, может, можно, а Юсупке грех, Бог не простит. Юсупа отец в солдатах пропал, убили, да как, ни лица не оставили, ни рук, ни ног.

Она была не в силах говорить дальше и, махнув рукой, стала ждать, пока уймется волнение. Потом продолжала:

— Пойдем. Я тебе сейчас пролетку справлю. Я знаю, кто ты. Он тут был два дня, сказывал. Ты, говорит, Лару Гишарову знаешь. Хорошая была девушка. Сюда к нам ходила, помню. А теперь какая будет, кто вас знает. Разве можно, чтобы господа против господ пошли? А Юсупке грех. Пойдем, пролетку выпросим. Товарищ Демина даст. А товарищ Демина знаешь кто? Оля Демина, у Лары Гишаровой мамаша в мастерицах служила. Вот кто. И тоже отсюда. С этого двора. Пойдем.

Уже совсем стемнело. Кругом была ночь. Только белый кружок света из карманного фонарика Деминой шагах в пяти перед ними скакал с сугроба на сугроб и больше сбивал с толку, чем освещал идущим дорогу. Кругом была ночь, и дом остался позади, где столько людей знало ее, где она бывала девочкой, где, по рассказам, мальчиком воспитывался ее будущий муж, Антипов.

Демина покровительственно-шутливо обращалась к нему:

— Вы правда дальше без фонарика дойдете? А? А то бы я дала, товарищ доктор. Да. Я когда-то не на шутку в нее врезамшись была, любила без памяти, когда девочками мы были. У них швейное заведение было, мастерская. Я у них в ученицах жила. Нынешний год видались с ней. Проезжала. Проездом в Москве была. Я ей говорю, куда ты, дура? Оставалась бы. Вместе бы жили, нашлась бы тебе работа. Куда там! Не хочет. Ее дело. Головой она за Пашку вышла, а не сердцем, с тех пор и шала. Уехала.

— Что вы о ней думаете?

— Осторожно. Скользко тут. Сколько раз говорила, чтобы не выливали помоев перед дверью,— как об стену горох. Что о ней думаю? Как это думаю? А чего тут думать. Некогда. Вот тут я живу. Я от нее скрыла, брата ее, военного, похоже, расстреляли. А мать ее, прежнюю мою хозяйку, я наверно выручу, хлопочу за нее. Ну, мне сюда, до свидания.

И вот они расстались. Свет Деминского фонарика ткнулся внутрь узкой каменной лестницы и побежал вперед, освещая испачканные стены грязного подъема, а доктора обступила тьма. Направо легла Садовая-Триумфальная, налево Садовая-Каретная. В черной дали на черном снегу это уже были не улицы в обычном смысле слова, а как бы две лесные просеки в густой тайге тянущихся каменных зданий, как в непроходимых дебрях Урала или Сибири.

Дома были свет, тепло.

— Что так поздно?— спросила Антонина Александровна и, не дав ему ответить, продолжала:

— А тут без тебя курьез произошел. Необъяснимая странность. Я забыла тебе сказать. Вчера папа будильник сломал и был в отчаянии. Последние часы в доме. Стал чинить, ковырял, ковырял, ничего не выходит. Часовщик на углу три фунта хлеба запросил, неслыханная цена. Что тут делать? Папа совсем голову повесил. И вдруг, представь, час тому назад пронзительный, оглушительный звон. Будильник! Взял, понимаешь, и пошел!

— Это мой тифозный час пробил,— пошутил Юрий Андреевич и рассказал родным про больную с курантами.

Но тифом он заболел гораздо позднее. В промежутке бедствия семьи Живаго достигли крайности. Они нуждались и погибали. Юрий Андреевич разыскал спасенного однажды партийца, жертву ограбления. Тот делал, что мог для доктора. Однако началась гражданская война. Его покровитель все время был в разъездах. Кроме того, в согласии со своими убеждениями этот человек считал тогдашние трудности естественными и скрывал, что сам голодает.

Пробовал Юрий Андреевич обратиться к заготовщику близ Тверской заставы. Но за истекшие месяцы того и след простыл, и о его выздоровевшей жене тоже не было ни слуху, ни духу. Состав жильцов в доме переменялся. Демина была на фронте, управляющей Галиуллиной Юрий Андреевич не застал.

Однажды он по ордеру получил по казенной цене дрова, которые надо было вывезти с Виндавского вокзала. По бесконечной Ме-



щанской он конвоировал возчика и клячу, тащившую это неожиданное богатство. Вдруг доктор заметил, что Мещанская немного перестает быть Мещанской, что его шатает и ноги не держат его. Он понял, что он готов, дело дрянь, и это — тиф. Возчик подобрал упавшего. Доктор не помнил, как его довели до дому, кое-как примостивши на дровах.

## 15

У него был бред две недели с перерывами. Ему грезилось, что на его письменный стол Тоня поставила две Садовые, слева Садовую Каретную, а справа Садовую Триумфальную и придвинула близко к ним его настольную лампу, жаркую, вникающую, оранжевую. На улицах стало светло. Можно работать. И вот он пишет.

Он пишет с жаром и необыкновенной удачей то, что он всегда хотел и должен был давно написать, но никогда не мог, а вот теперь оно выходит. И только иногда мешают один мальчик с узкими киргизскими глазами в распахнутой оленьей дохе, какие носят в Сибири или на Урале.

Совершенно ясно, что мальчик этот — дух его смерти или, скажем просто, его смерть. Но как же может он быть его смертью, когда он помогает ему писать поэму, разве может быть польза от смерти, разве может быть в помощь смерть?

Он пишет поэму не о воскресении и не о положении во гроб, а о днях, протекших между тем и другим. Он пишет поэму «Смятение».

Он всегда хотел написать, как в течение трех дней буря черной червивой земли осаждают, штурмует бессмертное воплощение любви, бросаясь на него своими глыбами и комьями, точь-в-точь как налетают с разбега и хоронят под собою берег волны морского прибоя. Как три дня бушует, наступает и отступает черная земная буря.

И две рифмованные строчки преследовали его:

Рады коснуться

и

Надо проснуться.

Рады коснуться и ад, и распад, и разложение, и смерть, и, однако, вместе с ними рада коснуться и весна, и Магдалина, и жизнь. И — надо проснуться. Надо проснуться и встать. Надо воскреснуть.

## 16

Он стал выздоравливать. Сначала, как блаженный, он не искал между вещами связи, все допускал, ничего не помнил, ничему не удивлялся. Жена кормила его белым хлебом с маслом и пила чаем с сахаром, давала ему кофе. Он забыл, что этого не может теперь быть, и радовался вкусной пище, как поэзии и сказке, законным и полагающимся при выздоровлении. Но в первый же раз, что он стал соображать, он спросил жену:

— Откуда это у тебя?

— Да всё твой Граня.

— Какой Граня?

— Граня Живаго.

— Граня Живаго?

— Ну да, твой омский брат Евграф. Сводный брат твой. Ты без сознания лежал, он нас всё навещал.

— В оленьей дохе?

— Да, да. Ты сквозь беспамятство, значит, замечал? Он в каком-то доме на лестнице с тобой столкнулся, я знаю, он рассказывал. Он знал, что это ты, и хотел представиться, но ты на него такого страха напустил! Он тебя обожает, тобой зачитывается. Он из-под

земли такие вещи достает! Рис, изюм, сахар. Он уехал опять к себе. И нас зовет. Он такой чудной, загадочный. По-моему, у него какой-то роман с властями. Он говорит, что на год, на два надо куда-нибудь уехать из больших городов, «на земле посидеть». Я с ним советовалась насчет Крюгеровских мест. Он очень рекомендует. Чтобы можно было огород развести, и чтобы лес был под рукой. А то нельзя же погибать так покорно, по-бараньи.

В апреле того же года Живаго всей семьей выехали на далекий Урал, в бывшее имение Варыкино, близ города Юртына.

### Часть седьмая

#### В ДОРОГЕ

##### 1

Настали последние дни марта, дни первого в году тепла, ложные предвестники весны, за которыми каждый год наступает сильное похолодание.

В доме Громеко шли спешные сборы в дорогу. Перед многочисленными жильцами, которых в уплотненном доме теперь было больше, чем воробьев на улице, эти хлопоты выдавали за генеральную уборку перед Пасхой.

Юрий Андреевич был против поездки. Он не мешал приготовлениям, потому что считал затею неосуществимой и надеялся, что в решающую минуту она провалится. Но дело подвигалось вперед и близилось к завершению. Пришло время поговорить серьезно.

Он еще раз высказал жене и тестю свои сомнения на устроенном для этого семейном совете.

— Итак, вы считаете, что я не прав, и, следовательно, мы едем? — закончил он свои возражения. Слово взяла жена:

— Ты говоришь, перебраться год-другой, тем временем упорядочатся новые земельные отношения, можно будет испросить полоску под Москвой, развести огород. А как продержаться в промежутке, ты не советуешь. Между тем это самое интересное, вот что именно желательно было бы услышать.

— Абсолютный бред, — поддержал дочь Александр Александрович.

— Хорошо, я сдаюсь, — соглашался Юрий Андреевич. — Меня останапливает только полная неизвестность. Мы пускаемся, зажмурив глаза, неведомо куда, не имея о месте ни малейшего представления. Из трех человек, живших в Варыкине, двух, мамы и бабушки, нет в живых, а третий, дедушка Крюгер, если он только и жив, в заложниках и за решеткой.

В последний год войны он что-то проделал с лесами и заводом, для видимости продал какому-то подставному лицу или банку или на кого-то условно переписал. Что мы знаем об этой сделке? Чьи это теперь земли, не в смысле собственности, пропади она пропадом, а кто за них отвечает? За каким они ведомством? Рубят ли лес? Работают ли заводы? Наконец, какая там власть, и какая будет, пока мы туда доберемся?

Для вас якорь спасения в Микулицыне, имя которого вы так любите повторять. Но кто вам сказал, что этот старый управляющий жив и по-прежнему в Варыкине? Да и что мы знаем о нем, кроме того, что дедушка с трудом выговаривал эту фамилию, отчего мы ее и запомнили?

Однако к чему спорить? Вы решили ехать. Я присоединяюсь. На до выяснить, как это теперь делают. Нечего откладывать.

## 2

Для того чтобы об этом справиться, Юрий Андреевич пошел на Ярославский вокзал.

Поток уезжающих сдерживали мостки с перилами, протянутые через залы, на каменных полах которых лежали люди в серых шинелях, ворочались с боку на бок, кашляли и сплевывали, а когда заговаривали друг с другом, то каждый раз несоответственно громко, не рассчитавши силы, с какой отдавались голоса под гулкими сводами.

В большинстве это были больные, перенесшие сыпной тиф. В виду переполнения больниц, их выписывали на другой день после кризиса. Как врач, Юрий Андреевич сам сталкивался с такой необходимостью, но он не знал, что этих несчастных так много и что приютом им служат вокзалы.

— Добывайте командировку,— говорил ему носильщик в белом фартуке.— Надо каждый день наведываться. Поезда теперь редкость, дело случая. И само собой разумеется... (носильщик потер большой палец о два соседних)... Мучицы там или чего-нибудь. Не подмажешь — не поедешь. Ну а это самое... (он щелкнул себя по горлу)... совсем святое дело.

## 3

Около этого времени Александра Александровича пригласили на несколько разовых консультаций в Высший Совет Народного Хозяйства, а Юрия Андреевича — к тяжело заболевшему члену правительства. Обоим выдали вознаграждение в наилучшей по тому времени форме — ордерами в первый учрежденный тогда закрытый распределитель.

Он помещался в каких-то гарнизонных складах у Симонова монастыря. Доктор с тестем пересекли два проходных двора, церковный и казарменный и прямо с земли, без порога, вошли под каменные своды глубокого, постепенно понижавшегося подвала. Расширяющийся конец его был перегорожен длинной поперечной стойкой, у которой, изредка отлучаясь в кладовую за товаром, развешивал и отпускал продовольствие спокойный неторопливый кладовщик, по мере выдачи вычеркивая широким взмахом карандаша выданное из списка.

Получающих было немного.

— Вашу тару,— сказал кладовщик профессору и доктору, беглым взглядом окинув их накладные. У обоих глаза вылезли на лоб, когда в подставленные чехлы от дамских подушечек, называемых думками, и более крупные наволочки им стали сыпать муку, крупу, макароны и сахар, насовали сала, мыла и спичек и положили каждому еще по куску чего-то завернутого в бумагу, что потом, дома, оказалось кавказским сыром.

Зять и тесть торопились увязать множество своих мелких узелков в два больших заплечных мешка как можно скорее, чтобы своей неблагодарной возней не мозолить глаза кладовщику, который подавил их своим великодушием.

Они поднялись из подвала на воздух пьяные не от животной радости, а от сознания того, что и они не зря живут на свете и, не коптя даром неба, заслужат дома, у молодой хозяйки Тони, похвалу и признание.

## 4

Тем временем как мужчины пропадали по учреждениям, выхлопывая командировки и закрепительные бумаги на оставляемые комнаты, Антонина Александровна занималась отбором вещей для упаковки.

Она озабоченно похаживала по трем комнатам, числившимся теперь в доме за семьей Громеко, и без конца взвешивала на руке каждую мелочь, перед тем как отложить ее в общую кучу вещей, подлежащих укладке.

Только незначительная часть добра шла в личный багаж едущих, остальное предназначалось в запас меновых средств, нужных в дороге и по прибытии на место.

В растворенную форточку тянуло весенним воздухом, отзывавшимся свеженадушенной французской булкой. На дворе пели пелухи и раздавались голоса играющих детей. Чем больше проветривали комнату, тем яснее становился в ней запах нафталина, которым пахла вынутая из сундуков зимняя рухлядь.

Насчет того, что следует брать с собой, и от чего воздерживаться, существовала целая теория, разработанная ранее уехавшими, наблюдения которых распространялись в кругу их оставшихся знакомых.

Эти наставления, отлившиеся в краткие, непререкаемые указания, с такой отчетливостью стояли в голове у Антонины Александровны, что она воображала, будто слышит их со двора вместе с чириканьем воробьев и шумом играющей детворы, словно их подсказывал ей с улицы какой-то тайный голос.

«Ткани, ткани, — гласили эти соображения, — лучше всего в отрезе, но по дороге досматривают, и это опасно. Благоразумнее в кусках, для вида сшитых на живуху. Вообще материи, мануфактуру, можно одежду, предпочтительно верхнюю, не очень ношенную. Поменьше хламу, никаких тяжестей. При частой надобности перетаскивать все на себе, забыть о корзинах и чемоданах. Немного, сто раз просмотренное, увязывать в узлы, посыльные женщине и ребенку. Целесообразны соль и табак, как показала практика, при значительном, однако, риске. Деньги в керенках. Самое трудное — документы». И так далее, и так далее.

## 5

Накануне отъезда поднялась снежная буря. Ветер взметал вверх к поднебесью серые тучи вертящихся снежинок, которые белым вихрем возвращались на землю, улетали в глубину темной улицы и устилали ее белой пеленою.

Все в доме было уложено. Надзор за комнатами и остающимся в них имуществом поручили пожилой супружеской чете, московским родственникам Егоровны, с которыми Антонина Александровна познакомилась истекшею зимою, когда она через них пристраивала для сбыта старье, тряпки и ненужную мебель в обмен на дрова и картошку.

На Маркела нельзя было положиться. В милиции, которую он избрал себе в качестве политического клуба, он не жаловался, что бывшие домовладельцы Громеко пьют его кровь, но задним числом упрекал их в том, что все прошедшие годы они держали его в темноте неведения, намеренно скрывая от него происхождение мира от обезьяны.

Эту пару, родню Егоровны, бывшего торгового служащего и его жену, Антонина Александровна в последний раз водила по комнатам, показывала, какие ключи к каким замкам и куда что положено, отпирала и запирала вместе с ними дверцы шкапов, выдвигала и вдвигала ящики, всему их учила и все объясняла.

Столы и стулья в комнатах были сдвинуты к стенам, дорожные узлы оттащены в сторону, со всех окон сняты занавески. Снежная буря беспрепятственнее, чем в обрамлении зимнего уюта, заглядывала в опустелые комнаты сквозь оголенные окна. Каждому она что-нибудь напоминала. Юрию Андреевичу — детство и смерть матери, Антонине Александровне и Александру Александровичу — кончину

и похороны Анны Ивановны. Всё им казалось, что это их последняя ночь в доме, которого они больше не увидят. В этом отношении они ошибались, но под влиянием заблуждения, которого они не поверяли друг другу, чтобы друг друга не огорчать, каждый про себя пересматривал жизнь, протекшую под этим кровом, и боролся с навстречавшимися на глаза слезами.

Это не мешало Антонине Александровне соблюдать перед посторонними светские приличия. Она поддерживала несмолкаемую беседу с женщиной, надзору которой всё поручала. Антонина Александровна преувеличивала значение оказываемой ей услуги. Чтобы не платить за одолжение черной неблагодарностью, она каждую минуту с извинениями отлучалась в соседнюю комнату, откуда тащила этой особе в подарок то какой-нибудь платок, то блузку, то кусок ситцу или полушифона. И все материи были темные в белую клетку или горошком, как в белую крапинку была темная снежная улица, смотревшая в этот прощальный вечер в незанавешенные голые окна.

## 6

На вокзал уходили рано на рассвете. Население дома в этот час еще не подымалось. Жилища Зевороткина, обычная застрельщица всяких дружных действий миром и навалом, обежала спящих квартирантов, стуча в двери и крича:

— Внимание, товарищи! Прощаться! Веселее, веселее! Бывшие Гарумековы уходят.

Прощаться высыпали в сени и на крыльцо черной лестницы (парадное стояло теперь круглый год заколоченным) и облепили его ступеньки амфитеатром, словно собираясь сниматься группой.

Зевающие жильцы нагибались, чтобы накинутые на плечи толстые пальтишки, под которыми они ежились, не сползли с них, и зябко перебирали голыми ногами, наспех сунутыми в широченные валенки.

Маркел умудрился нахлестаться чего-то смертоубийственного в это безалкогольное время, валился как подкошенный на перила и грозил их обрушить. Он вызывался нести вещи на вокзал и обижался, что отвергают его помощь. Насилу от него отвязались.

На дворе еще было темно. Снег в безветренном воздухе валил гуще, чем накануне. Крупные мохнатые хлопья падали, ленись, и недалеко от земли как бы еще задерживались, словно колеблясь, ложиться ли им на землю, или нет.

Когда из переулка вышли на Арбат, немного посветлело. Снегопад завешивал улицу до полу своим белым сползающим пологом, бахромчатые концы которого болтались и путались в ногах у пешеходов, так что пропадало ощущение движения и им казалось, что они топчутся на месте.

На улице не было ни души. Путникам из Сивцева никто не попадался навстречу. Скоро их обогнал, весь в снегу, точно вываленный в жидком тесте, извозчик порожняком на убеленной снегом кляче, и за баснословную, копейки не стоившую сумму тех лет, усадил всех с вещами в пролетку, кроме Юрия Андреевича, которого по его просьбе отпустили налегке, без вещей, на вокзал пешком.

## 7

На вокзале Антонина Александровна с отцом уже занимали место в несметной очереди, стиснутой барьерами деревянного ограждения. Посадку производили теперь не с перронов, а с добрых полверсты от них вглубь путей у выходного семафора, потому что на расчистку подходов к дебаркадеру не хватало рук, половина вокзальной территории была покрыта льдом и нечистотами, и паровозы не доезжали до этой границы.

Нюши и Шурочки не было в толпе с матерью и дедом. Они прогуливались на воле под огромным навесом наружного входа, лишь изредка наведываясь из вестибюля, не пора ли им присоединиться к старшим. От них сильно пахло керосином, которым, в предохранение от тифозных вшей, были густо смазаны у них щиколотки, запястья и шеи.

Завидев подоспевшего мужа, Антонина Александровна поманила его рукою, но не дав ему приблизиться, прокричала ему издали, в какой кассе компостируют командировочные мандаты. Он туда направился.

— Покажи, какие печати тебе поставили,—спросила она его по возвращении. Доктор протянул пучок сложенных бумажек за загородку.

— Это литер в делегатский,—сказал сосед Антонины Александровны сзади, разобрав через ее плечо штамп, поставленный на удостоверение. Ее сосед спереди, из формалистов-законников, знающих при любых обстоятельствах все правила на свете, пояснил подробнее:

— С этой печатью вы вправе требовать места в классном, другими словами в пассажирском вагоне, если таковые окажутся в составе.

Случай подвергся обсуждению всей очереди. Раздались голоса:

— Поди вперед найди их, классные. Больно жирно будет. Теперь сел на товарный буфер, скажи спасибо.

— Вы их не слушайте, командировочный. Вы послушайте, что я вам объясню. Как в настоящее время отдельные поезда аннулированные, а имеется один сборный, он тебе и воинский, он и арестантский, он и для скотины, он и людской. Говорить что угодно можно, язык — место мягкое, а чем человека с толку сбивать, надо объяснить, чтоб было ему понятно.

— Ты-то объяснил. Какой умник нашелся. Это поддела, что у них литер в делегатский. Ты вперед на них погляди, а тогда толкуй. Нешто можно с такой бросающею личностью в делегатский? В делегатским полно братишков. У моряка наметанный глаз, и притом наган на шнуре. Он сразу видит — имущий класс и тем более — доктор, из бывших господ. Матрос хватъ наган, и хлоп его как муху.

Неизвестно куда завело бы сочувствие к доктору и его семье, если бы не новое обстоятельство.

Из толпы давно бросали взгляды вдаль за широкие вокзальные окна из толстого зеркального стекла. Длинные, тянущиеся вдаль, навесы дебаркадера до последней степени удаляли зрелище падающего над путями снега. В таком отдалении казалось, что снежинки, почти не двигаясь, стоят в воздухе, медленно оседая в нем, как тонут в воде размокшие крошки хлеба, которым кормят рыбу.

В эту глубину давно кучками и поодиночке направлялись какие-то люди. Пока они проходили в небольшом количестве, эти фигуры, неотчетливые за дрожащею сеткою снега, принимали за железнодорожников, по своей обязанности расхаживающих по шпалам. Но вот они повалили кучею. В глубине, куда они направлялись, задымил паровоз.

— Отпирай двери, мошенники! — заорали в очереди. Толпа всколыхнулась и подалась к дверям. Задние стали напирать на передних.

— Гляди, что делается! Тут стеной загородили, а там лезут без очереди в обход! Набьют вагоны доверху, а мы стой тут, как бараны! Отпирай, дьяволы,—выломаем! Эй, ребята, навались, нажми!

— Кому, дурачье, завидуют,—говорил всезнающий законник.— Мобилизованные это, привлеченные к трудовой повинности из Петрограда. Их было в Вологду на Северный направили, а теперь гонят на Восточный фронт. Не своей волей. Под конвоем. На рытье окопов.

В пути были уже три дня, но недалеко отъехали от Москвы. Дорожная картина была зимняя: рельсы путей, поля, леса, крыши деревень — всё под снегом.

Семье Живаго посчастливилось попасть в левый угол верхних передних нар, к тусклому продолговатому окошку под самым потолком, где они и разместились своим домашним кругом, не дробя компании.

Антонина Александровна в первый раз путешествовала в товарном вагоне. При погрузке в Москве Юрий Андреевич на руках поднял женщин на высоту вагонного пола, по краю которого ходила тяжелая выдвижная дверца. Дальше в пути женщины приноровились и взбирались в теплушку сами.

Вагоны на первых порах показались Антонине Александровне хлевами на колесах. Эти клетушки должны были, по ее мнению, развалиться при первом толчке или сотрясении. Но вот уже третий день их бросало вперед и назад и валило на бок при перемене движения и на поворотах, и третий день под полом часто-часто перестукивались колесные оси, как палочки заводного игрушечного барабанчика, а поездка протекала благополучно, и опасения Антонины Александровны не оправдывались.

Вдоль станций с короткими платформами длинный эшелон, состоявший из двадцати трех вагонов (Живаго сидели в четырнадцатом), вытягивался только одной какой-нибудь частью, головой, хвостом или середкой.

Передние вагоны были воинские, в средних ехала вольная публика, в задних — мобилизованные на трудовую повинность.

Пассажиров этого разряда было человек до пятисот, люди всех возрастов и самых разнообразных званий и занятий.

Восемь вагонов, занятых этою публикой, представляли пестрое зрелище. Рядом с хорошо одетыми богачами, петербургскими биржевиками и адвокатами можно было видеть отнесенных к эксплуататорскому классу лихачей-извозчиков, полотеров, банщиков, татар-старьевщиков, беглых сумасшедших из распущенных желтых домов, мелочных торговцев и монахов.

Первые сидели вокруг докрасна раскаленных печурок без пиджаков на коротко спиленных чурках, поставленных стоймя, наперерыв друг другу что-то рассказывали и громко хохотали. Это были люди со связями. Они не унывали. За них дома хлопотали влиятельные родственники. В крайнем случае дальше в пути они могли откупиться.

Вторые, в сапогах и расстегнутых кафтанах или в длинных распоясанных рубахах поверх портов и босиком, бородатые и без бород, стояли у раздвинутых дверей душных теплушек, держась за косяки и наложенные поперек пролетов перекладыны, утормо смотрели на придорожные места и их жителей и ни с кем не разговаривали. У этих не было нужных знакомств. Им не на что было надеяться.

Не все эти люди помещались в отведенных им вагонах. Часть рассовали в середине состава вперемешку с вольной публикой. Люди этого рода имелись и в четырнадцатой теплушке.

Обыкновенно, когда поезд приближался к какой-нибудь станции, лежавшая наверху Антонина Александровна приподымалась в неудобной позе, к которой принуждал низкий, не позволявший разогнуться потолок, свешивала голову с полатей и через щелку приоткрытой двери определяла, представляет ли место интерес с точки

зрения товарообмена и стоит ли спускаться с нар и выходить наружу.

Так было и сейчас. Замедлившийся ход поезда вывел ее из дремоты. Многочисленность переводных стрелок, на которых подскакивала теплушка с учащающимся стуком, говорила о значительности станции и продолжительности предстоящей остановки.

Антонина Александровна села согнувшись, протерла глаза, поправила волосы и, запустив руку в глубину вещевого мешка, вытаскала, до дна перерыв его, вышитое петухами, парубками, дугами и колесами полотенце.

Тем временем проснулся доктор, первым соскочил вниз с полатей и помог жене спуститься на пол.

Между тем мимо растворенной вагонной дверцы вслед за будками и фонарями уже плыли станционные деревья, отягченные целыми пластами снега, который они как хлеб-соль протягивали на выпрямленных ветвях навстречу поезду, и с поезда первыми на скором еще ходу соскакивали на нетронутый снег перрона матросы, и бегом, опережая всех, бежали за угол станционного строения, где обыкновенно, под защитой боковой стены, прятались торговки запрещенным съестным.

Черная форма моряков, развевающиеся ленты их бескозырок и их растрюбом книзу расширяющиеся брюки придавали их шагу натиск и стремительность, и заставляли расступаться перед ними, как перед разбежавшимися лыжниками или несущимися во весь дух конькобежцами.

За углом станции, прячась друг за друга и волнуясь, как на гадании, выстраивались гуськом крестьянки ближних деревень с огурцами, творогом, вареной говядиной и ржаными ватрушками, хранившими на холоде дух и тепло под стегаными покрывками, под которыми их выносили. Бабы и девки в заправленных под полушубки платках вспыхивали, как маков цвет, от иных матросских шуток, и в то же время боялись их пуще огня, потому что из моряков, преимущественно, формировались всякого рода отряды по борьбе со спекуляцией и запрещенною свободною торговлей.

Смушение крестьянок продолжалось недолго. Поезд останавливался. Прибывали остальные пассажиры. Публика перемешивалась. Закипала торговля.

Антонина Александровна производила обход торговок, перекинув через плечо полотенце с таким видом, точно шла на станционные задворки умыться снегом. Ее уже несколько раз окликнули из рядов:

— Эй, эй, городская, что просишь за ширинку?

Но Антонина Александровна, не останавливаясь, шла с мужем дальше.

В конце ряда стояла женщина в черном платке с пунцовыми разводами. Она заметила полотенце с вышивкой. Ее дерзкие глаза разгорелись. Она поглядела по бокам, удостоверилась, что опасность не грозит ниоткуда, быстро подошла вплотную к Антонине Александровне и, откинув попонку со своего товара, прошептала горячей скороговоркой:

— Эвона что. Небось такого не видала? Не соблазнишься? Ну, долго не думай — отымут. Отдай полотенце за полоток.

Антонина Александровна не разобрала последнего слова. Ей подумалось, что речь о каком-то платке. Она переспросила:

— Ты что, голубушка?

Полотком крестьянка назвала пол-зайца, разрубленного пополам и целиком зажаренного от головы до хвоста, которого она держала в руках. Она повторила:

— Отдай, говорю, полотенце за полоток. Ты что глядишь? Чай, не собачина. Муж у меня охотник. Заяц это, заяц.



Мена состоялась. Каждой стороне казалось, что она в великом барыше, а противная в таком же большом накладе. Антонине Александровне было стыдно так нечестно объегоривать бедную крестьянку. Та же, довольная сделкой, поспешила скорее прочь от греха и, кликнув расторговавшуюся соседку, зашагала вместе с нею домой по протоптанной в снегу, вдаль удивившей стезжке.

В это время в толпе произошел переполох. Где-то закричала старуха:

— Куда, кавалер? А деньги? Когда ты мне дал их, бессовестный? Ах ты, кишка ненасытная, ему кричат, а он идет, не оглядывается. Стой, говорю, стой, господин товарищ! Караул! Разбой! Ограбили! Вон он, вон он, держи его!

— Это какой же?

— Вон, голомордый, идет, смеется.

— Это который драный локоть?

— Ну да, ну да. Держи его, басурмана!

— Это который на рукаве заплатка?

— Ну да, ну да. Ай, батюшки, ограбили!

— Что тут попритчилось?

— Торговал у бабки пироги да молоко, набил брюхо и фьют. Вот, плачет, убивается.

— Нельзя этого так оставить. Поймать надо.

— Поди поймай. Весь в ремнях и патронах. Он тебе поймает.

## 10

В четырнадцатой теплушке следовало несколько набранных в трудармию. Их стерег конвойный Воронюк. Из них по разным причинам выделялись трое. Это были: бывший кассир петроградской казенной винной лавки Прохор Харитонович Притульев, кáстер, как его звали в теплушке; шестнадцатилетний Вася Брыкин, мальчик из скобяной лавки, и седой революционер-кооператор Костоед-Амурский, перебивавший на всех каторгах старого времени и открывший новый ряд их в новое время.

Все эти завербованные были люди друг другу чужие, нахватавшиеся с бору да с сосенки и постепенно знакомившиеся друг с другом только в дороге. Из таких вагонных разговоров выяснилось, что кассир Притульев и торговый ученик Вася Брыкин — земляки, оба — вятские и, кроме того, уроженцы мест, которые поезд должен был миновать по прошествии некоторого времени.

Мещанин города Малмыжа Притульев был приземистый, стриженный бобриком, рябой, безобразный мужчина. Серый, до черноты пропотевший под мышками китель плотно облегал его, как охватывает мясистый бюст женщины надставка сарафана. Он был молчалив, как истукан, и, часами о чем-то задумываясь, расковыривал до крови бородавки на своих веснучатых руках, так что они начинали гноиться.

Год тому назад он как-то шел осенью по Невскому и на углу Литейного угодил в уличную облаву. У него спросили документъ. Он оказался держателем продовольственной карточки четвертой категории, установленной для нетрудового элемента и по которой никогда ничего не выдавали. Его задержали по этому признаку и вместе со многими, остановленными на улице на том же основании, отправили под стражею в казармы. Собранную таким образом партию, по примеру ранее составленной, рывшей окопы на Архангельском фронте, вначале предполагали двинуть в Вологду, но с дороги вернули, и через Москву направили на Восточный фронт.

У Притульева была жена в Луге, где он работал в предвоенные годы, до своей службы в Петербурге. Стороной узнав о его несчастьи, жена кинулась разыскивать его в Вологду, чтобы вызволить из

трудармии. Но пути отряда разошлись с ее розысками. Ее труды пропали даром. Всё перепуталось.

В Петербурге Притульев проживал с сожительницей Пелагеей Ниловной Тягуновой. Его остановили на перекрестке Невского как раз в ту минуту, когда он простился с нею на углу, собравшись идти по делу в другую сторону, и среди мелькавших по Литейному пешеходов видел еще вдалеке ее спину, вскоре скрывающуюся.

Эта Тягунова, полнотелая осанистая мещанка с красивыми руками и толстою косою, которую она с глубокими вздохами перебрывала то через одно, то через другое плечо себе на грудь, сопровождала по доброй воле Притульева в эшелоне.

Непонятно было, что хорошего находили в таком идоле, как Притульев, липнувшие к нему женщины. Кроме Тягуновой, в другой теплушке эшелона, несколькими вагонами ближе к паровозу, ехала неизвестно как очутившаяся в поезде другая знакомая Притульева, белобрыса и худая девица Огрызкова, «ноздря» и «спрынцовка», как, наряду с другими оскорбительными кличками, бранно называла ее Тягунова.

Соперницы были на ножах и остерегались попадаться на глаза друг другу. Огрызкова никогда не показывалась в теплушке. Было загадкою, где ухитрялась она видеться с предметом своего обожания. Может быть, она довольствовалась его лицезрением издали на общих погрузках дров и угля силами всех едущих.

## 11

История Васи была иная. Его отца убили на войне. Мать послала Васю из деревни в учение к дяде в Питер.

Зимой дядю, владельца скобяной лавки в Апраксином дворе, вызвали для объяснений в Совет. Он ошибся дверью и вместо комнаты, указанной в повестке, попал в другую, соседнюю. Случайно это была приемная комиссия по трудовой повинности. В ней было очень людно. Когда народу, явившегося в этот отдел по вызову, набралось достаточно, пришли красноармейцы, окружили собравшихся и отвели их ночевать в Семеновские казармы, а утром препроводили на вокзал для погрузки в Вологодский поезд.

Весть о задержании такого большого числа жителей распространилась в городе. На другой день множество домашних потянулось прощаться с родственниками на вокзал. В их числе пошли провожать дядю и Вася с теткой.

На вокзале дядя стал просить часового выпустить его на минутку за решетку к жене. Часовым этим был ныне сопровождавший группу в четырнадцатой теплушке Воронюк. Без верного ручательства, что дядя вернется, Воронюк не соглашался отпустить его. В виде такого ручательства дядя с тетей предложили оставить под стражей племянника. Воронюк согласился. Васю ввели в ограду, дядю из нее вывели. Больше дядя с тетей не возвращались.

Когда подлог обнаружился, не подозревавший обмана Вася заплакал. Он валялся в ногах у Воронюка и целовал ему руки, умоляя освободить его, но ничего не помогало. Конвойный был неумолим не по жестокости характера. Время было тревожное, порядки суровые. Конвойный жизнью отвечал за численность вверенных ему сопровождаемых, установленную переключкой. Так Вася и попал в трудармию.

Кооператор Костоед-Амурский, пользовавшийся уважением всех тюремщиков при царском и нынешнем правительстве и всегда сходявшийся с ними на короткую ногу, не раз обращал внимание начальника конвоя на нетерпимое положение с Васей. Тот признавал, что это действительно вопиющее недоразумение, но говорил, что

формальные затруднения не позволяют касаться этой путаницы в дороге, и он надеется распутать ее на месте.

Вася был хорошенький мальчик с правильными чертами лица, как пишут царских рынд и Божьих ангелов. Он был на редкость чист и неиспорчен. Излюбленным развлечением его было, сев на пол в ногах у старших, охватив переплетенными руками колени и закинув голову, слушать, что они говорят или рассказывают. Тогда по игре его лицевых мускулов, которыми он сдерживал готовые хлынуть слезы или боролся с душившим его смехом, можно было восстановить содержание сказанного. Предмет беседы отражался на лице впечатлительного мальчика, как в зеркале.

## 12

Кооператор Костоед сидел наверху в гостях у Живаго и со свистом обсасывал заячью лопатку, которой его угощали. Он боялся сквозняков и простуды.— «Как тянет! Откуда это?» — спрашивал он, и все пересаживался, ища защищенного места. Наконец он уселся так, чтоб на него не дуло, сказал: «Теперь хорошо», доглодал лопатку, облизал пальцы, обтер их носовым платком и, поблагодарив хозяев, заметил:

— Это у вас из окна. Необходимо заделать. Однако вернемся к предмету спора. Вы неправы, доктор. Жареный заяц — вещь великолепная. Но выводить отсюда, что деревня благоденствует, это, простите, по меньшей мере смело, это скачок весьма рискованный.

— Ах, оставьте,— возразил Юрий Андреевич.— Посмотрите на эти станции. Деревья не спилены. Заборы целы. А эти рынки! Эти бабы! Подумайте, какое удовлетворение! Где-то есть жизнь. Кто-то рад. Не все стонут. Этим всё оправдано.

— Хорошо, кабы так. Но ведь это неверно. Откуда вы это взяли? Отъезжайте на сто верст в сторону от полотна. Всюду непрекращающиеся крестьянские восстания. Против кого, спросите вы? Против белых и против красных, смотря по тому, чья власть утвердилась. Вы скажете, ага, мужик враг всякого порядка, он сам не знает, чего хочет. Извините, погодите торжествовать. Он знает это лучше вас, но хочет он совсем не того, что мы с вами.

Когда революция пробудила его, он решил, что сбывается его вековой сон о жизни особняком, об анархическом хуторском существовании трудами рук своих, без зависимости и обязательств кому бы то ни было. А он из тисков старой, свергнутой государственности попал под еще более тяжкий пресс нового революционного сверхгосударства. И вот деревня мечется и нигде не находит покоя. А вы говорите, крестьянство благоденствует. Ничего вы, батенька, не знаете и, сколько вижу, и знать не хотите.

— А что ж, и правда не хочу. Совершенно верно. Ах, подите вы! Зачем мне всё знать и за всё распинаться? Время не считается со мной и навязывает мне что хочет. Позвольте и мне игнорировать факты. Вы говорите, мои слова не сходятся с действительностью. А есть ли сейчас в России действительность? По-моему, ее так запугали, что она скрывается. Я хочу верить, что деревня выиграла и процветает. Если и это заблуждение, то что мне тогда делать? Чем мне жить, кого слушаться? А жить мне надо, я человек семейный.

Юрий Андреевич махнул рукой и, предоставив Александру Александровичу доводить до конца спор с Костоедом, придвинулся к краю полатей и, свесив голову, стал смотреть, что делается внизу.

Там шел общий разговор между Притульевым, Воронюком, Тягуновой и Васей. В виду приближения родных мест, Притульев припомнил способ сообщения с ними, до какой станции доезжают, где сходят и как движутся дальше, пешком или на лошадях, а Вася при упоминании знакомых сел и деревень вскакивал с горящими глазами

и восхищенно повторял их названия, потому что их перечисление звучало для него волшебной сказкой.

— На Сухом броде слезаете? — захлебываясь, переспрашивал он. — Ну как же! Наш разъезд! Наша станция! А потом, небось, берете на Буйское?

— Потом — Буйским проселком.

— Я и то говорю — Буйским. Село Буйское. Как не знать! Наш поворот. Оттуда пойдет к нам всё вправо, вправо. К Веретенникам. А к вам, дядя Харитоныч, видать, влево, прочь от реки? Реку Пелгу слышали? Ну как же! Наша река. А к нам будет берегом, берегом. И на этой самой реке, на реке Пелге повыше, наши Веретенники, наша деревня! На самом яру! Берег кру-у-той! По-нашему — залавок. Станешь наверху, страшно вниз взглянуть, такая круть. Как бы не свалиться. Ей-Богу правда. Камень ломают. Жернова. И в тех Веретенниках маменька моя. И две сестренки. Сестра Аленка. И Аришка сестра. Маменька моя, тетя Палаша, Пелагея Ниловна, вроде сказать как вы, молодая, белая. Дядя Воронюк! Дядя Воронюк! Христом Богом молю вас... Дядя Воронюк!

— Ну шо? Шо ты задолбыв, як зозуля: «дядя Воронюк, дядя Воронюк»? Хиба я не знаю, шо я не тетя? Шо ты хочешь, шо тоби треба? Шоб я пустив тебе тикать? Шо ты, сказывсь? Ты дашь винта, а мни за то будет аминь, стенка?

Пелагея Тягунова рассеянно глядела куда-то вдаль, в сторону, и молчала. Она гладила Васю по голове и, о чем-то думая, перебирала его русые волосы. Изредка она наклонениями головы, глазами и улыбками делала мальчику знаки, смысл которых был таков, чтобы он не глумил и вслух при всех не заговаривал с Воронюком о таких вещах. Дай, мол, срок, всё устроится само собой, будь покоен.

## 13

Когда от Среднерусской полосы удалились на восток, посыпались неожиданности. Стали пересекать беспокойные местности, области хозяйничанья вооруженных банд, места недавно усмирненных восстаний.

Участились остановки поезда среди поля, обход вагонов заградительными отрядами, досмотр багажа, проверка документов.

Однажды поезд застрял где-то ночью. В вагоны не заглядывали, никого не подымали. Полюбопытствовав, не случилось ли несчастья, Юрий Андреевич спрыгнул вниз с теплушки.

Была темная ночь. Поезд без видимой причины стоял на какой-то случайной версте обыкновенного, обсаженного ельником полевого перегона. Соскочившие ранее Юрия Андреевича соседи, топтавшиеся перед теплушкой, сообщили, что по их сведениям ничего не случилось, а, кажется, машинист сам остановил поезд под тем предлогом, что данная местность — угрожаемая, и пока исправность перегона не будет удостоверена на дрезине, отказывается вести состав дальше. Представители пассажиров, говорят, отправились его упрашивать и, в случае необходимости, подмазать. По слухам, в дело вмешались матросы. Эти уломают.

Пока это объясняли Юрию Андреевичу, снежная гладь впереди полотна возле паровоза, словно дышащим отблеском костра, озарялась огненными вспышками из трубы и подтопочного зольника паровоза. Вдруг один из таких языков ярко осветил кусок снежного поля, паровоз и несколько пробежавших по краю паровозной рамы черных фигур.

Впереди промелькнул, видимо, машинист. Добежав до конца мостков, он подпрыгнул вверх и, перелетев через буферный брус, скрылся из виду. Те же движения проделали гнавшие за ним мат-

росы. Они тоже пробежали до конца решетки, прыгнули, мелькнули в воздухе и провалились как сквозь землю.

Привлеченный виденным, Юрий Андреевич вместе с несколькими любопытными прошел вперед к паровозу.

В свободной, открывшейся перед поездом части пути им представилось следующее зрелище. В стороне от полотна в цельном снегу торчал до половины провалившийся машинист. Как загонщики — зверя, его полукругом обступали так же, как он, по пояс застрявшие в снегу матросы.

Машинист кричал:

— Спасибо, буревестнички! Дожил! С наганом на своего брата, рабочего! Зачем я сказал, состав дальше не пойдет. Товарищи пассажиры, будьте свидетели, какая это сторона. Кто хочет шляется, отвинчивают гайки. Я, мать вашу пополам с бабушкой, об чем, мне что? Я, сифон вам под ребра, не об себе, об вас, чтоб вам чего не сделалось. И вот мне что за мое попечение. Ну что ж, стреляй меня, минная рота! Товарищи пассажиры, будьте свидетели, вот он — я, не хоронюсь.

Из кучки на железнодорожной насыпи слышались разнообразные голоса. Одни восклицали оторопело:

— Да что ты?.. Опомнись... Да нешто... Да кто им даст? Это они так... Для остратки...

Другие громко подзадоривали:

— Так их, гаврилка! Не сдавай, паровая тяга!

Матрос, первым высвободившийся из снега и оказавшийся рыжим великаном с такой огромной головой, что лицо его казалось плоским, спокойно повернулся к толпе и тихим басом, с украинизмами, как Воронюк, сказал несколько слов, смешных своим совершенным спокойствием в необычайной ночной обстановке:

— Звиняюсь, шо це за гормидор? Як бы вы не занедужили на витру, громадяне. Ать с холоду до вагонив!

Когда начавшая разбредаться толпа постепенно разошлась по теплушкам, рыжий матрос приблизился к машинисту, который еще не совсем пришел в себя, и сказал:

— Фатит катать истерику, товарищ механик. Вылазть з ямы. Даешь поихалы.

#### 14

На другой день на тихом ходу с поминутными замедлениями, опасаясь схода со слегка завейных метелью и неразметенных рельс, поезд остановился на покинутом жизнью пустыре, в котором не сразу узнали остатки разрушенной пожаром станции. На ее закоптелом фасаде можно было различить надпись «Нижний Кельмес».

Не только железнодорожное здание хранило следы пожара. Позади за станцией виднелось опустелое и засыпанное снегом селение, видимо, разделившее со станцией ее печальную участь.

Крайний дом в селении был обуглен, в соседнем несколько бревен было подшиблено с угла и повернуто торцами внутрь, всюду на улице валялись обломки саней, поваленных заборов, рваного железа, битой домашней утвари. Перепачканный гарью и копытю снег чернел насквозь выжженными плешинами и залит был обледенелыми помоями со вмерзшими головешками, следами огня и его тушения.

Безлюдие в селении и на станции было неполное. Тут и там имелись отдельные живые души.

— Всей слободой горели? — участливо спрашивал соскочивший на перрон начальник поезда, когда из-за развалин навстречу вышел начальник станции.

— Здравствуйте. С благополучным прибытием. Гореть горели, да дело похуже пожара будет.

- Не понимаю.
- Лучше не вникать.
- Неужели Стрельников?
- Он самый.
- В чем же вы провинились?

— Да не мы. Дорога сбоку припеку. Соседи. Нам заодно досталось. Видите, селение в глубине? Вот виновники. Село Нижний Кельмес Усть-Немдинской волости. Всё из-за них.

— А те что?

— Да без малого все семь смертных грехов. Разогнали у себя комитет бедноты, это вам раз; воспротивились декрету о поставке лошадей в Красную армию, а заметьте, поголовно татары — лошадиники, это два; и не подчинились приказу о мобилизации, это — три, как видите.

— Так, так. Тогда всё понятно. И за это получили из артиллерии?

— Вот именно.

— С бронепоезда?

— Разумеется.

— Прискорбно. Достоин сожаления. Впрочем, это не нашего ума дело.

— Притом дело минувшее. Новым мне нечем вас порадовать. Сутки-другие у нас простоите.

— Бросьте шутки. У меня — не что-нибудь: маршевые пополнения на фронт. Я привык — чтоб без простоя.

— Да какие тут шутки. Снежный занос, сами видите. Неделю буран свирепствовал по всему перегону. Замело. А разгрести некому. Половина села разбежалась. Ставлю остальных, не справляются.

— Ах, чтоб вам пусто было! Пропал, пропал! Ну что теперь делать?

— Как-нибудь расчистим, поедете.

— Большие завалы?

— Нельзя сказать, чтобы очень. Полосами. Буран косяком шел, под углом к полотну. Самый трудный участок в середине. Три километра выемки. Тут действительно промучаемся. Место основательно забито. А дальше ничего, тайга, — лес предохранил. Также до выемки, открытая полоса, не страшно. Ветром передувало.

— Ах, чтоб вас чорт побрал. Что за наваждение! Я поезд поставлю на ноги, пусть помогают.

— Я и сам так думал.

— Только матросов не трогайте и красногвардейцев. Целый эшелон трудармии. Вместе с вольноедущими человек до семисот.

— Более чем достаточно. Вот только лопаты привезут, и поставим. Нехватка лопат. В соседние деревни послали. Раздобудемся.

— Вот беда, ей-Богу! Думаете, осилим?

— А как же. Навалом, — говорится, — города берут. Железная дорога. Артерия. Помилуйте.

## 15

Расчистка пути заняла трое суток. Все Живаго, до Ньюши включительно, приняли в ней деятельное участие. Это было лучшее время их поездки.

В местности было что-то замкнутое, недосказанное. От нее веяло пугачевщиной в преломлении Пушкина, азиатчиной Аксаковских описаний.

Таинственность уголка довершали разрушения и скрытность немногих оставшихся жителей, которые были запуганы избегали пассажиров с поезда и не общались друг с другом из боязни доносов.

На работы водили по категориям, не все роды публики одновременно. Территорию работ оцепляли охраной.

Линию расчищали со всех концов сразу, отдельными в разных местах расставленными бригадами. Между освобождаемыми участками до самого конца оставались горы нетронутого снега, отгораживавшие соседние группы друг от друга. Эти горы убрали только в последнюю минуту, по завершении расчистки на всем требующемся протяжении.

Стояли ясные морозные дни. Их проводили на воздухе, возвращаясь в вагон только на ночевку. Работали короткими сменами, не причинявшими усталости, потому что лопат не хватало, а работающих было слишком много. Неутомительная работа доставляла одно удовольствие.

Место, куда ходили копать Живаго, было открытое, живописное. Местность в этой точке сначала опускалась на восток от полотна, а потом шла волнообразным подъемом до самого горизонта.

На горе стоял одинокий, отовсюду открытый дом. Его окружал сад, летом, вероятно, разраставшийся, а теперь не защищавший здания своей узорной, заиндевевшей резной.

Снеговая пелена всё выравнивала и закругляла. Но судя по главным неровностям склона, которые она была бессильна скрыть своими увалами, весной навесное сверху в трубу виадука под железнодорожной насыпью сбегал по извилистому буераку ручей, плотно укрытый теперь глубоким снегом, как прячется под горою пухового одеяла с головой укрытый ребенок.

Жил ли кто-нибудь в доме, или он стоял пустым и разрушался, взятый на учет волостным или уездным земельным комитетом? Где были его прежние обитатели и что с ними случилось? Скрылись ли они за границу? Погибли ли от руки крестьян? Или, заслужив добрую память, пристроились в уезде образованными специалистами? Поощадал ли их Стрельников, если они оставались тут до последнего времени, или их вместе с кулаками затронула его расправа?

Дом дразнил с горы любопытство и печально отмалчивался. Но вопросов тогда не задавали и никто на них не отвечал. А солнце зажигало снежную гладь таким белым блеском, что от белизны снега можно было ослепнуть. Какими правильными кусками взрезала лопата его поверхность! Какими сухими, алмазными искрами рассыпался он на срезах! Как напоминало это дни далекого детства, когда в светлом, галуном обшитом башлыке и тулупчике на крючках, туго вшитых в курчавую, черными колечками завивавшуюся овчину, маленький Юра кроил на дворе из такого же ослепительного снега пирамиды и кубы, сливочные торты, крепости и пещерные города! Ах как вкусно было тогда жить на свете, какое всё кругом было заглядение и объяденье!

Но и эта трехдневная жизнь на воздухе производила впечатлительные сытости. И не без причины. Вечерами работающих оделяли горячим сеяным хлебом свежей выпечки, который неведомо откуда привозили неизвестно по какому наряду. Хлеб был с обливной, лопающейся по бокам вкусно горбушкой и толстой, великолепно пропеченной нижней коркой со влекшимися в нее маленькими угольками.

Развалины станции полюбили, как можно привязаться к кратковременному пристанищу в экскурсии по снежным горам. Запомнилось ее расположение, внешний облик постройки, особенности некоторых повреждений.

На станцию возвращались вечерами, когда садилось солнце. Как бы из верности прошлому, оно продолжало закатываться на прежнем

ДОКТОР ЖИВАГО

месте, за старую березой, росшей у самого окна перед дежурной комнатой телеграфиста.

Наружная стена в этом месте обрушилась внутрь и завалила комнату. Но обвал не задел заднего угла помещения, против уцелевшего окна. Там всё сохранилось: обои кофейного цвета, изразцовая печь с круглою отдушницей под медной крышкой на цепочке, и опись инвентаря в черной рамке на стене.

Опустившись до земли, солнце точь-в-точь как до несчастья, дотягивалось до печных изразцов, зажигало коричневым жаром кофейные обои и вешало на стену, как женскую шаль, тень березовых ветвей.

В другой части здания имелась заколоченная дверь в приемный покой с надписью такого содержания, сделанной, вероятно, в первые дни февральской революции или незадолго до нее:

«Ввиду медикаментов и перевязочных средств просят господ больных временно не беспокоиться. По наблюдающейся причине дверь печатаваю, о чем до сведения довожу старший фельдшер Усть-Немды такой-то».

Когда отгребли последний снег, буграми оставшийся между расчищенными пролетами, открылся весь насквозь и стал виден ровный, стрелой вдаль разлетевшийся рельсовый путь. По бокам его тянулись белые горы откинутого снега, окаймленные во всю длину двумя стенами черного бора.

Насколько хватал глаз, в разных местах на рельсах стояли кучки людей с лопатами. Они в первый раз увидели друг друга в полном сборе и удивились своему множеству.

17

Стало известно, что поезд отойдет через несколько часов, несмотря на позднее время и близость ночи. Перед его отправлением Юрий Андреевич и Антонина Александровна пошли в последний раз полюбоваться красотой расчищенной линии. На полотне уже никого не было. Доктор с женой постояли, посмотрели вдаль, обменялись двумя-тремя замечаниями и повернули назад к своей теплушке.

На обратном пути они услышали злые, надсаженные выкрики двух бранящихся женщин. Они в них тотчас узнали голоса Огрызковой и Тягуновой. Обе женщины шли в том же направлении, что и доктор с женою, от головы к хвосту поезда, но вдоль его противоположной стороны, обращенной к станции, между тем как Юрий Андреевич и Антонина Александровна шагали по задней, лесной стороне. Между обеими парами, закрывая их друг от друга, тянулась непрерывная стена вагонов. Женщины почти не попадали в близость к доктору и Антонине Александровне, а намного обгоняли их или сильно отставали.

Обе они были в большом волнении. Им поминутно изменяли силы. Вероятно, на ходу у них проваливались в снег или подкашивались ноги, судя по голосам, которые вследствие неровности походки то подскакивали до крика, то спадали до шопота. Видимо, Тягунова гналась за Огрызковой и, настигая ее, может быть, пускала в ход кулаки. Она осыпала соперницу отборной руганью, которая в мелодических устах такой павы и барыни звучала во сто раз бесстыднее грубой и немзыкальной мужской брани.

— Ах ты шлюха, ах ты задрёпа,— кричала Тягунова.— Шагу ступить некуда, тут как тут она, юбкой пол метет, глазолупничают! Мало тебе, суке, колпака моего, раззевалась на детскую душеньку, распустила хвост, малолетнего ей надо испортить.

— А ты, знать, и Васеньке законная?

— Я те покажу законную, хайло, зараза! Ты живой от меня не уйдешь, не доводи меня до греха!



— Но, но, размахалась! Убери руки-то, бешеная! Чего тебе от меня надо?

— А надо, чтобы сдохла ты, гнида-шеламура, кошка шелудивая, бесстыжие глаза!

— Обо мне какой разговор. Я, конечно, сука и кошка, дело известное. Ты вот у нас титулованная. Из канавы рожденная, в подворотне венчанная, крысой забрюхатела, ежом разродилась... Караул, караул, люди добрые! Ай убьет меня до смерти лиходейка-пагуба. Ай спасите девушку, заступитесь за сироту...

— Пойдем скорее. Не могу этого слышать, так противно,— стала торопить мужа Антонина Александровна.— Не кончится это добром.

## 18

Вдруг всё изменилось, места и погода. Равнина кончилась, дорога пошла между гор,— холмами и возвышенностями. Прекратился северный ветер, дувший все последнее время. С юга, как из печки, пахнуло теплом.

Леса росли тут уступами по горным склонам. Когда железнодорожное полотно их пересекало, поезду сначала приходилось брать большой подъем, сменявшийся с середины отлогим спуском. Поезд кряхтя вползал в чашу и еле тащился по ней, точно это был старый лесник, который пешком вел за собой толпу пассажиров, осматривавшихся по сторонам и всё замечавших.

Но смотреть еще было не на что. В глубине леса был сон и покой, как зимой. Лишь изредка некоторые кусты и деревья с шорохом высвобождали нижние сучья из постепенно оседавшего снега, как из снятых ошейников или расстегнутых воротников.

На Юрия Андреевича напала сонливость. Все эти дни он пролеживал у себя наверху, спал, просыпался, размышлял и прислушивался. Но слушать пока еще было нечего.

## 19

Пока отсыпался Юрий Андреевич, весна плавилась и перетапливала всю ту уйму снега, которая выпала в Москве в день отъезда и продолжала падать всю дорогу; весь тот снег, который они трое суток рыли и раскапывали в Усть-Немде, и который необозримыми и толстыми пластами лежал на тысячеверстных пространствах.

Первое время снег подтаивал изнутри, тихомолком и вскрытнующ. Когда же половина богатырских трудов была сделана, их стало невозможно долее скрывать. Чудо вышло наружу. Из-под сдвинувшейся снеговой пелены выбежала вода и заголосила. Непроходимые лесные трупцобы встрепенулись. Всё в них пробудилось.

Воде было где разгуляться. Она летела вниз с отвесов, прудила пруды, разливалась вширь. Скоро чаща наполнилась ее гулом, дымом и чадом. По лесу змеями расплзались потоки, увязали и грузли в снегу, теснившем их движение, с шипением текли по ровным местам и, обрываясь вниз, рассыпались водяною пылью. Земля влаги уже больше не принимала. Ее с головокружительных высот, почти с облаков пили своими корнями вековые ели, у подошв которых сбивалась в клубы обсыхающая белобурная пена, как пивная пена на губах у пьющих.

Весна ударяла хмелем в голову неба, и оно мутилось от угара и покрывалось облаками. Над лесом плыли низкие войлочные тучи с отвисающими краями, через которые скачками низвергались теплые, землей и потом пахнувшие ливни, смывавшие с земли последние куски прсбитой черной ледяной брони.

Юрий Андреевич проснулся, подтянулся к квадратному оконному люку, из которого вынули раму, подперся локтем и стал слушать.

С приближением к горнозаводскому краю местность стала населеннее, перегоны короче, станции чаще. Едущие сменялись не так редко. Больше народу садилось и выходило на небольших промежуточных остановках. Люди, совершавшие переезды на более короткие расстояния, не обосновывались надолго и не заваливались спать, а примазывались ночью где-нибудь у дверей в середине теплушки, толковали между собой вполголоса о местных, только им понятных делах и высаживались на следующем разъезде или полустанке.

Из обмолвок здешней публики, чередовавшейся в теплушке последние три дня, Юрий Андреевич вывел заключение, что на севере белые берут перевес и захватили или собираются взять Юртин. Кроме того, если его не обманывал слух и это не был какой-нибудь однофамилец его товарища по Мелюзеевскому госпиталю, силами белых в этом направлении командовал хорошо известный Юрию Андреевичу Галиуллин.

Юрий Андреевич ни слова не сказал своим об этих толках, чтобы не беспокоить их понапрасну, пока слухи не подтвердятся.

Юрий Андреевич проснулся в начале ночи от смутно переполнявшего его чувства счастья, которое было так сильно, что разбудило его. Поезд стоял на какой-то ночной остановке. Станцию обступал стеклянный сумрак белой ночи. Эту светлую тьму пропитывало что-то тонкое и могущественное. Оно было свидетельством шири и открытости места. Оно подсказывало, что разъезд расположен на высоте с широким и свободным кругозором.

По платформе, негромко разговаривая, проходили мимо теплушки неслышно ступающие тени. Это тоже умилило Юрия Андреевича. Он усмотрел в осторожности шагов и голосов уважение к ночному часу и заботу о спящих в поезде, как это могло быть в старину, до войны.

Доктор ошибался. На платформе галдели и громыхали сапогами, как везде. Но в окрестности был водопад. Он раздвигал границы белой ночи веяньем свежести и воли. Он внушил доктору чувство счастья во сне. Постоянный, никогда не прекращающийся шум его водяного обвала царил над всеми звуками на разъезде и придавал им обманчивую видимость тишины.

Не разгадав его присутствия, но усыпленный неведомой упругостью здешнего воздуха, доктор снова крепко заснул.

Внизу в теплушке разговаривали двое. Один спрашивал другого:

— Ну как, уgomонили своих? Доломали хвосты им?

— Это лавочников, что ли?

— Ну да, лабазников.

— Утихомирили. Как шелковые. Из которых для примеру вышибли дух, ну остальные и присмирели. Забрали контрибуцию.

— Много сняли с волости?

— Сорок тысяч.

— Врешь!

— Зачем мне врать?

— Ядрена репа, сорок тысяч!

— Сорок тысяч пудов.

— Ну, бей вас кобыла задом, молодцы! Молодцы!

— Сорок тысяч мелкого помола.

— А положим какое диво. Места — первый сорт. Самая мучная торговля. Тут по Рыньве пойдет теперь вверх к Юртину, село к селу, пристаня, ссыпные пункты. Братья Шерстобитовы, Перекатчиков с сыновьями, оптовик на оптовике!

— Тише ори. Народ разбудишь.

— Ладно.

Говоривший зевнул. Другой предложил:

— Залечь подремать, что ли? Похоже, поедем.

В это время сзади, стремительно разрастаясь, накатил оглушительный шум, перекрывший грохот водопада, и по второму пути разъезда мимо стоящего без движения эшелона промчался на всех парах и обогнал его курьерский старого образца, отгудел, отгрохотал и, мигнув в последний раз огоньками, бесследно скрылся впереди.

Разговор внизу возобновился.

— Ну, теперь шабаш. Настоймся.

— Теперь не скоро.

— Надо быть, Стрельников. Броневой особого назначения.

— Стало быть, он.

— Насчет контры это зверь.

— Это он на Галеева побежал.

— Это на какого же?

— Атаман Галеев. Сказывают, стоит с чехом заслоном у Юрятина. Забрал, ядрена репа, под себя пристаня и держит. Атаман Галеев.

— А може князь Галилеев. Запамятовал.

— Не бывает таких князьев. Видно, Али Курбан. Перепутал ты.

— Може и Курбан.

— Это другое дело.

## 22

Ближе к утру Юрий Андреевич проснулся в другой раз. Опять ему снилось что-то приятное. Чувство блаженства и освобождения, преисполнившее его, не прекращалось. Опять поезд стоял, может статься на новом полустанке, а может быть и на старом. Опять шумел водопад, скорее всего тот же самый, а возможно и другой.

Юрий Андреевич тут же стал засыпать, и сквозь дрему ему мерещились беготня и суматоха. Костоед сцепился с начальником конвоя, и оба кричали друг на друга. Наружи стало еще лучше, чем было. Веяло чем-то новым, чего не было прежде. Чем-то волшебным, чем-то весенним, черняво-белым, редким, неплотным, таким, как налет снежной бури в мае, когда мокрые, тающие хлопья, упав на землю, не убегают ее, а делают еще чернее. Чем-то прозрачным, черняво-белым, пахучим. «Черемуха!» — угадал Юрий Андреевич во сне.

## 23

Утром Антонина Александровна говорила:

— Удивительный ты, все-таки, Юра. Весь соткан из противоречий. Бывает, муха пролетит, ты проснешься и до утра глаз не сомкнешь, а тут шум, споры, переполох, а тебя не добудиться. Ночью бежали касир Притульев и Вася Брыкин. Да, подумай! И Тягунова и Огрызкова. Погоди, это еще не всё. И Воронюк. Да, да, бежал, бежал. Да, представь себе. Теперь слушай. Как они скрылись, вместе или врозь, и в каком порядке — абсолютная загадка. Ну, допустим, Воронюк, этот, естественно, решил спастись от ответственности, обнаружив побег остальных. А остальные? Все ли именно исчезли по доброй воле, или кто-нибудь устранен насильственно? Например, подозрение падает на женщин. Но кто кого убил, Тягунова ли Огрызкову или Огрызкова Тягунову, никому неизвестно. Начальник конвоя бегаёт с одного конца поезда на другой. «Как вы смеете, — кричит, — давать свисток к отправлению. Именем закона требую задержать эшелон до поимки бежавших». А начальник эшелона не сдаётся. «Вы с ума, говорит, сошли. У меня маршевые пополнения на фронт, срочная первоочередность. Дождаться вашей вшивой команды! Ишь что выдумали!» И оба, понимаешь, с упреками на Костоеда. Как это он, кооператор, человек с понятиями, был тут рядом и не удержал солдата, темное, не-

сознательное существо, от рокового шага. «А еще народник», — говорят. Ну, Костоед, конечно, в долгу не остается. «Интересно! — говорит. — Значит, по-вашему, за конвойным арестант должен смотреть? Вот уж действительно когда курица петухом запела». Я тебя и в бок, и за плечо. «Юра, — кричу, — вставай, побег!» Какое! Из пушки не добудиться... Но прости, об этом потом. А пока... Не могу!.. Папа, Юра, смотрите, какая прелесть!

Перед отверстием окна, у которого, вытянув головы, они лежали, раскинулась местность, без конца и краю затянутая разливом. Где-то вышла из берегов река, и вода ее бокового рукава подступила близко к насыпи. В укорочении, получившемся при взгляде с высоты полетей, казалось, что плавно идущий поезд скользит прямо по воде.

Ее гладь в очень немногих местах была подернута железистой си-невой. По остальной поверхности жаркое утро гоняло зеркальные маслянистые блики, как мажет стряпуха перышком, смоченным в масле, корочку горячего пирога.

В этой заводи, казавшейся безбрежной, вместе с лугами, ямами и кустами, были утоплены столбы белых облаков, сваями уходившие на дно.

Где-то в середине этой заводи виднелась узкая полоска земли с двойными, вверх и вниз между небом и землей висевшими деревьями.

— Утки! Выводок! — вскрикнул Александр Александрович, глядя в ту сторону.

— Где?

— У острова. Не туда смотришь. Правее, правее. Эх, чорт, полетели, спугнули.

— Ах да, вижу. Мне надо будет кое о чем поговорить с вами, Александр Александрович. Как-нибудь в другой раз. — А наши трудармейцы и дамы, молодцы, что удрали. И, я думаю, — мирно, никому не сделавши зла. Просто бежали, как вода бежит.

## 24

Кончалась северная белая ночь. Всё было видно, но стояло словно не веря себе, как сочиненное: гора, рошица и обрыв.

Рошица едва зазеленела. В ней цвело несколько кустов черемухи. Роща росла под отвесом горы, на неширокой, так же обрывавшейся поодаль площадке.

Невдалеке был водопад. Он был виден не отовсюду, а только по ту сторону рошицы, с края обрыва. Вася устал ходить туда глядеть на водопад, чтобы испытывать ужас и восхищение.

Водопаду не было кругом ничего равного, ничего под парю. Он был страшен в этой единственности, превращавшей его в нечто ода-ренное жизнью и сознанием, в сказочного дракона или змея-полоза этих мест, собиравшего с них дань и опустошавшего окрестность.

В полувысоте падения водопад обрушивался на выдавшийся зубец утеса и раздваивался. Верхний столб воды почти не двигался, а в двух нижних ни на минуту не прекращалось еле уловимое движение из стороны в сторону, точно водопад всё время поскользывался и выпрямлялся, поскользывался и выпрямлялся, и сколько ни пошатывался, всё время оставался на ногах.

Вася, подостав кожух, лежал на опушке роши. Когда рассвет стал заметнее, с горы слетела вниз большая, тяжелокрылая птица, плавным кругом облетела рощу и села на вершину пихты возле места, где лежал Вася. Он поднял голову, посмотрел на синее горло и сероголубую грудь сизоворонки и зачарованно прошептал вслух: «Ронь-жа» — ее уральское имя. Потом он встал, поднял с земли кожух, накинул его на себя и, перейдя полянку, подошел к своей спутнице. Он сказал:

— Пойдемте, тетя. Ишь озябли, зуб на зуб не попадает. Ну что

вы смотрите, чисто пуганая? Говорю вам человеческим языком, надо иттить. Войдите в положение, к деревьям надо держать. В деревне своих не обидят, схоронют. Эдаким манером, два дня не евши, мы с голodu помрем. Небось дядя Воронюк какой содом поднял, кинулись ис-кать. Уходить нам надо, тетя Палаша, просто скажем, драть. Беда мне с вами, тетя, хушь бы вы слово сказали за цельные сутки! Это вы с тоски без языка, ей-Богу. Ну об чем вы тужите? Тетю Катю, Катю Огрызкову, вы без зла толканули с вагона, задели бочком, я сам видал. Встала она потом с травы целехонька, встала и побежала. И тоже самое дядя Прохор, Прохор Харитоныч. Догонют они нас, все опять вместе будем, вы что думаете? Главная вещь, не надо себя кручинить, тогда и язык у вас в действие произойдет.

Тягунова поднялась с земли и, подав руку Васе, тихо сказала:  
— Пойдем, касатик.

Скрипя всем корпусом, вагоны шли в гору по высокой насыпи. Под ней рос молодой мешаный лес, вершинами не достигавший ее уровня. Внизу были луга, с которых недавно сошла вода. Трава, перемешанная с песком, была покрыта шпальными бревнами, в беспорядке лежавшими в разных направлениях. Вероятно их заготовили для сплава на какой-нибудь ближней деляне, откуда их смыло и принесло сюда полою водой.

Молодой лес под насыпью был почти еще гол, как зимой. Только в почках, которыми он был сплошь закапан, как воском, завелось что-то лишнее, какой-то непорядок, вроде грязи или припухлости, и этим лишним, этим непорядком и грязью была жизнь, зеленым пламенем листья охватившая первые распустившиеся в лесу деревья.

Там и сям мученически прямилась березы, пронзенные зубчиками и стрелами парных раскрывшихся листиков. Чем они пахли, можно было определить на глаз. Они пахли тем же, чем блистали. Они пахли древесными спиртами, на которых варят лаки.

Скоро дорога поровнялась с местом, откуда могли быть смытые бревна. На повороте в лесу показалась прогалина, засыпанная дровяной трухой и щепками, с кучей бревен тройника посередине. У лесосеки машинист затормозил. Поезд дрогнул и остановился в том положении, какое он принял, легко наклонившись на высокой дуге большого закругления.

С паровоза дали несколько коротких лающих свистков и что-то прокричали. Пассажиры и без сигналов знали: машинист остановил поезд, чтобы запастись топливом.

Дверцы теплушек раздвинулись. На полотно высыпало доброе население небольшого города, кроме мобилизованных из передних вагонов, которые всегда освобождались от авральной работы и сейчас не приняли в ней участия.

Груды швырка на прогалине не могло хватить для загрузки тендера. В придачу требовалось распилить некоторое количество длинного тройника.

В хозяйстве паровозной бригады имелись пилы. Их распределили между желающими, разбившимися на пары. Получили пилу и профессор с зятем.

Из воинских теплушек в раздвинутые дверцы высывались веселые рожи. Не бывавшие в огне подростки, старшие ученики мореходных классов, казалось, по ошибке затесавшиеся в вагон к суровым семейным рабочим, тоже не нюхавшим пороху и едва прошедшим военную подготовку, нарочно шумели и дурачились вместе с более взрослыми матросами, чтобы не задумываться. Все чувствовали, что час испытания близок.

Шутники провожали пыльщиком и пыльщиц раскатистым зубоскальством:

— Эй, дедушка! Скажи,— я грудной, меня мамка не отлучила, я к физическому труду неспособный.— Эй, Мавра! Мотри пилой подола не отпили, продувать будет.— Эй, молодая! Не ходи в лес, лучше поди за меня замуж.

В лесу торчало несколько козел, сделанных из связанных крест на крест кольев, концами вбитых в землю. Одни оказались свободными. Юрий Андреевич и Александр Александрович расположились пить на них.

Это была та пора весны, когда земля выходит из-под снега почти в том виде, в каком полгода тому назад она ушла под снег. Лес обдавал сыростью и весь был завален прошлогодним листом, как неубранная комната, в которой рвали на клочки квитанции, письма и повестки за много лет жизни, и не успели подмести.

— Не так часто, установите,— говорил доктор Александру Александровичу, направляя движение пилы реже и размереннее, и предложил отдохнуть.

По лесу разносился хриплый звон других пил, ходивших взад и вперед то в лад у всех, то вразнобой. Где-то далеко-далеко пробовал силы первый соловей. С еще более долгими перерывами свистал, точно продувая засоренную флейту, черный дрозд. Даже пар из паровозного клапана подымался к небу с певучей воркотнею, словно это было молоко, закипающее в детской на спиртовке.

— Ты о чем-то хотел побеседовать,— напомнил Александр Александрович.— Ты не забыл? Дело было так: мы разлив проезжали, утки летели, ты задумался и сказал: «Мне надо будет поговорить с вами».

— Ах да. Не знаю, как бы это выразить покороче. Видите, мы всё больше углубляемся... Тут весь край в брожении. Мы скоро приедем. Неизвестно, что мы застанем у цели. На всякий случай надо бы сговориться. Я не об убеждениях. Было бы нелепостью выяснять или устанавливать их в пятиминутной беседе в весеннем лесу. Мы знаем друг друга хорошо. Мы втроем, вы, я и Тоня, вместе со многими в наше время составляем один мир, отличаясь друг от друга только степенью его постижения. Я не об этом. Это азбука. Я о другом. Нам надо уговориться заранее, как нам вести себя при некоторых обстоятельствах, чтобы не краснеть друг за друга и не накладывать друг на друга пятна позора.

— Довольно. Я понял. Мне нравится твоя постановка вопроса. Ты нашел именно нужные слова. Вот что я скажу тебе. Помнишь ночь, когда ты принес листок с первыми декретами, зимой в метель. Помнишь, как это было неслыханно безоговорочно. Эта прямолинейность покоряла. Но такие вещи живут в первоначальной чистоте только в головах создателей и то только в первый день провозглашения. Иезуитство политики на другой же день выворачивает их наизнанку. Что мне сказать тебе? Эта философия чужда мне. Эта власть против нас. У меня не спрашивали согласия на эту ломку. Но мне проверили, а мои поступки, даже если я совершил их вынужденно, меня обязывают.

Тоня спрашивает, не опоздаем ли мы к огородным срокам, не прозеваем ли времени посадки. Что ей ответить? Я не знаю здешней почвы. Каковы климатические условия? Слишком короткое лето. Вызревает ли тут вообще что-нибудь?

Да, но разве мы едем в такую даль огородничать? Тут нельзя даже скаламбурить «за семь верст киселя хлебать», потому что верст этих, к сожалению, три или четыре тысячи. Нет, откровенно говоря, тащимся мы так далеко совсем с другой целью. Едем мы попробовать прозаять по современному, и как-нибудь примазаться к разбазариванию бывших дедушкиных лесов, машин и инвентаря. Не к восстановлению

его собственности, а к ее расточению, к обобществленному просаживанию тысяч, чтобы просуществовать на копейку, и непременно как всё, в современной, не укладывающейся в сознании, хаотической форме. Озолоти меня, я на старых началах не приму завода даже в подарок. Это было бы так же дико, как начать бегать голышом, или пере забыть грамоту. Нет, история собственности в России кончилась. А лично мы, Громеко, расстались со страстью стяжательства уже в прошлом поколении.

## 27

Спать не было возможности от духоты и спертого воздуха. Голова доктора плавала в поту на промокшей от пота подушке.

Он осторожно спустился с края полатей и тихонько, чтобы никого не будить, приотдвинул вагонную дверь.

В лицо ему пахло сыростью, липкой, как когда в погребке лицом попадешь в паутину. «Туман»,— догадался он.— «Туман. День наверное будет знойный, палящий. Вот почему так трудно дышать и на душе такая давящая тяжесть».

Перед тем как сойти на полотно, доктор постоял в дверях, вслушиваясь кругом.

Поезд стоял на какой-то очень большой станции, разряда узловых. Кроме тишины и тумана, вагоны были погружены еще в какое-то небытие и заброшенность, точно о них забыли,— знак того, что состав стоял на самых задворках, и что между ним и далеким вокзальным зданием было большое расстояние, занятое бесконечной сетью путей.

Два рода звуков слабо раздавались в отдалении.

Сзади, откуда они приехали, слышалось мерное шлепанье, словно там полоскали белье, или ветер щелкал о древко флагштока мокрым полотнищем флага.

Спереди доносился рокот, заставивший доктора, побывавшего на войне, вздрогнуть и напечь слух.

«Дальнобойные орудия»,— решил он, прислушавшись к ровному, спокойно прокатывающемуся гулу на низкой, сдержанной ноте.

«Вот как. К самому фронту подъехали»,— подумал доктор, покачал головой и спрыгнул с вагона вниз на землю.

Он прошел несколько шагов вперед. За двумя следующими вагонами поезд обрывался. Состав стоял без паровоза, который куда-то ушел вместе с отцепленными передними вагонами.

«То-то они вчера храбрились,— подумал доктор.— Чувствовали видно, что лишь доведут их, с места бросят в самый огонь».

Он обошел конец поезда в намерении пересечь пути и разыскать дорогу на станцию. За углом вагона как из-под земли вырос часовой с ружьем. Он негромко отрезал:

— Куда? Пропуск!

— Какая это станция?

— Станция никакая. Сам ты кто такой?

— Я доктор из Москвы. Следую с семьей в этом эшелоне. Вот мой документ.

— Лыковое кулё твой документ. Дурак я впотьмах бумажки читать, глаза портить. Видишь, туман. Тебя без документа за версту видно, какой ты есть доктор. Вон доктора твои из двенадцатидюймовых содят. По-настоящему стукнуть бы тебя, да рано. Марш назад, пока цел.

«Меня за кого-то принимают»,— подумал доктор. Вступать в пререкания с часовым было бессмысленно. Лучше, правда, было удалиться, пока не поздно. Доктор повернул в противоположную сторону.

Орудийная стрельба смолкла за его спиной. В том направлении был восток. Там в дымке тумана взошло солнце и тускло проглядывало между обрывками проплывающей мглы, как мелькают голые в бане в облаках мыльного пара.

Доктор шел вдоль вагонов поезда. Он миновал их все и продолжал идти дальше. Ноги его с каждым шагом уходили всё глубже в рыхлый песок.

Звуки равномерного шлепанья приближались. Местность отлого спускалась. Через несколько шагов доктор остановился перед неясными очертаниями, которым туман придавал несоответственно большие размеры. Еще шаг, и навстречу Юрию Андреевичу вынырнули из мглы кормовые выступы вытасненных на берег лодок. Он стоял на берегу широкой реки, медленно и устало шлепавшей ленивой зыбью в борта рыбацких баркасов и доски береговых причальных мостков.

— Тебе кто тут позволил шляться? — спросил, отделившись от берега, другой часовой.

— Какая это река? — против воли выпалил доктор, хотя всеми силами души не хотел ничего спрашивать после недавнего опыта.

Вместо ответа часовой сунул в зубы свисток, но не успел им воспользоваться. Первый часовой, которого он хотел подозвать свистком и который, как оказалось, незаметно шел по пятам за Юрием Андреевичем, сам подошел к товарищу. Оба заговорили.

— Тут и думать нечего. Видно птицу по полету. «Это какая станция, это какая река?» Чем вздумал глаза отводить. По-твоему как, прямо на мысок, или вперед в вагон?

— Я полагаю, в вагон. Как начальник скажет.— Удостоверение личности,— рявкнул второй часовой и схватил в горсть пачку протянутых доктором свидетельств.

— Постереги, земляк,— неизвестно кому сказал он и вместе с первым часовым пошел вглубь путей к станции.

Тогда для уяснения положения крикнул и задвигался лежавший на песке человек, видимо, рыбак:

— Твое счастье, что они тебя к самому хотят. Может, милый человек, тут твое спасение. А только ты их не вини. Такая у них должность. Время народное. Может, оно и к лучшему. А пока, и не говори. Они, видишь, обознались. Они лавят, лавят одного. Ну, думают,— ты. Думают, вот он, злодей рабочей власти,— поймали. Ошибка. Ты, в случае чего, добивайся главного. А этим не давайся. Эти — сознательные, беда, не приведи Бог. Порешить тебя это им полкопейки не стоит. Они скажут,— пойдём, а ты не ходи. Ты говори — мне чтобы главного.

От рыбака Юрий Андреевич узнал, что река, перед которой он стоял,— знаменитая судоходная река Рыньва, что железнодорожная станция близ реки — Развилье, речное фабричное предместье города Юрятина. Он узнал, что самый Юрятин, лежащий в двух или трех верстах выше, все время отбивали и, кажется, уже отбили от белых. Рыбак рассказал ему, что и в Развилье были беспорядки и тоже, кажется, подавлены и что кругом царит такая тишина, потому что прилегающая к станции полоса очищена от гражданского населения и окружена строжайшим кордоном. Он узнал, наконец, что среди поездов, стоящих на путях с размещенными в них военными учреждениями, находится особый поезд краевого военкома Стрельникова, в вагон которого понесли докторовы бумаги.

Оттуда за доктором через некоторое время явился новый часовой, отличавшийся от предшественников тем, что волочил ружье прикладом по земле или переставлял его перед собой, точно тащил под руку выпившего приятеля, который без него свалился бы наземь. Он повел доктора в вагон к военному.

В одном из двух, соединенных между собою крытых кожаны́м переходом салон-вагонов, в который, сказав караулу пропуск, поднялся часовой с доктором, слышались смех и движение, мгновенно смолкшие при их появлении.



Часовой по узкому коридору провел доктора в широкое среднее отделение. Тут были тишина и порядок. В чистом удобном помещении работали опрятные, хорошо одетые люди. Совсем другой представлял себе доктор штабквартиру беспартийного военспеца, ставшего в короткое время славой и грозой целой области.

Но наверное центр его деятельности лежал не тут, а где-нибудь впереди, в штабе фронта, ближе к месту военных действий, здесь же находилась его личная часть, его небольшая домашняя канцелярия и его передвижная походная койка.

Вот отчего тут было покойно, как в коридорах горячих морских купален, устланных пробкою и ковриками, по которым неслышно ступают служащие в мягких туфлях.

Среднее отделение вагона представляло бывший обеденный зал, покрытый ковром и превращенный в экспедиторскую. В нем стояло несколько столов.

«Сейчас»,— сказал молодой военный, сидевший всего ближе ко входу. После этого все за столами сочли себя вправе забыть о докторе и перестали обращать на него внимание. Этот же военный рассеянным наклоном головы отпустил часового, и тот удалился, гремя ружейным прикладом по металлическим поперечинам коридора.

Доктор с порога увидал свои бумаги. Они лежали на краю последнего стола перед более пожилым военным старой полковничьей складки. Это был какой-то военный статистик. Мурлыча что-то под нос, он заглядывал в справочники, рассматривал военные карты, что-то сличал, сближал, вырезывал и наклеивал. Он обвел взглядом все окна в помещении, одно за другим, и сказал: «Жарко будет сегодня», точно получил этот вывод из обзора всех окон, и это не было одинаково ясно из каждого.

По полу между столами ползал военный техник, восстанавливая какую-то нарушенную проводку. Когда он подполз под стол молодого военного, тот встал, чтобы не мешать ему. Рядом билась над испорченной пишущей машинкой переписчица в мужской защитной куртке. Движущаяся каретка заскочила у нее слишком вбок и ее защемило в раме. Молодой военный стал за ее табуретом и исследовал вместе с нею причину поломки сверху. К машинистке переполз военный техник и рассматривал рычажки и передачу снизу. Встав со своего места, к ним перешел командир полковничьей складки. Все занялись машинкой.

Это успокаивало доктора. Нельзя было предположить, чтобы люди, лучше его посвященные в его вероятную участь, так беспечно предавались пустякам в присутствии человека обреченного.

«Впрочем, кто их знает?»— думал он.— «Откуда их безмятежность? Рядом ухают пушки, гибнут люди, а они составляют прогноз жаркого дня не в смысле жаркой схватки, а жаркой погоды. Или они столько насмотрелись, что всё в них притупилось?»

И от нечего делать он стал со своего места смотреть через все помещение в противоположные окна.

Перед поездом с этой стороны тянулся остаток путей и виднелась станция Развилье на горе в одноименном предместье.

С путей к станции вела некрашенная деревянная лестница с тремя площадками.

Рельсовые пути с этой стороны представляли большое паровозное кладбище. Старые локомотивы без тендеров с трубами в форме чаш и сапожных голенищ стояли обращенные труба к трубе среди груд вагонного лома.

Паровозное кладбище внизу и кладбище пригорода, мятое железо на путях и ржавые крыши и вывески окраины сливались в одно зре-

лице заброшенности и ветхости под белым небом, обваренным раннею утреннею жарою.

В Москве Юрий Андреевич забыл, как много в городах попадалось вывесок, и какую большую часть фасада они закрывали. Здешние вывески ему об этом напомнили. Половину надписей по величине букв можно было прочесть с поезда. Они так низко налезали на кривые оконца покосившихся одноэтажных строений, что приземистые домишки под ними исчезали, как головы крестьянских ребятишек в низко надвинутых отцовских картузах.

К этому времени туман совершенно рассеялся. Следы его оставались только в левой стороне неба, вдали на востоке. Но вот и они шевельнулись, двинулись и разошлись, как полы театрального занавеса.

Там, верстах в трех от Развилья, на горе, более высокой, чем предместье, выступил большой город, окружной или губернский. Солнце придавало его краскам желтоватость, расстояние упрощало его линии. Он ярусам лепился на возвышенности, как гора Афон или скит пустынножителей на дешевой лубочной картинке, дом на доме и улица над улицей, с большим собором посередине на макушке.

«Юрятин!» — взволнованно сообразил доктор. — «Предмет воспоминаний покойницы Анны Ивановны и частых упоминаний сестры Антиповой! Сколько раз я слышал от них название города и при каких обстоятельствах вижу его впервые!»

В эту минуту внимание военных, склонившихся над машинкой, было привлечено чем-то за окном. Они повернули туда головы. Последовал за их взглядом и доктор.

По лестнице на станцию вели несколько захваченных в плен или арестованных, среди них гимназиста, раненного в голову. Его где-то уже перевязали, но из-под повязки сочилась кровь, которую он размазывал ладонью по загорелому, потному лицу.

Гимназист между двумя красноармейцами, замыкавший шествие, останавливал внимание не только решительностью, которою дышало его красивое лицо, и жалостью, которую вызывал такой молодой мятежник. Он и двое его сопровождающих притягивали взгляды бестолковостью своих действий. Они все время делали не то, что надо было делать.

С обмотанной головы гимназиста поминутно сваливалась фуражка. Вместо того чтобы снять ее и нести в руках, он то и дело поправлял ее и напяливал ниже, во вред перевязанной ране, в чем ему с готовностью помогали оба красноармейца.

В этой нелепости, противной здравому смыслу, было что-то символическое. И уступая ее многозначительности, доктору тоже хотелось выбежать на площадку и остановить гимназиста готовым, равным наружу изречением. Ему хотелось крикнуть и мальчику, и людям в вагоне, что спасение не в верности формам, а в освобождении от них.

Доктор перевел взгляд в сторону. Посреди помещения стоял Стрельников, только что сюда вошедший прямыми, стремительными шагами.

Как мог он, доктор, среди такой бездны неопределенных знакомств, не знать до сих пор такой определенности, как этот человек? Как не столкнула их жизнь? Как их пути не скрестились?

Неизвестно почему, сразу становилось ясно, что этот человек представляет законченное явление воли. Он до такой степени был тем, чем хотел быть, что и всё на нем и в нем неизбежно казалось образцовым. И его соразмерно построенная и красиво поставленная голова, и стремительность его шага, и его длинные ноги в высоких сапогах, может быть грязных, но казавшихся начищенными, и его гимнастерка серого сукна, может быть мятая, но производившая впечатление глаженной, полотняной.

Так действовало присутствие одаренности, естественной, не знающей натянутости, чувствующей себя, как в седле, в любом положении земного существования.

Этот человек должен был обладать каким-то даром, не обязательно самобытным. Дар, проглядывавший во всех его движениях, мог быть даром подражания. Тогда все кому-нибудь подражали. Прославленным героям истории. Фигурам, виденным на фронте или в дни волнений в городах, и поразившим воображение. Наиболее признанным народным авторитетам. Вышедшим в первые ряды товарищам. Просто друг другу.

Он из вежливости не показал, что присутствие постороннего удивляет его или стесняет. Наоборот, он обратился ко всем с таким видом, точно он и доктора относил к их обществу. Он сказал:

— Поздравляю. Мы их отогнали. Это кажется военною игрою, а не делом, потому что они такие же русские, как мы, только с дурью, с которой они сами не желают расстаться и которую нам придется выбивать силой. Их командующий был моим другом. Он еще более пролетарского происхождения, чем я. Мы росли на одном дворе. Он много в жизни для меня сделал, я ему обязан. А я рад, что отбросил его за реку, а может быть, и дальше. Скорей налаживайте связь, Гурьян. Нет возможности держаться на одних вестовых и телеграфе. Вы обратили внимание, какая жара? Часа полтора я все-таки поспал. Ах да...— спохватился он и повернулся к доктору. Ему вспомнилась причина его пробуждения. Его разбудили какой-то чепухой, в силу которой стоит тут этот задержанный.

«Этот?» — подумал Стрельников, смерив доктора с головы до ног испытующим взглядом.— «Ничего похожего. Вот дураки!» — Он рассмеялся и обратился к Юрию Андреевичу.

— Простите, товарищ. Вас приняли за другого. Мои часовые напутали. Вы свободны. Где трудовая книжка товарища? Ага, вот ваши документы. Извините за нескромность, мимоходом позволю себе заглянуть. Живаго... Живаго... Доктор Живаго... Что-то московское... Пройдемте, знаете, всё же на минуту ко мне. Это — секретариат, а мой вагон рядом. Пожалуйста. Я вас долго не задержу.

## 30

Кто же был, однако, этот человек? Удивительно, как на такие посты выдвинулся и мог на них удержаться беспартийный, которого никто не знал, потому что, будучи родом из Москвы, он по окончании университета уехал учительствовать в провинцию, а с войны попал надолго в плен, до недавнего времени отсутствовал и считался погибшим.

Передовой железнодорожник Тиверзин, в семье которого Стрельников воспитывался мальчиком, рекомендовал его и за него поручился. Люди, от которых зависели назначения того времени, ему поверили. В дни неумеренного пафоса и самых крайних взглядов, революционность Стрельникова, тоже ни перед чем не останавливавшегося, выделялась своей подлинностью, фанатизмом, не напетым с чужого голоса, а подготовленным всею его жизнью и не случайным.

Стрельников оправдал оказанное ему доверие.

Его послужной список последнего периода содержал Усть-Немдинское и Нижне-Кельмесское дела, дело Губасовских крестьян, оказавших вооруженное сопротивление продовольственному отряду, и дело о разграблении маршрута с продовольствием четырнадцатым пехотным полком на станции Медвежья пойма. В его формуляр входило дело о солдатах-разинцах, поднявших восстание в городе Туркатуе и с оружием в руках перешедших на сторону белогвардейцев, и дело о военном мятеже на речной пристани Чиркин ус, с убийством командира, оставшегося верным советской власти.

Во все эти места он сваливался, как снег на голову, судил, приговаривал, приводил приговоры в исполнение, быстро, сурово, бестрепетно.

Разъездами его поезда был положен предел повальному дезертирству в крае. Ревизия рекрутирующих организаций всё изменила. Набор в Красную армию пошел успешно. Приемочные комиссии заработали лихорадочно.

Наконец, в последнее время, когда белые стали наседать с севера и положение было признано угрожающим, на Стрельникова возложили новые задачи, непосредственно военные, стратегические и оперативные. Результаты его вмешательства не замедлили сказаться.

Стрельников знал, что молва дала ему прозвище Расстрельникова. Он спокойно перешагнул через это, он ничего не боялся.

Он был родом из Москвы и был сыном рабочего, принимавшего в девятьсот пятом году участие в революции и за это пострадавшего. Сам он остался в эти годы в стороне от революционного движения по причине малолетства, а в последующие годы, когда он учился в университете, вследствие того, что молодые люди из бедной среды, попадая в высшую школу, дорожат ею больше и занимаются прилежнее, чем дети богатых. Брожение обеспеченного студенчества его не затронуло. Из университета он вышел с огромными познаниями. Свое историко-филологическое образование он собственными силами пополнил математическим.

По закону он не обязан был идти в армию, но пошел на войну добровольцем, в чине прапорщика взят был в плен и бежал в конце семнадцатого года на родину, узнав, что в России революция.

Две черты, две страсти отличали его.

Он мыслил незаурядно ясно и правильно. И он в редкой степени владел даром нравственной чистоты и справедливости, он чувствовал горячо и благородно.

Но для деятельности ученого, пролагающего новые пути, его уму не доставало дара нечаянности, силы, непредвиденными открытиями нарушающей бесплодную стройность пустого предвидения.

А для того чтобы делать добро, его принципиальности не доставало беспринципности сердца, которое не знает общих случаев, а только частные, и которое велико тем, что делает малое.

Стрельников с малых лет стремился к самому высокому и светлому. Он считал жизнь огромным ристалищем, на котором, честно соблюдая правила, люди состязаются в достижении совершенства.

Когда оказалось, что это не так, ему не пришло в голову, что он не прав, упрощая миропорядок. Надолго загнав обиду внутрь, он стал лелеять мысль стать когда-нибудь судьей между жизнью и коверкающими ее темными началами, выйти на ее защиту и отомстить за нее.

Разочарование ожесточило его. Революция его вооружила.

— Живаго, Живаго,— продолжал повторять Стрельников у себя в вагоне, куда они перешли.— Что-то купеческое. Или дворянское. Ну да: доктор из Москвы. В Варыкино. Странно. Из Москвы и вдруг в такой медвежий угол.

— Именно с этой целью. В поисках тишины. В глушь, в неизвестность.

— Скажите, какая поэзия. Варыкино? Здешние места мне знакомы. Бывшие Крюгеровские заводы. Часом не родственнички? Наследники?

— К чему этот насмешливый тон? Причем тут «наследники»? Хотя жена действительно...

— Ага, вот видите. По белым стосковались? Разочарую. Опоздали. Округ очищен.

— Вы продолжаете издеваться?

— И затем — доктор. Военный. А время военное. Это уже прямо по моей части. Дезертир. Зеленые тоже уединяются в лесах. Ищут тишины. Основание?

— Дважды ранен и освобожден вчистую по негодности.

— Сейчас вы представите записку Наркомпроса или Наркомздрава, рекомендующую вас как «вполне советского человека», как «сочувствующего» и удостоверяющую вашу «лояльность». Сейчас страшный суд на земле, милостивый государь, существа из апокалипсиса с мечами и крылатые звери, а не вполне сочувствующие и лояльные доктора. Впрочем, я сказал вам, что вы свободны, и не изменю своему слову. Но только на этот раз. Я предчувствую, что мы еще встретимся, и тогда разговор будет другой, берегитесь.

Угроза и вызов не смутили Юрия Андреевича. Он сказал:

— Я знаю всё, что вы обо мне думаете. Со своей стороны вы совершенно правы. Но спор, в который вы хотите втянуть меня, я мысленно веду всю жизнь с воображаемым обвинителем и, надо думать, имел время притти к какому-то заключению. В двух словах этого не скажешь. Позвольте мне удалиться без объяснений, если я действительно свободен, а если нет — распоряжайтесь мною. Оправдываться мне перед вами не в чем.

Их прервало верещанье гудка. Телефонная связь была восстановлена.

— Спасибо, Гурьян, — сказал Стрельников, подняв трубку и дунув в нее несколько раз. — Пришлите, голубчик, какого-нибудь провожатого товарищу Живаго. Как бы опять чего-нибудь не случилось. И развильевскую уточку мне, пожалуйста, управление транспортным чека в Развилье.

Оставшись один, Стрельников протелефонировал на вокзал:

— Мальчика тут провели, насовывает шапку на уши, а голова забинтована, безобразие. Да. Подать медицинскую помощь, если нужно. Да, как зеницу ока, лично будете отвечать передо мной. Паек, если потребуется. Так. А теперь о делах. Я говорю, я не кончил. Ах, чорт, кто-то третий затесался. Гурьян! Гурьян! Разъединили.

«Может быть из моих пригостишек», — думал он, на минуту отложив попытку закончить разговор с вокзалом. — «Вырос и бунтует против нас». — Стрельников мысленно подсчитал года своего учительства и войны и плена, сойдется ли сумма с возрастом мальчика. Потом через вагонное окно стал разыскивать в видневшейся на горизонте панораме тот район над рекой, у выезда из Юртына, где была их квартира. А вдруг жена и дочь до сих пор там? Вот бы к ним! Сейчас, сию минуту! Да, но разве это мыслимо? Это ведь из совсем другой жизни. Надо сначала кончить эту, новую, прежде чем вернуться к той, прерванной. Это будет когда-нибудь, когда-нибудь. Да, но когда, когда?

## ВТОРАЯ КНИГА

### Часть восьмая

#### ПРИЕЗД

##### 1

Поезд, доvezший семью Живаго до этого места, еще стоял на задних путях станции, засланный другими составами, но чувствовалось, что связь с Москвою, тянувшаяся всю дорогу, в это утро порвалась, кончилась.

Начиная отсюда открывался другой территориальный пояс, иной мир провинции, тяготеющей к другому, своему, центру притяжения.

Здесь люди знали друг друга ближе, чем столичные. Хотя железнодорожная зона Юртин-Развилье была очищена от посторонних и оцеплена красными войсками, местные пригородные пассажиры непонятным образом проникали на пути, «просачивались», как сейчас бы сказали. Они уже набились в вагон, ими полны были дверные пролеты теплушек, они ходили по путям вдоль поезда и стояли на насыпи у входов в свои вагоны.

Эти люди были поголовно между собою знакомы, переговаривались издали, здоровались, поровнявшись друг с другом. Они немного иначе одевались и разговаривали, чем в столицах, ели не одно и то же, имели другие привычки.

Занимательно было узнать, чем они жили, какими нравственными и материальными запасами питались, как боролись с трудностями, как обходили законы?

Ответ не замедлил явиться в самой живой форме.

## 2

В сопровождении часового, тащившего ружье по земле и подпиравшегося им, как посохом, доктор возвращался к своему поезду.

Парило. Солнце раскаляло рельсы и крыши вагонов. Черная от нефти земля горела желтым отливом, как позолотой.

Часовой бороздил прикладом пыль, оставляя на песке след за собой. Ружье со стуком задевало за шпалы. Часовой говорил:

— Установилась погода. Яровые сеять, овес, белотурку или, скажем, просо, самое золотое время. А гречиху рано. Гречиху у нас на Акулину сеют. Моршанские мы, Тамбовской губернии, нездешние. Эх, товарищ доктор! Кабы сейчас не эта гидра гражданская, моровая контра, нешто я стал бы в такую пору на чужой стороне пропадать? Черной кошкой классовою она промеж нас пробежала, и вишь, что делает!

## 3

— Спасибо. Я сам,— отказывался Юрий Андреевич от предложенной помощи. Из теплушки нагибались, протягивали ему руки, чтобы посадить. Он подтянулся, прыжком поднялся в вагон, стал на ноги и обнялся с женою.

— Наконец-то. Ну слава, слава Богу, что все так кончилось,— твердила Антонина Александровна.— Впрочем, этот счастливый исход для нас не новость.

— Как не новость?

— Мы всё знали.

— Откуда?

— Часовые доносили. А то разве вынесли бы мы неизвестность? Мы и так с папой чуть с ума не сошли. Вон спит, не добудишься. Как сноп повалился от перенесенного волнения,— не растолкать. Есть новые пассажиры. Сейчас я тебя кое с кем познакомлю. Но вперед послушай, что кругом говорят. Весь вагон поздравляет тебя со счастливым избавлением.— Вот он у меня какой!— неожиданно переменила она разговор, повернула голову — и через плечо представила мужа одному из вновь насевших пассажиров, сдавленному соседями, сзади, в глубине теплушки.

— Самдевятов,— послышалось оттуда, над скоплением чужих голов поднялась мягкая шляпа и назвавшийся стал протискиваться через гущу сдавивших его тел к доктору.

«Самдевятов»,— размышлял Юрий Андреевич тем временем.— «Я думал, что-то старорусское, былинное, окладистая борода, поддевка, ремешок наборный. А это общество любителей художеств какое-то, кудри с проседью, усы, эспаньолка».

— Ну что, задал вам страху Стрельников? Сознайтесь.

— Нет, отчего же? Разговор был серьезный. Во всяком случае человек сильный, значительный.

— Еще бы. Имею представление об этой личности. Не наш уроженец. Ваш, московский. Равно как и наши новшества последнего времени. Тоже ваши столичные, завозные. Своим умом бы не додумались.

— Это Анфим Ефимович, Юрочка,— всевед — всезнайка. Про тебя слышал, про твоего отца, дедушку моего знает, всех, всех. Знакомьтесь.— И Антонина Александровна спросила мимоходом, без выражения:— Вы наверное и учительницу здешнюю Антипову знаете?— На что Самдевятю ответил так же невыразительно:— А на что вам Антипова?— Юрий Андреевич слышал это и не поддержал разговора. Антонина Александровна продолжала:

— Анфим Ефимович — большевик. Берегись, Юрочка. Держи с ним ухо остро.

— Нет, правда? Никогда бы не подумал. По виду скорее что-то артистическое.

— Отец постоянный двор держал. Семь троек в разгоне ходило. А я с высшим образованием. И, действительно, социал-демократ.

— Послушай, Юрочка, что Анфим Ефимович говорит. Между прочим, не во гнев вам будь сказано, имя отчество у вас — язык сломаешь.— Да, так слушай, Юрочка, что я тебе скажу. Нам ужасно повезло. Юртин-город нас не принимает. В городе пожары и мост взорван, нельзя проехать. Поезд передадут обходом по соединительной ветке на другую линию, и как раз на ту, которая нам требуется, на которой стоит Торфяная. Ты подумай! И не надо пересаживаться и с вещами тащиться через город с вокзала на вокзал. Зато нас здорово поматают из стороны в сторону, пока по-настоящему поедем. Будем долго маневрировать. Мне это все Анфим Ефимович объяснил.

## 4

Предсказания Антонины Александровны сбылись. Перецепляя свои вагоны и добавляя новые, поезд без конца разъезжал взад и вперед по забитым путям, вдоль которых двигались и другие составы, долго заграждавшие ему выход в открытое поле.

Город наполовину терялся вдаль, скрытый покатолями местности. Он лишь изредка показывался над горизонтом крышами домов, кончиками фабричных труб, крестами колоколен. В нем горело одно из предместий. Дым пожара относил ветром. Он развевающейся конскою гривой тянулся по всему небу.

Доктор и Самдевятю сидели на полу теплушки с краю, свесив за порог ноги. Самдевятю все время что-то объяснял Юрию Андреевичу, показывая вдаль рукою. Временами грохот раскатившейся теплушки заглушал его, так что ничего нельзя было слышать. Юрий Андреевич переспрашивал. Анфим Ефимович приближал лицо к доктору и, надрываясь от крика, повторял сказанное прямо ему в уши.

— Это иллюзион «Гигант» зажгли. Там юнкеры засели. Но они раньше сдались. Вообще, бой еще не кончился. Видите черные точки на колокольне. Это наши. Чеха снимают.

— Ничего не вижу. Как это вы все различаете?

— А это Хохрики горят, ремесленная окраина. А Колодеево, где находятся торговые ряды, в стороне. Меня почему это интересует. В рядах двор наш. Пожар небольшой. Центр пока не затронут.

— Повторите. Не слышу.

— Я говорю,— центр, центр города. Собор, библиотека. Наша фамилия, Самдевятювы, это переделанное на русский лад Сан Донато. Будто из Демидовых мы.

— Опять ничего не разобрал.

— Я говорю,— Самдевятовы это видоизмененное Сан Донато. Будто из Демидовых мы. Князья Демидовы Сан Донато. А может, так, вранье. Семейная легенда. А эта местность называется Спирькин низ. Дачи, места увеселительных прогулок. Правда, странное название?

Перед ними простиралось поле. Его в разных направлениях перерезали ветки железных дорог. По нему семимильными шагами удалялись, уходя за небосклон, телеграфные столбы. Широкая мощеная дорога извивалась лентою, соперничая красотой с рельсовым путем. Она то скрывалась за горизонтом, то на минуты выставлялась волнистою дугой поворота. И пропадала вновь.

— Тракт наш знаменитый. Через всю Сибирь проложен. Каторгой воспет. Плацдарм партизанщины нынешней. Вообще, ничего у нас. Обживетесь, привыкнете. Городские курьезы полюбите. Водоразборные будки наши. На перекрестках. Зимние клубы женские под открытым небом.

— Мы не в городе поселимся. В Варыкине.

— Знаю. Мне жена ваша говорила. Все равно. По делам будете в город ездить. Я с первого взгляда догадался, кто она. Глаза. Нос. Лоб. Вылитый Крюгер. Вся в дедушку. В этих краях все Крюгера помнят.

По концам поля краснели высокие круглостенные нефтехранилища. Торчали промышленные рекламы на высоких столбах. Одна из них, два раза попавшаяся на глаза доктору, была со словами:

«Моро и Вечинкин. Сеялки. Молотилки».

— Солидная фирма была. Отличные сельскохозяйственные орудия производила.

— Не слышу. Что вы сказали?

— Фирма, говорю. Понимаете,— фирма. Сельскохозяйственные орудия выпускала. Товарищество на паях. Отец акционером состоял.

— А вы говорили,— двор постоянный.

— Двор двором. Одно другому не мешает. А он, не будь дурак, в лучшие предприятия деньги помещал. В иллюзион «Гигант» были вложены.

— Вы, кажется, этим гордитесь?

— Смекалкой отцовой? Еще бы!

— А как же социал-демократия ваша?

— А она при чем, помилуйте? Где это сказано, что человек, рассуждающий по-марксистски, должен размазною быть и слюни распускать? Марксизм — положительная наука, учение о действительности, философия исторической обстановки.

— Марксизм и наука? Спорить об этом с человеком мало знакомым по меньшей мере неосмотрительно. Но куда ни шло. Марксизм слишком плохо владеет собой, чтобы быть наукою. Науки бывают уравновешеннее. Марксизм и объективность? Я не знаю течения, более обособившегося в себе и далекого от фактов, чем марксизм. Каждый озабочен проверкою себя на опыте, а люди власти ради басни о собственной непогрешимости всеми силами отворачиваются от правды. Политика ничего не говорит мне. Я не люблю людей, безразличных к истине.

Самдевятов считал слова доктора выходками чудака-острослова. Он только посмеивался и не возражал ему.

Тем временем поезд маневрировал. Каждый раз, как он доезжал до выходной стрелки у семафора, пожилая стрелочница с привязанным к кушаку молочным бидоном, перекладывала вязание, которым была занята, из одной руки в другую, нагибалась, перекидывала диск переводной стрелки и возвращала поезд задним ходом обратно. Пока он мало-помалу откатывался, она выпрямлялась и грозила кулаком вслед ему.

Самдевятов принимал ее движение на собственный счет. «Кому это она?» — задумывался он.— «Что-то знакомое. Не Тунцева ли? Похоже — она. Впрочем, что я? Едва ли. Больно стара для Глашки. И при чем



я тут? На Руси-матушке перевороты, бестолочь на железных дорогах, ей, сердяге, наверное трудно, а я виноват и мне кулаком. А ну ее к чорту, из-за нее еще голову ломать!»

Наконец, помахав флагом и что-то крикнув машинисту, стрелочница пропустила поезд за семафор, на простор пути его следования, и когда мимо нее пронеслась четырнадцатая теплушка, показала язык намозолившим ей глаза болтунам на полу вагона. И опять Самдевятов задумался.

## 5

Когда окрестности горящего города, цилиндрические баки, телеграфные столбы и торговые рекламы отступили в даль и скрылись, и пошли другие виды, перелески, горки, между которыми часто показывались извивы тракта, Самдевятов сказал:

— Встанем и разойдемся. Мне скоро слезать. Да и вам через перегон. Смотрите не прозевайте.

— Здешние места вы, верно, знаете основательно?

— До умопомрачения. На сто верст в окружности. Я ведь юрист. Двадцать лет практики. Дела. Разъезды.

— И до настоящего времени?

— А как же.

— Какого порядка дела могут совершаться сейчас?

— А какие пожелаете. Старых незавершенных сделок, операций, невыполненных обязательств — по горло, до ужаса.

— Разве отношения такого рода не аннулированы?

— По имени, разумеется. А на деле в одно и то же время требуются вещи, друг друга исключаящие. И национализация предприятий, и топливо горсовету, и гужевая тяга губсовнархозу. И вместе с тем всем хочется жить. Особенности переходного периода, когда теория еще не сходится с практикой. Тут и нужны люди сообразительные, оборотистые, с характером, вроде моего. Блажен муж, иже не иде, возьму куш, ничего не видя. А часом и по мордасам, как отец говаривал. Полгубернии мною кормится. К вам буду наведываться, по делам лесоснабжения. На лошади, разумеется, только выходится. Последняя охромела. А то, была бы здорова, стал бы я на этой завали трястись! Ишь чорт, тащится, а еще машиной называется. В наезды свои в Варыкино вам пригожусь. Микулицыных ваших знаю как свои пять пальцев.

— Известна вам цель нашего путешествия, наши намерения?

— Приблизительно. Догадываюсь. Имею представление. Извечная тяга человека к земле. Мечта пропитаться своими руками.

— И что же? Вы, кажется, не одобряете? Что вы скажете?

— Мечта наивная, идиллическая. Но отчего же? Помогите вам Бог. Но не верю. Утопично. Кустарщина.

— Как отнесется к нам Микулицын?

— Не пустит на порог, выгонит помелом и будет прав. Тут у него и без вас содом, тысяча и одна ночь, бездействующие заводы, разбежавшиеся рабочие, в смысле средств к существованию ни хрена, бескормица, и вдруг вы, извольте радоваться, принесла нелегкая. Да ведь если он и убьет вас, я его оправдаю.

— Вот видите, вы — большевик и сами не отрицаете, что это не жизнь, а нечто беспримечное, фантазмагория, несуразица.

— Разумеется. Но ведь это историческая неизбежность. Через нее надо пройти.

— Почему же неизбежность?

— Что вы маленький, или притворяетесь? С луны вы свалились, что ли? Обжоры тунеядцы на голодающих тружениках ездили, загоняли до смерти и так должно было оставаться? А другие виды надругательства и тиранства? Неужели непонятна правомерность народного гнева, желание жить по справедливости, поиски правды? Или вам ка-

жется, что коренная ломка была достижима в думах, путем парламентаризма, и что можно обойтись без диктатуры?

— Мы говорим о разном и, хоть век проспору, ни о чем не столкнемся. Я был настроен очень революционно, а теперь думаю, что насильственностью ничего не возьмешь. К добру надо привлекать добром. Но дело не в этом. Вернемся к Микулицыну. Если таковы ожидающие нас вероятия, то зачем нам ехать? Нам надо повернуть оглобли.

— Какой вздор. Во-первых, разве только и свету в окошке, что Микулицыны? Во-вторых, Микулицын преступно добр, добр до крайности. Пошумит, покобенится и размякнет, рубашку с себя снимет, последнею коркою поделится.— И Самдевяттов рассказал.

## 6

Двадцать пять лет тому назад Микулицын студентом Технологического института приехал из Петербурга. Он был выслан сюда под надзор полиции. Микулицын приехал, получил место управляющего у Крюгера и женился. Тут у нас были четыре сестры Тунцевы, на одну больше, чем у Чехова,— за ними ухаживали все Юрятинские учащиеся,— Агриппина, Евдокия, Глафира и Серафима Севериновны. Перефразируя их отчество, девиц прозвали северянками. На старшей северянке Микулицын и женился.

Скоро у супругов родился сын. Из поклонения идее свободы дурак отец окрестил мальчика редким именем Ливерий. Ливерий, в просторечии Ливка, рос сорванцом, обнаруживая разносторонние и незаурядные способности. Грянула война. Ливка подделал года в метрике и пятнадцатилетним юнцом удрал добровольцем на фронт. Аграфена Севериновна, вообще болезненная, не вынесла удара, слегла, больше не вставала и умерла позапрошлой зимой, перед самой революцией.

Кончилась война. Вернулся Ливерий. Кто он? Это герой прапорщик с тремя крестами и, ну конечно, в лоск распропагандированный фронтовой делегат-большевик. Про «Лесных братьев» вы слышали?

— Нет, простите.

— Ну тогда нет смысла рассказывать. Половина эффекта пропадает. Тогда незачем вам из вагона на тракт глазеть. Чем он замечателен? В настоящее время — партизанщиной. Что такое партизаны? Это главные кадры гражданской войны. Два начала участвовали в создании этой силы. Политическая организация, взявшая на себя руководство революцией, и низовая солдатчина, после проигранной войны отказывающая в повиновении старой власти. Из соединения этих двух вещей — получилось партизанское воинство. Состав его пестрый. В основном это крестьяне-середняки. Но наряду с этим вы встретите в нем кого угодно. Есть тут и бедняки, и монахи расстриги, и воюющие с папашами кулацкие сынки. Есть анархисты идейные, и беспаспортные голоштанники, и великовозрастные, выгнанные из средних учебных заведений женихи оболтусы. Есть австрогерманские военнопленные, прельщенные обещанием свободы и возвращения на родину. И вот, одною из частей этой многотысячной народной армии, именуемой «Лесными братьями», командует товарищ Лесных, Ливка, Ливерий Аверкиевич, сын Аверкия Степановича Микулицына.

— Что вы говорите?

— То, что вы слышите. Однако, продолжаю. После смерти жены Аверкий Степанович женился вторично. Новая жена, Елена Прокловна — гимназистка, прямо со школьной скамьи привезенная под венец. Наивная от природы, но и с расчетом наивничаящая. молоденькая, но уже и молодящаяся. В этих видах трещит, щебечет, корчит из себя невинность, дурочку, полевого жаворонка. Только вас увидит, начнет экзаменовать. «В каком году родился Суворов?», «Перечислите случаи равенства треугольников». И будет ликовать, срезав вас и поса-

див в калошу. Но через несколько часов вы сами ее увидите и проверите мое описание.

У «самого» другие слабости: трубка и семинарская славянщина: «ничтоже сумняшеся, еже и понеже». Его поприщем должно было быть море. В институте он шел по кораблестроительной части. Это осталось во внешности, в привычках. Бреется, по целым дням не вынимает трубки изо рта, цедит слова сквозь зубы любезно, неторопливо. Выступающая нижняя челюсть курильщика, холодные серые глаза. Да чуть не забыл подробности: эсер, выбран от края в Учредительное Собрание.

— Так ведь это очень важно. Значит, отец и сын на ножах? Политические противники?

— Номинально, разумеется. А в действительности тайга с Варыкиным не воюет. Однако, продолжаю. Остальные Тунцевы, свояченицы Аверкия Степановича, по сей день в Юрятине. Девы вековуши. Переменились времена, переменялись и девушки.

Старшая из оставшихся, Авдотья Севериновна — библиотекаремшей в городской читальне. Милая, черненькая барышня, конфузливая до чрезвычайности. Ни с того ни с сего зардеется как пион. Тишина в читальном зале могильная, напряженная. Нападет хронический насморк, расчихается раз до двадцати, со стыда готова сквозь землю провалиться. А что вы поделаете? От нервности.

Средняя, Глафира Севериновна, благословение сестер. Бой-девка, чудо-работница. Никаким трудом не гнушается. Общее мнение, в один голос, что партизанский вожак Лесных в эту тетку. Вот ее видели в швейной артели или чулочницей. Не успеешь оглянуться, а она уже парикмахерша. Вы обратили внимание, на юрятинских путях стрелочница нам кулаком грозила? Вот те фунт, думаю, в сторожихи на дорогу Глафира определилась. Но, кажется, не она. Слишком стара.

Младшая, Симушка, — крест семьи, испытание. Ученая девушка, начитанная. Занималась философией, любила стихи. И вот в годы революции, под влиянием общей приподнятости, уличных шествий, речей на площадях с трибуны, тронулась, впала в религиозное помешательство. Уйдут сестры на службу, дверь на ключ, а она шашть в окно и пойдет махать по улицам, публику собирает, второе пришествие проповедует, конец света. Но я заговорился, к своей станции подъезжаю. Вам на следующей. Готовьтесь.

Когда Анфим Ефимович сошел с поезда, Антонина Александровна сказала:

— Я не знаю, как ты на это смотришь, но по-моему человек этот послан нам судьбой. Мне кажется, он сыграет какую-то благотворительную роль в нашем существовании.

— Очень может быть, Тонечка. Но меня не радует, что тебя узнают по сходству с дедушкой, и что его тут так хорошо помнят. Вот и Стрельников, едва я назвал Варыкино, ввернул язвительно: «Варыкино, заводы Крюгера. Часом не родственнички? Не наследники?»

Я боюсь, что тут мы будем больше на виду, чем в Москве, откуда бежали в поисках незаметности.

Конечно, делать теперь нечего. Снявши голову, по волосам не плачут. Но лучше не выказываться, скрадываться, держаться скромнее. Вообще у меня недобрые предчувствия. Давай будить наших, уложим вещи, стянем ремнями и приготовимся к высадке.

Антонина Александровна стояла на перроне в Торфяной, в несчетный раз пересчитывая людей и вещи, чтобы убедиться, что в вагоне ничего не забыли. Она чувствовала утопанный песок платформы под ногами, а между тем страх, как бы не проехать остановки, не

покинул ее, и стук идущего поезда продолжал шуметь в ее ушах, хотя глазами она убеждалась, что он стоит перед нею у перрона без движения. Это мешало ей что-либо видеть, слышать и соображать.

Дальние попутчики прощались с нею сверху, с высоты теплушки. Она их не замечала. Она не заметила, как ушел поезд, и обнаружила его исчезновение только после того, как обратила внимание на открывшиеся по его отбытии вторые пути с зеленым полем и синим небом по ту сторону.

Здание станции было каменное. У входа в него стояли по обеим сторонам две скамейки. Московские путники из Сивцева были единственными пассажирами, высадившимися в Торфяной. Они положили вещи и сели на одну из скамеек.

Приезжих поражала тишина на станции, безлюдие, опрятность. Им казалось непривычным, что кругом не толпятся, не ругаются. Жизнь по-захолустному отставала тут от истории, запаздывала. Ей предстояло еще достигнуть столичного одичания.

Станция пряталась в березовой роще. В поезде стало темно, когда он к ней подходил. По рукам и лицам, по чистому, сыровато-желтому песочку платформы, по земле и крышам сновали движущиеся тени, отбрасываемые ее едва колышущимися вершинами. Птичий свист в роще соответствовал ее свежести. Неприкрыто чистые, как неведение, полные звуки раздавались на весь лес и пронизывали его. Рощу прорезали две дороги, железная и проселочная, и она одинаково зашевелила обе своими разлетающимися, книзу клонящимися ветвями, как концами широких, до полу ниспадающих рукавов.

Вдруг у Антонины Александровны открылись глаза и уши. До ее сознания дошло все сразу. Звонкость птиц, чистота лесного уединения, безмятежность разлитого кругом покоя. У нее в уме была составлена фраза: «Мне не верилось, что мы доедем невредимыми. Он мог, понимаешь ли, твой Стрельников, великодушничать перед тобой и отпустить тебя, а сюда дать телеграфное распоряжение, чтобы всех нас задержали при посадке. Не верю я, милый мой, в их благородство. Все только показное». Вместо этих заготовленных слов она сказала другое.— Какая прелесть! — вырвалось у нее при виде окружающего очарования. Больше она не могла ничего выговорить. Ее стали душить слезы. Она громко расплакалась.

Заслышав ее всхлипывания, из здания вышел старичок начальник станции. Он мелкими шажками просеменил к скамейке, вежливо приложил руку к козырьку красноверхой форменной фуражки и спросил.

— Может быть, успокаивающих капель барышне? Из вокзальной аптечки.

— Пустяки. Спасибо. Обойдется.

— Путевые заботы, тревоги. Вещь известная, распространенная. Притом жара африканская, редкая в наших широтах. И вдобавок события в Юрятине.

— Мимоездом пожар из вагона наблюдали.

— Стало быть сами из России будете, если не ошибаюсь.

— Из Белокаменной.

— Московские? Тогда нечего удивляться, что нервы не в порядке у сударыни. Говорят, камня на камне не осталось?

— Преувеличивают. Но, правда, всего навидались. Вот это дочь моя, это зять. Вот малыш их. А это нянюшка наша молодая, Нюша.

— Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Отчасти предуведомлен. Самдеятвов Анфим Ефимович с разезда Сакмы по дорожному телефону навертел. Доктор Живаго с семьей из Москвы, прошу говорить, окажите всемерное содействие. Этот самый доктор, стало быть, вы и будете?

— Нет, доктор Живаго это он вот, мой зять, а я по другой части, по сельскому хозяйству, профессор агроном Громеко.

— Виноват, обознался. Извините. Очень рад познакомиться.

— Значит, судя по вашим словам, вы знаете Самдевятова?

— Как не знать его, волшебника. Надежда наша и кормилец. Без него давно бы мы тут ноги протянули. Да, говорит, окажи всемерное содействие. Слушаюсь, говорю. Пообещал. Так что лошадку, если потребуется, или иным чем поспособствовать. Вы куда намерены?

— Нам в Варыкино. Это как, далеко отсюда?

— В Варыкино? То-то я никак ума не приложу, кого ваша дочь наминает так. А вам в Варыкино! Тогда все объясняется. Ведь мы с Иваном Эрнестовичем дорогу эту вместе строили. Сейчас похлопочу, снарядим. Человека кликну, раздобудем подводу. Донат! Донат! Вещи снеси вот, пока суд да дело, в пассажирский зал, в ожидальную. Да как бы насчет лошади? Сбегай, брат, в чайную, спроси, нельзя ли? Слово бы утром Вакх тут маячил. Спроси, может не уехал? Скажи, в Варыкино свезти четверых, поклажи все равно что никакой. Ново-приезжие. Живо. А вам отеческий совет, сударыня. Я намеренно не спрашиваю вас о степени вашего родства с Иваном Эрнестовичем, но поосторожнее на этот счет. Не со всеми нараспашку. Времена какие, сами подумайте.

При имени Вакх приезжие изумленно переглянулись. Они еще помнили рассказы покойной Анны Ивановны о сказочном кузнеце, выковавшем себе неразрушающиеся внутренности из железа, и прочие местные рассказы и небылицы.

## 8

Их вез на белой ожеребившейся кобыле лопухий, лохматый, белый, как лунь, старик. Все на нем было белое по разным причинам. Новые его лапти не успели потемнеть от носки, а порты и рубаха вылиняли и побелели от времени.

За белою кобылой, вскидывая хрящеватые, неокостеневшие ноги, бежал вороной, черный, как ночь, жеребенок с курчавой головкой, похожий на резную кустарную игрушку.

Сидя по краям подскакивавшей на колдобинах телеги, путники держались за грядки, чтобы не свалиться. Мир был на душе у них. Их мечта сбывалась, они приближались к цели путешествия. Со щедрой широтой и роскошью медаили, задерживались предвечерние часы чудесного, ясного дня.

Дорога шла то лесом, то открытыми полянами. В лесу толчки от коряг сбивали едущих в кучу, они горбились, хмурились, тесно прижимались друг к другу. На открытых местах, где само пространство от полноты души как бы снимало шапку, путники разгибали спины, располагались просторнее, встряхивали головами.

Места были гористые. У гор, как всегда, был свой облик, своя физиономия. Они могучими, высокомерными тенями темнели вдали, молчаливо рассматривая едущих. Отрадно розовый свет следовал по полю за путешественниками, успокаивая, обнадеживая их.

Все нравилось им, все их удивляло, и больше всего неумолчная болтовня их старого чудаковатого возницы, в которой следы исчезнувших древнерусских форм, татарские наслоения и областные особенности перемешивались с невразумительностями его собственного изобретения.

Когда жеребенок отставал, кобыла останавливалась и поджидала его. Он плавно нагонял ее волнообразными, плещущими скачками. Неумелым шагом длинных, сближенных ног он подходил сбоку к телеге и, просунув крошечную головку на длинной шее за оглоблю, сосал матку.

— Я все-таки не понимаю,— стуча зубами от тряски, с расстановкою, чтобы при непредвиденном толчке не откусить себе кончик языка, кричала мужу Антонина Александровна.— Возможно ли, чтобы это был тот самый Вакх, о котором рассказывала мама. Ну, помнишь,

белиберда всякая. Кузнец, кишки в драке отбили, он смастерил себе новые. Одним словом, кузнец Вахх Железное брюхо. Я понимаю, что все это сказки. Но неужели это сказка о нем? Неужели этот тот самый?

— Конечно, нет. Во-первых, ты сама говоришь, что это сказка, фольклор. Во-вторых, и фольклору-то в мамины годы, как она говорила, было уже лет за сто. Но к чему так громко? Старик услышит, обидится.

— Ничего он не услышит,— туг на ухо. А и услышит, не возьмет в толк,— с придурью.

— Эй, Федор Нефедыч! — неизвестно почему, мужским величанием понукал старик кобылу, прекрасно, и лучше седоков, сознавая, что она кобыла.— Инно жара кака анафемска! Яко во печи аврамстии отроци персидстей! Но, чорт, небасёный! Тебе говорят, мазепя!

Неожиданно он затягивал обрывки частушек, в былые времена сложенных на здешних заводах.

Прощай главная контора,  
Прощай щегерь, рудный двор,  
Мне хозяйской хлеб приелси,  
Припилась в пруду вода.  
Нимо берег плыве лебедь,  
Под себе воду гребё,  
Не вино мене шатая,  
Сдают Ваню в некрута.  
А я, Маша, сам не промах,  
А я, Маша, не дурак.  
Я пойду в Селябу город,  
К Сентетюрихе наймусь.

— Эй, кобыла, Бога забыла! Поглядите, люди, кака падаль, бестия! Ты ее хлесь, а она тебе: слезь. Но, Федя-Нефедя, когда поеда? Энтот лес прозвание ему тайга, ему конца нет. Тама сила народу хресьянского, у, у! Тама лесная братия. Эй, Федя-Нефедя, опять стала, чорт, шиликун!

Вдруг он обернулся и, глядя в упор на Антонину Александровну, сказал:

— Ты как мозгушь, молода, аль я не учул, откеда ты таковска? А и проста ты, мать, погляжу. Штоб мне скрезь землю провалиться, признал! Признал! Шарам своим не верю, живой Григов! (Шарами старик называл глаза, а Григовым — Крюгера.) Быват случаем не внука? У меня ли на Григова не глаз? Я у ём свой век отвековал, я на ём зубы съел. Во всех рукомествах — предолжностях! И крепежником, и у валкá, и на конном дворе.— Но, шевелись! Опять стала, безногая! Анделы в Китаях, тебе говорят, аль нет?

Ты вот башь, какой энто Вахх, не оной кузнец ли? А и проста ты, мать, така глазаста барыня, а дура. Твой-от Вахх, Постаногов ему прозвище. Постаногов Железно брюхо, он лет за полста тому в землю, в доски ушел. А мы теперь, наоборот, Мехоношины. Име одна,— тезки, а фамилие разная, Федот, да не тот.

Постепенно старик своими словами рассказал седокам все, что они уже раньше знали о Микулицыных от Самдевятова. Его он называл Микуличем, а ее Микуличной. Нынешнюю жену управляющего звал второбрачною, а про «первеньку, упокойницу» говорил, что та была мед-женщина, белый херувим. Когда он дошел до предводителя партизан Ливерия, и узнал, что до Москвы его слава не докатилась, и в Москве ничего о лесных братьях не слышали, это показалось ему невероятным:

— Не слышали? Про Лесного товарища не слышали? Анделы в Китаях, тады на что Москве уши?

Начинало вечереть. Перед едущими, все более удлиняясь, бежали их собственные тени. Их путь лежал по широкому пустому прос-

тору. Там и сям одинокими пучками с кистями цветений на концах, росли деревенистые, высоко торчащие стебли лебеды, чертополоха, Иван-чая. Озаряемые снизу, с земли, лучами заката, они призрачно вырастали в очерганиях, как редко расставленные в поле для дозора недвижные сторожевые верхами.

Далеко впереди, в конце, равнина упиралась в поперечную, грядой поднимающуюся возвышенность. Она стеною, под которой можно было предположить овраг или реку, стояла поперек дороги. Точно небо было обнесено там оградой, к воротам которой подводил проселок.

Наверху кручи обозначился белый, удлинненной формы одноэтажный дом.

— Видишь вышку на шиханэ? — спросил Вакх. — Микулич твой и Микулишна. А под ними распадок, лог, прозвание ему Шутьма.

Два ружейных выстрела, один вслед за другим, прокатились в той стороне, рождая дробящиеся, множащиеся отголоски.

— Что это? Никак партизаны, дедушка? Не в нас ли?

— Христос с вами. Каки партижане. Степаныч в Шутьме волков пужая.

## 9

Первая встреча приехавших с хозяевами произошла на дворе директорского домика. Разыгралась томительная, по началу молчаливая, а потом — сбивчиво-шумная, бестолковая сцена.

Елена Прокловна возвращалась по двору из лесу с вечерней прогулки. Вечерние лучи солнца тянулись по ее следам через весь лес от дерева к дереву почти того же цвета, что ее золотистые волосы. Елена Прокловна одета была легко, по-летнему. Она раскраснелась и утирала платком разгоряченное ходьбою лицо. Ее открытую шею перехватывала спереди резинка, на которой болталась ее скинутая на спину соломенная шляпа.

Ей навстречу шел с ружьем домой ее муж, поднявшийся из оврага и предполагавший тотчас же заняться прочисткой задымленных стволов, в виду замеченных при разрядке недочетов.

Вдруг, откуда ни возьмись, по камням мощеного въезда во двор лихо и громко вкатил Вакх со своим подарком.

Очень скоро, слезши с телеги со всеми остальными, Александр Александрович, с запинками, то снимая, то надевая шляпу, дал первые объяснения.

Несколько мгновений длилось истинное, не показное остолбенение поставленных втупик хозяев, и непритворная, искренняя потерянная сгорающих со стыда несчастных гостей. Положение было понято без разъяснений не только участникам, Вакху, Ньюше и Шурочке. Ощущение тягостности передавалось кобыле и жеребенку, золотистым лучам солнца и комарам, вившимся вокруг Елены Прокловны и садившимся на ее лицо и шею.

— Не понимаю,— прервал, наконец, молчание Аверкий Степанович.— Не понимаю, ничего не понимаю, и никогда не пойму. Что у нас юг, белые, хлебная губерния? Почему именно на нас пал выбор, почему вас сюда, сюда, к нам угораздило?

— Интересно, подумали ли вы, какая это ответственность для Аверкия Степановича?

— Леночка, не мешай. Да, вот именно. Она совершенно права. Подумали ли вы, какая это для меня обуза?

— Бог с вами. Вы нас не поняли. О чем речь? Об очень малом, ничтожном. Никакого покушения на вас, на ваш покой. Угол какой-нибудь в пустой развалившейся постройке. Клинушек никому не нужной, даром пропадающей земли под огород. Да возик дровец из лесу, когда никто не увидит. Неужели это так много, такое посягательство?

— Да, но свет широк. Причем мы тут? Почему этой чести удостоились именно мы, а не кто-нибудь другой?

— Мы о вас знаем и надеялись, что и вы о нас слышали. Что мы не чужие для вас и сами попадем не к чужим.

— А, так дело в Крюгере, в том, что вы его родня? Да как у вас язык поворачивается признаваться в таких вещах в наше время?

Аверкий Степанович был человек с правильными чертами лица, откидывавший назад волосы, широко ступавший на всю ногу и летом тесьмянным шнурком с кисточкой подпоясывавший косоворотку. В древности такие люди ходили в ушкуйниках, в новое время они сложили тип вечного студента, учительствующего мечтателя.

Свою молодость Аверкий Степанович отдал освободительному движению, революции, и только боялся, что он не доживет до нее или, что разразившись, она своей умеренностью не удовлетворит его радикальных и кровавых вожделений. И вот она пришла, перевернув вверх дном все самые смелые его предположения, а он, прирожденный и постоянный рабочелюбец, один из первых учредивший на «Святойгоре Богатыре» фабрично-заводский комитет и установивший на нем рабочий контроль, очутился на бобах, не у дел, в опустевшем поселке, из которого разбежались рабочие, частью шедшие тут за меньшевиками. И теперь эта нелепость, эти непрошенные крюгеровские последыши казались ему насмешкою судьбы, ее намеренной каверзой, и переполняли чашу его терпения.

— Нет, это чудеса в решете. Уму непостижимо. Понимаете ли вы, какая вы для меня опасность, в какое положение вы меня ставите? Я, видно, право, с ума сошел. Не понимаю, ничего не понимаю и никогда не пойму.

— Интересно, постигаете ли вы, на каком мы тут и без вас вулкане?

— Погоди, Леночка. Жена совершенно права. И без вас не сладко. Собачья жизнь, сумасшедший дом. Все время меж двух огней, никакого выхода. Одни собак вешают, отчего такой красный сын, большевик, народный любимец. Другим не нравится, зачем самого выбрали в Учредительное собрание. Ни на кого не угодишь, вот и барахтайся. А тут еще вы. Очень весело будет за вас под расстрел идти.

— Да что вы! Опомнитесь! Бог с вами!

Через некоторое время, переложив гнев на милость, Микулицын говорил:

— Ну, полаялись на дворе и ладно. Можно в доме продолжать. Хорошего, конечно, впереди ничего не вижу, но сие есть темна вода во облацех, сеннописанный мрак гаданий. Одначе, не янычары мы, не басурмане. В лес на съедение Михайло Потапычу не погоним. Я думаю, Леночка, лучше всего их в пальмовую, рядом с кабинетом. А там потолкуем, где им обосноваться, мы их, я думаю, в парке водворим. Пожалуйте в дом. Милости просим. Вноси вещи, Вахх. Пособи приедем.

Исполняя приказание, Вахх только вздыхал:

— Мати безвестная! Добра, что у странников. Одни узелки. Ни единого чумадала!

Наступила холодная ночь. Приезжие умылись. Женщины занялись устройством ночлега в отведенной комнате. Шурочка, бессознательно привыкший к тому, что его ребяческие изречения на детском языке принимаются взрослыми восторженно, и потому, подлаживаясь под их вкус, с увлечением и охотно несший околесину, был не в своей тарелке. Сегодня его болтовня не имела успеха, на него не обращали внимания. Он был недоволен, что в дом не взяли черного жеребеночка, а когда на него прикрикнули, чтобы он угомонился, он разревелся, опасаясь, как бы его, как плохого и неподходящего мальчика, не от-



правили назад в детишный магазин, откуда, по его представлениям, его при появлении на свет доставили на дом родителям. Свои искренние страхи он громко выражал окружающим, но его милые нелепости не производили привычного впечатления. Стесненные пребыванием в чужом доме, старшие двигались торопливее обычного и были молчаливо погружены в свои заботы. Шурочка обижался и квелился, как говорят няни. Его накормили и с трудом уложили спать. Наконец, он уснул. Ньюшу увела к себе кормить ужином и посвящать в тайны дома Микулицынской Устинья. Антонину Александровну и мужчин попросили к вечернему чаю.

Александр Александрович и Юрий Андреевич попросили разрешения отлучиться на минуту и вышли на крыльцо подышать свежим воздухом.

— Сколько звезд! — сказал Александр Александрович.

Было темно. Стоя на расстоянии двух шагов на крыльце, зять и тещь не видели друг друга. А сзади из-за угла дома падал свет лампы из окна в овраг. В его столбе туманились на сыром холоде кусты, деревья и еще какие-то неясные предметы. Светлая полоса не захватывала беседовавших, и еще больше сгущала темноту вокруг них.

— Завтра надо будет с утра осмотреть пристройку, которую он нам наметил, и если она пригодна для жилья, разом за ее починку. Тем временем как будем приводить угол в порядок, почва отойдет, земля согреется. Тогда, не теряя ни минуты, за грядки. Мне послышалось, будто он между слов, в разговоре обещал помочь семенной картошкой. Или я ослышался?

— Обещал, обещал. И другими семенами. Я своими ушами слышал. А угол, который он предлагает, мы видели проездом, когда пересекали парк. Знаете, где? Это зады господского дома, утонувшие в крапиве. Деревянные, а сам он каменный. Я вам с телеги показывал, помните? Там бы стал я рыть и грядки. По-моему, там остатки цветника. Так мне показалось издали. Может быть, я ошибаюсь. Дорожки надо будет обходить, пропускать, а земля старых клумб наверное основательно унаваживалась и богата перегноем.

— Завтра посмотрим. Не знаю. Грунт наверное страшно затравянен и тверд, как камень. При усадьбе был, должно быть, огород. Может быть, участок сохранился и пустует. Все это выяснится завтра. По утрам тут еще наверное заморозки. Ночью мороз будет наверняка. Какое счастье, что мы уже здесь, на месте. С этим можно поздравить друг друга. Тут хорошо. Мне нравится.

— Очень приятные люди. В особенности он. Она немного ломака. Она чем-то недовольна собой, ей что-то в себе самой не нравится. Отсюда эта неутомимая, притворно-вздорная говорливость. Она как бы торопится отвлечь внимание от своей внешности, предупредить невыгодное впечатление. И то, что она шляпу забывает снять и на плечах таскает, тоже не рассеянность. Это действительно к лицу ей.

— Пойдем однако в комнаты. Мы слишком тут застряли. Неудобно.

По пути в освещенную столовую, где за круглым столом под висячею лампой сидели за самоваром и распивали чай хозяева с Антониной Александровной, зять и тещь прошли через темный директорский кабинет.

В нем было широкое цельного стекла окно во всю стену, возвышавшееся над оврагом. Из окна, насколько успел заметить доктор еще вначале, пока было светло, открывался вид на далекое заовражье и равнину, по которой провозил их Вакх. У окна стоял широкий, также во всю стену, стол проектировщика или чертежника. Вдоль него лежало, в длину положенное, охотничье ружье, оставляя свободные борта слева и справа, и тем оттеняя большую ширину стола.

Теперь, минуя кабинет, Юрий Андреевич снова с завистью отметил окно с обширным видом, величину и положение стола и помести-

тельность хорошо обставленной комнаты, и это было первое, что в виде восклицания хозяину вырвалось у Юрия Андреевича, когда он и Александр Александрович подошли к чайному столу, войдя в столовую.

— Какие у вас замечательные места. И какой у вас кабинет превосходный, побуждающий к труду, вдохновляющий.

— Вам в стакане или в чашке? И какой вы любите, слабый или крепкий?

— Смотри, Юрочка, какой стереоскоп сын Аверкия Степановича смастерил, когда был маленький.

— Он до сих пор еще не вырос, не остепенился, хотя отвоевывал Советской власти область за областью у Комуча.

— Как вы сказали?

— Комуч.

— Что это такое?

— Это войска Сибирского правительства, стоящие за восстановление власти Учредительного собрания.

— Мы весь день, не переставая, слышим похвалы вашему сыну. Можете по всей справедливости им гордиться.

— Эти виды Урала, двойные, стереоскопические, тоже его работа и сняты его самодельным объективом.

— На сахарине лепешки? Замечательное печенье.

— О что вы! Такая глушь и сахарин! Куда нам! Честнейший сахар. Ведь я вам в чай из сахарницы клала. Неужели не заметили.

— Да, действительно. Я фотографии рассматривала. И, кажется, чай натуральный?

— С цветком. Само собою.

— Откуда?

— Скатерть самобранка такая. Знакомый. Современный деятель. Очень левых убеждений. Официальный представитель Губсовнархоза. От нас лес возит в город, а нам по знакомству крупу, масло, муку. Сиверка (так она звала своего Аверкия), Сиверка, пододвинь мне сухарницу. А теперь интересно, ответьте, в котором году умер Грибоедов?

— Родился, кажется, в тысяча семьсот девяносто пятом. А когда убит, в точности не помню.

— Еще чаю.

— Нет спасибо.

— А теперь такая штука. Скажите, когда и между какими странами заключен Нимвегенский мир?

— Да не мучай их, Леночка. Дай людям очухаться с дороги.

— Теперь вот что мне интересно. Перечислите, пожалуйста, каких видов бывают увеличительные стекла, и в каких случаях получают изображения действительные, обращенные, прямые и мнимые?

— Откуда у вас такие познания по физике?

— Великолепный математик был у нас в Юрягине. В двух гимназиях преподавал, в мужской и у нас. Как объяснял, как объяснял! Как бог! Бывало, все разжует и в рот положит. Антипов. На здешней учительнице был женат. Девочки были без ума от него, все в него влюблялись. Пошел добровольцем на войну и больше не возвращался, был убит. Утверждают, будто бич божий наш и кара небесная, комиссар Стрельников, это оживший Антипов. Легенда, конечно. И непохоже А впрочем, кто его знает. Все может быть. Еще чашечку.

*(Продолжение следует)*

---

---

## МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН



*Среди белых пятен русской литературы XX века, постепенно ликвидируемых журнальными и книжными публикациями, не может не обратить на себя внимание поэтическое творчество Максимилиана Волошина пореволюционных лет. Без стихов той поры портрет поэта недорисован, да и картина русской словесности первой четверти века неполна. Знакомства с этими стихами давно ждет наш читатель. В недавней беседе с историком Ю. Поляковым, опубликованной на страницах «Литературной газеты», директор ИМЛИ Ф. Кузнецов, говоря о возвращении нашим читателям ахматовского «Реквиема», клеевских «Деревни» и «Погорельщины», пастернаковского «Доктора Живаго», заметил: «Верю, что и Волошин вскоре будет издан полностью».*

*В публикуемых стихах отразилось смятение русского интеллигента перед лицом грозных и величественных исторических событий. Стремление остаться над схваткой (которое в определенный момент не было чуждо даже М. Горькому, не говоря уж о Р. Роллане), быть вне воюющих станов наложило на эти стихи печать трагической растерянности и некоторой схематичности. Волошин представляет себе русскую историю как ряд роковых повторений, простирающихся в будущее, не постигая необычности совершающегося революционного переворота.*

### ИЗ ЦИКЛА «УСОБИЦА»\*

До последнего времени в читательском сознании жило представление о Максимилиане Волошине прежде всего как о книжном поэте, мастере чеканного стиха, как о художнике, оберегающем суверенный мир своей личности от волнений и тревог бурного века, создателе изысканных и прихотливых композиций, импрессионистических парижских зарисовок, насыщенных символикой коктейльских пейзажей, пантеистических созерцаний. Между тем это лишь одна из ипостасей образа Волошина, обнаружившаяся еще в первом его сборнике («Стихотворения», 1910). Меньше у нас знают Волошина — трагического поэта, во всей полноте и силе раскрывшегося в годы революции и гражданской войны и рассказавшего о судьбах России на эпохальном переломе ее истории.

Стихи, написанные в те годы, быть может, самое значительное из всего, что создал Волошин, и это хорошо понимали его наиболее чуткие современники. «Революция ударила по его творчеству, как огниво по кремню, и из него посыпались яркие, великолепные искры,— писал о Волошине В. В. Вересаев.— Как будто совсем другой поэт явился, мужественный, сильный, с простым и мудрым словом <...>». Волошина прежнего с Волошиным новым сопоставлял и Андрей Белый, писавший в 1924 году: «Я не узнаю Макс<имилиана> Алек<сандровича>. За пять лет революции он удивительно изменился, много и серьезно пережил <...>, с изумлением вижу, что „Макс“ Волошин стал „Максимилианом“; и хотя все еще элементы „латинской культуры искусств“ разделяют нас с ним, но в точках любви к совр<еменной> России мы встречаемся, о чем свидетельствуют его изумительные стихи. Вот еще „старик“ от эпохи символизма, который оказался моложе многих „молодых“».

Любовь Волошина к современной России, о которой говорит Белый, была не только любовью благословляющей. Эта любовь предполагала прежде всего всесторон-

---

\* Подготовка текста, публикация и предисловие А. В. ЛАВРОВА.

нее знание — знание о высоких духовных взлетах и о хаотических, дисгармонических всплесках, о провиденциальном и о низменном, суетном, уродливом, косном, о «ликах» и о «личинах». Воссозданная Волошиным в цикле «Личины» (1919) пестрая галерея образов, выхваченных из послереволюционной круговерти, во многом сопоставима с моментальными снимками, которые рассыпаны на страницах поэмы А. Блока «Двенадцать». Любовь Волошина предполагала и ненависть и отвержение: поэт, оказавшись лицом к лицу с явью гражданской войны, этически не способен был принять и оправдать насилие, безудержно льющуюся кровь, обесценивание человеческой жизни и ожесточение людских душ. Можно было бы вновь, в который уже раз, рассказать о политической инфантильности Волошина, посетовать на то, что красные и белые были для него на одно лицо — имели одно, человеческое, лицо; но не важнее ли для нас сейчас, много десятилетий спустя, отдать должное искренности, мужеству и силе духа большого художника-гуманиста, сумевшего остаться самим собой в дни тяжелейших испытаний и стать летописцем своей эпохи? Не случайно Александр Бенуа подчеркивал, что значение стихов Волошина о современности по достоинству смогут оценить только грядущие поколения: «Кто знает, когда его через полвека «откроет» какой-нибудь исследователь русской поэзии периода войны и революции, он вовсе не сочтет творения Волошина за любопытные и изящные «отражения», а признает их за подлинное откровения. Его во всяком случае поразит размах волошинской искренности и правдолюбия...»

Как существовали до сих пор в нашем читательском сознании Ахматова без «Реквиема», Платонов без «Котлована» и «Чевенгура», Пастернак без «Доктора Живаго», так и Волошин пребывал в урезанном виде, без многих своих вершинных созданий, которые не вошли в сборник его стихотворений в малой серии «Библиотеки поэта» (1977). Между тем если мы слышим из уст поэта только «осанну» без ее драматического и дисгармонического контрапункта, такая «осанна» может уподобиться бессодержательной риторике.

Предлагаемые здесь стихотворения из цикла «Усобица» (1919—1922) дают понять, какими духовными терзаниями оплачена вера Волошина в светлое будущее и высокое предназначение родины, вера, провозглашенная им столь твердо и самозабвенно:

Из крови, пролитой в боях,  
Из праха обращенных в прах,  
Из мук казненных поколений,  
Из душ, крестившихся в крови,  
Из ненавидящей любви,  
Из преступлений, исступлений —  
Возникнет праведная Русь...

Стихи печатаются по текстам, извлеченным из машинописного сборника, хранящегося в архиве Волошина в Рукописном отделе Пушкинского Дома (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 141). Как свидетельствует жена поэта М. С. Волошина, по этому сборнику Волошин обычно читал свои произведения гостям в Коктебеле.

### Гражданская война

Одни восстали из подполий,  
Из ссылок, фабрик, рудников,  
Отравленные темной волей  
И горьким дымом городов.

Другие из рядов военных,  
Дворянских разоренных гнезд,  
Где проводили на погост  
Отцов и братьев убиенных.

В одних доселе не потух  
Хмель незапамятных пожаров  
И жив степной, разгульный дух  
И Разиных, и Кудеяров.

В других— лишенных всех корней —  
 Тлетворный дух столицы невской:  
 Толстой и Чехов, Достоевский —  
 Надрыв и смута наших дней.

Одни возносят на плакатах  
 Свой бред о буржуазном зле,  
 О светлых пролетариатах,  
 Мещанском рае на земле...

В других весь цвет, вся гниль империй,  
 Все золото, весь тлен идей,  
 Блеск всех великих фетишей  
 И всех научных суеверий.

Одни идут освобождать  
 Москву и вновь сковать Россию,  
 Другие, разнуздав стихию,  
 Хотят весь мир пересоздать.

В тех и в других война вдохнула  
 Гнев, жадность, мрачный хмель разгула,

А вслед героям и вождям  
 Крадется хищник стаей жадной,  
 Чтоб мощь России неоглядной  
 Размыкать и продать врагам:

Стноить ее пшеницы груды,  
 Ее бесчестить небеса,  
 Пожрать богатства, сжечь леса,  
 И высосать моря и руды.

И не смолкает грохот битв  
 По всем просторам южной степи,  
 Среди золотых великолепий  
 Конями вытоптаных жнитв.

И там и здесь между рядами  
 Звучит один и тот же глас:  
 «Кто не за нас — тот против нас.  
 Нет безразличных: правда с нами».

А я стою один меж них  
 В ревушем пламени и дыме  
 И всеми силами своими  
 Молюсь за тех и за других.

Коктебель, 22 ноября 1919.

### Северо-восток 1920

Да будет благословен приход твой,  
 Бич Бога, которому я служу, и не мне  
 останавливать тебя.

*Слова св. Лу — архиепископа Турского,  
 обращенные к Агилле.*

Расплясались, разгулялись бесы  
 По России вдоль и поперек.  
 Рвет и крутит снежные завесы  
 Выстуженный северо-восток.

Ветер обнаженных плоскогорий,  
 Ветер тундр, полесий и поморий,  
 Черный ветер ледяных равнин,  
 Ветер смут, побоищ и погромов,  
 Медных зорь, багровых окоемов,  
 Красных туч и пламенных годин.

Этот ветер был нам верным другом  
 На распутьях всех лихих дорог:  
 Сотни лет мы шли навстречу выюгам  
 С юга вдаль — на северо-восток.  
 Войте, вейте, снежные стихии,  
 Заметая древние гроба:  
 В этом ветре вся судьба России —  
 Страшная безумная судьба.

В этом ветре гнет веков свинцовых:  
 Русь Малют, Иванов, Годуновых,  
 Хищников, опричников, стрельцов,  
 Свежевателей живого мяса,  
 Чертогона, вихря, свистопляса:  
 Быль царей и явь большевиков.

Что менялось? Знаки и возглавья.  
 Тот же ураган на всех путях:  
 В комиссарах — дурь самодержавья,  
 Взрывы революции в царях.  
 Вздеть на виску, выбить из подклетья  
 И швырнуть вперед через столетья  
 Вопреки законам естества —  
 Тот же хмель и та же трын-трава.  
 Ныне ль, даве ль — все одно и то же:  
 Волчьи морды, машкеры и рожи,  
 Спертый дух и одичалый мозг,  
 Сыск и кухня Тайных Канцелярий,  
 Пьяный гик осатанелых тварей,  
 Жгучий свист шпидрутенев и розг,  
 Дикий сон военных поселений,  
 Фаланстер, парадов и равнений,  
 Павлов, Аракчеевых, Петров,  
 Жутких Гатчин, страшных Петербургов,  
 Замыслы неистовых хирургов  
 И размах заплечных мастеров.

Сотни лет тупых и зверских пыток,  
 И еще не весь развернут свиток  
 И не замкнут список палачей,  
 Бред разведок, ужас Чрезвычайек —  
 Ни Москва, ни Астрахань, ни Яик  
 Не видали времени горчей.

Бей в лицо и режь нам грудь ножами,  
 Жги войной, усобьем, мятежами —  
 Сотни лет навстречу всем ветрам  
 Мы идем по ледяным пустыням —  
 Не дойдем и в снежной вьюге сгинем  
 Иль найдем поруганный наш храм, —

Нам ли весить замысел Господний?  
 Все пойдем, все вынесем, любя —  
 Жгучий ветер полярной преисподней,  
 Божий Бич! приветствую тебя.

Коктебель, 31 июля 1920.

### На дне преисподней

*Памяти А. Блока и Н. Гумилева.*

С каждым днем все диче и все глуше  
 Мертвенная цепенеет ночь.  
 Смрадный ветер, как свечи, жизни тушит:  
 Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь.

Темен жребий русского поэта:  
 Неисповедимый рок ведет  
 Пушкина под дуло пистолета,  
 Достоевского на эшафот.

Может быть, такой же жребий выну,  
 Горькая детоубийца — Русь!  
 И на дне твоих подвалов сгину  
 Иль в кровавой луже поскользнусь,  
 Но твоей Голгофы не покину,  
 От твоих могил не отрекнусь.

Доконает голод или злоба,  
 Но судьбы не изберу иной:  
 Умирать, так умирать с тобой  
 И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!

Коктебель, 12 января 1922.



# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ИВАН МАРКЕЛОВ

★

## ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ

Злой, как татаро-монгольская конница, ветер летел из глуби степей, гнал поземку песка, к вечеру успокоился, но утром опять завывало и так похолодало, что промерзли лужи и по льду поползли отнюдь не «серебряные змеи» — желтые. Поселок Молодежный, по-местному Финский, с населением в четыре с половиной тысячи человек, опустел еще затемно: народ схлынул на работу — на пусковой объект крупнейшего в стране Астраханского газоконденсатного комплекса — Аксарайский газоперерабатывающий завод. Однотипные трехэтажные дома из протравленного дерева, коричневые, без балконов, казались покинутыми, выглядели бесконечными рядами барачков. Они, возможно, смотрелись бы где-нибудь в Финляндии, на фоне лесов, озер, гранита, а здесь, на ровной, как бильярдный стол, площадке с хилыми саженьцами, походили на странные декорации. Это впечатление возникало и от примитива прямолинейных очертаний, и от внутренней отделки, которая запомнилась мне игрушечным, гуттаперчевым блеском: в квартирах — сплошь пластик, он бугрится на месте выдернутых гвоздей рванью рыхлого, точно картон, материала, пластик же в длиннющих узких коридорах с обнаженными коммуникациями над головой, кабелями, трубами, кое-где протекающими. Безлюдные декорации. Осенний рассвет, утро, самое время ребятишкам спешить бы в школу, играть во дворе детсада, но школа и детсад безмолвно тихи, заперты.

Задолго до моего приезда сюда, августовской теплой ночью, когда едва потянуло ветерком, при продувке одной из скважин, которую готовили к эксплуатации, в воздух выпустили большое количество высокотоксичного газа — сероводорода. Газ пошел на поселок, переполюшив его тяжелым запахом. На другой день приказ — всем пройти курсы газозащиты, детей выселить, школу, детсад закрыть. Учителя и воспитатели, прибывшие сюда работать, разъехались, а со временем и всех семейных выселят из поселка.

Я шел по нему, пустынному, к автобусной остановке, пытался, но не мог представить себе, что здесь некогда процветал Ак-Сарай, Белый Город, столица татаро-монголов, сверкавшая куполами шелковых шатров, шумная от гортанной речи, топота копыт и всхрапыванья низкорослых лошадей. Татаро-монголы не ведали, что под ними безбрежное море сероводорода, не лазили в землю бурами на три, на четыре километра за сказочными богатствами, не выпускали духа, который в наши дни запахом заявил о себе и потребовал вытряхиваться отсюда вон... Я не сомневался в данных исторической геологии, утверждающей, что в этих местах четыреста восемьдесят миллионов лет назад были субтропики, но и их я не мог представить себе, ибо они привычно соединились у меня с буйной зеленью, а не с песками, под ветром летящими от горизонта и застилающими горизонт. Прежде чем спуститься в подземный переход, по-здешнему тоннель, проложенный под железной дорогой, и выйти к автобусной остановке, я оглянулся: да, Молодежный зажат — с одной стороны рукавом Ахтубы и самой Ахтубой, с другой — множеством станционных путей, забитых товарными поездами. Не пощадит в случае чего дух — некуда бежать.

Отвезя рабочих к началу смены, автобусы как сквозь землю провалились. Люди ждали на ледяншем ветру (хоть и начало октября, но резко похолодало). Скверно здесь поставлено дело с транспортом — меня, например, заранее предупредили, чтобы не вздумал ехать в час пик: сомнут.

Еще не побывав на заводе, я уже кое-что знал о нем, списал в Астраханьгазпроме из технической документации:



«Астраханский ГПЗ (газоперерабатывающий завод.— И. М.) предназначен для переработки пластового газа, поступающего с Астраханского газоконденсатного месторождения (ГКМ), с получением следующей товарной продукции:

- товарный газ;
- сера газовая в жидком и твердом виде;
- бензин А-76;
- дизельное топливо;
- котельное топливо;
- сжиженные газы;
- бутан технический».

«Астраханский ГПЗ является основной стройкой, связанной с освоением Астраханского ГКМ, на базе которого решением XXVI съезда КПСС намечено создание промышленного комплекса... По вопросам строительства объектов, необходимых для освоения Астраханского ГКМ, ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление от 23 сентября 1981 г.»

Из постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР: «...обеспечить в 1984 г. ввод в действие мощностей по добыче и переработке 3 миллиардов кубических метров газа в год с установками по производству серы и очистке газового конденсата с доведением в 1986 г. добычи и переработки газа на указанном месторождении до 6 миллиардов кубических метров в год...»

Это постановление определило и генерального заказчика — Министерство газовой промышленности СССР, и генерального подрядчика — Министерство промышленного строительства СССР, которое было реорганизовано, и генеральным подрядчиком стал Минюгстрой СССР.

Особенно я обратил внимание на такие строки из технической документации:

«Южнее и западнее площадок строительства Астраханского ГПЗ находится обширная территория Волго-Ахтубинской поймы...

Город Астрахань находится на расстоянии 50—55 километров от площадки ГПЗ».

Не завод находится от поймы и Астрахани, а наоборот. Этакая заводоцентрическая система.

«Сметная стоимость строительства завода в миллионных руб.: 2.418,7; в том числе: промышленное строительство 1.928,9; срок окупаемости — 11 лет».

Я ждал автобуса и, поскольку ехал на этот завод впервые, думал о нем, вспоминал разговор в рабочем поезде Астрахань — Аксарайск. В вагоне напротив меня сидел инженер-геолог, москвич, несколько лет проработавший в здешних местах. Слово за слово. Узнав, что я тут новичок, он показал на окно:

— Вон, смотрите, трубы. (Трубы торчали над равниной, семь штук, высоченные, метров двести.) Завод собираются пускать в этом году, а очистные сооружения хорошо, если наполовину сделали. О чем думают? Сернистый газоконденсат, в нем сероводорода двадцать три — двадцать шесть процентов, идет под давлением до шестисот килограммов на один сантиметр. Он чугунную болванку в сто миллиметров слизывает за двадцать три — двадцать четыре секунды, как корова языком. Агрессивный газ, незримый, но тяжелый, понизу стелется и хорошо с водой реагирует. Всю флору, фауну травит. Пока семь труб, а будет их двадцать три, в них дым, элементы кислорода. А с кислородом сероводород тоже хорошо взаимодействует. Не знаю, не знаю, о чем думают. У американцев есть аналогичное месторождение в районе Великих озер, там содержание сероводорода поменьше, но тоже велико, девятнадцать — двадцать один процент. Они бездумно подошли к эксплуатации, вымирают озера. В Онтарио исчезло восемь видов рыб...

Автобус наконец-то пришел. Стиснутый в нем, я все же умудрялся наклоняться, смотрел в окно: барханы, барханы высотой в семь, а то и десять метров, бесконечные, как морская зыбь... От Аксарайска до ГПЗ по прямой меньше пяти километров, но автобус не доходит до дирекции, она где-то за бугром, за песками, отделена от завода базой оборудования с глухим бетонным забором. Каково служащим добираться!

Одноэтажная приземистая дирекция снаружи обложена силикатным кирпичом, а внутри — типовая, тоже отделана пластиком, с обнаженными коммуникациями. Здесь я сразу почувствовал напряжение предпускового периода, с ходу попал на общезаводскую планерку, которую проводил главный инженер завода Николай Сергеевич Золотухин. В кабинете было холодно (еще не топили), единственная из всех присутствующих женщина шмыгала носом и покашливала жестким, сухим кашлем, стараясь изо всех

сил сдержатъ его. Все (человек двадцать) сидели в верхней одежде, только Золотухин во главе большого стола — в костюме, при галстуке. По опыту я знал: на такой планерке о мелочах не говорят.

— Что у нас по ремонтно-механическому цеху?

— Я завалил цех стружкой, отходами металла. Нужны механизмы, нужен транспорт...

— По третьему производству. Что с заглушками?

— Ивакин ездил в Волгоград. Завод Петрова не отказывает, но просит, чтобы от нас был толкач для ускорения. Опять пошлем Ивакина...

Золотухин давал кому три, кому четыре минуты, в них укладывались, а он никого не перебивал, лишь после задавал вопросы, уточнял задачи, информировал. Он не только ни разу не повысил голоса — говорил, пожалуй, для такого кабинета негромко, но размеренно, создавая атмосферу спокойствия, и — ни боже упаси! — чтобы к кому-нибудь на «ты». Я, грешным делом, заподозрил спектакль, помня рассказ очевидцев, как на Волгоградском (тогда Сталинградском) тракторном заводе Галина Николаева, собирая материал для «Битвы в пути», присутствовала на планерке и как директор, горлопан, матерщинник, ради писательницы надел... белые перчатки, обращался к подчиненным на «вы», багровея от натуги. Он ввел ее в заблуждение, а я-то повидал всякие планерки, где, как правило, сразу нажимали на бас. Но потом я понял, что эта планерка была такой же, как все, какие проводит Золотухин.

Встречались мы с ним несколько раз, он заверял, что примет все меры, дабы завод ничем не угрожал окружающей среде, даже отложит пуск, если возникнет хоть малейшая угроза. Его бы устами да мед пить! Таким, как он, руководителям не надо перестраиваться, ибо они, нагруженные высокой ответственностью, никогда корыстно не равняли ее с высокой властью и если чего-то хотели для себя, то больше всего честной, умной работы с добропорядочными человеческими отношениями, и наступившая перестройка с ее моралью уважать человека и поднимать культуру производства лишь откликнулась на их давнишние чаяния. Но, к сожалению, такие люди не застрахованы от начальства, которое грозит пухлым пальчиком: «Перестройка-то перестройка, но слушай меня» — и говорит то, что привыкло говорить, словно и нет никакой перестройки, за судьбу которой тревожится народ, уставший от дефицита здравого смысла.

Этот дефицит...

— Ха-ха! — шлепает себя по бокам прораб Юрий Леонидович Матвеев. — Если мы по правде расскажем, как тут строим, нас... — Он будто что-то снизу хищно хватает, сжав кулак, оглядываясь и недоверчиво улыбаясь.

Рядом с ним — его непосредственный начальник Виктор Николаевич Микляев, главный инженер МССМУ-2 (Мобильное строительное специализированное монтажное управление № 2). Их трест Союзспецпромстрой организовали в семидесятом году в Москве, чтобы осваивал и распространял в стране метод скользящей опалубки: прямо на площадке, минуя заводское производство, ведут беспрерывное бетонирование стен. Это дешево, а дома получаются теплей, долговечней обычных, практически бессрочные. Такой дом, внушительный, шестнадцатизэтажный, я уже видел в Волгограде, над каналом Волго-Дон, и рядом еще могли бы поставить несколько таких домов, но сорвали со строительства жилья (весь костяк управления — волгоградцы), отвлекли и от возведения элеваторов, а в квартирах нужда и хранилищ для хлебушка не хватает. От передового метода пришлось отказаться: здесь монолита почти нет, по проекту — обилие сборного железобетона. Ничего не скажешь, потребовал ПЗ жертв, и как надо бы экономно строить его!

А между тем производственную базу сборного железобетона не создали, те же колонны везут из многих областей зачастую бракованные, почему-то нет в них закладных, то есть влитого в них металла, к которому надо приваривать конструкцию.

— С хомутами мучаемся, нет спасу, — горевал главный инженер Микляев.

Хорошенькое дело! Что намертво приварить балку, а что хомутом опоясать колонну и к нему крепить. Прочность уже не та — на веревочках, на миточках, да и возни сколько!

— О! Идите-ка сюда! — И Юрий Леонидович зовет к темному зеву корпуса.

Предзакатные лучи тупо упираются в начинку оборудования, не пробивают сумрак, густой для глаз, но присмотревшись, вижу работников повсюду, от пола до потолка: устанавливают агрегаты, варят трубы, тянут кабели, монтируют вентсистемы...

— Вот я вам сейчас скажу.— Юрий Леонидович показывает в разные стороны.— Это Нефтехиммонтаж, это Нижневожскмонтаж, вон те — связисты, над ними «Пром-вентиляция», а вон — «Термоизоляция». Слоеный пирог! Нам надо бы тут колонны поставить — не всунемся, не загоним сюда кран. Ждем, когда вон они свой уберут..

Мы возвращаемся на обсиженное место, прячемся от ветра за силикатным кубиком трансформаторной будки. Главный инженер вздыхает:

— Мы ведь не кондитерская фабрика, не пластмассовая игрушка, у нас техника, краны. Друг друга душим.

Да, плотность застройки неимоверная, железные джунгли. Конечно, капиталисты — народ расчетливый, у них земля дорогая, берегут ее и материалы экономят, отсюда и сжатая компоновка всех узлов завода, купленного нами. Заранее следовало бы учесть, что не годятся здесь наши привычки — наваливаться сразу всем миром, брать скопом, предусмотреть бы очередность, когда какую строительско-монтажную организацию привлекать к работе. Если пересаживают крупное дерево, сверяют по компасу расположение его ветвей относительно магнитного поля Земли, иначе оно засохнет. К сожалению, пересаживая крупные предприятия, мы о таком компасе забываем. Как на Сталинградском тракторном, первом целиком купленном на золото заводе, брали штурмом с тачками, грабарками, «козами» на спинах, так и здесь берем штурмом, только с бульдозерами, экскаваторами, подъемными кранами. Перед нами была истерзанная, вздыбленная земля, на разных отметках работали сосредоточенные люди, не менее сознательные и не менее торопливые, чем в годы первой пятилетки, живущие под таким же, как тогда, лозунгом «даешь!» Колесо крутилось вокруг той же оси и в ту же сторону (но на качественно новой основе! — как поправил бы иной философ). А новая основа была такова: тогда жили в клопных бараках — теперь Юрий Леонидович с тремя своими товарищами, вчетвером, живут в двухкомнатной квартире; тогда каждый день работали — теперь Юрий Леонидович с товарищами работают по пятнадцать дней кряду, пятнадцать дней отдыхают дома, по вахтовому методу. Ему тридцать шесть лет, мужичина в расцвете, а он по полмесяца не видит семью.

— К концу командировки у всех настроение падает, никого не хочется видеть. Одно желание — домой,— говорил он.

В чем еще эта новая основа? Тогда люди кончали работу, а назавтра продолжали ее; теперь они уезжают на пятнадцать дней, а продолжает начатое вновь прибывшая бригада, но она не хочет исправлять чьи-то вольно или невольно допущенные ошибки.

Чем еще характеризуется эта новая основа? Раньше, переехав бревно, грабарь не мог его испортить, а теперь... Когда видишь перед собой вздыбленную землю, сначала замечаешь просто бугры да ямы, не обращая внимания на то, с чем перемешана земля. Но теперь я внимательно всмотрелся... В песке валялись измятые коробки вентсистемы, которые придавили, похоже, бетонной плитой, сплюснутые трубы, через которые прошел трактор или гусеничный кран, еще новая, но уже никуда не годная, искореженная арматура, выправлять ее не будет никто. Обратил я внимание и на то, на чем мы сидим: ба, на дверных блоках, в беспорядке накиданных друг на друга, побитых по краям, в пятнах раствора! А когда начнут ровнять площадку, их сгрудят, расщепают бульдозером. Какая-то вакханалия бесхозяйственности. Здесь не годилась поговорка «где пьют, там и льют», здесь было разлитое море исковерканных материалов. На него смотрели тысячи глаз, и какую нравственную травму получали люди!..

Не рассказать о всех встречах на громадной стройке, но, к слову, поделюсь мыслью, какую услышал здесь от одного из крупных инженеров, человека интеллигентного, мужественно правдивого. Он поразил меня признанием:

— Человек рождается в роддоме, где все сделано тяп-ляп, ходит в детсад, где тоже тяп-ляп, учится в школе, которую тоже сдали с недоделками, живет в доме, построенном халтурно, Мы, строители, создаем фон всей нашей культуры.

Эта «культура» чувствовалась на всех объектах ГПЗ.

На эстакаде № 7 на высоте метров пятнадцать парни уложили несколько досок на трубы, встали на них и за веревку поднимали довольно длинный отрезок трубы. Доски под ними жибблились, хлипкий помост не предвещал добра, а лететь, в случае чего, не на песок — на торчащую внизу арматуру, на куски бетона, на весь вздыбленный металлолом. Не выдержал я, подошел к рослому парню, стоящему внизу, под теми, что поднимали трубу, и посоветовал:

— Вон же кран стоит. На худой конец, дайте крановщику трояк, он вам поднимет.

Глаза у парня пожелтели, побелели, потемнели.

— Да это наш кран, наш! Уже неделю не можем его достать!

Познакомились — Юрий Алексеев из Тольяттинского монтажного управления № 3 треста Куйбышевнефтехиммонтаж. Он объяснил: неделю назад вечером, после смены, крановщик отогнал кран в сторонку, к стене, чтобы проезд не загоразживал, но в ночь сюда заявлялась другая организация с экскаваторами и при свете прожекторов вдоль всего корпуса прокопала траншею метра три глубиной, отрезав гусеничный кран да еще привалив его песком... Если бы это был единичный случай! Множество техники, но пользуются ею неумело, простаивает она.

Мы с Юрием и его товарищами сидели в самодельном вагончике из железа и толковали об организации труда, которую под корень режут нехватки, возникающие от нашей бездумности. Например, с кислородом — беда, одно разнесчастное управление в Аксарайске заправляет баллоны для всех организаций, а их тут — как песку. И бригады воруют баллоны друг у друга. С трубами подавно перебои, не хватает их. Иной раз в песке под ползущим «КамАЗом» вдруг взвырают они, обнаружат себя там, где их никто не ожидал. Клад! Но по ним уже прошел «КамАЗ», погнул, помял. Гнутые выбросишь, остальные — в дело. Бригадир Анатолий Иванович Крыпаев рассказывал:

— У нас лебедки, скажу вам, плохие, весом в двадцать килограммов, поиграй-ка с ней там, на трассе.— Он ткнул пальцем вверх.— А мостки не всегда крепкие сделаешь, пляшут под ногами. Вот и крутишься на верхотуре, только что на хвосте не виснешь с этой лебедкой. Есть зарубежные, в два раза легче наших, но мало, редкой бригаде попадает. Там почему-то умеют, а у нас ума не хватает, от кувалды танцуем, что потяжелше.

— В общем, нет у вас того, нет у вас другого, зато брака полно. Что же вы, други? Вон трубу затащили — значит, будете резать и варить заново. Инструкции забыли?

И как только я это сказал, Крыпаев грозно нахмурился, но Юрий Алексеев, прошедший множество строев, уже рванулся, опередил:

— Что два стыка, что два стыка! Мы были бы счастливыми людьми, если бы каждый стык по два раза переваривали! Каждый стык режем и варим заново по четыре, по пять раз. Посмотрите, какие электроды — они кипят, а не варят. Они где-то на складах валяются по несколько лет, а потом их нам везут. Французские — да, хорошие электроды, а наши...— Двинул рукой в сердцах.— Но французские, как трубы, в песках порастеряли, разбазарили. Да еще говорим «качество»! Правильно, в первый угол надо качество, но у нас еще не понимают, что это такое. За хорошие стыки всем платят одинаково, независимо от того, с первого раза они удались или с четвертого. Будто это так себе — сварил, разрезал, сварил. Да на эту электроэнергию, на этот газ, который мы тут потратили (ну не мы одни, все монтажники!), можно бы еще три завода построить.

Поездил, насмотрелся на людей-человеков Алексеев и судил о них решительно:

— Разъединяться люди стали. А знаете почему? На работу смотрят как на частную собственность: хочу — сделаю тебе, хочу — не сделаю. И на стройке так же. Одному — электроды, а другому — другие электроды, одному — трубы, а другому шиш с маслом, одному — импортную лебедку, а другому — нашу родимую. Рабочий класс начал расслаиваться, сословия появились — угодные начальству и негодные. Кто виноват в таком расслоении? — резал он, и от напряжения у него на шее вздувались жилы.— Тут все на виду. Вот я на ВАЗе работал. Косыгина ждали. Так, верите, привели солдат, и они таскали в котлован пакеты стекла, каждый пакет пятьдесят рублей стоит. Стащили стекло в котлован и бульдозером заровняли, чтобы площадки были чистенькими, чтобы культурненько встретить. А Форд приезжал? По ВАЗу костры горели, мебель таскали из дирекции, из управлений, сжигали. Хорошую, новую мебель жгли, чтобы удивить Форда какой-то сногшибательной мебелью. А рабочие не видят? Если их начальство в таком ужасе перед большим начальством, значит, оно любит подхалимов, надо перед ним прогибаться. Начальство гробит материалы, ценности, и рабочему, значит, можно. Где же выход? Как дальше быть? Вот сейчас повсюду: перестройка, перестройка! А мы, рабочие, не чувствуем ее. Где перестройка, кто перестраивается? Тот, над кем не каплет, не будет свою крышу перекрывать, ему и так хорошо. Хоть бы инструкции какие-то дали сверху, ведь ничего же нет, одно слово «перестройка». Как же ее сделать, от кого она зависит? — вперил в меня взгляд Алексеев, ожидая ответа.

Я посмотрел сквозь голубизну дыма в распахнутую дверь на клочок ясного, осеннему холодного неба, вздохнул.

— От вас, ребята, и зависит перестройка. Вы рабочий класс, вы — сила. Выдвигайте свои требования перед начальством, если, конечно, не испугаетесь. Вы производители материальных ценностей, вы основа государства...

Они молчали.

Похолодание затянулось, а гостиницу не отапливали, и я в своей пластиковой коробочке на ночь поверх одеяла бросал куртку, просыпался, когда она сползала, поправлял ее, засыпал не сразу, но утром вскакивал бодрым, завтракал в гостиничной столовой, потом штурмовал автобус и ехал на завод в приподнятом настроении. Воздух и небо, что ли, были здесь особенными? Аксарайск постоянно вселял в меня светлое чувство, поначалу необъяснимое, странное. От аксарайского края веяло свободой. Несмотря на все каменные и бетонные постройки, на уходящие в небо трубы, на асфальтовые и железные дороги, он продолжал свою неоглядно подвижную жизнь, разбойно гулял ветрами, холодно смотрел вечностью неба на копотню людей, гнал пески, накатывал барханы, и что ему были кубки зданий, ниточки труб, кружевные переплетения балок! Он, еще не обузданный, распахнутый, со своими еще первозданными запахами, передавал свое вольнолюбие, вероятно, не только мне. Иногда попадался автобус, где громко-голосом подначивала, с хохотом стучала друг друга кулаками по спинам, озоровала молодежь, ехавшая на нелегкую работу, будто на веселую гулянку. Я с невольной улыбкой прислушивался к толкотне, гомону, смотрел в окно, видел, как наползает песок на дорогу, длинными языками лижет ее с краев, а там, где она взлетала на высокую дамбу, обмирал перед неоглядными рябями просторами, сверху безобидными, мертвенными, но грозно живыми, зыбкими, и старался сберечь, продлить в себе восторг перед их спокойной силищей. Она как бы входила и в меня, освобождала от шелухи страстишек, накопленных в людской суете. Где-то в мире происходили важные события, встречались и не могли договориться государственные деятели, о чем я урывками узнавал по радио, где-то были свои стройки, свои барханы, а у меня была главная на земле стройка — ГПЗ, хотя я вовсе не прилагал усилий, чтобы так уж припадать к ней, она сама притягивала, потому, наверное, что была в тяжелом положении, вызвала сочувствие. Бывало, на других стройках войдешь в бригадный вагончик или в бытовку — жить хочется! Калорифер, по-иному козел, пищит раскаленной спиралью, от него сухим теплом валит, а здесь — всюду холод, всюду съезженные фигурки. Часто отключают электричество, не хватает его, нечем отапливаться.

Как-то забрел я в бытовку риформинга. В ней было холодней, чем на улице, от камня стен, должно быть. На улице ледяной ветер свирепствовала, но и резкое пустынное солнце как-никак пригревало, потому в затишке было сносно, а здесь, в бытовке, ребята сидели нахохлившись, прятали руки в карманы.

— Почему, скажите, риформинг, а не реформинг? — пошутил я. — Если от слова «реформа», то очевидна орфографическая ошибка.

— Каких чудес в технике не бывает, — ответил парень с иссеченным ветрами лицом, весь какой-то живой, подвижный и вместе с тем деликатно-сдержанный. — А может быть, название от слова «риф». Наша каталитическая установка всему потоку конденсата как бы ставит риф и выбивает из него высокооктановый бензин. Восемьсот—девятьсот тысяч тонн бензина в год. Устраивает вас такой риф?

— Надо прикинуть по оборудованию. Но с кем имею честь?..

Оказывается, я «имел честь» с Николаем Юрьевичем Ивакиным. Его фамилию я крепко запомнил на первой планерке, потому что ему предписывалось уехать в мой Волгоград выбивать заглушки на хорошо известном мне заводе имени Петрова. Не искал, и вдруг — Ивакин! В холодном, недостроенном кабинетике с Т-образно составленными столами он сидел среди равных себе, смуглым обветренным лицом резко отличаясь от своих товарищей, операторов, Алексея Куракова, Рамиля Фаизова, Равиля Абдурафикова.

Разговор сам собой зашел об организации строительства. Но Ивакин помалкивал (он был самым старшим из них), мне же хотелось его как-то разговорить, и я щегольнул своей осведомленностью:

— А вы почему не в командировке?

Он ответил, не удивившись:

— На заводе все командировочные съели, денег нет, ехать не на что. А время идет, конец месяца не за горами, на заводе Петрова начнутся свои проблемы. Наш заказ

для них прицеп к плану. Вы представляете, что такое шесть-семь тысяч заглушек, которые я должен оттуда привезти?

Да, я представлял. Заглушка — это, грубо говоря, кран, вентиль для трубы большого диаметра, со сложным устройством, материал для нее подбирают особенно строго, в зависимости от агрессивности среды. Импортные заглушки для ГПЗ порастеряли, а те, что остались, поржавели. Их будут заменять неравнозначными, и я представлял себе, каково придется ремонтникам ГПЗ, когда возникнет угроза течи, совершенно недопустимой при таком сырье, один вдох испарений которого приводит к смерти. Это вечная проблема химических (да и машиностроительных) заводов, ибо их строят с учетом одной ремонтной базы, но технологическое оборудование начинает расплзаться раньше срока, и ремонтную базу в пожарном порядке наращивают, пристраивают механические цехи, добавляют оборудование, которое не запланировано, увеличивают не менее чем в полтора-два раза (против проекта) штат слесарей, механиков. Этот запутанный клубок перекачивается от завода к заводу, и его никак не могут распутать: импортное оборудование требует определенных условий эксплуатации, а у нас они — нашенские.

Наши инженеры в опыт вышибания, как в омут, погружаются с первых шагов самостоятельной работы, если, конечно, башковиты, расторопны, ибо не всякому доверят высокое представительство толкача. Того же Ивакина не случайно снаряжают на завод имени Петрова. С отличием окончив Ленинградскую лесотехническую академию, ее химико-технологический факультет, Ивакин поступил на Волгоградский пусковой завод «Каустик» и куда только не летал за оборудованием, где только не кувыркался, добывая трубы, аппараты! Вместе с заводом он выстрадал самый трудный период — период становления производства... Тут уж, кстати, о заводской благодарности. На «Каустике» Николай Ивакин проработал четырнадцать лет, был и начальником цеха, и начальником установки, даже какое-то время помощником, ну, что ли, референтом директора, а завод огромный, в своем роде крупнейший в стране. Но вот потянуло его на родину, в Астрахань, к родным, к матери, что вполне естественно, тем более случай такой — крупная новостройка. Ивакин на «Каустике» был не на последнем счету, а если так, то отпустить его с миром нельзя, надо непременно крови попортить. Дело дошло до прокурора, он встал на защиту Ивакина, и тот уехал без трудовой книжки, которую просто по-хамски не отдали. Он договаривался с ГПЗ на одну должность, но, пока вызволяя свою трудовую книжку, должность заняли, отчет Ивакин раза в полтора проиграл в зарплате, потерял подъемные. Что и говорить, человека гнуть да ломать — не заводы строить, тут у нас не заржавеет, особенно когда ему надо напакостить за то, что он хороший специалист!

— Оно, может, и к лучшему, что не поставили руководителем,— с вечным оптимизмом добродушного человека, склонного прощать нанесенные ему обиды, говорил Ивакин.— Теперь здесь очень сложная обстановка. Так что сначала побуду старшим инженером, осмотрюсь.

Это был редкий для новостройки человек, который приехал на нее не ради должности, квартиры или хотя бы честолюбия, который, приехав, ничего не приобрел, кроме малой родины, а только проиграл в зарплате да прибавил себе массу хлопот: предпусковой и пусковой периоды!

В дверь заглянул невысокого роста мужчина, спросил у Ивакина о трубах каких-то номеров и, получив ответ, удалился.

— Это наш начальник установки Михаил Михайлович Фокин. Он здесь давно работает, вот с ним поговорите, а то убежит куда-нибудь, не застанете,— посоветовал Ивакин.

Я вошел к Фокину, как в ледник. Из щелястых окон, обращенных на восток, откуда устойчиво дул ветер, тянуло так, что на столе колыхались бумаги. Помещение напоминало мастерскую: вдоль стен — слесарный верстак, стеллажи с инструментом, на полу — гнутые трубы, электромоторы; вязкий запах машинного масла перемешивался со сладковатым запахом свежих железных опилок. Фокин со своим столом и шкафом, забитым документацией, с кипами чертежей, в которых ему еще предстояло разбираться, занимал уголок.

К моему удивлению, Михаил Михайлович начал с того же, с чего его подчиненные,— с нехватки рабочих рук. Он посоветовал, что ту половину штата рабочих, которая в наличии, дергают, велят посылать подсобниками к строителям, в результате разворачивают тех и других: строители с удовольствием принимают дармовую силу, нагружают ее чем похуже, унести, поднести, зачистить, убрать, а заводские рабочие, не получая никакой приплаты, тянут, лишь бы день прошел. Привыкают волянить! Нельзя их

дергать, это нарушение КЗОТа, и Фокин как может защищает своих рабочих, старается хоть как-то обучать их вот в таких не приспособленных для этого помещениях, где волков морозь, и не в том объеме программы, как хотелось бы, а на скорую руку.

«Позвольте! — протестуют начальники цехов и установок. — Нам же продукцию выпускать, мы людей с улицы набрали, они не знают, с какого боку к аппарату подходить! А ведь — химия, чуток не вовремя или не туда повернул вентиль — беды не оберешься...»

Ну нормально ли: через два месяца пускать ГПЗ, а рабочих — половина штата, и те толком не обучены!..

Я пошел к заместителю директора по кадрам и быту, огибая базу оборудования с северо-востока. На этом курсе в просторах желтого моря всегда по-иному воспринимал я природу Аксарайска, становился беспомощным, уходил в себя, отчего все мысли, чувства так обострялись, что мне иногда казалось, будто слышу вселенную, ее тонкий мелодичный звон. При этом я казался себе песчинкой, но и моя вроде бы затерянность в огромном мире, и обостренность мыслей, чувств не угнетали, а очищали душу, опять-таки поднимали над суетой... Здесь пролегли новые железнодорожные пути, уже заносимые песком, как сугробами, стоял искореженный бригадный вагончик, с одной стороны заваленный тяжелой желтизной праха, с другой стороны повисший над пустотой, лишенной опоры, которая будто бы только что была, но улетела по своей прихоти. Около него я невольно останавливался, как около одинокого могильного креста, и оглядывался на завод: он казался маленьким, игрушечным среди просторов с убегающими до горизонтов барханами...

Но эта игрушка при небрежном обращении с нею способна губительно потрясти весь край.

Заместителю директора по кадрам и быту Борису Григорьевичу Филиппову, который был одновременно и секретарем парткома ГПЗ, вопросы задать я не успел: он, сидя за своим замдиректорским столом (его стол парторга находился в соседнем кабинете, соединенном с этим кабинетом внутренней дверью), тотчас начал рассказывать про то, что я уже видел, знал! И про пароход «Лесков» на Ахтубе, с которого некуда переселить 57 человек, и про холод в бытовках, и про давку в автобусах, и про тесноту в столовых. Завод газоопасный, случись что — куда эвакуировать людей? Водная переправа, около нее такое начнется!..

— С квартирами нет просвета, — продолжал Филиппов, торопливо похаживая по кабинету и обеими руками приглаживая поредевшие вьющиеся волосы, азартно тыча издали в мой блокнот, — просвета нет, потому что с самого начала силы бросили на промышленное строительство, минуя соцкультбыт и жилье; и еще — не очень-то продумали, где строить дома: было бы лучше строить на чистом месте, идти по испытанному пути, создавая город-спутник. Но в Астрахани мощной строительной базы нет, а здесь — дойная корова, завод, и горисполком выделял место, плотно застроенное домишками, в которых жильцов — битком, значит, их надо куда-то вселять, прежде чем пускать бульдозеры. Тут, конечно, у Астрахани свои цели, благоустроить город, но заводу-то какво? Он почти половину построенного жилья отдает, чтобы компенсировать снос. Редкостный завод, не было в Астрахани такой промышленности, нет и специалистов, их приглашают отовсюду, со всей страны, местные жители даже в рабочие, которых обучат, подготовят, не очень-то идут, потому что у местных свой уклад, они все больше рыбаки да охотники. Нет рабочих, не хватает, их можно бы привлечь со стороны квартирами, но привлекать нечем. Приготовили было красочный плакат: «Начни свою трудовую биографию на уникальном заводе!» — отпечатали, но придержали: поедет народ, а что ему дать?..

— В бытовках жуткий холод, Борис Григорьевич. Воды нет.

Филиппов стремительно вышел и скоро вернулся с молодым мужчиной, представив его:

— Председатель заводского профсоюзного комитета Горелов Леонтий Александрович.

Ну и хитер! — усмехнулся я про себя. На выручку позвал... Сколько, бывало, видел я начальников, которые приглашали в кабинет профсоюзных, комсомольских и прочих активистов и вместе начинали малевать несуществующие достижения...

— А, профсоюз, который польку-еньку танцует вокруг администрации? — сказал я, пожимая Горелову руку.

Горелов не разомкнул губ и продолжал стоять, глядел на меня с бесстрашием аксарайского неба. Рослый, легко и вместе с тем плотно сложенный, с отрешенными задумчивыми глазами и неподвижным лицом, он походил бы на индейца, если бы был посмуглее да с длинными волосами, а не с короткой спортивной стрижкой.

— Леонтия Александровича избрали председателем завкома месяц назад, в сентябре. До этого он был заместителем начальника ремонтно-механического цеха. А у нас по РМЦ вот что, — говорил Филиппов, листая папку с партийными документами, — вот что у нас по РМЦ. — И подал мне папку раскрытой, с письмом, которое подписали человек пятьдесят.

Вот это письмо:

«В ЦК КПСС;

в Астраханский обком профсоюза;

генеральному директору п/о Астраханьгазпром;

директору АГПЗ;

управляющему треста Промгазстрой-3.

Просим вас решить вопрос о скорейшей сдаче производственного здания и административно-бытового корпуса ремонтно-механического цеха АГПЗ.

В данное время в корпусе ремонтно-механического цеха работает три подразделения: РМЦ, электроцех, КИПиА, в количестве 250 человек. В корпусе этих подразделений отсутствуют элементарные санитарно-технические нормы и условия для успешного выполнения государственного плана, а именно:

1. кровля производственного здания течет;

2. отсутствует питьевая вода;

3. не сделаны бытовые помещения и туалеты;

4. отсутствует канализация;

5. нет шкафчиков для переодевания рабочих;

6. неудовлетворительное обеспечение транспортом по доставке работников на работу и с работы;

7. строителями и монтажниками не сданы в эксплуатацию вентиляции, грузоподъемные механизмы.

8.08.86 г.».

Такие письма я видел двадцать с лишним лет назад на волжских заводах, где люди в пусковой и предпусковой периоды работали в подобных условиях, прятали спецовки под застрехи, не могли умыться, сходить в туалет... Филиппов отлучился в соседний кабинет, а Горелов заговорил вроде бы спокойно, но как-то глухо:

— Посмотрели бы на этих людей — озябшие, с чумазыми лицами. Они спрашивают: дядя, как? помоги. А на дядю сверху плюют, дядя — никто.

Это была жесткая правда, за которой виделось давнишнее бесправие профсоюзных работников, но я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь из них говорил подобное: обычно они держались бодрячками, сводили речь на художественную самодеятельность, на соцсоревнование, на культпоходы.

Вернулся из соседнего кабинета Филиппов — еще одна папка.

— Письмо в ЦК послали?

— Нет, не послали — Филиппов положил передо мной вторую раскрытую папку, с протоколом заседания парткома. — Решили сами разобраться, наказать виноватых. Вот.

Суровым было решение парткома. За то, что приняли в эксплуатацию недостроенный ремонтно-механический цех, многим объявлены строгие выговоры.

— Ну, объявили, а дальше? — спросил я, понимая свою наивность, но еще на что-то надеясь.

Филиппов стал искать другой документ в папке Горелов сел за стол напротив меня, вынул из кармана две чайные бараночки, одну стал грызть, другую протянул мне. За окном уже стемнело, пора бы ужинать, и баранка была кстати, хотя утешение показалось мне слишком уж своим для первого знакомства. Я схрустал баранку, он достал из кармана несколько кусочков пиленого сахара, протянул их на раскрытой ладони:

— Возьмите, тоже калории.

Филиппов положил передо мной письмо от 13 сентября 1986-го, подписанное им, Филипповым, и Гореловым, адресованное секретарю парткома производственного строительного-монтажного объединения Астраханьпромгазстрой. В письме говорилось, что



РМЦ «по плану должен быть введен в эксплуатацию в IV квартале 1985 г., сроки сдачи объекта неоднократно переносились, последний срок назначен на июль 1986 г., однако до настоящего времени РМЦ не предъявлен к приему рабочей комиссии». Далее — перечисление недоделок, упреки генеральному подрядчику, заключение: «Партком и профком Астраханского ГПЗ просят (я бы тут поставил «требуют».— И. М.) рассмотреть вопрос строительства РМЦ, дать партийную оценку фактам срыва утвержденных сроков сдачи объекта в эксплуатацию и оказать помощь в реализации критических замечаний рабочих».

— И что же? — ткнул я в письмо, считая, что партком и завком сделали все что могли, не за грудки же хватать, в самом-то деле.

— А ничего! — возбужденно вскинул руки кудрявый Филиппов и весь какой-то растопыренный заходил туда-сюда.

Это было то самое «на дядю плюют». В предпусковой период строители становятся начисто глухими, подобные письма исчезают у них где-то в прорве, в небитии, у них, как в данном случае, масса горящих объектов, и людей всюду не хватает. До писем ли! Что вы с чепухой лезете, Филиппов и Горелов! Ваш РМЦ, худо-бедно, пусть под дырявой крышей, с дырявыми стенами, но стоит. А на очистных — светопреставление, за котельную голову откручивают!

В тот вечер они подбросили меня на своем «рафике» до тоннеля, и это было крупным везением. По дороге я узнал, что Филиппов по образованию инженер и юрист, окончил два института, но стал, можно сказать, профессиональным партийным работником, на двух крупных стройках страны возглавлял партийные организации, сюда приехал потому, что коренной астраханец, на родину потянуло. Он мой ровесник, тоже хорошо помнит войну, голода, но здесь у них было полечче — рыбой спасались. Вероятно, из-за того, что они ради меня сделали большой крюк, я смалодушничал, согласился на предложение Филиппова завтра с утра вместе с Гореловым пойти по заводу. Нужен мне этот сопровождающий! Да еще профсоюзный работник. Баранки и сахар, конечно, неплохо, но он всю дорогу как воды в рот набрал, и неизвестно, что у него на уме. Ладно, меня тоже не заморочить. Стреляный.

Утром в половине девятого я был в кабинете Горелова, он сидел за столом спиной к единственному окну и со своим постоянным выражением лица предложил мне сесть.

— Чайку не желаете с дороги? — Мягкий, бесстрастный голос.

Я шел сюда встреч ветра мимо столовой, мрачной, как заброшенный, потемневший сарай. Что ж, неплохо и передохнуть. Гонят, что ли? В заварочном чайничке он кипятитьником согрел воду, сыпанул в него зеленого чаю, а когда развернул пачку печенья и от одного из них отломился, откатившись, уголок, подобрал крошку со стола, отправил в рот. «Мелочный или жил трудно?» — подумал я. Мы разговаривали ни о чем: да, заходило... да, стройка большая... да, брат, вишь, брат, во, брат, дела, брат... Короче, почаевничали, наговорились — как меду напились. Я ждал, куда меня поведет этот бахарь, где мы с ним еще посидим, поokaем.

В кабинет вошли два парня.

— Может, побеседуете с ними? — предложил Горелов.

С чего бы это?.. Однако дают — бери, бьют — беги. Один из вошедших — Валентин Михайлович Серов, начальник санитарно-гигиенического отдела центральной лаборатории ГПЗ, другой, ростом пониже и позастенчивей, — Владимир Викторович Гуртовой, заместитель главного инженера по водоснабжению. Ладно бы у них была общая работа, как, скажем, у бригады, а то ведь это ни на что не похоже — враспырку оказался я перед ними со своими вопросами. Только профсоюзный работник и может додуматься до такого «угощения»... Однако чем больше я их слушал, тем больше выявлялась их совместная цель, их беспокойство, чтобы завод не угрожал окружающей среде.

Серов смотрел на проблему и философски и практически: карандаш ножичком подтачиваешь, и то осторожность нужна, а при нынешней технике, при гигантском строительстве ни одно, даже самое оснащенное, предприятие не гарантирует окружающей среде полную безопасность. Пример — Чернобыль. Конечно, у ГПЗ уже есть испытанный двойник — Оренбургский ГПЗ, но там концентрация сероводорода полтора-два процента, а здесь 23—26 и даже до 30 процентов, здесь требуется особая осторожность. Поэтому здесь для тех отходов, какие особенно ядовиты и не годятся для сброса, построена уникальная, единственная в мире установка: она будет закачивать

опасные сбросы под землю, на глубину более километра. Остальные сбросы пройдут замкнутый цикл очистки, в том числе биологическую с водорослями, рыбой, с воздействием солнечных лучей, и будут использованы для полива земель, для орошения. При проектировании этой системы очистки были допущены серьезные ошибки и просчеты, вскрытые государственной экспертной комиссией под руководством академика Б. Н. Ласкорина. Многие из них еще не устранены. Серова беспокоила и воздушная среда. Когда разрабатывали проект, никто не занимался штатом санитарно-гигиенического отдела, почему-то произвольно, волевым порядком посчитали, будто для отдела достаточно четырех лаборантов. Но, по нормам, один лаборант берет в год 750 проб воздуха и метеопараметров. Значит, вчетвером они возьмут за год 3 тысячи проб, сумеют проверить только одну установку. А для всего ППЗ за год потребуется брать 24 тысячи проб. Лаборантов надо учить, для них заранее надо запастись соответствующие приборы. Через два месяца завод пустят, а штатом лаборантов никто не занимается.

Серов не был уверен в достаточном контроле за воздушным бассейном, а заместителя главного инженера Гуртовой говорил о воде для завода, приводил в изобилии цифры и факты.

Завод потребляет столько воды, сколько потребляет ее на все нужды город в 120 тысяч жителей. Протяженность сетей водопровода и канализации — 500 километров, на территории завода — 150 километров. По замкнутому циклу в час проходит 15 тысяч кубометров воды (я прикинул: в железнодорожной цистерне — 50 кубометров, значит, в час — 300 цистерн). Строить объекты водоканализации не начинали до 1985 года, все сроки сорваны, оказался наш застарелый стереотип: лишь бы завод, а инженерное обеспечение — дело десятое. До пуска успеть хоть бы минимум сетей проложить, но минимум — это большая натяжка; разумнее приостановить строительство завода и навалиться на сети. Вот форсируют котельную, но она будет сбрасывать в сутки 8 тысяч кубометров воды, принять ее некуда. Оборудование, которым обеспечили, не все отвечает техническим требованиям, у насосов плохая арматура, открываешь ее — падают диски. Арматуру новых насосов уже реконструировали в РМЦ. Наши проектные институты в проект заложили такое оборудование, какое по импорту не предусмотрено и какое наша промышленность не выпускает, отчет приходится его заменять, на ходу подыскивать похожее, но похожее — это не равнозначное. Примеры: решетку-дробилку спроектировали два года назад, но никто ее не изготовил, ее заменили на подобную, отняли у какого-то другого завода; илоскреб-нефте-сборник (новая разработка) должен был изготовить Туймазинский (Башкирия) завод химического машиностроения, он тянул с обещаниями до последнего и вдруг в августе прислал категорический отказ; и тогда илоскреб-нефлесборник срочно начали изготавливать сами в РМЦ.

На подготовку очистных сооружений необходимо время, чтобы отладить оборудование, придать ему устойчивость в работе и не подвергать опасности окружающую среду внезапными поломками. Очень густая сеть трубопроводов — несколько слоев под землей. Что возьмешь с насоса, если включаешь его, а он вибрирует! Время необходимо еще и потому, что сброшенная вода должна соответствовать ГОСТу, а для этого надо предугадывать и ее дозировку и ее состав, ибо в сухую погоду вода одна по составу, а в дождь другая. Если бы хоть в мае закончили сооружения очистки, хоть бы несколько месяцев дали!..

Вот так: с одной стороны — теория, наука, комиссия во главе с академиком, с другой стороны — насосы и трубы, уложенные, смонтированные наспех, кое-как, не вызывающие доверия...

Воздушная среда, стоки, подземные воды — это все едино, это окружающая среда... Где-нибудь вдалеке отсюда, в Волгограде, в Москве, подобный рассказ не вызвал бы у меня столь сильного беспокойства, но здесь я каждый день слышал чьи-нибудь опасения, и они напластовывались. Мне вспомнился геолог в романовском полушубке, сказавший о трагедии Великих озер, вспомнился взбурдаженный тухлым запахом поселок Молодежный... Волга — одна, ее дельта — одна. Этот край с его осетровыми, с его заповедниками — один на весь земной шар, и над уникальным краем пока что не густая, пока что серая тень опасности, но все же поднималась...

Гуртовой и Серов почему-то не садились, может, спешили поскорее уйти, торопились по своим делам, во всяком случае рассказывали кратко и четко. Будем надеяться на лучшее, на то, что ничего опасного не произойдет, но если есть малейшая опас-

ность, о ней тем более надо говорить, ибо потом говорить будет поздно. Пусть же знают, что люди высказывали сомнения, что не все рвались любой ценой пускать ГПЗ немедленно, срочно, без достаточной подготовки...

Я поблагодарил их за откровенный разговор, но не мог понять Горелова, который во время беседы слова не проронил: чего он хотел? Когда мы остались одни, он сказал:

— Мы собирались на завод. У вас на сегодня есть какие вопросы в дирекции? А вот это понятно: уйдешь на завод — не скоро выберешься.

— Меня интересует комплектация оборудования. Кто ею занимается?

Горелов застегнул свое осеннее асфальтового цвета пальто и, прямой, решительный, но спокойный, провел меня в другое крыло здания, в кабинет, перед которым была приемная, а в ней секретарша. И по тому, как он, не спросив, миновал секретаршу, я отметил: знает себе цену.

В кабинете работал Вадим Николаевич Коновалов, заместитель генерального директора по комплектации оборудования производственного объединения Астраханьгазпром. Он без конца отвечал на телефонные звонки, к нему, несмотря на секретаршу, с неотложными вопросами вбегали какие-то люди. И все-таки, работая в суматохе, Коновалов кое-что рассказал. Приехал он сюда в июне восемьдесят пятого на должность главного механика завода и увидел, что коробка РМЦ стоит пустая. А субподрядчики — их же тьма! — не могут догадаться о назначении РМЦ, и каждый лепит себе ремонтно-механическую мастерскую, каждый заказывает и везет себе — да просто с базы самовольно уволокивает — станки. Хищническое использование металлорежущего оборудования! Мелочь, анкерные болты точат, но ставят свои карликовые мастерские, тогда как промышленный корпус пустует, ибо нет субподрядной организации, которая занялась бы механическим оборудованием. Химия, вот и забыли про механомонтаж, уподобились хозяйке, которая задумала варить борщ, припасла все продукты, а кастрюли, чугунок — хват-похват — нет. Коновалов, понимая, что когда-нибудь да спохватятся и его же будут бить за чьи-то промахи, велел рабочим РМЦ, хотя это не их обязанность, затаскивать станки, монтировать их. Установили два станка — ночью кто-то раскурочил их, кому-то запчасти понадобились. Нет охраны! Тогда рабочие сами начали зарешечивать окна, двери укреплять. Да вот и сейчас — полон корпус оборудования, а охраны нет. С крыши течет, когда дождь, а шинопроводы — под высоким напряжением, они от воды могут замкнуть, и так бабахнет!..

— Возмутительно! — сыпал весь в делах, занятый позарез, но все же подверженный эмоциям Коновалов. — Возмутительно! На сотни миллионов купили импортного оборудования, а простенькое механическое производство — на уровне каменного века!

За небольшим столом, в окружении переговорной аппаратуры, он говорил с жаром, его волнение передавалось и мне, я записывал, изредка взглядывая на Горелова, который сидел напротив меня за столом для заседаний прямой, отрешенный, будто его ничего не касалось.

Когда Коновалову поручили комплектацию, в ней он застал полный развал, ее с самого начала отдали на откуп случайным людям, «девочкам», которые по бумажкам вели учет, но не видели и не знали, куда и как разгружают оборудование. А его разгружали в пески, даже охрану не поставили. Вечная голубая мечта начать монтаж оборудования с колес осталась неосуществленной. Запасные части у станков, инструмент, клиновидные ремни — все разворовывалось. Ворovali даже то, что никому не нужно, что попросту блестит: едет мимо человек на верблюде — ага, любопытно, дай-ка приторочу, авось пригодится...

Сколько же пропало оборудования? На какую сумму?.. Коновалов дважды посмотрел в другую бумагу и назвал фантастическую цифру, сотни миллионов рублей, но приводить ее не решаюсь: возможно, разволновавшись, он заглянул не в ту ведомость... Да и не мое это дело (пусть юристы занимаются), на какую сумму похоронили в песках оборудования, одно ясно: похоронили на такие миллионы, на какие можно было бы обновить жилой фонд едва ли не всей Астрахани. Тут и подумаешь: завод находится от Астрахани в пятидесяти километрах или Астрахань от завода? Если судить по расходам затрат и растрат, то Астрахань находится от завода, нищий городишко по сравнению с ГПЗ. И еще Астрахань же упрекают, будто взимает она квартиры с завода! Мало взимает. И в десять раз больше взимала бы, это все равно было бы крохами при таком-то мотовстве.

Сердито, с болью говорил Вадим Николаевич, переживал бессмысленную трату народных средств. В его кабинете все сверкало и блестело, за дверью сидела секретарша, был он высоким руководителем, как-никак замом генерального директора, в дорогом костюме, с холемым лицом, но чувствовалось, не прятался он от обыкновенной человеческой нужды за начальственным саном, понимал эту нужду. Почему так встревожен? Его личные, что ли, деньги ушли в песок? Из дальнейшей беседы выяснилось, что Коновалов — уроженец Орска Оренбургской области. После средней школы он три года работал сварщиком на нефтеперерабатывающем заводе имени Чкалова. В 1961 году решением общезаводского комсомольского собрания его направили в институт (от завода он получал стипендию). После института вернулся на свой завод и позже стал заместителем директора по капитальному строительству, женился, пошла дети. Но жена умерла от рака почки, и он с двумя детьми уехал на Украину, стал работать кочегаром...

— После заместителя директора? — вырвалось у меня.

— Да, от себя убежал... Такое было!.. — Он махнул рукой. — Потом снова женился. Теперь у меня трое детей...

Над столом из аппарата, вделанного в стену, как с того света раздался голос, повелевающий Коновалову зайти.

— Извините, замминистра Шерemet. — И Коновалов поднялся.

Горелов тоже встал, готовый сопровождать меня дальше на завод. Мы встретились взглядами, его карие глаза были внимательны, но бесстрастно спокойны, губы плотно сомкнуты. На улице он, без головного убора, поднял воротник, укрываясь от ветра. Мы огибали базу оборудования не там, где я обычно ходил, по песку, а дальним путем, по асфальту, местами тоже заваленному переметами песка, который взлетал из-под колес автомобилей, окутывая с головы до ног. Я уже начинал привыкать к песку, точно к лесу, лугу, речке, воспринимал его живым, но воспринимал с непреодолимым состраданием, будто что-то внушало мне, что природа видоизменилась от какого-то несчастья, продолжая, однако, жить в облике этого сыпучего праха. Я по-малкивал, ждал, когда Горелов раскроется, перестанет маячить около меня безмолвной тенью. Не нарушая естества событий, я шел, куда ведут.

Человеку, еще не изучившему новый завод, а я был таковым, трудно разобраться в его коробках, угадать, что в них. Коробка, она и есть коробка. Горелов подвел меня к РМЦ, показал на довольно сложную конструкцию у входа:

— Это и есть тот самый илоскреб-нефтесборник, о котором говорил Гуртовой. Редкая сталь, трудно доставали. Я тоже его делал.

В цехе шумели станки, через стеклянные стены лился свет, было иссиня-солнечно.

— Цех в тропическом исполнении, — повел рукой Горелов. — А у нас здесь перепад температур градусов этак восемьдесят. Летом жара до пятидесяти, зимой морозы до тридцати. И — ветра, все выдувает. Сейчас осень, еле морозец, но чувствуете холод?

Голос у него заметно подрагивал. Он позвал сварщика Михаила Ингина, с виду парнишечку, а сам отошел в сторонку, чтобы не мешать разговору.

Знал Горелов, кого позвать. Из всех рабочих цеха Михаил Ингин пришел сюда самым первым, 20 ноября 1984-го. Мы сидели с Михаилом за столом для перекура, я клонил к нему ухо, ибо шум станков заглушал голос. Он поступил сварщиком, а работал сначала грузчиком, стропальщиком — на базе оборудования сортировали ящики: импортное — в одну сторону, наше — в другую. Базы построили с опозданием, свозили на них все, что валялось в песке, где вроссыпь, где горами наворочено так, что не подступишься. Ну и, конечно, сварщикам помогал, сантехникам, варил системы отопления в столовой, в дирекции.

Передо мной был сварщик, но чувствовалась в нем какая-то интеллигентность, хотя он из рабочей семьи, отец его — тоже сварщик на Мангышлаке. Да ведь Михаил, не надо забывать, среднюю школу окончил, худо-бедно, но прошел классическую литературу, с различными видами искусства познакомился, сдал программу обществоведения... Подняли культуру, сделали обязательным среднее образование, а организацию производства ничуть не продвинули, тут полное бескультурье. И рабочий приходит в негласное столкновение со своим трудом. Не случайно Михаил обращал мое внимание на то, что творилось на базе оборудования, особенно когда им велели затаскивать станки в цех: работник базы укажет приблизительно место в горах ящиков, где дол-

жен быть станок, вот и ползай между ящиками ужом, высматривай маркировку. Найдешь — а как брать? Хорошо, если кран есть, а то трубами, как вагами, поддеваешь, докапываешься до станка... А как затаскивали в цех? Вручную, катком, на трубах, на бревешках, под «раз-два — взяли», как волжские грузчики во времена юности Алексея Пешкова.

— К зиме восемьдесят пятого поставили семь станков и одну гильотину. Заказов много и слесарям и токарям, всем. В цехе сделали печку из трубы большого диаметра, вон там она стояла,— указал Михаил на свободный пятачок между станками.— Но чем топить? Ломали доски. Печка — красная, а сзади пробирает. Смотришь — вдруг телогрейка загорелась. И до сих пор тепла нет, туалетов нет...

Между тем Горелов пригласил еще одного работника цеха, начальника участка Юрия Тимофеевича Фомичева, секретаря партийной организации заводской службы механика.

— Золото — наши рабочие, золото,— говорил Фомичев.— Поплачут-поплачут, а делают, не отказываются. Вот у нас шкафчиков нет для одежды, чтобы переодеваться. Разве для себя мы бы их не сделали, если вагончики варим? Руки не доходят, заказов по горло, и все срочные. Мы все как бы на учебе, на освоении, хотя у каждого — квалификация. И происходит диспропорция между трудом и оплатой. Рабочие все видят, но говорю — золото люди. Правда, за особо срочные заказы нам приплачивали. Но тут ведь что было? Нужен илоскреб-нефтеборник, и директор завода приказывает привезти для нас матрацы, нам выделяют две комнаты, чтобы мы в цехе ночевали. Ночевали. Меня жена через неделю по телефону разыскала здесь вся в слезах... Теперь матрацы отняли и комнаты отняли... Так, я вам скажу, мы кислород, пропан сами доставали, в Аксарайск ездили, а машина не приспособлена для перевозки баллонов. До сих пор не приспособлена, а это риск... Посмотрите на окна, на щели, как мы их всяким тряпьем заткнули. Сами утепляемся как можем.

Меня поколачивало — от холода скорее всего. Я не знал, за что так сурово решил наказать меня Горелов и привел сюда выслушивать рассказы людей о своих нуждах. Уж не за то ли, что ему польку-еньку припомнил? Мы с ним прошли по цеху, встали на забетонированной площадке, где предстояло еще монтировать станки. Обзор был широким, всюду у станков работали люди, одетые не в спецовки, а в телогрейки, куртки, тут и там громоздились горы стружки. Я вспомнил разговор о ней на пикнике у главного инженера.

— Тонете в отходах?

— Помаленьку начали вывозить,— отозвался Горелов.

— Куда?

— В пески, куда же еще. Другого места нет.

«В пески» для меня прозвучало как «в луга», «в лес» — здесь же, в дельте, все так легко ранимо!

Мы вышли не с той стороны цеха, где входили, и я увидел закопченную силикатную стену. Горелов перехватил мой взгляд.

— Здесь наша бытовка. Сейчас трубы нет, еще не вывели, а зимой была труба, обогревались буржуйкой.— И он не утерпел, а я залюбовался его несдержанностью, его человеческой болью.— Скажите, почему к столь важному цеху такое отношение? Здесь люди так работают, так работают, себя не щадят! А кто-то лозунги вывешивает, обещает рабочим хорошую жизнь! И они верят: дядя поможет! Вот вы объясните мне, почему к такому цеху и такое отношение!

Нет, он не выкрикивал, выкрик чувствовался в интонации. Здоровенный парень, с огромной, судя по всему, внутренней силой, но и он не совладал с собой. И хорошо, что не совладал, хорошо, что такое настроение у председателя профкома: поперет в защиту рабочих! Много ли — всего месяц на посту. Вот осмотрится — и поперет!.. Думаете, я дипломатично ушел от ответа, ускользнул, как тертый пропагандист-агитатор, который ссылается на временные трудности, либо не понимая и не желая понимать эти трудности, либо трусливо замазывая их? Нет уж, хватит молчать, пусть человек точно знает что к чему. Мы шли по песку в густоте застройки, в железных и бетонных дебрях, шли неизвестно куда. Конечно, я мог и не отвечать, мое дело слушать и смотреть, но ведь тоже зацепило!

В разговоре жест, взгляд, интонация скрадывают слова, и, возможно, я сказал ему как-то иначе, но сказал примерно следующее: да, в партийно-правительственных

постановлениях отмечалось, что у наших заводов слаба ремонтная база. Верно, слаба. Мы не очень богаты, но и не так бедны, чтобы содержать ее в столь плачевном, как теперь, состоянии. Философия всех ремонтно-механических цехов созревает на стройках, эта философия для всех РМЦ одна: гони направо по ухабам, по бездорожью! Сроки поджимают, строители мечутся, того не хватает, другого. Что делать? Как докладывать правительству? Известно как: мы-де молодцы! А чем доказать, что молодцы? Так у нас же люди — умельцы, герои, двужилые! А ну-ка, братцы, сами — на своих станочках, на холоде, задом наперед и вверх ногами! Какой холод, какая вода, какие туалеты — что вы! Болты нужны, флинцы! Вон у Фокина на риформинге 80 флянцев проржавело, где же их наваривать да точить, если не в РМЦ?.. Такая философия, Леонтий Александрович, замешана на нашем прошлом: свергли, победили, но работать при обобщественном труде еще не привыкли: рабство натуры подсказало, научило вкушать сладость показушных рапортов. Тянули в 1929-м тракторостроевцев за язык? Так нет, выскочили с рапортом, что Сталинградский тракторный будет построен досрочно. И что же? Как выглядел тракторный гигант первой пятилетки? Как показала себя alma mater нашего машиностроения? А вот как: в ремонтно-инструментальном цехе (по-вашему в РМЦ) точили серийные детали для трактора, точили в индивидуальном порядке, не освоив поточного производства. Подорвали ремонтную базу, и только через сорок пять лет не Сталинградский, а уже Волгоградский тракторный освоил проектные мощности, да и то с помощью подсобной силы, с помощью механизаторов, присланных из колхозов и совхозов неоглядной России. И до сих пор у этого тракторного ремонтная база никудышная.

Другая, в свое время самая крупная, стройка — волжские заводы. Там в 1960 году в декабре, под дырявой крышей, среди хляби на полу поставили станки в корпусе ремонтно-механического завода (это ваш укрупненный РМЦ) и стали точить на станках болты для строителей, ремонтировать чужое, но испорченное оборудование, а также изготавливать то, которое вовремя не поставили. Результат? И после пуска комбината этот ремонтно-механический завод не в состоянии был работать нормально, жуткие трудовые условия, рабочие увольнялись, директоров снимали...

Хватит, Леонтий Александрович? Вы поняли, что рабская бездуховность проникла в промышленность и поставила ее на четвереньки, отчего она не может двигаться нормальным шагом. И ваш завод беспомощно барахтается, захлебывается от торопливости, для него РМЦ — соломинка. Ваша стройка: неуправляема, неуправляема потому, что колоссальную инерцию набрал дурной опыт строительства, он проломил себе прогал через человеческие судьбы и нравственность народа.

Никак не отозвавшись на мою речь, Горелов завел меня в силикатный корпус, затем по лестнице, закиданной окурками, на третий этаж с узким сумрачным коридором, толкнул дверь в комнату, и я увидел здешнего бога серы, начальника второго производства Александра Ивановича Огороднева. Ему на своем производстве предстоит довести газ до кондиции, чтобы содержал не меньше 50 процентов сероводорода, затем с помощью теплообменников получить из газа жидкую серу, разлить ее, горячую, 120 градусов, на карты, на площадки 50×50 метров, просушить — и в вагоны. Жидкую тоже будут отправлять, половину от всей валовки. В декабре намерены пускать, вероятно, пустят, ему, Огородневу, осталось освоить два миллиона рублей... Я был ошеломлен. До пуска два месяца, но вот в сумрачной комнатенке с единственным окном на север сидит здоровяк с добродушным лицом и этак запросто: два миллиона осталось. Так ведь — два миллиона!.. Вообще Огородневу свойственна бесхитростная простота в разговоре, открытость. Если монтажники, например, говорили: труб не хватает, в песках случайно попадают, — то Огороднев тоже говорил, что ему надо еще сварить процентов тридцать труб, а их нет, заменяют отечественными, но при этом добавлял: он свой персонал мобилизует, отправляет отряды вместе с монтажниками в барханы — ищут, находят. За трубами, как за грибами... И еще — тоже с богатырским простодушием: 1 ноября должны начать пусконаладочные работы, на них по графикам французской фирмы полагается три месяца... А в декабре — пускать? Выходит, надо посылать подальше эту самую фирму, которая продала технологию, оборудование, выдала рекомендации? У Огороднева двадцать пять лет стажа на разных отечественных заводах, натура нашенская.

На подобных заводах вера в пусковой срок — это не просто вера, это идеология в масштабах завода, и если кто усомнится в ней — под топор, под приказ, чтобы не сел крамолу.

— Мы бы еще дальше были от пуска, если бы не Шеремег,— назвал Огороднев заместителя министра газовой промышленности, чей голос я уже слышал из отдушины в стене. Он ведь здесь постоянно, в дирекции, как заводской работник, хорошо помогает.

Но трудно выправить самую главную ошибку — срыв строительства бытовых помещений. Летом адская жара, люди в жуткой пыли, а водопровода нет, вместо туалета бегают за барханы, до горизонта. У него, у Огороднева, в месяц по три, по четыре человека увольняются, вновь прибывает по пять, по семь человек. Сейчас на производстве 103 человека, надо по штату 167, это... (Огороднев потыкал по клавишам настольной ЭВМ), это значит 67 процентов от потребного количества рабочих. А пускать — в декабре.

Хоть стой, хоть падай: пускать. Зато когда мы уже встали с Гореловым, который ни вздохом не помешал разговору, Огороднев выдал! Он выдал, как истинный астраханец, — ни от одного из них я не слышал одобрения заводу:

— А по мне, так надо бы здесь лет через сто завод строить. Когда техника разовьется, когда будет полная гарантия безопасности.

Все-таки она вертится...

От Огороднева по тому же сумрачному коридору Горелов повел меня в другую комнату. Случайно он выбирал направление или какую цель преследовал? В помощи я не нуждался, никаких конкретных людей не искал, вообще не хотел провожатых, но он вел какими-то своими путями и ставил перед проблемами. Зачем? Или он, еще зеленый профсоюзный работник, «пристегнулся» ко мне, чтобы я задавал вопросы, а он слушал и вникал? Вряд ли. Впрочем, чужая душа — потемки.

В комнате за полированными столом с деловыми бумагами сидели три инженера: начальник компрессорной установки воздуха КИП Георгий Валентинович Кереселидзе, сменный зам главного инженера Анатолий Федорович Сарафанников, старший механик Виктор Михайлович Бодоланов. Стол рабочий, бумаги деловые, а все трое с постылыми лицами. Траур. В пепельнице окурки как на дрожжах взолши.

Все трое относились к персоналу пятого производства, которое почему-то вздумали реорганизовать, но так нелепо, что оставили без надзора большую эстакаду с десятками километров труб. Как и между кем делить эти трубы, кто за них будет отвечать — неясно. А монтаж эстакады продолжается, монтажники бегут с вопросами, хозяина же у эстакады не стало. Сарафанникова, который возглавлял это производство, назначили сменным замом главного инженера, урезали ему зарплату на 50 рублей. Кереселидзе оклад сохранили, зато на его установке — а она сердце завода — всю тарифную сетку рабочих понизили на один разряд, значит, они будут получать раза в два меньше, чем такие же рабочие на подобных заводах. О понижении сетки рабочие пока не знают, а узнают — вон побегут! Бодоланов хотя и назвался старшим инженером, но это по старой памяти, ему вообще никакой должности не определили. Вроде бы на заводе человек, но в то же время и нет.

— Если не дадут мне перспективную должность, уеду назад, в Ишимбай. Там я был начальником цеха, а здесь — никто, — хмуро смотрел себе под ноги Бодоланов.

— Коней на переправе не меняют, — соглашается Сарафанников, бывший начальник цеха на родственном заводе в Оренбурге, где он участвовал в пуске второй очереди и оттого ясно понимал положение дел.

— Не только я, и Наиль Михайлович Хамадянов, заместитель начальника производства, оказался не у дел. Тоже никто. Он два месяца назад приехал на эту должность, — волновался Бодоланов.

Горелов пояснил:

— Завком профсоюза ничего не знал об этой реорганизации. Вас, по крайней мере, за месяц должны были предупредить о таком приказе. Проверю. Не беспокойтесь, нарушать закон не дадим.

На лестничной площадке я спросил у Горелова о системе управления производством, зная, что, будь она логичной, такого беззакония не случилось бы. Он взял у меня блокнот, нарисовал в полумраке, ибо лампочки не горели, схему управления.глянул я в нее — три дирекции! Ну, генеральная — ладно, а вот две другие дирекции! Как же они власть между собой делят? Два директора, два главных инженера...

А быstroногий Горелов дальше ведет, искорками на ветру ворсится его густой зачес — куда ведет, зачем?.. За пределами завода — двухэтажное здание со столовой, магазином на первом этаже и с газоспасателями на втором. Нас будто ждут коман-

дир Ильменского военизированного отряда по обеспечению газобезопасности Василий Терентьевич Мешечко и заместитель начальника Астраханской спасательной части Эдуард Анатольевич Кузьмин, оба в одном кабинете, просторном и каком-то бесприютно-чистом, будто операционная. Горелов, как обычно, сел в сторонке и точно пропал, улетучился.

Мешечко и Кузьмин многие годы работали в разных городах на химическом производстве, и это важно: в нем надо свободно ориентироваться при авариях, особенно в газовой промышленности, где спасательная служба военизирована; она своей строгостью, жесткостью отличается от подобных служб всей прочей химической промышленности. С газом шутки плохи. Здесь дежурный взвод по первому сигналу должен броситься на очаг аварии, задавить его. Броситься в любой час дня и ночи.

Спасательная часть разбита на оперативные отряды: один следит за состоянием технологических установок, другой за буровыми скважинами, за их профилактикой, третьему предписано в случае взрыва ликвидировать фонтаны, четвертый проверяет заводское оборудование, в зародыше предотвращает аварию, пятый обязан спасти промышленный персонал и население. Газоспасатели обеспечены противогазами с баллонами, промперсонал снабжен воздушно-дыхательными противогазами, пригодными на пятнадцать минут. Автомобили высокой проходимости, конечно, начеку.

В газоспасатели обычно идут охотно, получают значительно больший против заводского оклада, но после дела, если теряют товарища, нередко разбегаются.

Пока завод не пущен, командиры службы готовят кадры. Принимать можно только тех, кто в родственной промышленности проработал не меньше двух лет, а в Астрахани таковых не найдешь, здесь все больше рыбаки. Принимают и рыбаков. Но нет полигона для обучения — и проекта на него нет.

Горелов, к моему удивлению, ворохнулся, заговорил:

— Как нет полигона?

— Нет,— ответил Мешечко.— Сами кое-что сделали, тренируем людей. А нужна установка в миниатюре, чтобы люди в любых условиях, в дыму, в огне, бегали и на ощупь все знали. В Оренбурге была такая установка, я сам ее монтировал, а здесь еще и документацию не получили. Нет полигона.

Горелов покачал головой.

— Здесь, поскольку месторождение уникальное,— продолжал Мешечко,— впервые в мире введены три зоны: первая — санитарно-защитная, радиусом три километра, в ней нельзя появляться без противогаза, запрещено проживание в любом виде, в том числе ночлег, люди все записаны, учтены; вторая, радиусом пять километров,— зона строгого строительного режима, в ней проживание ограничено, запрещено жить семьями с детьми; третья, радиусом восемь километров,— особо контролируемая зона, в ней запрещено новое жилищное строительство и прописка вновь прибывших.

Я спросил про Молодежный: зачем строили?

— А мы предупреждали, что зона запретная,— ответил Мешечко.— Но местным властям не дали команду, и они не препятствовали. И еще поселковый Совет попустительство сделал — разрешил прописку семейных. Теперь в Молодежном и Аксарайске живет шесть с половиной тысяч человек, выселять надо. Ну хотя бы прежде всего семейных, восемьсот тридцать шесть семей выселить надо. Не выселяют! Мингаз обязан обеспечить жильем, не обеспечивает. И старые частные дома в Аксарайске надо снести. Ждут неизвестно чего, ждут. Два месяца до пуска.

Зная, что всякая служба, особенно если ее работа связана с опасностью, склонна перестраховывать себя, я спросил, не слишком ли жесткие условия они ставят.

— Жизнь людей, какая жесткость! — удивился Мешечко.— Конечно, во Франции санитарно-защитная зона не три километра, как у нас, а шестьсот метров. Там земля дорогая, капиталист жметесь. Профсоюзы трехкилометровую зону требуют, но безуспешно, только шумят. У них шестьсот метров, и больше никаких других зон. Одна.

Грешным делом, я подумал, что там и строят, видимо, не с такой гарантией, как у нас. Члены парламента тоже думают о жизни, хотя бы своей, и закрыли бы, в случае чего, опасный завод. Мы же с нашими сварными швами, с потерей труб и заменой их похожими, приблизительными окончательно раслоялись. Трехкилометровая зона по округе ( $\pi R^2$ ) — это более 28 квадратных километров; пятикилометровая зона — это почти 79 квадратных километров; восьмикилометровая зона — это



201 квадратный километр. Вольно ж нам с нашими землями!.. Я очертил вокруг своего родного Базарного Карабулака восьмиклометровую зону — пять сел входили в зону ограничения, из них два попадали под снос, а прилегающие леса с грибами, ягодами, орехами, родниками без противогаса становились недоступными...

Вышли мы с Гореловым на улицу, и он рванулся вперед, с каждым шагом вязко приседая на цепком песке, но и пружинисто отталкиваясь от него. У меня мелькала мысль увильнуть от Горелова, ибо с ним все получалось наскоком, рысью, сам я поэтому не мог праздно поглазеть по сторонам, что бывает необходимо. Стройка сложна, все ее бесчисленные конструкции, уходящие ввысь куполами, свечами, ракетами, опутанные сетью труб, врытые в землю фундаментами, точно колдовством притягивают к себе: такие ли они, какими должны быть, и много ли еще сил потребуется? И по этим конструкциям, как по громоотводам, по антеннам, куда-то в песок, в атмосферу утекает, «убывает душа», а я хочу понять их логику применительно к человеку. И самого человека хочу понять, а не бежать мимо него и рядом с ним галопом...

Тот же Горелов... Он скупко рассказал о себе: родом из Дзержинска Горьковской области, где работал грузчиком, слесарем, мастером в ЖКО, а потом в Узбекистане, в Навои, доканчивал вечерний политехнический институт, был опять же слесарем, мастером, технологом на электрохимическом заводе по производству гербицидов; три последних года перед переездом сюда работал заместителем главного механика Ленинабадского горно-металлургического комбината. Сюда приехал потому, что климат не подошел в Узбекистане. У него двое детей — старшая дочь учится в восьмом классе, сын — в шестом. Правда, упомянув о детях, он разговорился:

— Влюбился в шестнадцать лет — и настоял подать заявление. Настырный был, горячий.

И вот припустился он куда-то от газоспасателей, увлекая за собой, и у меня терпение иссякло: довольно беготни. Я окликнул его, чтобы попрощаться, он повернулся, а лицо у него будто смазано, стерто, «на нем лица нет».

— Я сейчас пойду к директору завода и скажу ему, что он не достоин быть директором.

Он смотрел на меня изучающе, даже сердито, будто директором был я.

— Ни в коем случае не ходите, Леонтий Александрович, — забеспокоился я за его судьбу. — Если директор не достоин, он с вами и воевать будет недостойными приемами. Лучше соберите профсоюзное собрание, обсудите его.

— Но он же не достоин! Полигона нет, даже системы оповещения нет, хотя кругом скважины. Здесь столько народу!..

Я положил ему руку на плечо, сказал, что он не в праве единолично делать такие выводы и что вообще он измотал меня, я есть хочу. То, что я хочу есть, подействовало на него, кажется, больше всего, он резко изменил направление. Все же я взял с него слово обсудить работу директора гласно. А он — вот неожиданность! — вдруг пригласил к себе домой.

Горелов обещал отвезти в Астрахань на «рафике», но у зама директора Филиппова и у главного инженера Золотухина, кому-то уступившего свой «газик», еще кипела работа, а они тоже надеялись на «рафик», так что ждать пришлось часов до восьми, и очень хорошо: Леонтий Александрович Горелов впервые рассказал о себе, и он, председатель профсоюзного комитета ГПЗ, частица истории своего завода, был мне интересен. Он ничем не удивил меня, просто моя душа потянулась к нему, ибо я тоже помню тяжелый труд ради выживания, помню с тех пор, как осознал себя, — с военных лет. Особую симпатию вызвал у меня Горелов тем, что многие беды испытал по причине своей физической силы и чувства справедливости.

Доброте, мужеству, говорил Горелов, его учил Владимир Васильевич Волосов, ныне заслуженный тренер РСФСР, к которому он записался в секцию самбо десятилетним пацаном, в четвертом классе. Внушая, что истинно сильный человек не может быть злым, что вместе с силой в человека входит великодушие, Волосов не уставал повторять: борьба должна быть честной, запрещенные приемы обернутся против тебя же, от угрызений совести потеряешь уверенность в себе.

В группе своих сверстников Леонтий одним из первых стал кандидатом в мастера, и каково же было огорчение тренера, когда он узнал, что его способный ученик поступил в электрохимический техникум! «Зачем тебе промышленность? Занимайся спортом, у тебя такие данные!» — говорил Волосов.

Когда он увидал шестнадцатилетнего Леонтия с Ларисой, начал подшучивать над ним, и тот ушел из самбо в бокс, где занимался уже не так прилежно, но первый разряд получил сравнительно легко.

Отец Леонтия сразу сказал сыну, чтобы сам кормил свою семью, и тот на другой день после регистрации брака, когда Лариса еще спала, отправился на реку, где спозаранку сколачивали бригаду разгружать баржу с луком. Было холодно, Ока мерзала тяжелой гладыю. Бригадир, или, как его называли, бугор, предупредил, что выгонит и ни копейки не заплатит, если Леонтий не продержится до последней луковицы (эти бугры мне известны, они бывают жестоки, вороваты, вносят в список, помимо артели, своих подставных лиц, договариваются со шкипером баржи об одной цене, грузчикам объявляют другую цену, потом делятся со шкипером). Леонтий, чтобы не выгнали, попросил класть ему на плечи не по одному, как всем, а по два мешка, и ему клали, с удовольствием принимали дармовую силу, понимали, бывалые, что мальчишка вгорячах да по неопытности расхрабрился, но скоро выдохнется и уйдет без копейки, а работу какую-никакую сделает. К вечеру у него темнело в глазах, но он останавливался на сходнях, уравнивал качавшееся тело, дальше поднимался из трюма, едва не падая. Бугор сжался, сказал, чтобы он таскал, как все, по одному мешку. Так он прибил к бригаде грузчиков, кочевал с нею по овощным базам, зарабатывал в день по десять—двенадцать рублей и продолжал учиться в техникуме на дневном.

На четвертом курсе — практика на автозаводе в Горьком. Ехать туда из Дзержинска часа полтора электричкой, с пересадкой, времени на заработки не осталось, а у Леонтия дочка родилась, жена сидела с ребенком. И Леонтий ради денег попросился в самый трудный цех, в цех шасси, где работали одни «химики», стал обтачивать корпус редуктора заднего моста для «ГАЗ-51» (было это в 1972 году). Тяжелая деталь, и он, чтобы не лопнули мышцы, туго перепоясывался широким ремнем... Хорошо он получал на заводе, но после смены не мог ехать сидя, болела спина, и, сам тому удивляясь (кандидат же в мастера по самбо, боксер-перворазрядник), в электричке бессильно падал на скамейку, ложился навзничь, не обращая внимания на пассажиров: «Молодежь! Пьют, стыда нет!..»

А дома отец житья не давал. Я хорошо представлял себе, как утром, полудурной с похмелья, он, не имея чем «поправить здоровье», предвидя целый день работы с держакон в руке, со щитком на лице, с красной дугой текущего металла перед глазами, укорял, что ему отдохнуть не дадут, накачались на его шею...

— Глупый был я тогда, ничего не понимал и ненавидел отца. А он всю жизнь, двадцать восемь лет проработал сварщиком на одном заводе, во вредном цехе. И Лариса теперь любит его как самого дорогого человека, понимает, какой он труженик, какой честный.

Анечке исполнился год, когда Леонтию, уже сотруднику НИИ, подошел срок служить в армии. Тренер боксерской секции располагал связями, уговаривал остаться служить в области, обещал, что Леонтий «получит мастера», будет выступать на соревнованиях за сборную города, но тот отказался.

В армии он столкнулся со «стариками» — с солдатами-второгодками. Как только взвод новобранцев получил обмундирование и явился в казарму, к нему направились, выбирая каждый себе жертву, «старики», все до одного подпоясанные старыми ремнями, потому что новые у них год назад отняли другие «старики». Новый ремень — это не просто шик, это атрибут силы, самостоятельности, и первое, что должен сделать новобранец, — отдать свой новый ремень «старика», покориться силе, признать свое бесправие перед ним, а потом и сапоги ему чистить, и отдавать в столовой (молча, без пререканий!) самое вкусное. И к ремню Леонтия потянулся один, но Леонтий перехватил его запястье, отжал руку. Ах салага! И «старик» моментально отступил, размахнулся, норовя пряжкой врезать по голове, но Леонтий поймал руку, прижал ее к туловищу вояки, как если бы ставил его по стойке «смирно». Это был позор для «старика» и для всех его одногодков.

Трое тут же подступили к салаге: а ну пойдём! Они повели его в туалет, откуда моментально повыскакивали, зажимаясь, утираясь, но помалкивая...

Прослужил Леонтий со своим первым ремнем и теперь его хранит. А пока служил, сумел побывать дома, и у него родился Андриюшенька — за неделю до приезда домой. Надо ли говорить, как рвался к семье, как в Дзержинске метался у вокзала, выгадывая минуты, Леонтий?..

— Ловлю такси, а поймать не могу! Поймал все же, и ко мне подсаживается парень. Смотрю... — И Горелов назвал известного чемпиона мира. — Он мне в секции уступал, я его бороться учил. Только что из Японии приехал, там чемпионом стал, первый раз. И он говорит мне: «Дурак, зачем борьбу бросил, теперь бы ездил по всему миру». А я ему ответил, что борцом надо быть не на ковре, а в жизни. Холодно расстались. Приехал, надо устраиваться. Отец посоветовал идти слесарем на завод жирных спиртов: из одной семьи, дескать, двое на заводе, квартиру быстрее дадут. Никакой квартиры, конечно, там не обещали, а нам с Ларисой совсем плохо стало... Но вспоминаю с благодарностью наш четвертый цех, наш РМЦ. Там я работал слесарем четвертого разряда по сборке нестандартного оборудования в бригаде Петра Петровича Новикова, а он мастер, как Левша. Перед ним главный механик завода шапку снимал. У Новикова я многому научился и, когда берусь за что-нибудь трудное, слышу Петра Петровича: «Лева, старайся делать хорошо, плохо само выйдет». Меня не Леонтием, Левой звали.

Слушал я Горелова и поражался его жадности к жизни. Вот он через год перешел из цеха (надеясь на квартиру) мастером в ЖКО того же завода, получил под свою опеку 40 домов старого жилфонда, две газовых котельни, два теплопункта для подогрева воды, шесть слесарей для obsługi домов и две бригады для капитального ремонта, причем каждый из подчиненных не проносил рюмку мимо рта, волком смотрел на Горелова, кругого к пьянчужкам («Ключами кидали в меня, уклонялся. Один раз газовым ключом запустили, над головой просвистел. Но я их все-таки зажал»). А он при таких заботах да в домашней тесноте, закрывшись в совмещенном санузле, поставив ноги на кастрюлю, проходит весь «Самоучитель игры на гитаре», выступает с оркестром в кафе (ну, тут ради заработка по выходным дням три года выступал), учится в вечернем институте. Уставал.

— И в ЖКО — по два мешка на спину?

— Так получалось. С одной мыслью спать ложился: лишь бы не вызвали! Однажды только лег — будят. Смотрю, в дверях слесарь, еле на ногах стоит: «Саньч! Саньч, вода из столба хлещет!» «Из какого столба, иди проспись!» «Верно, Саньч, не вру. Из столба, из электрического — вверх!» Одежда я, пошел с ним, смотрю, точно: из электрического столба, он трубчатый, вода бьет фонтаном до третьего этажа, проводку замкнуло, темно. Перекрыли квартальные сети, я людей собрал, начали копать. А под столбом был стык труб, залитый свинцом. Столб осел и продавил свинец. Глубина три метра, пришлось трактор вызывать, столб валить, траншею копать. К вечеру сделали...

А в ЖКО говорили ему:

— Вам, Леонтий Александрович, квартиры не будет, вы не наш человек. Вы учитесь в институте, закончите — уйдете от нас.

Два года отработал в ЖКО, и вот такие посулы.

Прочитал в газете объявление, что на пусковом заводе в Навои требуются рабочие, предоставляется жилплощадь. Он тут же уволился, дал на завод телеграмму: «Въезжаю слесарем пятого разряда, держите квартиру».

— В отделе кадров смеялись над телеграммой, я и сам потом смеялся. Дали нам, правда, семейное общежитие, через два года — квартиру.

В Навои с завода отозвали его на время в промышленный отдел горкома партии, чтобы помог документацию в порядок привести, три месяца работал инструктором, оставляли насовсем, но попросил отпустить с миром. А на заводе, сохранив ему прежнюю должность, перевели в другую службу и зарплату урезали. И Леонтий, уже будучи дипломированным инженером, вернулся на круги своя: стал ездить электричкой (два часа в один конец) в Ленинабад, где работал помощником бурильщика, помбуром. И повторилось почти то же самое, что в Навои: отозвали с буровой временно помочь главному механику комбината, а потом предложили остаться его заместителем.

— Главный механик — человек душевный, крупный инженер, но на комбинате осело столько его бывших замов! Как на дне бутылки с прогорклым подсолнечным маслом. Все мужики матерые, но дела не знали, не справлялись. Там большая группа ремонтно-механических цехов, сложное производство, горно-металлургический комбинат все-таки. И эти бывшие кинулись на меня — мне-то всего двадцать девять лет, а я заместитель главного механика. Слесарей подговаривали, машинистов против меня настраивали. Но я с детства с железками (у отца все время мотоцикл был), институт тоже неплохо окончил, мне давали рекомендацию в аспирантуру, зря, может, отказался. В общем, с рабочими постепенно мы поняли друг друга, и те, бывшие, тоже утихомирились...

Я слушал Горелова и поражался: такой молодой, а уже столько прошел.. А забегая вперед скажу: для меня громом прозвучало, когда я узнал, что сняли директора ГПЗ! Это случилось дня через три или четыре, весть настигла меня на стройке, по которой я опять ходил в одиночестве. Поскольку телефонная связь плохая, дозвониться трудно, я заспешил к Леонтию Александровичу, с порога спросил:

— Вы приложили руку к директору?

— Нисколько. Даже попыток не делал.

— А как же?

— Тут, оказывается, без меня работали, прокурор был.

— Вы знали об этом?

— Нет, не знал.

И опять я в изумлении: интуиция или прозорливость?..

Поездка в Астрахань сложилась удачно. Когда переправились через Бузан, главный инженер Золотухин уступил нам с Гореловым свой «газик», который дождался его на том берегу, а сам с Филиповым продолжил свой путь на «рафике» (они живут в одном доме), и наши дороги расходились в разные концы города. От переправы 70 километров промелькнули незаметно, в разговорах, и вышли мы у самого подъезда, темного, с неработающим лифтом, с мусором на лестницах, поднимались, считая этажи, чтобы не торкаться в чужую квартиру.

И я увидел его семью: что Лариса, что Аня, что Андрияша — все яснолицые, со спокойной приветливостью люди, не знающие страха и дурных помыслов. Дом не отапливался, на полу стояло несколько включенных электрообогревателей. Поскольку газ не подвели, Лариса поставила электрический самовар, и мы стали ужинать в зале, обставленном новой мебелью без излишеств, с первоклассной радиоаппаратурой, с гитарой в углу и небольшим количеством книг древних философов. Сквозь окно я заметил на балконе, слегка освещенном уличными фонарями, грушу для боксерской тренировки и лыжи, вероятнее всего бесполезные при астраханском климате.

До сих пор испытываю неловкость оттого, что спать уложили они меня в зале на широком диване, а я согласился. Проснулся я первым, пошел умываться, включил в коридоре свет и увидел в раскрытую дверь: супруги спят между койками детей, головы чуть не в коридоре. Что такое? У них же трехкомнатная..

Но третью комнату им, оказывается, не дали, хотя кого-то подселить, устроить коммуналку в квартире с крохотной кухонешкой, где нет еще ни газа, ни отопления. И ордер на руки не выдали, чтобы не считали себя владельцами квартиры, которая принадлежит не им, а заводу. Оказывается, такой «порядок» во всем микрорайоне, заставленном силикатными девятиэтажками: люди натканы в квартирах, но юридических прав на них не имеют. А выдай им ордера, они возомнят себя хозяевами, чего доброго, уволятся, поэтому необходимо, чтобы крыша закрепляла людей за заводом. Порядочки!

Наскоро попив чаю в холодной кухне, мы с Гореловым в шесть утра были уже на автобусной остановке, где густо толпился народ. Предстояло штурмовать автобус, по возможности занять место и не ехать стоя 70 километров до переправы. Но нам повезло: водитель спасательной машины, знакомый Горелову, каким-то чудом усмотрел его в свете фар (было еще темно), притормозил, уважительно позвал, и мы влезли в автомобиль типа автобуса, но с тремя ведущими мостами и увеличенным клиренсом, нормально доехали до Бузана, где я увидел бег с препятствиями. Дело в том, что весь персонал завода живет в Астрахани (многие строители тоже), а через Бузан, ширина которого здесь около километра, поток автобусов 'не переправляется, на том берегу люди ждут другие автобусы. Перевозят всех на трамвайчиках, которые ходят регулярно,

но все же с разрывами, а значит, если пароходик пришвартован, к нему надо успеть, стремительно преодолеть метров триста от автобусной остановки. Пешеходная дорожка к причалу узка, кто-то на ногу не проворен, кто-то, наоборот, быстроног, и в людском потоке с его разной скоростью толкотня. А на том берегу — подъем, на площадке заманчиво стоящий автобус, который в любую минуту может тронуться. Скорей к нему! Очередь? Какая очередь — дави, при, уминайся!..

От переправы мы с Гореловым ехали уже стиснутыми, в знакомой автобусной тесноте.

Вернувшись из Астрахани, я отправился искать людей, что роют котлованы, отдирав фундаменты, кладут «камень на камень, кирпич на кирпич». Эти люди, даже если объем их работы меньше, нежели монтаж оборудования, всегда являются генподрядчиками, так заведено, и называют их строителями. А побывать на стройке и не увидеть строителей!..

В муравейнике вагончиков под эстакадами я заметил один, стоящий чуть поодаль, с вывеской над дверью: «Участок № 1. Трест-площадка — 4». Сюда мне и надо. В вагончике опрятно, чисто, за столом в одиночестве подтянутый парень при галстукке, начальник участка Владимир Вячеславович Мансуров, астраханец, но живет в общезнании, в Аксарайске, чтобы не тратить время и силы на дорогу в Астрахань; свою семью видит раз в неделю, на выходной. Стройка не отпускает. А почему он один — так у него нет коллектива. Прорабы и мастера — временные, командированные, как раз вот разъехались по домам, он ждет новых. Ну а остальные — «химикки», у них другое начальство, о них рассказывать, сами понимаете...

— Нет, вы не подумайте, будто это ужасный народ, — защищал «химиков» Мансуров (сколько раз я слышал эту защиту!). — Люди по несчастью попали в беду. У нас один управляющий трестом — бывший «химик», такой инженер и руководитель!..

Очевидно, самому не найти строителей на стройке, особенно тех, кто работает постоянно, честь по чести, с трудовой книжкой в отделе кадров...

При въезде в Молодежный — Астраханьпромгазстрой, где секретарь парткома Александр Николаевич Чалдышев мгновенно помог: попросил председателя стройкома провратить меня не просто на объект, а в комсомольско-молодежную бригаду.

Председатель позвал в подмогу себе секретаря комсомольской организации, вытребовав его из клуба, от репетиции оторвал, и у меня мелькнуло подозрение насчет потемкинской деревни. К ней весь прошлый опыт подводил: секретарь парткома выбрал бригаду, чтобы показать ее корреспонденту, и не только выбрал — обе свои «руки» направил туда.

Железнодорожную станцию — семь верст не околица — обогнули по большой дуге, но на завод явились через пятнадцать минут! Шофер не рискнул сводить «Волгу» с асфальта в песочную топь, и мы, трое смелых, кинулись вправо, кинулись влево, тяжело задышали. Видал я на этой стройке всякие перекопы-перешейки, но такую Каховку еще не видал: траншеи тянулись вдоль и поперек, в них — на разных глубинах — пакеты труб лежали решеткой, сплошным решетом, и казалось, что тут еще копать, но желтую сыпучую плоть продолжали терзать зубья ковшей, раскидывая туда и сюда. Люди копошились в ямах и на откосах, под стенами коробок и на их стенах. Сопровождающие взяли наконец верное направление, и мы вошли в вагончик с вывеской «Участок № 5, Промстрой-3». Председатель стройкома и секретарь комитета комсомола велели показать мне что надо и, к моему удивлению, тотчас уехали.

В вагончике за перпендикулярно поставленными столами спиной к стеллажу с потрепанными кипами чертежей сидел мастер Михаил Антонович Гараев, с виду пацан пацаном. Гараеву двадцать шесть лет, окончил Пермский строительный техникум, сюда прислан Пермским трестом крупнопанельного домостроения сроком на одиннадцать месяцев. Он мог бы не согласиться на такую командировку и через неделю мотануть назад, но согласился, потому что приехал в начале мая, когда природа была еще повесеннему свежа, пески не успели двинуться и закрыть горизонты; если бы знал, что такие бури, такое пекло и такой холод, не согласился бы. У него невеста в Перми, Таня, ждет его, часто пишет, они намерены пожениться, и, если бы дали квартиру, он остался бы на стройке, интересно же довести ее до конца, ну а климат — что климат? — вполне нормальный (это колдовство степей, полупустынь, я давно заметил: они сначала насторожат, отпугнут, потом притянут завораживающей откровенной беззащитностью,

и уже не в состоянии, как бы совестно бросить их на произвол). Но с квартирой вряд ли что получится, а в планах — семья...

Чтобы не терять времени, я попросил позвать кого-нибудь из рабочих, и мастер вышел на крыльцо, кому-то крикнул, вернулся за свой стол. В вагончик ввалился шофер в сапожниках сорок последнего размера, притопнул ими и, потрясая пачкой путевок, стал басом требовать, что надо еще выписать...

— Я вам выписал все, что вы заработали. Привыкли, понимаете ли, хапать на приписках. Идите.

И шофер ввалился, не смея перечить. Вот тебе и пацан!

Он толково и наглядно объяснил мне, набросав схему, положение на своем объекте. У него три бригады, 60 человек, строит он фильтровальную станцию (воду фильтрует), и сложность в том, что она стоит над подземными коммуникациями. При такой планировке даже в нормальных условиях тяжело работать, а тут еще организационные завихрения кружат голову. Намеют вести монтаж сборного железобетона, говорил Гаераев, однако, хватать-похватать, крана нет, или он есть, но отключают электричество (его каждый день временно отключают), или плиты не привезут, или все есть, так у него, у мастера, отнимут бригады, ушлют на другой объект. Лыко-мочало...

Туда ли я попал, что я слышал? Этот пермяк, солены уши, дудел совсем не в дуду начальства, которое до того было уверено в образцовой организации, что моментально уехало, не стало «направлять». Такая уверенность укрепила меня в предположении, что сюда привозят без промаха, здесь умеют рисовать картинку «для печати», и когда в вагончик вошли два парня, я приготовился услышать «что надо».

Один из вошедших был застенчиво медлигелен и круглолиц, подобно мастеру, другой от стремительности при ходьбе нависал всем телом вперед, был поджар, с глазами, как говорят, в пол-лица, но какими-то задумчивыми, невеселыми. Порывистый и, видимо, фотогеничный, которого не раз, вероятно, показывали по местному телевидению. Забыть лицо с такими глазами, иссеченное, обожженное ветрами, солнцем, невозможно.

— Что, нелегко живется? — спросил я с ходу.

Рабочие сели на одну лавку со мной за длинный, сколоченный из досок стол. Парень всего меня вобрал глазами и не опроверг:

— Легко, нелегко, но радости мало.

Марат Хусаинов, астраханец, 1949 года рождения, отец — рабочий, мать — домохозяйка, в семье пятеро детей. Марат — старший. Он мальчишкой мечтал, страстно хотел помогать родителям, выучился на шофера, немного поездил на грузовике, но случайным ветром занесло в авиаотряд, шестнадцать лет проработал там авиатехником — наградили медалью «За трудовую доблесть», но квартиру даже не обещали. А у него жена, ребенок, и он в 1982 году (со скандалом, не отпускали) перешел на стройку, потому что в газетах обещали, что через два-три года квартиру дадут.

— Нули забыли подпечатать, мы так между собой говорим, — определил свою квартирную перспективу Марат.

— А у меня в жизни вообще трагедия, — с привычной обреченностью сказал другой рабочий, Алексей Козлюковский. — В первом классе отца потерял, родители разошлись. Во втором классе мать умерла, и я у нас же в Шушенском попал в детдом. Родных никого, ни одного человека... После восьмилетки год проучился в техническом училище, бросил, уехал из Шушенского на БАМ. Слыхали, может, Северобайкальский район, Кичеру? Вот туда. Ее тогда еще только рулетками размечали, в шестьдесят шестом году. Побыл учеником на стройке, но скоро перевели как несовершеннолетнего учеником станочника по деревообработке. Выучился, разряд повысили. Еще и сварщиком стал, четвертый разряд у меня. Сюда приехал в марте этого года. А спросите, почему приехал... — Он вскинул на меня глаза, ждал вопроса.

И я спросил.

— Мне уже двадцать пять лет, а я еще порядка нигде не видел, — проговорил он монотонно, опять опустив глаза. — На БАМе пиломатериалы жгли кострами, заравнивали бульдозером. Гвозди ящиками в землю закапывали. Переходят на другой объект — и чтобы шито-крыто. После прочитал вот об этой стройке, думал, здесь, в Европе, порядок. Куда там... Ни там, ни тут нет хозяина...

Чего же ради меня сюда на «Волге» привезли?..

— Варить невозможно, кабелей нет, рванье, голую проволоку связываем, — про-

должал Козлюковский.— Сварочные агрегаты не допросишься, а дадут — они ломаются, и ремонтников не найдешь. Бетон вручную таскаем на четвертый этаж...

Марат вздохнул:

— На одной только насосной водооборотного снабжения перетаскали тонн семьсот бетона...

Выяснилось: на этой площадке строительный участок ведет пять градирен, две насосных оборотного снабжения, два нефтеотделителя, а все вместе составляет узел очистки (но не очистные сооружения); этот узел — печень завода, она отбирает по судам, по капиллярам всякую пакость из воды, из жидких продуктов и возвращает их в системы по другим трубам и трубочкам, отсюда их всепронизывающая сеть. Эту сеть вяжет крупный трест Союзинжпромстрой, у него нет времени, оно упущено, и трест, как танки на прорыв, бросает сюда бульдозеры, экскаваторы, горами песка, траншеями отрезая от подъездных путей коробки, сооружения, которые срочно обязаны сдать сидящие рядом со мной люди.

— Верите, проложим дорогу, времянку, чтобы материалы подвозить, машин двадцать бетона вбухаем в нее, хватъ — копают! Всю дорогу на лапшу перережут! — рукой чертил на столе незримые линии Марат.

— А дирекция, девятиэтажка! — с обидой и удивлением подхватил Козлюковский.— Мы там оконные рамы устанавливаем, дверные блоки. Всю столярку. Неужели сразу нельзя было подсчитать, сколько столярки потребуется на каждый этаж? Вот и подали бы ее краном. Теперь тоже краном подают, но — с одной стороны. Крючком подтянешь трос к себе, чтобы внутрь затащить, в оконный проем, и поволок по этажу. Египетский труд!..

Разговор прервал щеголеватый мужчина, при галстуке, в кепке, надетой с каким-то особым шиком, громкоголосый, независимый. Он вошел и, оценив обстановку усмехнулся:

— Что вы тут корреспонденту говорите? Что он напишет?

— А вы кто такой и откуда? — почти приветливо спросил я, в упор глядя на него, художавого, с ухоженным лицом, знающего себе цену.

— Инженер, из Москвы, Устраивает?

Он выяснил что-то насчет какой-то бригады и вышел. Я спросил, кто этот москвич.

— Вообще-то он славный мужик, очень толковый специалист,— ответил мне Гараев.— Работает главным инженером московского треста Союзантисептик, зовут его Лев Павлович Коротков. Ну а должность ему здесь определили непонятно как — то ли мастер, то ли прораб. Можно считать, он здесь прораб широкого профиля.

— Главный инженер треста — и вдруг прораб?!

От вагончиков шел я мимо узла очистки и увидел на сыпучем откосе Короткова, который в глубине среди труб что-то изучал.

— Лев Павлович!

Он помахал рукой, взшел вверх. Мы представились друг другу. Да, он здесь в командировке, уже два месяца, сколько пробудет, неизвестно, его роль — помогать линейному персоналу в техническом руководстве, с утра до ночи бегаем как мастер, прораб. Вероятно, его положение казалось ему, главному инженеру треста, странным, ибо говорил он как-то с напором, и я почти уверен — в вагончике зацепил он меня неспроста: пишут, прославляют, по верхам поглядывая... Он шел в сторону градирен, увлекая меня, то ли желая показать объект, то ли осматривая сделанное за день.

— Конечно, если из Москвы, это не значит, что лучше. Инженерная подготовка у всех одинакова, строительный опыт у нас один. Было бы разумно увеличить инженерные силы не за счет командированных, а непосредственно здесь. Ведь нет линии, нет среднего звена.

Мелькали перед глазами крановые, экскаваторные стрелы, оглушало лязганье металла, слепили сполохи сварки, прорывался человеческий голос что-то кричащих друг другу внизу, наверху, сбоку, сзади... Ну как это так: поставить промышленную коробку, засыпать, утрамбовать грунт вокруг фундаментов — и опять рыть, оголять их! Где здравый разум, уважение к человеческому труду? Почему Инжпром, который на этой площадке еще в мае должен был сделать свое дело, до сих пор здесь устраивает светопреобразование?..

Вид у меня, похоже, был невеселый. Коротков ободрил:

— Ничего, построим! Для того нас и прислали сюда.

— Нас?..

Коротков, кажется, понял.

— Так разве я один? Здесь таких!.. С Украины, из России. Главные инженеры, управляющие трестами.

— Сколько же?

Он хохотнул:

— Не считал. Спросите в отделе кадров — скажут.

Поразительно: прорабов, мастеров нет, а главные инженеры, управляющие трестами носят по рытвинам, указывают, куда валить машину бетона... Или Минюгстрой до того запутался, что уже потерял всякие ориентиры? Это же настоящая министерская истерика — так обезглавить тресты...

Невеселым уходил я с этого объекта. Мысли разбегались, не давая сосредоточиться: почему Чаддышев сюда меня направил? Или он дал нечеткое задание председателю стройкома, не предвидел, что тот уедет?.. Или ему так же, как рабочим, надоела показуха?.. Скорее всего надоела. Если кто-то из нас устал от парада несуществующих достижений, то почему надо полагать, будто всякий дружок человека не устал? Да, вероятно, Чаддышев принял перестройку — без потемкинских деревень... И до чего же необходима она, желанная перестройка, какой деготь нужен, чтобы смазать проржавевший управленческий механизм!..

В отделе кадров Астраханьпромгазстроя мне ответили по поводу руководящих командированных: «Таких данных не даем». Я направился к заместителю генерального директора по кадрам и быту Ивану Федоровичу Сапрунову, бывшему председателю райисполкома, выпускнику Академии общественных наук при ЦК КПСС, человеку богатырского сложения, цепкому в работе. У Сапрунова оказался гость, Анатолий Иванович Петуков, начальник главного управления кадров Минюгстроя СССР. Вместе они могли широко взглянуть на проблему кадров.

Теперь у Минюгстроя, говорил Анатолий Иванович, задача — обеспечить завод отделочниками, на которых всегда падают концы всех работ, и министерство уже командировало в этом году на ГПЗ тысячу человек из разных городов, половину поселили в двух общежитиях Молодежного, в нормальных условиях.

— Но завод пусковой, отделочники — это еще не все, — возразил я.

— А мы и руководящими кадрами укрепили. По приказу министра сюда прислали восемнадцать человек в ранге главных инженеров трестов и управляющих трестами. Теперь на объектах завода нет нужды в людских ресурсах, и уровень присланных специалистов выше, — рассказывал Анатолий Иванович. — Конечно, мы в министерстве понимаем: присылать в командировки из разных городов не выход. Пока человек освоится, пока присмотрится к незнакомым людям. Свои проблемы. Поэтому мы будем создавать постоянные мобильные коллективы, вахты. Вахтовый метод себя оправдал, будем его развивать, с транспортом вопрос тоже решим. При нынешней технике переброска людей не так уж затруднительна.

Я вышел в осеннюю благодать, в солнце, в тишь, в тепло — в такое великолепие после долгой оборзевшей стужи! Но разговор в кабинете преследовал меня, особенно эти восемнадцать в ранге «главных». С одной стороны, хорошо: пусть потянут ляжку мастеров, проникнутся, но с другой — чем проникаться-то?

Я понимал: такое обхождение с крупными инженерами не случайно, оно идет все оттуда же, от первых шагов нашей индустриализации, когда с машинами связывали надежды на скорый общественный рай, а на человека мысли, интеллигента (и в этом парадокс) косились. Вещественный результат простого труда, вещественность машин считали важнее тончайшей, неосязаемой и потому как бы бесплодной материи интеллекта. Самый первый завод нашего советского машиностроения, Сталинградский тракторный, продемонстрировал небывалое доселе отношение к инженеру: инженеры таскали поковки, литье в горячих цехах, а как только пустили большой конвейер, к нему тут же поставили инженеров крутить гайки.

Я несколько не сомневался, что чем сложнее стройка, тем гибче, всеобъемлющей должна быть мысль, питающая ее. Но ГПЗ только по размерам громаден и опасен по характеру производства, а по сути прост — до примитива. Оборудование и технология куплены, шефы приглашены, осталось только в заданном, четко расписанном порядке уложить кубики, как в детском игрушечном домике. Но детская рука следует неразвитому разуму, кладет кубики неточно — домик рушится, надо заново складывать. Скажите химику-полимерщику, который управляет системами, где образуется молекула каучука, какую природа создавала миллионы лет, скажите ему,



будто ППЗ — сложный завод, он засмеется. Разложить газ, в котором готовые компоненты, на составные — да это же семечки.

Планерка у главного инженера Золотухина, на которой я побывал в первый же день, вдруг откликнулась неожиданным для меня знакомством. Вышел я из дирекции строящегося завода, а к ней подлетел «газик», из него выскочил мужчина и обратился ко мне без предисловий:

— Сейчас как раз товарищ из Москвы приехал, поприсутствуйте, можете не называть себя, чтобы разговор был откровенным. Ну, сидит мастер или прораб, мало ли тут всяких! Узнаете, как соблюдают геометрию.

Маркшейдер Герман Владимирович Маврычев. Нетрудно догадаться, что был на планерке, запомнил, теперь, значит, притягивал к своему делу. В его бойких синезеленых глазах ничего, кроме озабоченности: вперед, в драку! Речь быстрая и четкая, речь интеллигента. А на пальцах правой руки — белые шрамики, видно, когда-то ударил с тычка, поранил. И на нижней губе едва заметный шрамик... Да, из уличных мальчишек, из безотцовщины, из драчунов тоже вырастает наша интеллигенция, она разная у нас: аморфная, подкупная, стойкая в своих убеждениях, но эта ее часть, хулиганистая в детстве, наиболее, пожалуй, неуступчива, драчлива, принципиальна. Трудно выбивалась, а выбившись, отстаивает себя решительно, как когда-то отстаивала себя кулаками...

Прыжками через три ступеньки он увлек меня на третий этаж в угловую комнату начальника генплана Хивата Кентуева, зашарпанную, но уютную, с двумя столами и множеством самодельных пепельниц на них. В комнате было пять человек, они разговаривали негромко и торопливо о плачевном состоянии геодезической службы и возмущались. При Маврычеве голоса окрепли.

Я сидел на некрашеной скамейке за столом, передо мной стояла консервная банка с окурками, лежала папка с откинутой коркой. Закурив, я вслушивался в голоса, и мой взгляд нечаянно упал на документ в папке, на акт, в котором говорилось, что дымовая труба на эстакаде № 5 отклонена от оси на 500 мм... дымовая труба на 72-й установке тоже отклонена от оси на 500 мм. Позвольте, позвольте. Так это же трубы, их высота двести метров, это сложные сооружения! И вдруг — отклонения от оси... А к трубам должны подходить пакеты технологических трубопроводов, значит, пакеты не попадают на трубы, значит, надо мастерить-наваривать какие-то колена, нарушать проект, изменять движение конденсата, вызывать его непредусмотренную турбулентность... Но это же — химия, как можно!..

Я ткнул окурком в отогнутую крышку банки, посмотрел другой документ, а в нем — мамонька родная!.. Он составлен для обкома партии, подписан заместителем генерального директора Астраханьгазпрома, и в документе первый же пункт:

«Монтаж технологического оборудования ведется на не принятых дирекцией фундаментах». (У меня если не шевельнулись волосы, то мурашки пробежали: химия же! Тут счет на миллиметры, а строители могут зависить или занижить фундаменты на целые сантиметры! И опять же — отклонения от оси!)

Далее не легче:

«Отклонение забитых свай от вертикали (склад сжиженных газов, склад нефтепродуктов, эстакада № 2)...»

Отклонение колонн и ригелей при стыковке...»

Строят сикось-накось, причем объекты взрывоопасные — сжиженные газы, нефтепродукты... Как же все это будет стоять, держаться?.. Я опять закурил, не отрываясь от документа.

«...подрядчик слабо ведет работы в исправление допущенного брака, из указанного 321 замечания устранены или согласованы только 120, вне внимания остается такой серьезный вопрос, как антикоррозийная защита свайных фундаментов». (Тут меня морозцем одело. В грунтах повышенное содержание соли, значит, подземные воды агрессивны, они разъедают фундаменты. А на фундаментах — аппараты, наполненные ядовитым продуктом, вызывающим смерть мгновенно...)

«Генштаб» митинговал вокруг стола Хивата Кентуева, а я изучал документы.

Отчет Астраханского треста инженерно-строительных изысканий, в нем перечислены номера аппаратов и указаны отклонения аппаратов от оси: 75, 92, 56, 116, 78, 84 мм... Боже, какая тут может быть гарантия в технологии при таких отклонениях!

Служебная записка заместителя главного инженера дирекции строящегося завода: «...на установках I-4, V-151 все до единого анкерные болты выдалбливались и выгибались на проектные оси...»

Что творят! Ну перельют фундаменты, переустановят аппараты — лишние расходы, ладно. А вот установленные на место выдолбленные да отогнутые болты — они ведь не обеспечат надежной устойчивости аппаратов. Я подозревал Маврычева и, когда он подошел, показал на документы.

— Вы эту геометрию имели в виду?

— Ее, ее. Никаких соблюдения. — И вернулся к своей возбужденной компании.

Один из геодезистов изливал душу: у него нет рабочего места, сидит у двери, на прытычке, в многолюдной комнате, бумаги клочка не дают, вообще у него нет никакой документации; коллеги его, «девочки», кочуют в поисках места, перебиваются в библиотеке под видом читательниц... А ведь с геодезистов начинается стройка и вся ее геометрия!

Когда ребенок собирает домик из кубиков и один кубик кладет наперекос — домик рушится. В основе любыхстроек, их надежности и устойчивости — принцип такого домика. Геодезисты разбивают на площадке строительную сетку, ставят репера, от которых идет отметка всех вертикалей, уклонов, уровней — вся ориентация для строителей, монтажников, все исходные данные для выполнения геометрического абриса стройки. Поскольку штат геодезистов ничтожно мал, сетка достается с большим трудом, но когда ее все-таки разобьют, появляются строители с техникой, и начинается «великий свинойрой» (этот устойчивый термин обозначает подготовительные работы перед закладкой фундаментов). Экскаваторами, бульдозерами, самосвалами сшибают репера, а прорабы не умеют пользоваться теодолитом, восстановить репера не могут и нередко роют котлованы на глазок, по чертежу — рулеткой, без точного прибора начинают вымерять, где заложить фундамент. Хуже: если у прораба не хватает людей (а такое часто бывает), он умышленно сшибает репер и бежит оправдываться, что не может работать, сетки нет, не к чему привязываться. Сетка — это как бы изначальный разум строительства, но поскольку «разум» невеществен, он не дает осязаемых кубометров грунта, бетона, к нему и отношение соответственное.

— Надо требовать, чтобы за каждый репер несли юридическую ответственность! Чтобы штрафовали за поваленный! — кричали геодезисты.

— А то как же, будут штрафовать! Беда на «Атоммаше» из-за геометрии, а все равно геодезистов ни во что!

— О чем вы? Хоть бы рулетками обеспечили! У генподрядчика на всех геодезистов одна рулетка. Чепуху — двести тысяч рулеток на всю страну — сделать не могут!..

Я узнал, что среди присутствующих — представитель Госстроя СССР кандидат технических наук Борис Григорьевич Борисенков, его называют потому, что видел потом, как он составлял соответствующий документ, но об этом ниже... Выдав меня, Маврычев погасил страсти. Постепенно совещание обрело покой, и я вынужден был в него погрузиться: весь следующий день провел в Астрахани, в Газпроме, изучая документы и убеждаясь в бойцовских качествах Маврычева.

Вихри бумаг...

Вот Маврычев пишет в Госстрой СССР, что необходимо усилить геодезическую службу, и ему оттуда отвечают его же словами, что необходимо усилить геодезическую службу, и рекомендуют эти слова к исполнению, хотя он не может выполнить рекомендацию: прав для этого не имеет. Я смотрел на полученный им ответ, изумляясь канцелярскому остроумию, а Маврычев рядом положил еще такой же ответ (слово в слово!), но уже подписанный другим работником Госстроя и датированный десятью днями позже.

— Что это?

— На ротаторе размножили ответ. Либо очумели, либо меня добивают. И еще могут прислать такой же, много, видать, накрутили.

Видя, что из всей геометрии столичные чиновники признают только угол, куда загоняют его, Маврычева, он обращается с докладной к генеральному директору объединения Астраханьгазпром В. Д. Шугореву, тот пишет обстоятельное письмо на имя заместителя председателя Госстроя СССР А. Д. Деминова и председателя прав-

ления Стройбанка СССР М. С. Зотова, но ответ получает не от них, а от какой-то пятой спицы в колеснице, которая все по нотам расписывает, как должно быть. Одним словом, с письмом Шугорева обходятся так же, как с письмом Маврычева.

Тогда Маврычев организует совещание на уровне главных инженеров и начальников отделов нескольких организаций, совещание составляет протокол за десятью подписями, в котором пятнадцать пунктов, рекомендующих улучшить геодезическую службу, и последний из них таков:

«15. Запретить начало работ на объектах 2-й очереди Астраханского ГПЗ до выполнения работ по закреплению геодезической основы на местности и передачи ее на сохранность п/о Астраханьпромгазстрой».

Протокол рассылается во многие инстанции, но вопреки ему и без утверждения проекта на второй очереди ГПЗ начинается «великий свинойор».

Ссылаясь на этот протокол, Маврычев пишет в обком партии о жалком состоянии маркшейдерско-геодезического обеспечения строительства ГПЗ, приводит факты вопиющего брака на объектах и вносит конкретные предложения: в генподрядных организациях геодезическая служба должна подчиняться только высшему техническому руководству и не зависеть «от выполнения валовых объемов работ»; Стройбанк не должен оплачивать работы без подтверждения «контрольными замерами маркшейдерско-геодезической службы заказчика».

Справедливость этих предложений ясна как божий день, но обком партии не располагает законодательными полномочиями, чтобы утвердить предложения Маврычева, он может лишь содействовать созданию в Астрахани треста инженерно-строительных изысканий.

Вновь созданный трест проводит исследования, в актах (я их уже читал) учитывает генподрядчика в массовом нарушении геометрии, но эти акты для стройки — как мертвому припарки и т. д. и т. п. Бумаг тьма.

Но одна бумага все же могла бы остановить канцелярскую бурю, будь она составлена логично. Государственный комитет СССР по делам строительства выпустил в 1985 году в Москве в виде брошюры свой руководящий документ: «Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84 (издание официальное)». И в этом официальном издании, документе, который должен быть принят к исполнению, читаем:

«Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки входят в обязанности подрядчика».

Все правильно. До того правильно, что об этом Госстрою и писать бы не следовало. В самом деле: подрядчик выполняет работу, получая за нее деньги. Не платить же ему, в конце концов, за то, что он сляпает кое-как, поставит кособокие корпуса.

Но Госстрой СССР, издав этот СНиП (строительные нормы и правила), не может добиться исполнения собственных указаний, ибо остановился на полумерах, не выработал положения, до каких размеров и за счет чего строительным организациям увеличить геодезические службы. Они и в строительных организациях ничтожно малы, стоят в самом низу иерархической лестницы, бесправны. Ни один уважающий себя работник не пойдет в геодезисты при нынешнем их положении, никому нет охоты быть пустым местом.

В бескультуре и безнаказанности строители роют землю, заливают фундаменты, а необходимая точность при этом — утрись со своей геометрией, нам бы дважды два подсчитать. Строительные министерства не хотят включать геодезические службы ни в свои министерские аппараты, ни в свои строительные подразделения, не хотят принимать на себя геодезические работы. Они отрещиваются от геодезистов как от нечистого духа, потому что геодезисты потребуют точности. В мутной воде проще рыбу ловить, при неразберихе проще тянуть деньги с заказчика.

Разбивка строительных сеток ложится на заказчика, чему никто даже не улыбается (а ведь смешно, если бы портной сказал своему заказчику: «Сам себе снимай мерку»).

(В скобках замечу: на следующий день в комнатенке генплана я застал склоненного над письмом Бориса Григорьевича Борисенкова, представителя Госстроя СССР, кандидата технических наук. Он составлял письмо — предложения о геодезических службах.

— И как же вы поднимаете геодезистов, Борис Григорьевич? — Я попросил прочитать письмо.

Борисенков двумя руками прикрыл его.

— Нет-нет, это наше внутреннее дело.

— Но я ведь только хочу помочь стройке.

Забавные люди: в тайне держат! А между тем по всей стране столько объектов государственной важности порушилось! Столько их пришло в негодность из-за никудышной геодезической службы!

Ошибки на землеройных работах оборачиваются угрозой не только уже действующим заводам (вспоминаю «Атомаш»), но и окружающей среде, о которой начинаем беспокоиться слишком поздно: поздно от бездумности и еще потому, что ведомства, промышленные отрасли норовят хранить в секрете факты своей порочной деятельности, губящей природу, пока эти факты не обернутся глобальной бедой. Кара-Богаз, трагедия Севана, засоление, омертвление земель от мелиорации, убитое, уже не восстанавливаемое озеро Балхаш, Волга, переставшая быть кормилицей, недодававшая нам миллиард центнеров рыбы из-за одной только Нижневолжской плотины...

Так еще и замахнулись на всю дельту Волги! Тайно, потому что сами не знают, где и как надо строить. Замахнулись по невежеству, не овладев культурой строительства, лишь бы строить и козырять размахами своей деятельности.

Место для ГПЗ выбрали очень просто: газоконденсат под землей, значит, здесь и строить. В Москве определили, где стоять заводу, и после этого Астраханский облисполком принял решение и отвел место для застройки. А была и другая мысль: подать аксарайский газоконденсат к Оренбургскому заводу, расширить тот завод. Но посчитали — дорого. Однако не дороже ли выйдет, если учесть, что дельта Волги с ее уникальной флорой и фауной одна? Жизнь невозможно оценить ни деньгами, ни жидкой, ни твердой серой.

Маврычев вынул из стола брошюру «Руководство по инженерным изысканиям по капитальному строительству», составленное на основе СНиП 11-9-78, и прочитал, что при строительстве необходимо прогнозировать будущие изменения окружающей среды, применяя для этого методы математического моделирования.

— С декабря восемьдесят третьего я все пытаюсь выяснить свои права и обязанности, но не могу. Из министерства на мои письма просто не отвечают, — говорил Маврычев, потрясая пачкой писем, вторыми экземплярами. — Я не узаконен по министерству, я есть, но меня и нет. Я должен быть законодателем во всех мерах по использованию земли для построек, но мной кто захочет, тот и командует. Где у нас математическое моделирование, где? — Маврычев отложил брошюрку резко, в сердцах. — Нет его и не может быть. Этот пункт начисто игнорируют и проектировщики и наше министерство. До чего доходит! Мне не дают возможности заключить договор с Волгоградским инженерно-строительным институтом, чтобы он следил за изменением грунтов. А там есть ребята, специально этим занимаются, особенно Владимир Николаевич Сиянков. Но я денег не могу выбить для договора, вопрос решаю в министерстве на уровне восьмого клерка, хотя здесь у нас постоянно находится замминистра, и он мгновенно мог бы все решить.

Да, маркшейдера беспокоит не только геометрия стройки, но и земля с ее пластами, их перемещениями, грунтовыми водами. Пласты формировались миллионы лет, у них естественная фильтрация, но вот на них давят гигантские сооружения — изменяются потоки подземных вод, их количество, химический состав. Каждый год ГПЗ будет сбрасывать в емкости сезонного регулирования миллион 700 тысяч кубометров воды. Один год сбросил миллион 700 тысяч, другой год сбросил, третий... Куда-то же надо деваться воде? Ясно, куда — в Ахтубу, в дельту, в Каспий. А вода, проходя через пласты, отбирает их соли, в нее, вполне возможно, могут попасть отходы, содержащие сероводород, и она станет губительной для всего живого... Ну, будем надеяться, до этого не дойдет, хотя никаких гарантий нет.

Другая опасность. Вспомним, что строители не выполняли антикоррозийную защиту фундаментов, а если и выполняли, в большинстве случаев формально: все сваи — привозные, пока их гнали, везли да разгружали, защитный слой нарушился, потом он облез, когда забивали. Остался лишь наверху, на оголовках. А поскольку воды соленые, от выбросов киселе, они становятся агрессивными, разъедают бетон, арматуру. Вся опора, на которой держатся заполненные отравляющим газом установки, становится трухлявой...

Но и агрессивная вода не все. Грунты под заводом и по всей округе неблагоприятны: рыхлые пески, набухающие хвалынские глины, а под ними — соляные купола, закономерность распределения которых в проекте не учтена! А чем это грозит? Ну, ясно, под влиянием грунтовых вод глина вспучивается, так еще и другая беда: соляные купола способны двигаться, вызывать колебания верхних пластов. И возникает реальная картина: фундамент кренится вместе с риформингом, с печью Клауса, вместе со вторым производством, полным сероводорода высокой концентрации, который уже не переработает бог серы Огороднев... Строители обязаны следить за фундаментами; следить сразу после их отливки, составлять графики просадки-подъема, а потом передать графики эксплуатационникам, чтобы те продолжали наблюдения, чтобы лодочкой не покачулся, не опрокинулся какой-нибудь из фундаментов.

— Следят строители за фундаментами?

— Вы наивный человек или шутите? — ожег меня Маврычев со шрамиком под нижней губой, причину которого я еще как и не узнал. — Они даже репера повыдергивали! Как же они будут наблюдать? Да и нет у строителей службы для наблюдения.

— Отчего у вас шрамики на пальцах и на подбородке?

— А-а... — Маврычев посмотрел на свою руку. — В ремеслуху поступил в сорок пятом году, пятнадцать лет было...

— Дрались?

— Не без того. Я же ярославский, с улицы Собинова, а она у нас будь здоров какая. Но шрамики не от этого. Нас, пацанов, ставили на рабочие места, вот и чиркнул по пальцам. А кусок стружки сюда отлетел. — Он показал на подбородок. — Я пятнадцать лет был рабочим, Горный институт уже в годах закончил.

— И приехали в горный астраханский район? — подначил я, настырный Маврычев располагал к тому.

— В горнорудной промышленности я тоже работал, а сюда приехал в шестьдесят втором с геологической партией. Ни одно здешнее месторождение не обошлось без меня. А вам это зачем?

Я и сам себе удивился. Судьба края, которому в случае разгильдяйства может грозить беда не менее черныбыльской, а мне — шрамики. Но беды пока нет и, надо надеяться, не случится, а с человеком я расстанусь, может, навсегда, и меня долго будет мучить неутоленное любопытство. Я спросил о заводе:

— Как же вы будете вести наблюдения и какие рекомендации дадите, если у вас нет оборудования?

— Ну, кое-какие наблюдения мы сделаем... — И Маврычев развернул подробную карту, выполненную в цвете. — Вот Ахтуба, вот завод. Расстояние, видите, шапку докинешь. Перепад уровней Ахтубы и завода всего три метра, это очень неприятно, грунтовые воды сразу поднимутся. И их тенденция — в сторону Ахтубы, это уже сейчас наблюдается. Ну, поставим контрольные колодцы, будем наблюдать за уровнем воды. А вот рекомендации... Вы знаете что? Будете в Волгограде — обязательно зайдите к Сиякову, он на кафедре фундаментов и оснований, подтолкните его, пусть он еще со своей стороны действует.

Опять он привлек меня к своей работе!

Приехав в Волгоград и узнав по телефону на кафедре фундаментов и оснований, что у Сиякова присутственный день, я отправился в институт.

Грянули звонки в коридорах. Из аудитории вышел Владимир Николаевич Сияков, незаметный среди студентов, молодежавый и вроде бы застенчивый. Ему сорок лет, а по виду меньше тридцати, ничуть не похож на доктора наук, такому еще бегать да бегать по своим геолого-минералогическим делам, слушать-осматривать землю-матушку. Жаль, после перерыва у него опять лекция, не до разговора. Я попросил у Сиякова экземпляр его докторской диссертации, дома прочитал ее и воскликнул: «Есть же люди!»

...Он сначала выделил среди разного рода геологических регионов Земли все ее четыре впадины (Прикаспийскую, Североморскую, Примексиканскую и Габонскую), доказал их непохожесть на все другие части нашей планеты и родство между собою, одинаковость строения; а затем, опираясь на мировой опыт современного вторжения человека в природу, вывел все, что следует учитывать и ни в коем случае не забывать во время промышленного и аграрного освоения этих впадин (обширных

низменных равнин). Мне открылась картина: против человека с его техникой Земля бунтует своими пластами! Бездумности человека она противопоставляет внезапными провалами, трещинами, наростами, незримым отравлением рек и озер, когда тот выпускает в них свои растворы (грунтовые воды под Аксарайском содержат до 46,5 грамма соли на литр, они убьют Ажтубу, если пойдут в нее).

Синяков, разумеется, ни о каком бунте не говорит, но с бесстрастной независимостью, не обращая внимания на полушария Земли, сообщает о пластовых изменениях впадин «под влиянием строительства», таких изменений, которые имеют прямое отношение к Аксарайскому ГПЗ. Казалось, диссертация прямо адресована Аксарайскому ГПЗ... Я ни на минуту не забывал об этом, читая ее, ибо грунты одинаковы что в Аксарайске, что в Волгограде, что в Уилмингтоне. Приведу некоторые цитаты из диссертации.

На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе, под его печами, хвалынские глины усохли от повышенной температуры, просели, и в результате трубы деформировались, отклонились от вертикали на 1200 мм; в другом месте эти глины набухли, отчего «только в Волгограде... серьезно деформировано (часто до аварийного состояния) 88 зданий и сооружений и, соответственно, 18, 10, 3 здания в Камышине, Волжском и Приморске». Разумеется, «рассматриваемый процесс не ограничивается Прикаспием, а является характерным для всех краевых впадин, что связано с распространением высокодисперсных морских глин... В Примексиканской впадине... процессы усадки и набухания распространены очень широко и причиняют немалый ущерб. Например, только в трех городах Техаса (Бомонт, Уэйко, Сан-Антонио) от них пострададо свыше 400 домов... Ежегодный ущерб в США от повреждения дорог, фундаментов, каналов и водохранилищ на усадочно-просадочных грунтах достигает 2 млрд. долларов и превышает убытки, приносимые землетрясениями, ураганами и наводнениями... Из них 300 млн. долларов приходится на ущерб от повреждений частных домов».

«С набуханием глин майкопской серии связаны деформация и аварийное состояние 63 зданий в Волгограде, с набуханием эоценовых глин — деформация 12 зданий. В этих условиях даже использование свайных фундаментов не всегда исключает аварии, как показал опыт строительства на химкомбинате в Волгограде, где в результате неполной прорезки сваями набухающих глин и недостаточного заглубления в подстилающие породы произошел выпор свай под зданиями и промышленными установками, образовались трещины в несущих стенах, неравномерный подъем фундаментов оборудования, подъем перегородок, поверхности пола».

Я знал, что в Прикаспии разные породы, но что они так часто чередуются, что их так много, не подозревал. И, что любопытно, под влиянием влаги они ведут себя прямо противоположно: если хвалынские глины вспучиваются, то лёссовые породы, наоборот, проседают. Оттого, что лёссовые породы просели под воздействием воды, в Волгограде и Волжском деформировалось 36 фундаментов под сооружениями. «Просадка лёссовых пород верхнехвалынского возраста послужила причиной деформации 100-метровой колокольни астраханского кремля, двух мелких зданий в городе Волжском, сооружений в п. Цаган-Нур и Тамбовка, Замачивание лёссовых пород денудационной равнины плиоценового возраста привело к деформациям 27 зданий в Волгограде и 8 — в Камышине».

И получается, что под одним и тем же воздействием (от увлажнения) земля движется волнообразно, где вспучивается, а где проседает. Видели, когда слепень сядет на спину лошади, какой рывью в этом месте дрожит ее шкура, чтобы стряхнуть слення? Вот так и земля, только в замедленном для нас действии, норовит в приморских впадинах стряхнуть с себя постройки. Значит, какая же цепкость должна быть у них! Сколько неожиданностей надо предусмотреть!

Да вот хотя бы такую. Выкачиваем газ — пластовое давление падает, грунты проседают как нигде интенсивно, «оседание сопровождается затоплением территории морскими, озерными, речными водами, образованием новых и активизацией древних разрывных нарушений (с амплитудой до 60 см), разрушением эксплуатационных скважин, автомобильных и железных дорог, мостов, зданий и сооружений. Величина ущерба от разрушений в районе Уилмингтона (США) превысила 100 миллионов долларов».

В качестве восстановительных мер применяют землеройные работы с целью подъема поверхности земли, устройство заградительных дамб для защиты от поверх-

ностных вод, закачку воды в пласт. Например, в Уилмингтоне ежегодно закачивают 100 000 м<sup>3</sup> воды через 300 скважин, стоимость этих работ превышает 10 миллионов долларов».

Но где взять воду для закачки в пласт? Американцы попытались брать ее тоже под землей, но не сумели перехитрить природу, она поставила их перед фактом, как пишет Синяков, «гидрохимических аномалий в результате подтока соленых вод со стороны залива Галвестон. В свою очередь оседание земной поверхности, достигшее критического уровня, вызвало интенсивный размыв побережья приливными течениями».

В переводе на Аксарайский ГПЗ это означает, что пресную воду будем брать из Ахтубы, а ее подоплять солеными грунтовыми водами. Совсем хорошо! А закачивать воду в пласт необходимо, деваться некуда.

Хватит? Подождите, давайте в целом посмотрим на ГПЗ с его плотной застройкой и на весь букет грунтов под ним. Что же увидим? Фундаменты будут двигаться вверх-вниз, вот что. А за ними никто не следит! И Маврычев не может заключить договор с институтом. Миллионы рублей пустили на ветер, потеряв в песках ползавода, потом миллионы утробили на переделки, а десяток тысяч рублей не найдут, чтобы поддержать завод! Экономы.

И еще раз, отдельно, о соляных куполах. Их в Прикаспии много, сколько — точно никто не знает, местоположение их изучено недостаточно. А купола под влиянием строительства (грунтовых вод) образуют карст — пустоты, провалы... Пожалуй, хватит!

Экземпляр диссертации я принес Синякову домой, где карты на стенах, лыжи в углу, гантели...

— Бунтует земля, Владимир Николаевич?

— Пожалуй, не бунтует, а вежливости требует.

— А когда у нас ее не хватает?..

— Тут у нее много ответов, хотя бы такой: вся страна подтопляется. Где человек, там и вода стремится к поверхности. Из одних только коммунальских систем в землю уходит двадцать процентов воды. Теряем ее не только без пользы — во вред себе. В Волгограде и области из ста двенадцати оползней только двадцать два природных, остальные — по вине человека. Осмотрительность нужна. Возьмите хотя бы «Атомаш»...

— Ну, там геометрия.

— И она, но в большей степени грунты. Если бы его сместили километров на десять—двенадцать, могло бы ничего не произойти. Видно, знаний маловато было у строителей, а с геологами они привыкли не считаться.

— А я так считаю, Владимир Николаевич: надо вам в Астрахани заводить постоянную лабораторию от Мингазпрома и вести непрерывное наблюдение за газодеревяющим заводом.

— Понимаю, конечно, надо. Но они с нами не то что на постоянное время — на год не хотят договор заключать.

— Объясните им, убедите, они просто не понимают.

— Недавно еще одно письмо послали, ждем ответа.

Голос у Синякова мягкий, плавный и лицо мягко, округло, отчего он выглядит неисправимым лириком, да, похоже, не только выглядит, ибо работает на земле, прослушивает ее пласты, а для этого чуткость к естеству нужна. Такие люди, к сожалению, менее заметны, чем хотелось бы, они просто любят землю и прилагают усилия, дабы не шаткой была под ногами строителей. Но те не замечают, не приучены к тихой, внятной культуре, на них глотка действует: даешь!

Ладно, подождем, что ответят на письмо Синякова.

Блеск паркета, зеркал, беломраморной лестницы, ведущей в Октябрьский зал Дома союзов, алфавитные указатели на столиках для регистрации, которую выполняют любезные женщины. Сегодня здесь деятели многих отраслей народного хозяйства. Перед входом каждый предъявляет билет, в котором значится: «Приглашаем Вас принять участие в работе расширенного заседания бюро отделения экономики АН СССР и межведомственной Прикаспийской экспедиции...» На лицевой

стороне билета: «Комиссия по изучению производительных сил и природных ресурсов при Президиуме АН СССР».

Президент Академии наук СССР Г. И. Марчук, открывая заседание, сказал о Прикаспии обобщенно и ясно: недавно выявленная жемчужина природных богатств, но край повышенной ранимости, как тундра, надо бережно относиться к экологии, осваивать с учетом всех его проблем, хватает строить «от базы», а потом хвататься за голову; впервые представляется возможность создать модель освоения этого края, в котором скоро прибавится население на 1,5 миллиона человек — они приедут туда работать; от присутствующих в зале зависит, насколько правильным будет решение ЦК партии и правительства о развитии Прикаспия.

Полтора миллиона человек нацелены на Прикаспий! Эти полтора миллиона приедут в легкоранимый край не с детскими лопаточками, а модель освоения края еще только предстоит создать... Но, может, их туда не то что скоро, а вообще посылать не надо, может, миллиона хватит? Не норовим ли мы «от базы» схватить жадными руками эту жемчужину, которую только еще заметили, и не зная еще, чем и как ее обрामить, уже ладим ее к посконной рубахе, на которой жемчужина будет выглядеть краденной у потомков?

Докладчик, руководитель комиссии, состоящей из 60 человек, которая изучала район Прикаспия, сразу же признался, что границы этого района еще не определены. (Но комиссия уже собирается давать рекомендации по комплексному его освоению! Значит, туда будут всаживать буры, туда свезут технику и там начнется диктат добывающих и перерабатывающих отраслей.)

Само собой, заводы и скважины надо обеспечить соответствующей технической базой, и об этом докладчик сообщил широко: антикоррозийных труб сами не производим, а покупаем, буровых установок достаточной мощности делать еще не научились, везем их из-за границы не лучшего образца, но они все равно лучше наших, приборы и автоматику обеспечиваем за счет импорта, нефть и газ перерабатываем поверхностно, сжигаем в факелах, по глубине переработки, по извлечению углеводородов отстаем от США в 10 раз, и не видно, чтобы это отставание сократилось...

О легкоранимых точках, требующих не приблизительной, а точной заботы об их экологии, сказано не было.

Тут возникают вопросы: во-первых, почему комиссия из 60 человек не сделала своих наблюдений, а, судя по докладу, собрала сведения о прилегающих к Прикаспию республиках и областях, ограничившись общими цифрами о природных ресурсах, что можно было бы сделать, не выезжая из Москвы, взяв данные в ЦСУ? А во-вторых, если сведения о районе еще настолько малы, что наши знания о нем, по выражению докладчика, представляют собой видимую часть айсберга, то почему он с такой уверенностью сообщил об уже готовых решениях?

А решения следующие: до конца нынешнего века в Прикаспийский регион будет вложено 100 миллиардов рублей, из них более чем две трети в газовый комплекс. И еще докладчик сообщил, что к 2010 году Прикаспий займет ведущее место по добыче нефти и газа в стране.

Почти ничего не знаем о самом районе, а уже выделили средства на конкретные цели. И мне весьма сомнительной показалась эта цифра своей округлостью: почему не 98, не 101, а 100 миллиардов? Не о тысячах, не о миллионах речь — о миллиардах! Давайте разложим сумму по годам: 100 миллиардов разделим на 13 лет, получим около 7,7 миллиарда рублей в год. Один Аксарайский завод стоит (округлим) два миллиарда рублей, но и он вздыбился, измочалил два министерства — Минюгстрой и Мингазпром. Какими же силами будем осваивать в Прикаспии 7,7 миллиарда рублей в год? Откуда возьмем эти 1,5 миллиона человек, испытывая острую нехватку рабочих рук во всех отраслях?

Назвав краеугольные цифры, докладчик высказал предложение о необходимости провести Всесоюзную научную конференцию по этому региону, поскольку регион настолько значителен, что можно выработать общегосударственную программу его развития.

Но чтобы выработать общегосударственную программу, необходимо поэтапное исследование, начиная с земли. Скажем, собрались геологи вместе с экологами. Геологи выложили данные: что, где, сколько, каковы пласты, какова поверхность, — а экологи на основании этого вывели, что предпринять, чтобы не постра-



дала окружающая среда. Посмотрев, где, что, сколько и какие меры необходимы, промышленники говорят, что они могут и сколько средств им надобно для этого... Учитывая возможности и требования промышленников, экономисты определяют, сколько средств им дать и откуда их почерпнуть; если нет возможности удовлетворить полностью, то кое с чем можно погодить. Пусть не так, но уверен, четкость и простота арифметической задачи — сколько в одну трубу втекает, сколько вытекает из другой — необходимы в решении любой региональной проблемы, и нельзя ее запутывать противоречивыми выступлениями с абстрактными пожеланиями. А на ученом заседании именно так и случилось: представители всех отраслей и всех видов наук пошли на трибуну и стали говорить каждый о своем, доказывая, что их, свое — самое главное, но это главное находится в плачевном состоянии, требует поддержки, дополнительных средств или столбовой дороги.

Приведу эти выступления схематично, с большими сокращениями.

— Если поставить ножку циркуля в Гурьеве и провести окружность в полторы тысячи километров, то очертится регион Прикаспия. Только в Волго-Ахтубинской пойме да на юге, где субтропики, земли, пригодные для сельского хозяйства, остальные не пригодны. В регионе можно спокойно развивать промышленное строительство, не подвергая опасности земли. (До чего доводит, подумал я, незнание соляно-купольной структуры приморских впадин. Как, любопытно, возразит Синяков? Здесь ли он?)... Но у строительной базы большие проблемы. Предполагается вложить в строительство приблизительно восемьдесят — девяносто миллиардов рублей и семнадцать — двадцать миллиардов — в социальную структуру... Роль науки в охране окружающей среды велика, надо эту проблему особенно тщательно проработать. (А строительный напор уже предрешен!)..

— Вахтовый метод в Сибири охватывает более десяти процентов всех работающих. К девяностому году около сорока процентов будут трудиться по вахтово-экспедиционному методу. Это хороший метод, но ломается уклад жизни, снижается производительность труда: двенадцать — пятнадцать часов рабочий день и время адаптации. Вопрос надо исследовать!..

Чего же исследовать, если уже определили: 40 процентов. Исследуй сначала, а потом рекомендуешь проценты.

— В Прикаспийском регионе высокая концентрация сероводорода, она диктует высокую надежность технологических систем. На Мингазпром и Миннефтепром возложена ответственность за охрану окружающей среды. (Они наотвечают! — подумал я.) Проект на ГПЗ по поручению Совета Министров проверялся в Госкомитете по науке и технике, внесены уточнения. Вместе с тем, как показала проверка, эти меры надо бы усилить. (Когда? А вообще-то не почитайте за труд посмотреть, какая пакость повалит с ГПЗ после пуска.)... В пойме Волги количество птицы, особенно водоплавающей, уменьшается по причине главным образом засоления почв, их загрязнения химикатами, массового браконьерства. У птиц развилась массовая болезнь — ботулизм...

— ...Надо определить точные границы Прикаспийского региона. (Тут я воспрянул, но все ограничилось одним «надо». Да и как определишь, если даже критериев нет. Астрахань — одно, Азербайджан — другое, Туркменистан — третье.)... Проблема трудовых ресурсов остра... Нам надо реально определить ресурсы. В крупных городах демографические условия ухудшаются, рождаемость падает...

Поздно определять, готовы 1,5 миллиона человек!

— ...Строить будем много, но не укомплектована документация, не поставлено оборудование. Средняя потребность воды в сутки на человека триста — триста пятьдесят литров, а в городе Ульсары — тридцать — тридцать два литра. (Ахнул я: докомплексовались в подходе к региону!) Газ и сероводород на месторождениях наметили сжигать, что немислимо, все заглушит... Сорок пять процентов осетровых страны дает Урал. (Я поразился гордости, с какой выступавший это сказал, не осознавая, что столь великие проценты — от еще более великой беды: ведь Волга закупорена для осетра.)

Пожалуй, все-таки назову одно имя — Ю. Г. Казаченко, первого секретаря Мангышлакского обкома партии, ибо он, с озабоченностью сказав о своей области, невольно обнаружил неготовность нашей науки и нашей технической вооруженности для массивного освоения Прикаспийского региона. Две трети всей области, говорил

Казаченко, представляет собой белое пятно, совершенно не исследованное, а там, куда уже вторглась промышленность, происходят геологические изменения верхних земных пластов, на них, дабы устранить перекосы, оказывают все возможные виды воздействия, но нет средств контроля и необходимого оборудования. Три четверти земель прибрежного совхоза уходит на морское дно. Все это требует дополнительных и не предусмотренных сметой капиталовложений. Само название ТПК, территориально-промышленный комплекс, предполагает комплексное развитие, но область не развивается комплексно, та же переработка сырья нерациональна. Ванадий не берем, парафины из нефти сжигаем, рассолы с заводов сбрасываем в море, хотя из них можно получать многие ценные продукты. И без того слаба техническая база, так еще и оборудование негде отремонтировать, его для ремонта увозят в Башкирию, в Азербайджан. Необходимо развивать ремонтную базу, нужны дополнительные средства. Морская вода — среда агрессивная, трубы не выдерживают больше года, необходимо начать работы по эмалированию труб (когда начнут да когда сделают!). Даже то, что под ногами лежит, не осваивается, например ракушечник, запасы которого необозримы. Облицевали в Москве Олимпийский комплекс ракушечником, тем и кончилась его разработка, хотя он дешевле кирпича в четыре раза, в размолотом виде пригоден для посыпки кормов скоту. Нет людей. Вахтовый метод — в нем больше недостатков, чем достоинств, сказал Казаченко, надо строить жилье. А для этого опять-таки необходимо сначала привлечь людей, а их надо кормить. Но в области нет возможности увеличивать производство мяса, отсутствует кормовая база. Тут самая верная надежда и лучшая перспектива — разведение верблюдов, которые дают прекрасное молоко, шерсть, мясо. Но наши ученые до сих пор не приступили к исследованию проблемы, хотя на этот счет есть большой опыт в мировой практике (Австралия)...

На выступлении Казаченко закончился первый день заседания. Все время в зале я искал Синякова, но нет, единственного ученого, который столько сделал для исследования грунтов Прикаспийской впадины, сюда не пригласили!..

На второй день.

— ...Границы не определили, до Москвы — циркулем!.. Госкомтруд запутался в коэффициентах — в Калмыкии начальник пристани получает безводные!..

Этот выступающий первый сорвал аплодисменты — за критику заседания.

— ...На ГПЗ беспокоит отставание природоохранительных объектов. Прежде чем начать строительство второй очереди завода, надо учесть ошибки первой очереди. (Может, когда-то и учтут, подумал я, но строить уже начали.)

— ...Говорят о дефиците воды, но это неправильное представление. Воду используют экстенсивно — вот в чем беда... Каналы в земляных руслах, вода становится соленой... За рубежом давно отказались от земляных каналов, там ее всюду подают по трубам. Это дорого, но окупится, качество воды сохранится.

— ...Все захваты воды из Волги — это незаконные дети переброски северных рек. На их переброску был рассчитан канал Волго-Дон выше Волгограда. Переброску запретили, а канал тихой сапой продолжают строить. Диву даешься! Осетровые запасы будут грабиться новым каналом!.. Наука теряет нравственность, она подкупается отряслами!

— ...Здоровье человека — дело не только медицины. Вода, воздух, количество и качество продовольствия, жилье — весь комплекс условий жизни людей формирует либо здоровье, либо болезни... Создание института гигиены окружающей среды до сих пор висит в воздухе, а он необходим.

— ...В Астрахани большая глубина залежей газа, более четырех тысяч метров. У нас нет опыта разработки подобных месторождений... В этом году будет введена первая очередь Астраханского ГПЗ.

Не введут, подумал я. И тут же вопрос из зала:

— Какова надежность завода?

— В воду ничего не сбрасываем, надежно. Остатки технологических отходов сжигаем на девяносто девять и шесть десятых процента. В воздух практически ничего не попадает.

— Вчера по телевидению, по программе «Время», сообщали, что на заводе половина сварных швов — дефектные! Как же можно пускать завод? — новая реплика из зала.

— Мы все сделаем.

— Вы что, телевидению не верите?— опять из зала реплика.

— Верим но сделаем.

Внешне очень хорошо — 99,6 процента, подумал я. Но 0,4 процента — это 8 тысяч тонн серы в год, которая разлетится по округе.

Плотно работало заседание, с девяти утра до восьми вечера, не успели выступить 20 записавшихся, а те, что выступили, выразили невольно основную идею: наука отстает от промышленного освоения региона, как она отстает, скажем, в проектировании технологии, в закладке оборудования при строительстве новых заводов. Наука отстает не потому, что слабы ее силы, что она бездеятельна,— она во многом бесправна перед отраслями промышленности, вот в чем причина. Поскольку в Прикаспий уже решено добавить 1,5 миллиона человек, а их надо кормить, им надо создавать нормальные условия жизни, заседание разделилось на две неравновеликие по количеству, идейно противоборствующие стороны. Большинство — ученые-гумансты, назову их так, ибо они восставали против насилия над природой, позволяющей производить добротные продукты питания, призывали повернуться лицом к социальным проблемам. Меньшинство — технократы, говорившие о росте добычи газа, нефти, о развитии энергетики, озабоченные выполнением плана любой ценой. Особенно остро это противоборство обнаружилось, когда на трибуну вышел представитель Минводхоза. Как только он начал: «Мелиорация в нашей стране...»— из рядов зала прозвучал резкий вопрос.

— Мелиорация или полив?

— Я имею в виду улучшение...

— Нет, вы имеете в виду прежде всего полив!

— Почему вы меня перебиваете?

— Потому что вы льете без меры, заболотили, засолили земли!

— Я сейчас уйду с трибуны и не буду говорить.

И. о. ведущего заседание. Тихо, товарищи, тихо! (*Представителю Минводхоза.*) Успокойтесь, успокойтесь. Говорите.

Представитель. Но мне не дают говорить, я сейчас уйду.

И. о. ведущего заседание. Успокойтесь, успокойтесь, продолжайте. (*В зал.*) Тихо, товарищи, нельзя перебивать!

Представитель Минводхоза все же выступил, был довольно самокритичен, сообщил о бедственном положении орошаемых земель, но назвал такой коэффициент полезного действия от орошения, что вызвал новый протест в зале, несогласие с коэффициентом, который будто бы явно завышен и не соответствует действительности

Несколько академиков буквально обрушились на Минводхоз: почему он захватил монополию, почему роет по своему усмотрению, не спросив у заказчиков, у владельцев земель, и при этом не несет никакой ответственности за результаты своей работы — за будущие урожаи. Надо же считаться с колхозами и совхозами и, если они согласны, заключать с ними договоры, гарантировать будущие урожаи после строительства оросительных систем, а если гарантии не будут выполнены, платить неустойку. Вот тогда Минводхоз подумает, где рыть и как поливать. Теперь же он тянет каналы, определяв их направление, и перечеркивает вековой опыт земледелия. А между тем русский крестьянин давно освоил сухую мелиорацию, и этот опыт успешно используют за рубежом, а мы пренебрегли опытом своего народа, говорили академики, приводя в качестве положительного примера Джаныбек, где создан оазис, где виртуозно используют богарную мелиорацию.

И как только назвали Джаныбек, я вспомнил босоногую Галину Павловну Максимум, кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника лаборатории лесоведения АН СССР, коренную москвичку, ходившую без обуви по степным колючкам, по комьям пахоты. Галине Павловне было уже под шестьдесят, но она, не зная усталости, носилась по рукотворному чуду Прикаспийской впадины, показывала его. И среди необыкновенного разнолесья вдруг остановилась перед плакучей ивой.

— Это ива имени Владимира Николаевича Сукачева, так мы ее называем. Он работал здесь, потом часто приезжал сюда, любил здесь ходить и сидел под этой ивой.

Я верил и не верил глазам: неподалеку от мертвого соленого озера Эльтон, на солонцовых почвах, без полива поднялся на трех с половиной гектарах могучий лес, где породы деревьев я не смог бы перечислить, для этого пришлось бы назвать породы, начиная с Дальнего Востока и кончая Приволжьем. А еще было зерновое поле в

50 гектаров, с которого брали урожаи вдвое-втрое выше, чем в окрестных совхозах, и заповедный участок степи, два гектара, обнесенный одной провололочкой, с удивительным травостоем! Этому стационару предшествовал другой, организованный Борисом Борисовичем Полюновым в 1934 году и запрещенный в 1937-м. Работавший вместе с Полюновым Алексей Федорович Большаков и предложил это место для стационара, недалеко от прежнего. Галина Павловна называла тех, кто в 1950 году сажал здесь первые кустики: Владимира Николаевича Сукачева, Ивана Васильевича Ларина, Виктора Абрамовича Ковду, Николая Ивановича Суса, Алексея Андреевича Роде, который приехал в Джаныбек с уже больными ногами, но благодаря своей захватывающей энергии сумел организовать стационар, дать ему жизнь.

— Тогда, в пятидесятом году, сюда собирались те, кто не был заражен лысенковскими идеями. У нас и тогда и теперь сохранилась голубая мечта: преобразовать Прикаспийскую низменность. Наш стационар доказал, что преобразовать можно, но в чьи руки попадет? Кто продолжит наше дело? Молодежь не хочет сюда идти, удобства требует. А какие у нас удобства, сами видите... — И вдруг посветлела лицом, взглянула на вислую березу.— Казах на телеге приезжал, старик, и попросил: «Дочка, покажи березу». Он же здесь век свой прожил и никогда не видел, не знает, какая береза.

Беспокойство Галины Павловны разделил и младший научный сотрудник Владимир Юрьевич Душков, который, сидя за самодельным столом, накладывал на миллиметровку листы вяза, обводя их карандашом, подсчитывал общую площадь листвы на кроне, чтобы потом дать рекомендации против усыхания вершин деревьев:

— Кто поддержит наш стационар? Прежние сотрудники, энтузиасты, в весьма солидном возрасте...

— Но вам-то и тридцати нет.

— Я вырос в семье лесника, в степи, в Пугачеве. Отцовское дело продолжаю. Но что-то не вижу, чтобы сюда молодые рвались. Мы здесь каждый год работаем по шесть, по восемь месяцев, половина жизни — в стационаре. А кто еще поддержит?

И вот слышу в Октябрьском зале Дома союзов, что прет землеройная техника с поливом, затопляет дело, которому люди полжизни... что полжизни — всю жизнь отдали! Они доказали свою правоту не отчетами и монографиями — доказали высоким лесом с ландышами, соловьями, с гнездами на деревьях, с шумливыми стаями перелетных птиц, которые не просто оживляют, но и улучшают саму землю якобы обреченного на умирание полупустынного края.

Один за другим выступили защитники рыбного хозяйства внутренних водоемов, требовали прекратить грабеж Волги, Терека, Урала, откуда забирают воду без меры и где загрязняют ее без меры, отчего фантастически сократилась добыча рыбы и государство несет миллиардные убытки.

— Человек кладет на бутерброд рыбу, икру, а не серу. Мы здесь не бензин-керосин обсуждаем, а вопрос жизни!

И как поддержка слова другого ученого:

— Надо создать комиссию для постоянного контроля за Астраханским газоконденсатным комплексом!

Я слушал выступления о нелепостях с тем же Кара-Богазом, с волжским вододетелем, слушал о намерении энергетиков поставить в прикаспийских песках атомную электростанцию, поскольку, дескать, неразумно тянуть длинные ЛЭП, их выведут из строя пыльные бури (а для атомной с ее автоматикой бури, выходит, не страшны), слушал, как говорилось о повышении себестоимости государственной сельхозпродукции почти до уровня рыночных цен, поскольку расходы на каждый гектар непомерно возросли из-за обилия техники, химикатов,— слушал все это и думал о бестолковой деятельности человека. Весь этот зал — совокупный человек. Он призван учить, организовывать, действовать, показывая пример разумности. Но он вопрошает, почему же его не хотят понять, услышать, хотя он криком кричит. Он говорит, что еще нигде ни разу у нас при орошении не была достигнута проектная урожайность, а орошать продолжают. Он говорит, что не хватает курортов, а в Прикаспии громадные запасы целебных вод, лечебных грязей, что курорты облагораживают край, привлекают людей, но вместо курортов ставят буровые вышки. Он второй день говорит и ни разу не спросит, а какой кусок от этого пирога, от 100 миллиардов рублей, дадут на его нужды. На его конкретные нужды. Да вон послушать хотя бы того, с острым, точно шило, взглядом. Он убедительно, с цифрами доказывает: в нашей стране жилищное строи-

тельство ужасающе отстают от национального дохода и что такая политика невозможна. Но он ни словом не обмолвился, сколько в Прикаспии надо построить жилья из расчета этих 100 миллиардов. С привлечением научных данных он сообщает, что уровень его любимого Каспия колеблется в длительные исторические периоды, что колебания связаны не с уровнем рек, а с геологическими явлениями, природа которых пока неясна. А раз неясна, здесь требуется особая осторожность, обжегшись на молоке, на воду не подуешь, она просто затопит. А какая же тут осторожность при такой неопределенности, если этот совокупный человек говорит, что в Прикаспийской впадине в 2000 году добыча нефти должна (должна!— и никаких) составить десятки миллионов тонн, газа — многие десятки миллиардов кубометров; в Прикаспийской впадине до 2000 года предстоит пробурить в общей сложности многие миллионы метров. Это уже конкретней, это, стало быть, уже записано в планы.

— Пробурить многие миллионы метров!

И на этот волевой технократический зов экономисты отвечают, что это обосновано, экономически выгодно, полностью выражает железный экономический закон плановости и ничуть не нарушает экологию, четкое равновесие природы.

Ни один из ученых не выдвинул контридею, что, мол, не клином свет на Прикаспии сошелся, вот, пожалуйста, другой вариант. Залежи, месторождения (и не где-то там, а под боком) загипнотизировали. При этом никто не спросил у этих 1,5 миллиона человек, согласны ли они жить в песках, в безводье, в чуждом для них крае. Решено — и поедут! Гордый, вольный человек, царь природы, как миленький побежит в барханы, будет отплеиваться от песка, но бурить, долбить землю, не ведая, как ему это отзовется. Решено! Вот что под конец говорит этот совокупный человек, радостный, повторяет, подчеркивает: нужды Прикаспийского региона учтены, на них выделено 100 миллиардов рублей...

А тут еще в поезде, в купе — надо же! — сосед попался, невысокий мужичок с лицом постаревшего ребенка. Слово за слово, и он, похоже, распираемый радостью, но с деревянным выражением похвастал:

— Все дела утряс в Москве, все дела подписал, теперь будем строить Волго-Дон. Я как можно равнодушной спросил:

— А я слышал, вроде запретили переброску северных рек.

— Это все писатели! Какой-то микроб, — он хмыкнул, — нашли в северных реках, и он как будто Волгу погубит. Пишут, управы на них нет! А что такое пять кубокилометров из Волги? Это даже незаметно.

— А зачем рыть? Есть же один канал.

— У нас коллектив и техника какая — три шагающих экскаватора. Куда их девать?

— Но теперь позволяют предпринимательство. Наймитесь на силикатный комбинат, разрабатывайте, грузите своими шагающими камень, глину, песок.

— Это все не то. Шагающие экскаваторы — для крупных землеройных работ.

— Ну тогда переделайте свои шагающие в маленькие, ковшовые. Их тоже не хватает.

Он принял шутку, даже улыбнулся, но не уловил горечи...

Дома жена встретила вестью:

— А по телевидению про Аксарайский завод передавали, про сварные швы. Я вот тут записала. И еще из Астрахани какой-то Маврычев звонил, просил позвонить ему. Я позвонил Герману Владимировичу, он обрадовался:

— Все готово! Договор подписали с Волгоградским строительным институтом, деньги перечислили! Пусть к работе Сиянков приступает!

Я связался с Сияковым, он поблагодарил за добрую весть, но прошел ноябрь, почти закончился декабрь — Сиянков позвонил мне с недоумением:

— Никаких денег не перечислили, а год кончается, мы заключим договор с другими организациями.

— Вы сами поднажмите, Владимир Николаевич, дело важное, государственное. Съездите в Астрахань.

— Ну, я еще немного подожду.

На том и порешили. А вскоре после Нового года получил я письмо от доброго знакомого, который ходил насчет Сиякова в дирекцию Газпрома и услышал там ответ, что договор об исследовании фундаментов и грунтов — пустая трата де-

нет. Далее добрый знакомый предлагает вариант, на какой он пошел бы сам: если вопрос важный не только для завода, но и для государства, пусть Синяков проявит энтузиазм, приедет и ведет исследование бесплатно.

Позвонил я Синякову, не пожалел слов на уговоры, и он где-то в середине января съездил в Астрахань, потом рассказывал о поездке:

— Деньги действительно еще в декабре выделили, но некому было подписать бумагу. Беготня! Они там и завод пускают, и еще жилой дом сдают. Все служащие Астраханьгазпрома копают возле сдаточного дома траншеи, таскают мусор, штукатурят. Но мы с Маврычевым, у него служебная машина, все-таки нашли человека, который подписал бумагу. А вот в Стройбанке денег сначала не давали, потому что у Газпрома перерасход. Я выступил перед служащими Стройбанка, рассказал, какие буду вести исследования, для чего они. Сразу нашли деньги и перечислили институту. А женщина, от которой зависело перечисление денег, сказала мне: «Вы уж нас тут не бросайте».

Чего и я пожелал Владимиру Николаевичу.

По программе «Время» перед Новым годом показали ГПЗ с дымящими трубами и объявили, что первая очередь завода пущена. Не дым идет, а — «химия»... И в одном из тонких журналов я прочитал репортаж, что ГПЗ пущен. Автор репортажа утверждал, будто после пуска увидел «довольные лица строителей, монтажников и эксплуатационников».

У меня на ГПЗ появилось много добрых знакомых, они пишут мне. Из письма от 1 января 1987 года:

«Бардак с актами рабочих комиссий, те, кто в этом заинтересован, пытаются подsunуть такую галиматью, лишь бы как-то сбегрить. Мы сопротивляемся, без КОС, ВОС (очистные сооружения.— И. М.), санитарно-бытовых не подписываем. Но дают чуть ли не от самого министра, а тем, кто не подписывает (технический инспектор ЦК профсоюзов, ст. инженер Каспводнадзора, нач. филиала санэпидемстанции), слегка грозят. В общем, война. Шефы 31-го написали письмо о запрещении пуска, так как не обеспечена безопасность и не выдержаны технологические регламенты (например, сушка печи на 151-й установке). Но наша команда рвачей бросилась пускать, лишь бы отпартовать о получении серы. Она, конечно, нужна, но, думаю, не такой ценой. Акт рабочей комиссии не подписали, а они плевать на это хотели, бросились запускать «сырой» газ в установки, раскручивать технологию».

Гостехгорнадзор СССР Нижне-Волжского округа находится в Волгограде, в нескольких минутах ходьбы от моего дома, и там, расстелив на столе заводскую схему, ответственный работник объяснил мне, как «пустили» ГПЗ. Грубо говоря, представьте себе прямоугольник, разделите его на шесть равных частей, в левом верхнем углу заштрихуйте две части — вот эти две части пустили.

Весь ГПЗ — это первая очередь; два таких же ГПЗ составят вторую и третью очереди. Сыграв на понятии «первая очередь», отпартовали, будто пустили первую очередь, а на самом деле пустили только малую часть первой очереди.

Да и как пустили? Автоматику не подготовили, прибегли к ручному управлению, что вызвало многие беды: от скважин конденсат пошел не прогретым, низкого давления, режим в системах нарушился, это привело к авариям. Так, упомянутая в письме печь 151-й установки пришла в негодность: расплавилась труба диаметром 1,6 метра, по которой подается ядовитый газ, произошла его утечка; на ремонт трубы затратили три недели.

С заводом попытались обойтись, как с человеком, у которого удалили внутренности, но назначили искусственное питание. Хотя подведенный от скважин газоконденсат не соответствовал рабочему режиму, от него все же отделили сероводород, затем с нарушением технологии получили серу, чтобы показать ее, а остальную часть конденсата, из которой надо получать бензин, дизельное топливо, мазут, — эту часть в сжиженном виде стали сливать в автоцистерны, вывозить в так называемые амбары, в котлованы размером с озеро средней величины, и сжигать. Бесконечный поток автоцистерн постоянно сливает горючую смесь в трубы, по трубам она течет в два амбара, которые пылают днем и ночью. Целые озера адского пламени, удушающий, на всю округу, дым.

Поскольку 174-ю установку для отделения газа не пустили, то весь газ стали шуровать на факел, на трубу высотой 102 метра, и от нее смоляной хвост дыма полетел по всей пойме.

При кустарном управлении и при нарушении режима установка по производству серы постоянно выходила из строя — и сероводород тоже пускали на факел. Тянулся уже не черный, а желтый шлейф дыма, по округе разлетался чистейший  $\text{SO}_2$ , сернистый газ, что гораздо страшнее, нежели предсказывал мне геолог в романовском полушубке.

Ту часть завода, которую якобы пустили, отгородили сетками от остального объекта, где продолжали строительные-монтажные работы фактически во взрывоопасных и газоопасных условиях, осложняя и удорожая строительство, а главное, вынуждая людей рисковать жизнью.

По рассказу в Гостехгорнадзоре я достаточно ясно представил обстановку на заводе, но засомневался:

— А вроде главный инженер Золотухин толковый мужик. Он мне слово давал, что примет все меры, чтобы не пускать завод с угрозой для окружающей среды. И потом, председатель завкома Горелов тоже принципиальный, честный человек. И секретарь парткома Филиппов, я-то знаю его, не пойдет на сделку с совестью.

— Что там Золотухин, Горелов, Филиппов! — возразили мне решительно и с горьким сожалением. — Сейчас на заводе министерские чины командуют, волевым порядком пытаются пустить завод. Учитывая создавшуюся обстановку, головной проектный институт снял с себя всякую ответственность.

19 марта центральное радио по первой программе в выпуске последних известий (в 19 часов) передало, что на Аксарайском ППЗ произошел выброс ядовитых газов, имеются человеческие жертвы.

Из письма от 18 марта 1987 года:

«...последствия такого уродливого пуска начали сказываться: 14 февраля погиб Саша Лазарев, в ночь; работа велась с грубейшими нарушениями техники безопасности. Мы организовали похороны. Это как в кошмарном сне. И скорбь, и глаза жены, вопрошающие глаза, а у него трое детей... Саша Лазарев — опытный оператор, 12 лет стажа.

Смертельные исходы...

Не слишком ли дорого?

Но самое страшное то, что завод до сих пор не остановлен, имеются случаи загазованности, превышающей ПДК (предельно допустимая концентрация. — И. М.) во много раз... Выдали противогазы «Фэнзи», французские, с запасом воздуха на 15 минут, но это капля в море. Газ может идти струйкой под землей. Один вдох — и противогаз не нужен... За январь 8 мелких отравлений было, но администрация (нач. производства № 1 т. Пасечник В. А.) скрывает это, да и вся администрация в целом... А все, кто осмелится говорить об этом, враги № 1. Но в глаза этого не скажут, и плетутся интриги тихие и так больно колющие. Сегодня приехали министр и председатель Госгортехнадзора СССР — это после смерти».

Для кого же говорящий правду становится врагом номер один?

Из этого же письма:

«Настоятельно рекомендую прочитать газету «Социалистическая индустрия» за 11—14 числа марта месяца. Очерк называется «Астраханские контрасты». Там вы все узнаете.

Наконец-то журналистам дали возможность все называть своими именами. От себя могу добавить, что в очерк отличным образом вошел бы эпизод на рабочей комиссии, где присутствовал замминистра строительной промышленности (Минюгстроя. — И. М.) т. Миненков, а вел рабочую комиссию «герой» этой статьи, председатель рабочей комиссии т. Радченко М. Н. — зам нач. главка Мингазпрома. Когда речь зашла о подписании инженерно-лабораторного корпуса (ИЛК), Радченко спросил Горелова Л. А., почему он не подписывает «Акт» рабочей комиссии. Горелов ответил, что без здравпункта, который должен разместиться на первом этаже со всей кислородотерапией и дежурными машинами «скорой помощи», он этот «Акт» подписывать не будет. Далее он сказал, что здоровье трудящихся уже с 1-х пусковых объектов надо профилактировать, так как постоянные пропуски газа (страшного газа) на 171-й и 172-й установках уже разрушают организм рабочих. Радченко — Горелову: «Так ты же подписал «Акт» рабочей комиссии по первой очереди, а ИЛК не хочешь подписывать, или такой принципиальный стал?» Горелов дернулся

и рот раскрыл. Прямо растерялся. А потом сказал, что Радченко обманул его, в доверительной беседе, в дружелюбной беседе подсунил ему листок «Акта», где только одни подписи, и Горелов еще спросил, что это за листок, а Радченко ответил, что чепуха, мелкий объект, интересов Горелова не затрагивает. И Горелов после доверительной беседы (он все про эту беседу повторял) не осмелился проверить зама нач. главка, подписал не глядя. Сглупил, конечно, проверять надо. И по лицу и по голосу Горелова все члены комиссии поняли, что он прав, Радченко обманул его. А Горелов еще и добавил, что это преступление — в таких неподготовленных условиях пускать завод. Что тут началось: замминистра строителей стал стыдить Горелова, что он же 3-е лицо предприятия, как же он так рассуждает и т. д. А Радченко видит, что добрая половина сдающих объект его поддерживает, налетел на Горелова: «Вы слышали, он меня обвиняет в преступлении! Я преступник! Меня за 30 лет работы так никто не называл! Вы все — мои свидетели. Я сейчас же как председатель рабочей комиссии потребую собрать партком завода или объединения (а он бывший генеральный директор п/о Астраханьгазпром) и потребую исключить его из партии за оскорбление и непонимание политики партии». Горелов еще раз повторил, что такой пуск завода является преступлением, а уж Радченко пусть домышляет. Страшный был эпизод. Я смотрел на Радченко, который так передернул справедливые слова, и до меня как-то сразу дошло, как расправлялись с людьми в 1933—1937 годы. А я, воспитанный в лучших традициях пионерства и комсомола, не воспринимал этого раньше. Б. Г. Филиппова (парторга завода) в этот момент не оказалось, а пришел В. И. Прокофьев (парторг объединения), посидел и ушел. Ни с чем... Ну, вроде все затихло. Замминистра Шеремет пригласил парторга Б. Г. Филиппова по личности Горелова, а Филиппов сказал, что тут плохого, если парень набрался духу и сказал правду. Кстати, против Филиппова тоже козни строят...»

Из письма от 28 марта 1987 года:

«Скажу Вам откровенно, не боюсь никакой работы, никакой ответственности, все для этого есть: знания, огромный опыт,— но все мое существо моментально восстает, если работа противоречит здравому смыслу, технически безграмотна, халтурна... Я сейчас не нахожу себе места от той мысли, что пусть косвенно, исполняя idiotские распоряжения и указания (тухие до безграмотности), повинен в гибели пяти ни в чем не повинных человек... Пустили завод, не построив и доброй половины, спасая чьи-то портфели.

Принцип всей технологии, которой я дал определение «труба — бочка — свечка (факал)», кстати, многие так зовут, можно было обеспечить и без строительства завода, канализацией и коллекторами начали заниматься только через месяц после пуска завода, когда все было утоплено (об этом мне говорили и в Гостехгорнадзоре.— И. М.). Очистные не построены, маломощная котельная (а должна быть ТЭЦ) работает по принципу котельная — пар (в атмосферу), конденсат — в землю (песок), под нами уже текут подземные реки. Что будет, когда будет тепло! Сейчас во многих местах огромные воронки. Завод представляет собой огромную парилку... Я называю его «долина гейзеров».

Самое печальное и самое страшное то, какие здесь «специалисты». Мне порой кажется, что совершенно безграмотные аборигены, руководствуясь только здравым смыслом и инстинктом самосохранения, организовали бы все гораздо лучше. Конкретно о всех не говорю, были здесь и хорошие и грамотные люди (жалко, что приходится писать «были»), эта машина мгновенно перемолола их.

Я считаю, что на заводе должны работать химики или нефтехимики, а не газовики: ведь здесь будут выпускать миллионы тонн серы, бензина, дизтоплива, все это связано с огромным вагонным парком, многоотраслевой диспетчеризацией. Ну как тут могут командовать газовики?! Они, кроме промыслов, газопромыслов и компрессорных станций, никакого опыта в этих вопросах не имеют.

Даже самый «огромный», Оренбургский, газоперерабатывающий завод на 95% занят выпуском товарного газа, т. е. очисткой его от сероводорода, которого там всего 1,5%, и транспортировкой этого газа газопроводом.

Астраханский газ — «не тот газ» Если оренбургский в чистом виде вызывает рвоту, то астраханский мгновенно парализует и валит, из погибших двое были оренбургские, со стажем работы там более 10 лет.

Картину настоящей эксплуатации описывать не буду — страшно. Вчера, прав-



да, завод полностью остановили... для профилактики... не могу даже назвать на сколько... Остановили после визита очередного высокопоставленного лица».

Это было в конце марта. А 7—8 апреля в Астрахани проходила региональная научно-практическая конференция по проблемам комплексного освоения Астраханского газоконденсатного месторождения, и ее участники добились-таки своего: остановили завод, который опять пытались пустить в неподготовленном виде. Добились, правда, в борьбе. В. Н. Сняков был участником конференции, он мне рассказывал, что ученые (в частности, доктор биологических наук С. М. Коновалов) делали сообщения о ранее неизвестных воздействиях сероводорода на живые организмы, нередко скрытые воздействия, приводящие к бесплодию людей и животных в радиусе до ста километров от источника газа. Конференция вскрыла неблагоприятные действия заводской администрации, а также тех, кто потворствует ей в безграмотном пуске завода. Например, говорилось о том, что во время аварийных выбросов сероводорода, когда ветер дул на Астрахань, составили необходимые акты, но в них указали, будто дул он на север, а вовсе ни на какую не на Астрахань,— и т. д. и т. п. Конференция пришла к выводу, что в случае крупной аварии на газоконденсатном месторождении последствия от нее будут в несколько раз тяжелее, чем от аварии в Чернобыле (имеются в виду и человеческие жертвы, и денежные убытки, и масштабы омертвления природы, и долговременность омертвления).

— Конечно, были и такие, кто пытался убедить, что опасность преувеличивают,— рассказал Владимир Николаевич Сняков.— При этом ссылались на Оренбургский завод, который спокойно себе работает, никому не угрожает. Им возражали, что хотя в Оренбурге не такой газ, но и там в окрестностях завода ни кузнечик не прыгает, ни комар не летает. Особенно большое впечатление произвело на меня выступление сотрудницы головного проектного института. Она защищала проект завода перед правительством, все высшие инстанции прошла, но стояла на трибуне перед всей конференцией и каялась, как много еще она не знала о сероводороде, об Астраханском месторождении, а уже делала окончательные выводы. Очень драматичным было ее выступление, она признала проект неподготовленным. Ну а под конец любопытная ситуация. Конференция работала по секциям, пять секций было. В нашей и еще в двух пришли к выводу: необходимо временно остановить завод, его отрицательное влияние заметно уже в радиусе ста двадцати километров, сульфиды появились на поверхности. А на пленарном заседании президиум конференции наложил вето на такое решение секций. Буря поднялась! Зал потребовал прямого голосования. И значительным большинством проголосовали — остановить! Остановили, не знаю, надолго ли. На неделю, говорят. Весь завод плавает, грунтовые воды — они там и без того рядом — вверх поднялись.

— Ну а ваши рекомендации, Владимир Николаевич?— спросил я с надеждой.

— Я еще не приступал к исследованиям, денег так и не перевели. В последний момент задержали, перерасход у них громадный. Я было привез Газпрому новый, самый эффективный метод определения разлома грунтов, но они что-то юлят. Я так и не понял их..

Разговаривали мы с Владимиром Николаевичем 17 апреля, а на другой день наш разговор будто продолжился. Утром развернул я свежую «Правду» и прочитал: «Взрыв среди ночи» — об аварии на Оренбургском ГПЗ, повлекшей за собой человеческие жертвы.

---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

АНДРЕЙ НУЙКИН



## ИДЕАЛЫ ИЛИ ИНТЕРЕСЫ?\*

*По страницам газет и журналов*

**С**удьба перестройки, как уже говорилось, будет решаться прежде всего в сфере экономики, но...

Но дважды уже за годы советской власти сторонники декретивной, административной системы управления выигрывали бой за счет того, что умело переводили его из сферы экономики в сферу идеологии. Одержать верх в честном экономическом состязании (то есть доказать на деле преимущество административных способов управления народным хозяйством) у них не было ни малейшего шанса. У них и сейчас его нет. И можно не сомневаться, что они сделают все, чтобы состязание экономических моделей социализма снова перевести в сферу идеологических словопрений. И снова наши экономисты, наши хозяйственники, наши рабочие и крестьяне да и интеллигенты тоже могут оказаться не готовыми к этому, растеряются, спасуют перед избитыми демагогическими пассажирами, начнут обороняться, приспособливаться, оправдываться... Чем это кончается, мы знаем.

Первых ласточек в этом отношении набралось уже вполне достаточно, чтобы ясно стало, куда они собираются лететь. Не требуется особой политической проницательности, чтобы предвидеть главное направление идеологических атак. Собственно говоря, еще и перестройка не начиналась, а атаки на нее уже велись с неукротимостью, достойной восхищения. Так сказать, превентивно. И чтобы в решающую минуту нам не спастовать перед этим бешеным напором, надо, пока позволяет время, разобраться, в чем его суть, кто за ним стоит, что его питает. Для этого, думается, было бы интересно переключиться с глобального масштаба на предельно локальный. Идеология ведь функционирует не в абстрактном «общественном сознании», а только во вполне конкретных, единичных человеческих головах и душах! Чтобы выяснить, к примеру, чем болен океан, недостаточно только аэрофотосъемки, надо еще и, отделив от океана одну каплю воды, скрупулезно исследовать ее под микроскопом.

### КОНИ КАК «СИМВОЛ БРОЖЕНИЯ»

В наш вялый, чиновный век мы как-то отвыкли встречать на газетных полосах авторов, которые, невзирая на меняющуюся политическую конъюнктуру, хранят верность раз и навсегда избранному ими идеалу, горячо и без оглядки отстаивают идеологическую концепцию. Журналистка Е. Лосото именно из таких цельных, нестигаемых, убежденных публицистов. Она обладает редким даром за пустяком, за случайно вырвавшейся у кого-то фразой увидеть глобальную политическую проблему, сквозь бытовую мелкую деталь (какие-нибудь сережки, джинсы) прозреть классовую сущность человека. Ни в одной из прочитанных мной в «Комсомольской правде» 40 ее статей я что-то не вспомню слов «не берусь судить», «не знаю», «мне кажется»... Е. Лосото и сомнения, похоже, еще более несовместимы, чем гений и злодейство. Приговор ее всегда окончательный и обжалованию не подлежит.

---

\* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

Соответственно выглядят и предлагаемые меры воздействия, исправления, пресечения. Дух героини «Оптимистической трагедии» или по меньшей мере дух Плюмбума явственно ощущается во всех рассматриваемых публикациях. «...мы должны этих дикарей воспитывать, а когда надо — и наказывать» (23.08.85); «...самое важное сейчас... ставить молодых людей на марксистско-ленинские позиции» (3.12.85). Обращаясь к революционному прошлому, журналистка не таит своих личных симпатий к террористическим актам («...и бомбу швырнешь, и сама взорвешься, зато избавишь страну от очередного пожарителя наших лучших людей» — 28.09.86). Но особенно мило ее сердцу такое «благородное дело», как царевубийство. В очерке «Вольность» с удовлетворением констатируется: «...партия большевиков решила затянувшуюся историю «царевубийства». Семейство Романовых, обгащенное кровью русских революционеров всех поколений, наконец-то исчезло с лица земли. Вот это и есть святая русская правда» (1.08.86). Похоже, борьбу за кровные интересы трудового народа журналистка понимает в буквальном смысле этого слова, то есть что уже в этом-то случае кровь проливать — святое дело! Впрочем, она сознает, что отнюдь не всякий народ есть народ в трансцендентальном смысле этого слова. О нуждах мужиков, например, мы признаемся честно, проявлять озабоченность вынуждены. И то не ради них самих, разумеется, а только из-за того, что нерасторопность исторического развития заставляет людей, достойных лучшей участи — Чернышевского и его соратников, — делать ставку в революции на мужика, именуемого в интеллигентских кругах крестьянином. И что, скажите на милость, оставалось делать Чернышевскому? Он ведь революционер, так? Стало быть, хочешь не хочешь, а революцию делать надо, так? Ну а для кого? И главное — с кем? Представляет ли помещице? Пролетариат-то ведь еще не созрел! «И надо было верить в мужика, в его революционность, ибо больше было верить не в кого! Это противоречие: ведущий растительную жизнь мужик и вера в его революционность — послужит причиной духовного краха многих и многих людей: кто-то сопьется, кто-то сойдет с ума, кто-то просто умрет безвременно...» (25.09.86).

Хорошо, что позже пролетариат все-таки наконец появился и необходимость пить горькую отпала сама собой, но плохо, что мужик-то при этом сохранился. Да противный какой стал! Раньше, когда еще в него верить надо было, он был таким, каким мужику и положено быть, чтобы страдание вызывать и у революционеров порывы к борьбе стимулировать, то есть «темным, забытым, безграмотным» (26.09.86). Но ведь то-то в мужике и плохо, что из кожи он всегда лез, чтобы уклониться от этой своей исторической миссии — быть темным и забытым. А ведь известно: стоит мужику залечить поротую задницу, наесться досыта, грамотешки нахвататься, как начинает он у пролетарски ориентированных журналисток чувство классовой неприязни вызывать. И до какого края могут ведь довести! Е. Лосото даже сатирический гений Щедрина вынуждена призвать на помощь, чтобы выразить всю полноту негодования двойственной мелкобуржуазной сущностью мужика, которого, как волка, сколько ни корми, он все норовит сам себя кормить — о «крепком хозяйстве» мечтает. Иными словами, есть он «потенциальный кулак», и о каком-то его перевоспитании вести речь просто ненаучно: «„Хозяйственный мужичок“ с его идеалом „дома — полной чаши“ ничего, кроме копейки, в душе носить не может, и надо вовсе „отлететь“ от действительности и от логики развития событий, чтобы подозревать в „хозяйственном мужичке“ способность к гражданским деяниям» (29.05.86).

Совсем иное дело — пролетарий. Не в конкретном его грубом, «овеществленном» виде, а в смысле опять-таки трансцендентальном — как чистая, непорочно зачатая идеологическая идея. Реальные пролетарии тоже сплошь и рядом проявляют опасную тягу к «отступлению», «перерождению», «уходу», «скатыванию»... Глаз да глаз за ними нужен и каждодневная идеологическая работа, вернее сказать — проработка.

Но давайте все же приглядимся, на позиции какого именно «марксизма» пробует Е. Лосото ставить молодых читателей «Комсомольской правды». Начнем, как рекомендуют учебные методики, с философии.

«Диалектика есть диалектика. По ее законам любое явление неизбежно имеет свое отрицание...» (23.08.85). К диалектике это высказывание Е. Лосото, конечно, некоторое отношение имеет, но, думается, не большее, чем слово «тягомотина» к закону всемирного тяготения. Диалектическое отрицание (снятие) предполагает противоречие, таящееся в н у т р и явления (отнюдь не «любого», а такого, которое способно к развитию!). Журналистка не только делает отрицание внешним для явления, но и превращает в нечто разговорное, расчленив его на «умное, революционное, марксистское» и «тупое»,

«анархическое». Диалектическое отрицание, увы, ни плохим, ни хорошим, ни марксистским, ни антимарксистским быть не может. Это вечная, универсальная категория бытия, которое возникло, думается, все же до появления марксизма.

Очень уверенно чувствует себя Е. Лосото и в сфере гносеологии. «Содержание сознания целиком и полностью социально, зависит от общества... чему же там отражаться, кроме как реальности? Больше-то отражаться нечему. Родился человек ни с чем, безо всего...<sup>1</sup> все формы сознания зависят от бытия и существуют неизбежно...» (23.08.85). Много довелось мне читать всякого по теории отражения про сущность сознания и его формы, попадались рассуждения глубокие и банальные, умные и глупые, но такого я еще не встречал. В приведенном коротком абзаце есть все: философские термины, лишившиеся всякого смысла, воспоминания о каких-то цитатах из классиков, заучивавшихся в далекие студенческие времена, теория *tabula rasa*, примененная совершенно не к месту, и восхитительное в своей откровенности убеждение, что нет ничего на свете легче и приятнее, чем быть философом.

Каждый из нас может ошибиться, допустить неточность, сморозить глупость... В статьях Е. Лосото самое впечатляющее — боевой задор, гордость собой в те прискорбные мгновения, когда она от лица марксизма и пролетарской идеологии преподносит какую-нибудь (теоретическую, фактическую или языковую) нелепость.

То от лица Ленина отождествит социальное с политическим («...именно политическая позиция является основой личности человека» — 3.12.85), хотя с позиций марксизма человек — существо социальное, общественное, а не политическое!

То, демонстрируя глубину своего «пролетарского интернационализма», сообщит о месте ссылки Чернышевского (речь идет о Вилюйске): «Местные жители находились в состоянии дикости». Зато «в Астрахани есть и недикое население» (28.09.86).

То мы вдруг вопреки сложившимся еще в четвертом классе убеждениям узнаем, что «времена (?) и классы всегда(?) были и никуда не девались» (19.12.85).

Вообще, коль скоро мы коснулись языка статей, невозможно удержаться хотя бы от нескольких цитат:

«На русскую общину того времени нужно смотреть не с кочки прадедовского домика, а с точки зрения теории» (25.09.86);

«Сейчас вот вдруг всюду замаячил Нечаев во всех ипостасях... Куда ни плюнь — везде Нечаев» (26.09.86);

«У каждого социального явления — свои теоретики, идеологи. Нет явления — нет и его идеологов» (7.06.87).

А вот раскрытие смысла скульптурной композиции В. и Н. Никифоровых (снимок воспроизведен в газете): «Декабристы выехали за город, обсуждают планы общественного переустройства России. Кони — символ брожения в армии». Так вот и написано черным по белому (01.08.86). Из той же статьи можно узнать, что «патриотизм не может быть висющим в воздухе», и многое другое столь же неожиданное.

## ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА

Почему я уделяю столько внимания в разговоре о перестройке статьям одной журналистки, отнюдь не представляющим, как вы убедились, интеллектуальных вершин в нашей публицистике? Потому, что именно с таких «плацдармов» нам и следует ожидать в ближайшее время открытых атак на идеи перестройки. Они, впрочем, давно уже и ведутся, но пока чаще завуалированно. Настолько, что кому-то может даже показаться, будто сочинения Е. Лосото вполне созвучны духу перестройки. Она ведь резко и бескомпромиссно ведет разговор о восстановлении ленинских норм жизни, о социальной справедливости; без оглядки, не подбирая деликатных выражений, разоблачает всяких перерожденцев — захребетников, чванливых бар, любителей наживы... Всяких? Казнокрадов, бюрократов, взяточников, самодуров тоже? Встречаются и они в статьях Е. Лосото. Изредка, перечислительно, в «обойме». Письма читателей сейчас, как известно, такие, что от этих персонажей при всем желании не уйти. Не уйти? Еще как уйти.

Пишет в редакцию Светлана, работающая секретарем-машинисткой на торговой базе: «Я столько грязи вижу! Меня «устроили» на эту базу, будь она трижды про-

<sup>1</sup> Не правда ли, невольно вспоминается незабвенной памяти Трофим Денисович Лысенко. Та же лапидарность, тот же суровый «рембрандтовский» стиль: «Заяц не ест зайца...» А скептики скорбели, будто мы уже разучились так писать!

клята!!! Для кого пишутся законы о вымогательстве, о взятках, торговле из подсобок, из-под прилавков и прочая? Их соблюдают лишь те, у кого нет связей...»

Четко вроде бы поставлена проблема? Не уклониться от ее анализа! Уклониться действительно трудно, но разговор, оказывается, можно повернуть, как поворачивают табун скачущих лошадей, пристроившись в его голову.

«В стране активно начата и разворачивается борьба с хищениями и взяточничеством, спекуляцией и тунеядством, с многоликими частнособственническими проявлениями», — берет инициативу в свои руки Е. Лосото (29.05.86).

Вроде про то же, про что и у Светланы, идет речь? Отнюдь! Простым добавлением к словам «хищения», «взяточничество», «спекуляция» понятия «частнособственнические проявления» Е. Лосото совершила акт стратегической значимости: перевела разговор совсем на другие рельсы. Сделала все возможное для переключения гнева простых людей против взяточников и казнокрадов на... них самих, по крайней мере на тех из них, которые якобы пытаются вернуть капитализм, извлекая «нетрудовые доходы» из собственных мозолей.

«Уж давно нас читатели останавливают, — пишет Е. Лосото, — перестаньте пропагандировать одно лишь стимулирование рублем! Неужели вы не понимаете, что подхлестываете стяжательский интерес, жажду наживы?» И обращается для укрепления своих позиций к книге Р. Косолапова «О самом главном». В чем же, по мнению журналистки, вклад автора в дело оздоровления нашего общества? Далеко бы мы могли зайти в своей уступчивости мелкобуржуазной заразе, считает она, если бы Р. Косолапов вовремя не возвысил против нее свой голос. Конечно, продолжает Е. Лосото, заработную плату «надо определять строго по труду. Но и махать рублем, как флагом, тоже нельзя. Неприлично. Значит, моральное стимулирование? Оно, конечно, по природе выше, но немного ли? Как это так, трудиться ради почестей?!»

И вот общий вывод: «Сейчас как воздух нужны большие идеи! Без них ощущается бескрылость. Нужны идеи бескорыстия, коммунистического равенства, коммунистической партийности...» (2.02.86). Заметьте, все это не само по себе, а взамен рубля, которым пора перестать размахивать, как флагом. Такая вот пролетарская платформа для перестройки нам предлагается. Даже моральное стимулирование отвергается ввиду наличия в нем «личного интереса». Жажду славы и почестей подхлестывать — это не по-коммунистически! Только при абсолютной личной нечестивости в труде человек может выявить в полной мере свое подлинное бескорыстие!

Не знаю, как у вас, а у меня эти рассуждения о неземной человеческой добродетельности как главном стимуле трудолюбия пробуждают воспоминания об известном гоголевском персонаже, который тоже был очень озабочен падением трудового энтузиазма в непролетарски настроенных слоях населения. «Народ-то больно прозорлив, — говаривал этот персонаж, — от праздности завел привычку трескаться, а у меня есть и самому нечего».

Что случилось с экономикой, основывающейся на попытках этого персонажа привить народу полное бескорыстие, мы помним: разбитые дороги, крыши крестьянских изб, напоминающие решето, окна, заткнутые зипунами, огромные клады хлеба, обратившиеся в «чистый навоз», сад, заросший дикими кустами...

Легко ли побудить людей к труду на основе полной незаинтересованности в нем? Е. Лосото понимает, что обладатели мелкобуржуазных инстинктов будут оказывать в этом деле бешеное сопротивление. Но стоит ли церемониться с теми, кто проявляет «бескрылость»? Есть добрый сержантский принцип: не можешь — научим, не хочешь — заставим! Полетишь и без крыльев как миленький!

Радикальность и левизна для Е. Лосото — синонимы революционности. Подлинной революционности. То, что вновь ожили разговоры о безнравственности нечаевщины, ее просто из себя выводит: «Нескольких студентов превращают в пугало для обывателя... То ли нас предостерегают Нечаевым, то ли нас высмеивают» (26.09.86).

Действительно, оплошал студентик — не только убил товарища по революционной борьбе, но и попался. Ну и чего заволновались, чего испугались? «Революция всегда сопровождается смертями... Это дело самое обыкновенное» (10.04.85).

В нынешней борьбе с обладателями грядок и клумб радикализм Нечаева, конечно, был бы чрезмерным, да и зачем прибегать к уголовщине, когда власть уже в наших руках и все что угодно можно отобрать, как только захочется? Например, путем лишения права наследования накопленного родителями. Это ведь соответствует и принципу оплаты по труду (дети же не заработали того, что получают по наследству!), и

принципу «кто не работает, тот не ест». И нравственным устремлениям, ведь «каждый человек, независимо, произошел ли он от академика или от дворника, должен сам себе на хлеб зарабатывать», в равном положении в жизнь вступать! Да и вредно это — полагать не заработанное богатство, развращает это. Логично? Логично. Демократично? Весьма. Радикально? Еще бы!<sup>2</sup> Сколько холодного сарказма вкладывает Е. Лосото в полемику с представителями обеспеченных семей, всякими там изобретателями, артистами, композиторами, художниками, учеными — аристократами, как она определяет обобщенно. Засуетились они перед лицом грозящего им акта справедливости, взволновались за свои «кошельковые интересы», завякали про квалификацию и таланты! Дух начали на рубли, а гражданственность на вес мерить! «Мелкособственническая мертвая хватка за свой кусок» ощущается за всей высокопарной болтовней! «Только «кусочек» здесь не то, что можно собрать с огородика, а то, что можно собрать с талантика» (19.12.85).

Не всерьез это все? На нервах просто пробует поиграть Е. Лосото у пугливых интеллигентов? Так ведь были основания у интеллигентов стать пугливыми. Да и сейчас одна ли она жаждет «великого передела»?

«Предлагаем в Основные направления внести такой пункт: «Взять под контроль доходы и расходы каждого гражданина страны»... Следует, на наш взгляд, отменить право наследования крупных денежных сумм или же резко ограничить их размеры» — это предложение целой группы москвичей было опубликовано в «Правде» (1.02.86). Ну а «крупная сумма» — это, как известно, любая сумма, хотя бы несколько превышающая сбережения пишущего.

Итак, справедливо ли приплачивать за «талантик»? «Справедливость не в том, чтобы получать поровну, а в том, чтобы справедливо получать не поровну» («Литературная газета», 10.09.86). Так считает драматург А. Гельман. Потому что ему самому выгодно, чтобы платили не за пот, а за талант? Конечно, выгодно! Но в том-то и дело, что еще выгоднее это обществу. Каждому из нас, бесталанных, просто разорительно экономить на оплате талантов. Разорительно и экономически и нравственно.

Теперь о страстях вокруг Указа о наследстве. Хотя Генеральный прокурор СССР в интервью «Известиям» и заверял, что никто не намерен лишать наследников имущества и что даже повышенного налога на дачу, дом, машину, на вклады в сберкассах при наследовании не предвидится, думается, что это еще не последняя точка в спорах. А статьи Е. Лосото в нагнетании страстей тут сыграли роль заметную, или, выражаясь современнее, шороху наделали.

В чем же суть ее радикальных предложений в вопросе наследования и чем они обосновываются? Исходный пункт — «неожиданное» открытие: в нашем (социалистическом!) обществе накопилось огромное количество презренных (в том числе и многомиллионных) состояний. Безобразие? Не будем спешить с ответом, давайте проследим за ходом рассуждений в осмыслении этого факта.

«Зачем при нашем строе большие деньги? — искренне недоумевает читатель П. Жураховский и предлагает решение, соответствующее постановке. — Давно назрел вопрос обмена денежных знаков. Все, что нажито и построено сверх положенного по закону, должно быть изъято» («Известия», 1987, № 9). Поучительно, что и Е. Лосото, и П. Жураховский, и почти все сторонники экспроприации имущественных и денежных излишков в общих рассуждениях ополчаются против неправедных доходов, а в конкретных предложениях почему-то с редким единодушием требуют «раскулачивания» только тех, кто «чересчур наживается» за счет приусадебного участка, ремесла, таланта. Вернитесь к приведенной выше фразе: «Все, что нажито сверх положенного по закону...» Не о незаконных доходах вообще идет тут речь, а о том, что закон должен определить количественный предел состояния. Какими же способами состояние обретенно — об этом ни звука! И изобретатель, давший стране миллиарды рублей экономики, и строитель, десятилетия проработавший в Заполярье, и поэт, стотысячные тиражи которого расхватываются читателями за считанные часы, — все уравниваются в правах, ставятся в один ряд со взяточником, казнокрадом, чиновником от литературы, навязываю-

<sup>2</sup> Е. Лосото, конечно, убеждена, что в этом пункте восстанавливает «первородный» марксизм. Должен огорчить ее, тут она идет по стопам не Маркса, а Бакунина с Нечаевым. «Бакунин обманулся в своих расчетах, что конгресс... официально санкционирует сенсимонистский хлам о немедленной отмене права наследования — меру, которую Бакунин выдвигал как практический исходный пункт социализма», — писали Маркс и Энгельс (Сочинения, т. 18, стр. 13).

щим зависящим от него издательствам и журналам свои бездарные, малограмотные, зато очень пухлые романы.

В чьих интересах, спрашивается, размывается грань между тем, кто много заработал, и тем, кто много украл? Задайте этот вопрос министру юстиции и, если он затруднится с ответом, обратитесь к любому первокласснику.

Чем явилась бы отмена права наследования честно заработанных состояний (или введения на них больших налогов, что во многих случаях означало бы то же самое)? Торжеством принципа оплаты по труду для детей? Нет, крахом этого принципа (со всеми роковыми для экономики последствиями) для родителей. Они-то свои состояния заработали! А конституция, провозглашающая незыблемость этого их права, пока не отменена. Это их дачи, машины, библиотеки, табуретки, сберкнижки... Почему же вопрос, как их использовать, кому передать (при жизни или после смерти), за них должна решать Е. Лосото?..

Рельсы, по которым должна катиться в будущее наша жизнь, с загадочным упорством норовят повернуть туда, где жулики в вечном выигрыше, а труженики в безнадежном проигрыше. Да еще и пальцами на них при этом показывают как на жуликов. Такая вот получается «пролетарская идеология». По случайному недомыслию? Или, может быть, за этой «случайностью» прячется что-то достойное серьезного интереса социологов?

Что все-таки нас не устраивает в позиции Е. Лосото? Что настораживает, вызывает неприятие? «Революционность»? Но та перестройка, которая идет сейчас в стране, именно своей революционностью нас и радует. «Радикальность»? «Быть радикальным» — писал молодой Маркс, — значит понять вещь в ее корне»<sup>3</sup>. Если так, то радикальность — это как раз то, чего нам до сих пор остро не хватает и в действиях и в мышлении, а иное понимание радикальности чревато отождествлением ее с безответственностью. (Безответственность же сама по себе не есть идеологическая, социальная позиция, это форма поведения, предопределяемая чем-то более сущностным.) «Левизна»? Левизну свою Е. Лосото подчеркивает старательно и гордо, безоглядно отождествляя и марксизм и революционность с левизной как таковой, независимо от того, левее чего оказывается занятая позиция. Это-то, увь, и показывает, что левизна как лозунг никакая не позиция. Это-то и заставляет заподозрить, нет ли в рассматриваемой идеологии двух идеологий: одной — внешней, открыто декларируемой, навязываемой другим, и другой — для себя, внутренней, маскируемой от посторонних. Почему? Да потому хотя бы, что идеология всегда выражает и отстаивает чьи-то интересы. И если интересы эти эгоистические, групповые, то афишировать их бывает невыгодно. Все очень просто. Поэтому именно в идеологии как нигде трудно докопаться до подлинных интересов, продавшившись сквозь частокोल декларируемых фраз, лозунгов и заверений. Ими ведь порой оперируют не для раскрытия, а, наоборот, для сокрытия подлинных интересов говорящего.

Может быть, Е. Лосото верит в то, что отстаивает интересы народа? Но если вычленив аналитически то, что при этом отстаивается не на словах, а на самом деле (осознанно или неумышленно), то окажется, что отстаиваемая ею очень «пролетарская», крайне р-р-революционная система ценностей отнюдь не пронизана заботой о справедливости, ненавистью к захребетникам и любовью к простому трудовому человеку. Совсем наоборот, она исполнена презрения к простому человеку с его реальными нуждами и заботами, величием и слабостями, и в то же время в ней откровенно проглядывают заискивание перед сильными мира сего, снисходительность к казнокрадам, взяточникам, культ чиновничьей иерархии, жажда управлять мыслями и чувствами трудящегося человека, тащить и не пущать. Разумеется, все это демагогически мотивировано высшими интересами пролетариата, революции и коммунистического завтра. Сейчас к этому добавляются, конечно, интересы «перестройки», «очищения», «ускорения» и т. д. И если мы хотим высветить идеологию тех, кто пристраивается к перестройке, ратует за нее «больше Горбачева», а на самом-то деле является главным противником ее, «армией сопротивления», то нам надо учиться не оказываться вновь и вновь «глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике», то есть учиться за весьма коммунистическими фразами «разыскивать интересы» каких-то классов, социальных групп, слоев, кланов, к чему нас не уставал призывать Ленин.

Большевикам приходилось не единожды бороться с уклонами. То левый, то правый начинали представлять для революционного движения «главную опасность». Это

<sup>3</sup> К Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 422.

отнодь не свидетельство вечной правоты середины, центристов. Ленин умел понимать вещи в их корне, поэтому не боялся радикальности. Достоин глубоко го осмысления, что после победы Октябрьской революции он «вдруг» сильно «поправел» и до конца дней своих отчаянно сражался именно с «детской болезнью» левизны в коммунизме. Пришел к власти и сразу стал консерватором, перешел на «охранительные позиции»? Смешно. И ломать голову над загадкой поправления не приходится. После победы революции и левые и правые уклоны начали маскировать свои цели предельно революционной фразой. Цели-то не у всех совпадали, но ведь чтобы «повернуть табун», как мы уже отмечали, надо вырваться в самые первые его ряды. Разоблачение левой фразы стало после революции главной идеологической задачей, не утратившей своей актуальности до наших дней. Более того, сейчас эта задача стала вдвойне-втройне важна.

Упаси нас бог начать на этом основании запугивать наших читателей идеологией и политикой. Нам сейчас требуется нечто противоположное: нам надо превратить политику и идеологию в дело повседневное, привычное, если хотите, даже и радостное. Но приобщить к политике всех — задача не из легких.

Многие десятилетия наше общество двигалось (когда вперед, когда назад) только по указке сверху Искусственная стерилизация среды обитания, как известно, предохраняет от болезней, однако одновременно ведет к атрофии механизмов саморегуляции, иммунной системы. Сейчас в стране намечаются по-настоящему революционные процессы, массы совершенно не искушенных в политике людей все более и более вовлекаются в социальное творчество. Это прекрасно, это единственно социалистический путь в будущее, но ведь нам, давно уже не мальчикам и не девочкам, лицом к лицу предстоит встретиться с массой «болезней», которыми когда-то переболели в детском возрасте отцы и деды. В том числе и с самой «липучей», самой заразной из детских болезней — «детской болезнью» левизны в коммунизме! Иммунитет к ней, увы, по наследству не передается. Сколько раз уже человечество было свидетелем того, с какой поразительной легкостью не искушенных в политике, в экономике, в историческом мышлении людей (в первую очередь именно молодежь) сбивали с толку безответственной левой фразой, революционной радикальностью, соблазнами очень быстрого, очень легкого (а стало быть, с неизбежностью — принудительного) утверждения порядка, справедливости, всеобщего изобилия. Нет средства более верного и быстрого против любых революционных обновлений, чем взять на вооружение революционные лозунги и дискредитировать их, доведя до абсурда, до глупости. И абсурд левацких загибов чаще всего настолько очевиден, что невольно возникает вопрос: что же за ним скрывается — авторское недомыслие или расчет на недоразвитость читателей?

Абсолютизация левизны, гордость левизной, отождествление ее с марксизмом и революционностью... Классики марксизма демонстративную левизну отождествляли с другими явлениями: псевдокоммунизмом, казарменным коммунизмом, нищим коммунизмом. Они всегда очень серьезно относились к борьбе с левацким уклоном в социалистическом движении, хорошо зная, какой дурман содержит он в себе, чем чреват. Сейчас нелишне вспомнить еще раз отличительные признаки этого типа революционности, на которые они указывали.

Социальный утопизм, построение предельно глобальных и радикальных теорий без глубокого изучения закономерностей развития реальной жизни (прежде всего экономических закономерностей). Надежды быстро, враз преодолеть все противоречия и преграды.

Проповедь всеразрушающего и всеподавляющего насилия, призывы ломать все старое «до основания». Левые революционеры, или «левые крикуны», как предпочитал называть их Ленин, больше всего на свете любят обличать мелкобуржуазную психологию, особенно у крестьян. Эта пристрастность объясняется тем, что они сами являются носителями мелкобуржуазной революционности. «Мелкобуржуазному революционеру,— писал Ленин,— свойственно не замечать, что для социализма недостаточно добывания, ломки и пр.— этого достаточно для мелкого собственника, взбесившегося против крупного..»<sup>4</sup>

Склонность к провокациям и авантюризму, пышные славословия в адрес народных масс, бесконечное красноречие об интересах народа, клятвы в верности ему — на словах. И полное неуважение к нему, пренебрежение реальным народом на деле. Опора в своей политической борьбе не на серьезные классовые силы, а на деклассированные элементы.

<sup>4</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 294.



Прославление простоты и невзыскательности, большого труда при скромном потреблении (для народа, на самих себя «казарменные коммунисты» этот лозунг распространяют лишь временно, пока не добрались до реальных возможностей ведать «распределением»). Над этой двойственностью иронизировали еще Маркс с Энгельсом применительно к жрецам бакунинского «Альянса»: «...до тех пор, пока рабочий класс будет иметь свои представительные органы, гг. Бакунин и Нечаев, орудуящие под маской «нашего комитета», не смогут стать владельцами общественного богатства и не смогут пожинать плоды того возвышенного честолюбивого стремления, которое они так жаждут внушить другим: много работать, с тем чтобы мало потреблять!»<sup>5</sup>.

Главные удары на практике всегда наносятся псевдокоммунизмом не против шумно ругаемых классовых врагов, «а против революционеров, которые не принимают его догм и руководства»<sup>6</sup>.

Отсюда и «двойная бухгалтерия», расхождение целей декларируемых и реально преследуемых, тщательно скрывааемых.

Расставаясь с главной героиней этих главок, хочу сделать оговорку. Кому-то может показаться, что резкость некоторых моих аттестаций вызвана одним из последних выступлений Е. Лосото в «Комсомольской правде» (21.10.87), где журналистка иронично полемизирует с моей статьей «Новое богоискательство и старые догмы» («Новый мир», 1987, № 4). Сменю заверить (а редакция журнала может это засвидетельствовать): все, что сказано здесь про сочинения Е. Лосото, было подготовлено к печати задолго до появления ее статьи и с тех пор в тексте я не изменил ни единой запятой. Да и стоит ли всерьез вести философскую полемику с автором, который пишет с гневным пафосом: «И ведь искитрятются же из всего этого слепить даже теорию «христианского социализма!»» Вот так. Всю свою сознательную жизнь Е. Лосото дает бой «извратителям» первородного марксизма, а до сих пор не удосужилась дочитать до конца даже «Манифест Коммунистической партии», в котором Маркс и Энгельс «искитрились» изложить теорию этой разновидности социализма наряду с теориями феодального, буржуазного (консервативного) и мелкобуржуазного (псевдореволюционного) социализма. Кстати сказать, именно последний-то и отстаивает так долго и так горячо в своих статьях Е. Лосото.

### СТОИТ ЛИ ПОДВИЖНИКОВ КОРМИТЬ ДОСЫТА?

Левая фраза далеко не всегда облекается в наивную «кичевую» форму. О нет! Порой она предстает столь респектабельной, что только крайне невоспитанный человек позволит себе подвергать ее критике. Я все же рискну.

Статья М. Антонова «Ускорение: возможности и преграды» («Наш современник», 1986, № 7) начинается с весьма впечатляющих примеров того, какими огромными экономическими потерями грозит нам саркома ведомственного корыстолюбия. А отсюда она перекидывается на наши души. Все больше появляется людей, которых ничто, кроме личного блага и удовольствий, не интересует. Утверждаются гедонистические концепции жизни, исключают стремление к высокому и благородному. О душе, о культуре стали мы забывать. «Все только производство, рубль да план»!

Для многих наших «ученых-обществоведов «человеческий фактор» — это еще не человек, а что-то такое, что могло бы заставить людей больше и добросовестнее работать». Даже главными героями современности у нас стали люди, добившиеся высоких производственных показателей. С искренней горечью знакомый М. Антонова, колхозный механизатор, говорит об этих передовиках, сверкающих орденами с досок почета: «Работники они хорошие, ничего не скажу, но героизма в их жизни не вижу. Хорошо поработали — хорошо и заработали, ото всех им почет и уважение. А вот наша заведующая библиотекой — скромная женщина, тридцать с лишним лет незаметно делает свое дело, получая более чем скромный оклад. Но полюбуйтесь, к кому люди идут и с горем и с радостью? К ней... Кого люди считают живой совестью нашего поселка? Ее. Одно слово — подвижница. Как говорится, радуется с радующимися и плачет с плачущими. За такого человека, если понадобится, и самому жизнь отдать не жалко...»

Сказанное механизатором побудило автора статьи к очень серьезным размышлениям и широким выводам:

«Действительно, не слишком ли большой крен мы сделали, все внимание уделяя передовикам производства?.. не пора ли нам повнимательнее приглядеться к другому

<sup>5</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 18, стр. 415.

<sup>6</sup> Там же, стр. 329.

типу героя современности — к человеку подвижнического склада, который делает благородное, нужное обществу дело, бескорыстно пробивает новую техническую идею, в свое свободное время возится с чужой детворой?.. Это они, подвижники, бескорыстные и не требующие наград за подвиг благородный, украшают и облагораживают жизнь и больше, чем кто-либо другой, содействуют прогрессу общества... Благородный человек подвижнического склада, бескорыстно служащий людям, народу, который он беззаветно любит, — вот та сила, которая противостоит росту эгоистических устремлений, не дает сердцам окружающих „ожесточиться, очерстветь и наконец окаменеть...“ (разрядка моя. — А. Н.).

Приведенные мысли трудно не разделить и не поддержать. И я сделал бы это с полным энтузиазмом, если бы... Если бы речь шла о нравственном идеале человека или об ответе на вопрос молодежной редакции: каких людей вы уважаете больше всего? Обескураживает то, что перед нами статья, посвященная осмыслению состояния и путей дальнейшего развития политэкономии социализма. М. Антонов предлагает в корне пересмотреть сам предмет этой науки, цели ее и методологические основы. Все беды в развитии нашего общества, следует из статьи, — естественный и неизбежный плод того порочного направления развития нашей политэкономии, которое явилось результатом некритического перенесения принципов буржуазной политэкономии на почву социалистической действительности. В условиях капитализма с его неизбежными спутниками (конкуренцией, рыночной стихией) погоня за максимальной прибылью, прибылью любой ценой, может быть, и продуктивна. Но вправе ли мы пытаться «подвести новые задачи, поставленные практикой социалистического строительства, под законы и формулы, выведенные из анализа капиталистической экономики»? Вправе ли мы забывать заветы предков? — ведь «на Руси с глубокой древности... утвердилось мировоззрение, не позволявшее почитать за высшую ценность материальное богатство в отрыве от духовных ценностей». «Гении русской культуры... не основывали своих воззрений на политической экономии — не в силу непонимания ее законов, а из-за отрицания пронизывавшего ее торгашеского духа!»

М. Антонов убежден, что их политэкономия для нас не годится, она для нас пагубна. «Политическая экономия социализма — это наука о производственных отношениях людей и должна стать прежде всего (!) наукой о главном богатстве социалистического общества — о человеке». Она должна заняться «постижением глубин самой сущности человека», «живого человека во всем многообразии его жизненных устремлений».

Категории «смысла жизни», «нравственного идеала», задачи «воспитания гармонически развитой личности», «возвышения лучших, благороднейших ее сторон», учет наших национальных традиций, «русского склада ума», его «антиторгашеского» характера, жажды справедливости, извечной любви к земле русского крестьянина — вот что должно стать категориями и задачами политэкономии нового типа, политэкономии социализма! Ибо сегодня «любовь... из категории психологии превращается в категорию глобальную, с которой придется отныне считаться в любой науке».

Бог ты мой! Ведь именно из-за этого — из-за нежелания генетики и кибернетики менять свои выводы в зависимости от наших идеологических пристрастий — мы в свое время и объявляли эти науки буржуазными и вредными для социализма. Вот и до политэкономии очередь дошла. Впрочем, это уже было. Шестьдесят лет мы доказываем, что закон стоимости нам не писан, ибо он не соответствует ни непорочным идеалам коммунизма, ни позывам загадочной русской души. И вот снова это доказываем — в ходе устранения преград на пути ускорения.

Красиво написано про политэкономия у М. Антонова, гуманистично, душевно, по-нашему, по-русски... «Недостаток любви к людям, — утверждает он, — не удаётся компенсировать экономическими мерами». Если бы это было так, то юные девицы не выходили бы замуж за преуспевающих старичков. Но вот то, что недостаток политэкономических знаний никак не компенсировать любовью к народу — за это я могу поручиться. И далеко ходить за примерами не придется.

Вспомним о той заведующей сельской библиотекой, которая «тридцать с лишним лет незаметно делает свое дело, получая более чем скромный оклад». М. Антонов воздает должное этой бескорыстной, скромной труженице, он предлагает объявить всенародно главным двигателем прогресса не передовиков, что обычно смотрят на нас с досок почета, а ее, подвижницу. «Знакомый механизатор» в своей любви пошел

еще дальше — он выразил готовность, если это понадобится, жизнь за нее отдать. Эффектно! Только... Что, если сама подвижница предпочла бы кровавым жертвам в свою честь просто повышение зарплаты? Доходы ведь у нее действительно более чем скромные! Но нет, нельзя этого делать. Категорически нельзя! Почему? Как вы не понимаете! Положи библиотекарше хороший оклад — и она лишится героизма, из подвижницы сразу превратится просто в хорошего работника, ничем не отличающегося от тех, что на Доске почета: «Хорошо поработала — хорошо и заработала». И любить ее будет, с позиций М. Антонова, не за что, и на пути «роста эгоистических устремлений» встать у нас окажется некому. И поневоле придется сердцам совращенных западной политэкономией россиян «ожесточиться, очерстветь и наконец окаменеть»... Нельзя нашим многострадальным и долготерпеливым подвижницам повышать зарплату! Лучше мы будем клаяться им в любви и обещать отдать за них жизнь. И красиво и недорого обходится. Такая вот получается «политэкономия».

Грустные последствия ее мы ощущаем, конечно, не только в сельских глубинках. С горечью и усталостью пишет М. Ульянов о том, как часто нашим театральным коллективам приходится «вести существование, никак не располагающее к творчеству, — без своих зданий, без оборудованных цехов, без квартир для актеров... А местные руководители вновь призывают актеров к терпению и энтузиазму. Как надоели за последние десятилетия эти пустозвонные призывы! Энтузиазма и терпения как раз хватает. Вообще актерская профессия и по своему социальному статусу, и по условиям жизни — профессия для энтузиастов. Но сколько можно эксплуатировать энтузиазм?» («Советская культура», 24.10.87).

К прекраснодушному витийствованию на тему «Что лучше — хороший заработок или душевная чистота?» можно было бы, конечно, относиться с большей терпимостью, если бы наиболее доверчивые читатели не воспринимали его слишком всерьез, если бы спор на эту тему затевался впервые. Целые этапы исторического развития нашей страны (и не только нашей) становились в свое время крупномасштабным социальным экспериментом по проверке «социалистических» моделей типа тех, что воспеты в статьях Е. Лосото и иже с нею. Не пора ли осознать, что сейчас начинать споры от нуля, как будто жизнь не вынесла своего окончательного приговора демагогическим моделям социализма, это значит совершенно утратить чувство исторической реальности, это значит из политика стать политиканом, для которого судьбы народов — что-то вроде шахматной игры, где позволительно хоть сто раз смахивать фигуры с доски в поисках более неожиданной комбинации.

Народ наш редко кто терпелив и самоотвержен. Наверное, действительно просто нет другого столь же терпеливого и самоотверженного. Тему эту никакими примерами не исчерпать, я и не собираюсь исчерпывать, приведу лишь один — для наглядности. Белоруска К. В. Гончарова вспоминает:

«После войны поехала в деревню подписывать на заем. Люди живут в землянках. Приедешь — деревни нет, все в земле... Вышла женщина, какая там на ней одежда, страшно смотреть. Я зашла в землянку, сидят трое детей, они все голодные. Она им что-то толкает в ступке, какую-то траву.

Она спросила у меня:

— Ты пришла подписывать на заем?

Я говорю:

— Да.

Она:

— У меня денег нет, но у меня есть курица. Пойду спрошу, если соседка — она вчера просила у меня — купит, я тебе отдам.

Я сейчас рассказываю это, и у меня ком в горле. У нее мужа убили на фронте, осталось трое детей, и ничего нет, только эта одна курица, и она ее продает, чтобы отдать мне деньги. Мы тогда собирали наличными<sup>7</sup>.

Да с таким народом горы можно свернуть, пустыню в цветущий сад превратить, беды любые преодолеть. За такой народ на крест можно взойти, лишь бы расплатиться наконец с ним за этих кур, чтобы ему хорошо было — тепло, сытно, чисто, справедливо А что мы видим?

Вот снова (в который уже раз!) певцы подвижнического социализма с лицами, лучающимися детской непосредственностью, энергично проталкиваются к трибунам, чтобы начать краснобайствовать по-старому, с пафосом выложить истертые, изъеденные

<sup>7</sup> Светлана Алексиевич. У войны — не женское лицо... Минск 1985, стр. 278.

плесенью аргументы, запугать капиталистическим перерождением, тем, что чрезмерное изобилие, «сытость» расшатает вконец нашу идеологию, что «игра в демократию и народовластие» приведет к полной анархии, подрыву «руководящей роли партии» и т. д. и т. п. Неужели наш терпеливый, доверчивый народ снова позволит провести себя на пустой мякине демагогии? Сколько же можно ходить с завязанными глазами по кругу, обмолачивая чужие снопы? У сторонников административной, казарменной модели социализма бразды правления страной находились полностью в руках более полувека. Почему же они все только на словах доказывают великие преимущества этой модели? Не пора ли им представить не радужные обещания, а «конечный продукт», практические результаты?

Увы, у наших трудящихся, думается, давно уже есть все основания взять кое-кого из идеологов казарменного коммунизма за шиворот и, как наблудившую кошку, потыкать носом в итоги их многолетней организаторской и идеологической деятельности. Напомню (просто для наглядности) несколько «сухих фактов», наугад выхваченных из моря аналогичных, содержащихся в выступлениях печати.

«В октябре... проверили четверть выпущенной заводом продукции. Оказалось... половину изделий отгружать нельзя... На заводе есть цехи, где не были приняты все сто процентов продукции» («Правда», 30.11.86).

«Написано об узбекских хлопковых историях уже много. И всюду одно: взятки, подкуп, очковтирательство... Трудолюбие и гостеприимство — вот главные скрепы многосложного, как и у всех нас, национального характера здешнего человека. Тем горше было видеть, что происходило с этим характером. Традиционное уважение к старшим по возрасту превращалось в беспрекословное подчинение старшим по рангу, крестьянская практичность — в делячество, готовность к взаимопомощи — в круговую поруку. Неумолимо менялся сам облик земли. Исчезали с нее сады и пойменные леса, луга и пасущийся скот, поля седали от налета соли, падало плодородие почв. И вот — хозяйственные преступления, по преимуществу хлопковые дела. Раскрывать их было очень трудно, нити рвались на порогах уже областных учреждений... Честный труд становился невыгоден, честный труженик — помехой дельцам...» («Литературная газета», 11.02.87).

«— Сказали бы вы пару слов об американском продмаге... Какой он в столице, какой — в городке Кун Рэпидс...

— Никакой разницы. Продмаги одинаковы везде. Восемь — десять видов сахара... В отделе масел: там тебе не только подсолнечное, там и льняное, конопляное, кукурузное, оливковое, ореховое — какое хочешь. Двадцать видов вареных овощей насчитал... Тут же можешь выбрать, взвесить и взять с собой подлилки, готовые супы. Мясопродукты — любого вида и на любую цену...» («Литературная газета», 3.12.86). (Что мы можем противопоставить этой сухой информации? Прилавки в магазинах «от Москвы до самых до окраин», на большей части которых чуть не круглый год — полугнилая картошка да банки с ментаем?..)

«Совокупное рабочее время всех людей, занятых у нас в этой сфере (торговле.— А. Н.), составляет 11,6 миллиарда человеко-часов в год. А время, затрачиваемое населением на приобретение покупок, — 65 миллиардов человеко-часов в год. Доля временных затрат на покупку продуктов питания в этой цифре — 80 процентов. Ученые подчеркивают, что в 65 миллиардов не входят часы, затрачиваемые населением на поиск нужного товара... временные затраты населения на ожидание в очередях эквивалентны годовому фонду рабочего времени чуть не двадцати миллионов человек» («Дружба народов», 1986, № 8, стр. 181).

А вот выдержки из беседы с первым секретарем ЦК Компартии Казахстана Г. Колбиным, высвечивающей, думается, подлинные причины той страсти, с которой некоторые «борцы с капитализмом» прививают народу вкус к подвижности:

«— Отчего в магазинах, где давно уже только вывеска напоминала, что отдел мясной, в последние дни можно свободно купить мясо и колбасу?

— Алма-Ате, как и всем областным центрам республики, возвращена одна треть их производственных фондов, которая в течение многих лет была предназначена лишь для руководящих работников...

— Каким способом удалось наконец-то сдвинуть — пока еще немного, но все-таки сдвинуть — очередь на получение квартир?..

— Мы решительно меняем долго существовавшее положение, когда в Алма-Ате лишь 20 процентов от всей площади сдаваемого жилья отводилось очередникам...

30 процентов мяса, предназначенного для торговли в магазинах, продавалось в закрытых распределителях, которые незаконно создавались в различных конторах, учреждениях, министерствах и ведомствах...

На недавно прошедшем пленуме ЦК Компартии республики говорилось, что в общественном стаде колхозов и совхозов одной только Уральской области Казахстана содержат свой личный скот почти две тысячи руководящих партийных, советских, профсоюзных работников, работников прокуратуры, суда, милиции. У некоторых в колхозных и совхозных отарах, гуртах и табунах гуляет по 250 и более личных овец, десятки голов крупного рогатого скота и лошадей...

Более полутора миллионов рублей было израсходовано на оборудование государственных дач, охотничьих домиков с саунами, бильярдными залами, хрустальными люстрами, дорогой мебелью. Там был обслуживающий персонал, которому платили деньги из государственного кармана. И все это только для того, чтобы один-два раза в год приезжал какой-нибудь руководитель с друзьями или семьей...» («Московские новости», 25.01.87).

— Но при чем тут какие-то охотничьи домики, распределение жилья? — возмутятся певцы бескорыстия и подвижничества. — Если хотите, приведенные примеры как раз льют воду на нашу мельницу! Идею чистоту, пролетарскую бескомпромиссность мы когда-то утратили, эгоизму и частнособственническим тенденциям не дали вовремя отпор. Страсть к накопительству, к потребительству начинается с пустяков — с погони за более выгодной работой, с увлечения грядками на огороде, клумбами на садовом участке, а кончается где?.. Вот именно — на скамье подсудимых!..

Какое отношение имеет жажда сладкой жизни у какого-нибудь чиновника к спорам о том, как нам управлять экономикой — при помощи рубля или посредством директивы? Самое прямое.

Минтай на пустых полках и народный заседатель, убежденный, что, не побив человека, правды о нем не узнаешь (были в нашей печати и такие примеры), — это, если хотите, как раз следствие порочной практики, которая сложилась не без помощи известных теоретических постулатов, одержавших шестьдесят лет назад верх в спорах на те же темы, что мы сейчас ведем.

### «НО НЭПА МЫ НЕ ДОПУСТИМ!»

Незадолго до съезда партии мне довелось разговаривать со случайным попутчиком (работником «областного масштаба») по проблемам хозяйственной реформы. Признав ее необходимость и полезность («При условии строгого контроля»), он тем не менее подытожил разговор величавым: «Но нэпа мы не допустим!»

В ответ на вопрос: а что такое нэп? — собеседник довольно толково пересказал соответствующие страницы из школьного учебника по истории СССР времен нашей с ним юности. Получалось, что нэп — это что-то вроде Брестского мира, то есть вынужденная уступка врагам, от которой святой долг отречься при самой первой возможности. Даже у людей, наблюдавших нэп во вполне сознательном возрасте (в двадцать лет и старше), мы с удивлением можем обнаружить понимание событий, мало отличающееся от того, что тиражируют в массовом сознании уже не один десяток лет авторы детективных повестей и фильмов, где нэп — это ничем не объяснимый подарок от большевиков «толстопузым нэпманам», противоестественное для коммунистов дозволение эксплуатации, спекуляций, разврата, пьянства и уголовщины. Смешно и грустно.

Нэп не был ни капитуляцией, ни отступлением, ни хитрой придумкой предприимчивого ума. Он естественный плод требований самой жизни, народа, времени, социализма. В нем Ленин с радостным удивлением увидел на редкость простой, органичный для самодвижения жизни способ решения задач, о которые до того спотыкались все поколения социалистов, принцип «соединения частного интереса» человека с интересом общественным, общенародным. А слившись воедино, эти интересы способны творить чудеса.

Еще «за день» до объявления нэпа вполне доброжелательно относящимся к революции людям казалось, что крах ее неминуем: замершие без топлива, сырья, рабочих фабрики, заброшенные без посевов нивы (все равно урожай задаром комиссары отберут!), заржавевшие рельсы железных дорог, пустые прилавки, обесцененный, «пустой» рубль... Тиф, холера, голод! Весной 1922 года голодным мором было охваче-

но 35 миллионов крестьян из 100. В самых, казалось бы, хлебородных краях. Мужичкие мятежи грозили многими вандеями.

— И вдруг... Все, кто наблюдал метаморфозы жизни в те годы, обязательно употребляют это слово. А заканчивают чаще всего фразой: «И откуда что взялось!»

«За какие-то считанные три-четыре года народное хозяйство восстановило производственный потенциал, разрушенный длительными войнами... По самому умеренному счету новая экономическая политика позволила вывести страну из хозяйственной разрухи, одолеть инфляцию, восстановить нормальное ценообразование, стабилизировать денежную систему, создать бездефицитный государственный бюджет (при неизбежном сокращении руководящих кресел и столов) и солидный задел финансовых и материальных возможностей для последующей индустриализации и технического перевооружения всех отраслей экономики. Страна оживила. Люди вздохнули спокойно», — констатирует Лев Воскресенский («Московские новости», 30.11.86).

Вот и хочется спросить у моего вельможного попутчика: чего же именно клянется он «не допустить» в своем идеологическом неприятии нэпа? Гармонии личного и общественного? Сытости народа? Здоровой экономики, обоснованных цен, полновесного рубля?..

Нэп перевел государственную промышленность на режим хозрасчета и самоокупаемости... Это было бы нам помехой?

«Капитуляция», «отступление», «отказ от принципов марксизма»? Ленин сам не раз употреблял слово «отступление», но для него всегда это было отступлением на частном участке в ходе общего победоносного наступления по всему фронту. Наступления! Ибо партия от тактических маневров в области экономики и политики, к которым ее вынуждали чрезвычайные условия военного времени, наконец-то начала переход к решению стратегических задач, к поискам экономических рычагов построения социализма, к нащупыванию таких общественных отношений, которые неотвратимо, «автоматически» приближали бы социализм, не требуя от трудящихся бесконечных жертв, героизма, поголовной сверхчеловеческой сознательности, бескорыстия, то есть этого самого пресловутого «подвижничества».

Говоря о новой партийной программе на VIII съезде РКП(б) в марте 1919 года, Ленин подчеркивал, что строительство социалистического общества будет продолжаться «в течение очень долгого периода»<sup>8</sup>. Столь же долгим, по его представлениям, должен был быть нэп.

Мелкобуржуазных революционеров, как известно, отличает нетерпеливость. В 1929 году Сталин призвал «отбросить» нэп «к черту». Что практически к тому моменту уже было сделано.

Результатом этой всемирно-исторической «ошибки», этого эпохального, мягко говоря, недомыслия явилось то, что хотя обосновывали отказ от нэпа ссылками на его «пену» (на разгул частного предпринимательства, спекуляций, махинаций, коррупции и перерождения аппаратных работников), на сыгную наглость торгашей и дельцов, валютчиков, перекупщиков, знавших только один девиз: «Урьвай, пока не поздно!» — на падение нравов, вспышку пьянства, проституции, уголовщины, на позитивную купеческого шика, ресторанного угара, «красивой» жизни, — плотину-то воздвигли именно на пути глубинного, благотворного потока жизни. А «пена»... Не пора ли нам увидеть то, что так долго фиксируют наши глаза и описывают журналисты, но чего мы тем не менее в упор не видим?

Мы пресекали частное предпринимательство?.. Порой может возникнуть предположение, что если аферу провернул один, то это для нас «частное» предпринимательство, а двое — это уже общественная деятельность.

«Как установлено, в управлении (строительство Братскгэсстрой.— А. Н.) в течение ряда лет некоторые хозяйственные руководители путем составления фиктивных документов, запутывания учета, разбазаривания и незаконного списания имущества совершали хищение государственных средств и материальных ценностей. Они вступали в неделовые связи с отдельными работниками Минэнерго СССР и других организаций» («Правда», 8.10.84).

Хищения? Э нет, воруют, когда тайно открывают замок. Тут и замок сами вставляют. И с хозяевами заранее уговариваются. Это уже не воровство, а «склонность к устройству выгодных предприятий, к аферам», то есть чистое предпринимательство в

<sup>8</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 153.

строгом соответствии с определением Словаря русского языка самого последнего издания.

Есть, правда, в словарях и такое определение предпринимателя: «...владелец промышленного, торгового и т. п. предприятия». Уж хоть оно-то неприменимо к нашей действительности? Как бы не так!

«Многие туляки все еще недоумевают: неужели такое могло быть? Действительно, трудно поверить, что группа дельцов сумела создать... своего рода подпольную фирму, наладить массовое производство и сбыт трикотажных изделий. В ход шло сырье, добытое тоже преступным путем. Реализовывалась продукция за пределами области» («Говорит и показывает Москва», 1986, № 42).

Разгул беззакония? Нет, торжество законности. Не той, что собрана в книгу и названа Уголовным кодексом. Отменяя нэп, теоретики мелкобуржуазной революционности были убеждены, что они посмеялись над всемогущим, как пробовали их уверить, законом стоимости. Увы, посмеялся он над ними. Предпринимательство, стремление к выгоде, обогащение из сферы производства, сферы конструктивной, созидательной, спокойной переместились (в полном соответствии с законом стоимости, что следует подчеркнуть) в сферу распределения, стали факторами сугубо деструктивными, разрушающими.

В этой своей разрушительной функции предпринимательство оказалось способным обрести размах, вполне сопоставимый с размахом деятельности крупнейших в мире производственных объединений. «Новый мир» открыл публикации прошлого года материалом, весьма впечатляюще иллюстрирующим этот тезис. Упрямство, с которым организации типа Минводхоза совершают над природными ресурсами самые разные и самые невероятные «пере» (перебрасывают их, перераспределяют, перекапывают, пересматривают, переделывают, а в результате теряют), только на первый взгляд кажется бессмысленным. Два миллиона человек, «задействованных» в системе Минводхоза (одних только проектировщиков 68 тысяч!), 185 «организаций-соисполнителей»; армада ученых (и не только ведомственных НИИ, но и олимпийцев из Академии наук), из года в год, из десятилетия в десятилетие напряженно занятых только одним — как бы нанести народу, стране, природе, культуре более масштабные, более непоправимые потери. Миллиарды рублей тратятся на содержание механизмов откровенного уничтожения ценностей, которые просто не поддаются выражению в рублях. Почему? Только потому, что это выгодно ведомству! «...общество теряет, а ведомство — приобретает, приобретает штаты, кабинеты, оклады, премии и престиж». И чем объем утраченного, уничтоженного больше, «тем ведомству выгоднее — вот в чем дело» («Новый мир», 1987, № 1, стр. 9, 10).

Ведомству? То есть все-таки общественной организации? То есть речь у нас идет пусть и о предпринимательстве, но не о частном, а об общественном? Отнюдь. Данное коллективное предпринимательство в особо крупных размерах держится не на ошибке в определении общественных интересов, а на интересе каждого из членов организации в отдельности. Карьера, кабинет, оклад, премия, почести — это все формы частного интереса, личной (не общественной и не государственной) выгоды! Так почему, собственно говоря, такого рода деятельность ради выгоды, и только ради выгоды, индивидов мы не должны считать частным предпринимательством? Только потому, что стремящиеся к извлечению материальных благ любой ценой индивиды объединились в гигантскую, многоярусную организацию, подобную какому-то кошмарному экологическому Освенциму планетарного масштаба?

Да, с законом стоимости шутки плохи. Когда предпринимательство оказывается под запретом в сфере производства, оно являет свою мощь в сферах распределения, потребления, управления. Когда честность становится чересчур невыгодна, она теряет свою цену в общественном мнении. Когда закон начинает противопоставляться личным интересам, беззаконие становится законом жизни. Раз самоотверженность, честность, созидательность труда перестают вознаграждаться, то общество с неотвратимостью начинает вознаграждать за равнодушие, подлость, разрушения..

Предпринимательство потому ведь так и именуется, что оно умеет приспособиться к любым условиям. К нашим оно приспособилось превосходно, достигнув поистине виртуозности, в частности и в умении замаскироваться под общественно озабоченную деятельность. Но в отличие от капиталистического предпринимательства, сочетающего бурный рост производящего начала с, так сказать, «хапательным», наше предпринимательство вынуждено расходовать почти весь свой потенциал в секторе ха-

панья, обирания, растаскивания общественных богатств. Так вот обстоят дела у нас с «ликвидацией предпринимательства» в стране в результате отмены нэпа. Увы, вместо ликвидации предпринимательства мы получили лишь его болезненное, уродливое перерождение. Констатировав это с прискорбием, обратимся к тем действительно отвратительным внешним проявлениям нэпа, которых до сих пор никак не могут ему простить создатели детективов и оперетт. Я имею в виду пьяный угар, купеческий кураж, «приказничий» шик, лозунг «Сделайте мне красиво!» и все такое прочее. Уж с этим-то мы, надеюсь, навсегда распрощались в 1929 году? Обратимся и тут к свидетелям печати:

«В середине зала стоял мужчина нагловатого вида. К нему приблизился официант:

— Юрий Константинович, что происходит?

— Пшел! — не удостоив официанта взглядом, цыкнул тот. И, отхлебнув из фужера шампанского, с силой бросил его об стену:— Горько!» («Московская правда», 10.09.86).

Что это? очередной литературный штамп в описании разгульных 20-х годов? Нет, зарисовка с натуры, повествующая о «красивой жизни» деловых людей годов 80-х. Юрий Константинович Соколов, директор Елисеевского гастронома (несколько позднее приговоренный к высшей мере наказания), выдает замуж дочку.

Но и это еще не предел. 24 октября 1986 года все мы, молодые и старые, сильно расширили свой кругозор, прочитав в «Московском комсомольце» очерк Ю. Черкасова «Ночные охотницы». А статьи Е. Додолева в той же газете от 19 и 21 ноября довели ясность в вопросе о простых радостях бытия до вполне достаточных пределов.

«У гостиниц «Интурист» и «Националь» часов с десяти вечера поджидают своих сообщниц «тралеры» (так зовут проститутки «обслуживающих» их таксистов). «Волги» с шашечками служат для этих женщин не только средством доставки в квартиры, но и наблюдательным пунктом для выслеживания «клиентов»...

«Ночные охотницы» постоянно крутятся в преступном мире. Их сотрапезники, друзья и знакомые, как правило, «деловые люди» — спекулянты, мошенники всех мастей, картежники, фарцовщики, торговцы наркотиками, цеховики, воры и прочая публика того же пошиба. Вот почему дамы эти все время попадают в поле зрения следственных органов то в качестве свидетелей, то — потерпевших. Они располагают информацией и делятся ею особенно охотно, когда это помогает устранить конкурентов или, тем паче, обидчиков (а у женщин, торгующих своим телом, таковых предостаточно!)...»

Позвольте! Но ведь вроде бы именно для того, чтобы избавиться от всех этих персонажей, от этого стиля жизни, способов обогащения, мы и прикрыли в свое время нэп? Оказывается, не для этого. Оказывается, это было сохранено, даже процветало под покровом засекреченности. Тогда для чего же прикрывали нэп? И что именно теперь мы кланяемся «не допустить»? То, что перечислил в своей характеристике ленинского нэпа Л. Воскресенский?

Получается, что так. И это неудивительно, ибо нэп для сторонников административной системы управления вовсе не экономическая система, а идеологический жулпел, позволяющий (при умелом использовании стереотипов нашего исторического сознания) заклеить и привоздить без всякого обсуждения те идеи перестройки, опровергнуть которые серьезными социальными доводами нет ни малейших шансов.

Пугать вообще любимое занятие идеологов казарменного социализма. Прежде всего, конечно, капитализмом. Капитализм для них, как бог для Вольтера: если бы его не было, то надо было бы его придумать! И сейчас в борьбе с перестройкой капитализм служит им верой и правдой. В один голос они предсказывают нам неминуемую реставрацию капитализма и в связи со стимулированием труда рублем, и в связи с развитием индивидуальных, кооперативных форм работы, и в связи с хозяйственной самостоятельностью предприятий, бьют в набат, извещая об утрате народом былого бескорыстия, оживлении тяги к накопительству, пробуждении собственных инстинктов и т. д. и т. п.

«Держи вора!» — кричат они и указывают пальцем на старушек с укропом, которые торгуют, не имея при себе характеристик от партийной организации; на изобретателей, которые дают «слишком большую» выгоду государству; на владельцев садовых участков, выкопавших погреб на десять сантиметров глубже, чем того требует пролетарская идеология... Указания эти сами по себе малоги бы стоили, если бы за



исправление «идеологических перекосов» тотчас же не брались с энтузиазмом наша очень боевая в сражениях со старушками милиция, непреклонная прокуратура и Фемида.

Если расчленить слова и дела противников перестройки, цели показные и завуалированные, то получится, что капитализм нам грозит всеми своими ужасами лишь в одном случае — когда мы покушаемся на их особые доходы, права и привилегии. Мы горячимся, вступаем с ними в долгие экономические и идеологические споры, объясняем, что они не правы, что, идя их путем, мы и демократии не достигнем, и справедливость не восстановим, и идею социализма опорочим до конца, Маркса цитируем, Ленина, Сенеку, ораторское искусство свое совершенствуем, культурой дискуссий старательно овладеваем — а убедить оппонентов в самых простых и очевидных, казалось бы, истинах никак не можем!.. Не пора ли остановиться и «слов не тратить попустому»? Не идеалы они отстаивают, а интересы свои. Зачастую исключительно шкурные.

Веда идеологические споры с теми, кто, сидя с нами в одной лодке, гребет «почему-то» (ах, какие они непонятливые!) все время в обратную сторону, мы должны, следуя совету Ленина, за каждой пышной фразой, каждой патристической клятвой научиться видеть, чьи интересы за ними скрываются.

Атаки на критику и гласность разворачиваются якобы во имя одной цели — не создать излишне благоприятных условий для буржуазной идеологии, так сказать, не давать пищи, не очернять действительность, не отнимать у молодежи чрезмерной правдой светлых идеалов.

Генсек Горбачев только успел закончить свой доклад на партийном съезде, как артист Горбачев уже умело вмонтировал в свое выступление слова «пора остановиться!». Вот как выглядела вся фраза целиком: «Мы почему-то — вольно или невольно — утратили широту взгляда на жизнь, скатились на позиции абстрактного гуманизма, пацифизма, на позиции внеклассовых понятий добра и зла. Пора остановиться, задуматься, спросить у подобных авторов: куда вы идете? К чему призываете?»

Саратовского поэта Н. Палькина несколько позже тоже взволновала проблема добра и зла. Но не с позиций классовой их сущности, а с позиций их количественного соотношения на страницах нашей литературы. Увы, оказывается, с какой стороны на зло ни погляди, вывод один — «пора остановиться!». Разумеется, не в показе добра, а в показе зла. Ибо «народ ждет» от пишущих людей не очернительства советской власти, а «сильного положительного героя». По чьей указке наши писатели отказываются такого героя создать, надо еще разобраться, но наличие нехорошего умысла в этом просматривается. Ведь создание «сильного положительного героя» трудности не представляет, ибо, как формулирует поэт, «наш современник соткан не столько из пороков, сколько из достоинств и добродетелей. Надо только разглядеть их и перенести их страницы книг». Много рецептов изготовления положительных героев повидали мы на своем веку, но «ткать» нам его предлагают впервые (видимо, с последующим вышиванием мережкой, то есть путем выдергивания из героя пороков при бережном сохранении достоинств и добродетелей).

«Конечно, мы должны бороться со злом,— говорит Н. Палькин.— Однако некоторые тут впадают в крайность. Показывают зло и в профиль, и анфас, и спереди, и сзади. При этом преобладают черные краски. Этак можно вывалить в грязь и себя, и своего современника. Во всем нужна мера. Это золотое правило литературы и искусства» («Советская культура», 14.03.87).

В данном монологе наблюдается, как сказали бы философы, несоответствие общего и отдельного. В общем-то, ясно, для чего автор все это говорит, но вот отдельно взятые его фразы... Что это за «конечно», что это за «мы должны»? Борьба со злом всегда была делом сугубо добровольным. А уж если кому-то это делать заведомо скучно (вслушайтесь в это самое «конечно»), то тем паче ему следует воздержаться от этого опасного занятия. Совсем неясно, как в борьбе со злом можно «впасть в крайность». Чересчур одолеть его? Загадочно и опасение, как бы в показе зла не начали преобладать черные краски. Розовыми, что ли, изображать зло? А добро во избежание «крайностей» — черными?

При всем при том Н. Палькин безбоязненно призывает себе на помощь тень Твардовского. Чуть ли даже не от его имени рекомендует нам не слишком увлекаться в борьбе со злом. И при этом, ориентируя на аптекарское взвешивание дозы зла и добра в изображении жизни по чьему-то руководящему рецепту с круглой печатью,

нигде не призывает к отстаиванию правды, которая вроде бы одна способна быть судьей в отборе жизненного материала и красок для его воспроизведения. Если писатель или журналист занят обличением зла, то чем он непримиримее, чем многограннее и ярче показывает это зло, тем светлее его творчество. Очернительство начинается там, где добро пробуют рисовать черными красками. Но разве в этом случае надо против красок выступать? Против лжи!

Как сказал А. Н. Яковлев на пресс-конференции на тему «Октябрь, перестройка и современный мир»: «Суровая, но правда в любом случае лучше, чем ласкающие умолчания, фантазии или эмоции. Очернить историю можно только ложью, правда ее возвышает» («Известия», 1987, № 308). И стоит подчеркнуть: коммунисты и демократы всегда твердо стояли на этой позиции.

У Твардовского существовали в оценке искусства только две меры: мера таланта и мера правды. А ни того, ни другого слишком много быть не может. Если же правды нет или если ее пробуют соткать из двух полуправд, то сколько ни отфильтровывай пороки от добродетелей и ни отмеряй их в пропорциях «золотого сечения», Василия Теркина мы не получим, разве что еще одного «сильного положительного героя» будем иметь. В изображении его черные краски, конечно, не преобладают, спору нет. Серые преобладают. Сплошные серые!

В них-то и хотелось бы облечь процесс перестройки идеологам «сопротивления».

Особенно неприглядно приемы истерического давления на психику людей, привычка рвать с устрашающим криком рубашку на груди выглядят в попытках остановить поток правды о Сталине, его подручных и заплочных. Характерно, что защитники сталинизма вовсе не заботит, правда ли то, что пишут, или неправда, было или не было: знают — тут не опровергнешь, только спровоцируешь удешевленный поток разоблачительных фактов. А посему лозунг один: не замай! Кто-то из фронтовиков, вспомнив, как он не раз, поднимаясь в атаку на фронте, кричал: «За Родину, за Сталина!» — требует на этом основании перестать очернять историю — критика великого вождя, дескать, бросает тень на тех, кто ходил в атаку с его именем на устах.

Хочется надеяться, что авторы подобных писем в свое время не знали о злодеяниях Сталина, о миллионах невинных жертв — заморенных, замороженных, замученных, обесчещенных. Это неведение допустимо. Но вот ведь парадокс — они и сейчас ничего про это знать не хотят! Что им до мук миллионов. Логика несокрушимая проглядывает: раз мы чтим имя Сталина, то извольте и вы его чтить! Говорите, будто обманывали нас? Может быть, может быть. Но извольте обманывать нас и дальше, а то мы вам верить перестанем и святое в душе утратим! Такую позицию порой пытаются выдать за народную. Герой Маяковского требовал: «Сделайте мне красиво!» Сейчас в редакции приходят другие требования: «Сделайте мне свято!»

Идеология псевдореволюционности и псевдокоммунизма, как известно, основывается на принципах двойной бухгалтерии. Одна — для окружающих: больше работать, чтобы меньше потреблять. По сути своей это буржуазная идеология, но она из кожи вон лезет, чтобы замаскироваться под коммунистическую. Достаточно часто, однако, встречается и другой, неожиданный вроде бы для нас вариант, когда буржуазная по сути своей идеология маскируется под... феодальную!

События, происшедшие в декабре 1986 года в Алма-Ате, взволновали всю страну, привлекли внимание ко многим явлениям, которые мы долгие годы не то стыдливо, не то боязливо прятали сами от себя. Кое-кому казалось, что принципиальная оценка этих явлений может задеть то, что дорого и свято «простым людям». Народ ведь «всегда прав», он даже на темноту и отсталость имеет право!

В статье В. Щепоткина «Паутина» («Известия», 1987, № 24) речь идет о «протекционизме на родоплеменной основе», опутавшем, подобно паутине, многие этажи власти в Казахстане.

«До конца 60-х — начала 70-х годов, — свидетельствует писатель А. Нурпеисов, — мы не придавали значения, кто к какому роду принадлежит. О жузах своих помнили в основном старики, поскольку жузы для казахов имеют скорее географическое понятие... Жузов три... А родов в каждом жузе множество». Так было. И вот неожиданно «географические понятия» стали основой делового и идеологического объединения людей, главным фактором кадровой политики! Сначала на юге — в Чимкентской области. «В те годы, — пишет В. Щепоткин, — нередко лишь по родовому и национальному признаку назначали на должности в Южном Казахстане. Именно родовые, родственные связи погубили экономику Южного Казахстана, создали благоприятную поч-

ву для разложения многих и многих людей». Потом протекционизм захлестнул и Алма-Ату. Нечто несусветное начало твориться, например, в вузах, из которых изгонялись преподаватели-неказахи, студенты-неземляки. «Все видели, что «сильные люди» открывали дорогу в основном для своих близких, преследуя прежде всего личные, родственные и местнические интересы... Ректоры и деканы факультетов окружали себя «земляками, преданными людьми, нередко слабыми в профессиональном смысле и даже полуграмотными». «Подбирая преподавателей из своего «рода-племени», декан давал возможность им тоже оказывать покровительство нужным людям. В результате контингент студентов пополнялся в основном за счет выходцев из южных областей». И это не только в вузах! «Все больше становилось в столице республики сородичей или, на худой конец, земляков. Для своих делали все. Раздавали должности, награды, места...» Для своих совершались уголовные преступления, а уголовные дела своих закрывались, заминались...

— Национальная специфика, — вздыхали мы, прослышав о такого рода фактах. — Остатки феодализма! Для них тут родоплеменные связи важнее всего...

И старались не задумываться: почему же эта национальная специфика до конца 60-х годов отсутствовала? Что это за пережитки феодализма, которых не было многие десятилетия, даже старики их начали забывать, и вдруг (на вершине «развитого социализма»!) такая вспышка любви к кровным родичам, необъяснимая регенерация древних связей, традиций, обычаев... Загадочно, даже мистично как-то!

Но если взглянуть на факты трезво, то мистики никакой мы не обнаружим. И связи окажутся достаточно современными по своему типу. Обычай — тем паче не традиционным. Иначе пришлось бы прийти к чудовищному выводу, будто у казахов в прошлом было в обычае воровать, не зная своего дела, подличать.

Давайте, не отвлекаясь на детали камуфляжа, взглянем в социальную суть рассматриваемого «коллективизма». Помните, как один из сокамерников Швейка удивился вопросу: «А на кой ты, товарищ, уколошил свою тетеньку?» «На кой люди убивают, — ответил он, — каждому ясно: из-за денег». Столь же наивен, думается, вопрос: для чего объединялись и поддерживали друг друга «родичи» из Казахстана? Каждому ясно: из корысти! Чтобы, не утруждая себя изнурительной учебой и работой, занимать высокое положение, иметь в больших количествах деньги, власть, почет, привилегии, чтобы безбоязненно брать взятки, вступать в преступные сговоры, совершать безнаказанно аморальные и даже уголовные поступки...

Подбор кадров не по деловым качествам, а по родству, кумовству, землячеству?.. Полноте! Исклчительно по деловым! Только «дело»-то имеется в виду совсем иного рода. Правильно заметил доцент КазГУ Г. Доспулов: «Любой казах, не желающий участвовать в их грязных делах, становится для них неприемлемым».

Родовые патриархальные связи, верность клану, жузу — это только ширма, декорация, а суть была в обдельвании корыстных делишек, для чего требовалось создать вокруг себя среду, в которой можно спокойно грабить и страну, и свой родной, до слез любимый народ, окружить себя беспринципными, зависимыми, запачканными (и поэтому «надежными») соратниками. В Казахстане все это облеклось в форму «родоплеменного протекционизма». Где-то это же маскируется религиозной общностью, где-то выдается за ведомственный «патриотизм». Появилось в нашем обиходе даже нечто вроде научных мафий (в исторической науке, в мелиоративном деле, в эстетике и т. д.). Здесь корысть маскируется истерической преданностью каким-то священным методологическим истинам, научным школам...

Нам пора осознать, что идеология тех, кто создает (пусть даже и в недрах общества, строящего социализм) такого рода своекорыстные союзы, насквозь буржуазна. И иной она быть не может. Мы часто цитируем слова Ленина: «Вопрос стоит только так: буржуазная или социалистическая идеология. Середины тут нет...»<sup>9</sup>. Но как-то не до конца верим этой формуле, что ли. А следовало бы взять ее на вооружение. Идеология — система ценностей, формирующаяся на основе социального идеала. И сколько бы индивидуальных и групповых вариантов идеологии люди ни обретали, типологически они оказываются в наше время перед весьма скудным выбором: или — или. Грубо обобщая (по щедринской схеме): или тебе хочется демократии, или севрюжины с хреном! Все остальное — только модификации двух вариантов, порой внешне очень не похоже на них. Феодальные отношения (мудрый, строгий, но справедливый сюзерен

и преданные ему по гроб вассалы, не пытающиеся даже понять, что движет могучей волей владыки, находящие счастье в послушании) в условиях XX века, думается, даже в самых отсталых странах сохраняют лишь внешнюю оболочку. Внутренне же они давно наполнились буржуазностью.

Можем ли мы сказать, подходя с точки зрения ленинской формулы, что цели и поведение фигурировавших выше «героев» обусловлены социалистической идеологией? Смешно. А раз так, то, стало быть?.. Вот именно.

С позиций буржуазности в отношениях между людьми не признается «никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного „чистогана”»<sup>10</sup>. «Едиственная сила, связывающая их вместе, это — стремление каждого к своей собственной выгоде, своекорыстие, личный интерес»<sup>11</sup>. Ловкость наших «идеологов», отстаивающих свои корыстные интересы, состояла в том, что им почти удалось внушить нам веру в неприменимость данных формул к советской действительности. Дескать, так происходит там, у них, а наш казнокрад, взяточник и вельможа исповедует все же какую-то иную идеологию. Какую? Интересно бы получить разъяснение.

Буржуазная система ценностей (не отождествлять с системами ценностей при капитализме и даже с системой ценностей любого, кто принадлежит к классу буржуазии! Энгельс был владельцем фабрики и стопроцентным коммунистом, а стопроцентный по социальному положению пролетарий может оказаться ярким сторонником буржуазной идеологии) плохо подходит для размещения ее в витрине. Капитализм рождался, как известно, источая «кровь и грязь из всех своих пор...». Буржуазная мораль, буржуазная идеология настолько нищи духом, антиэстетичны, бесплодны, что в «чистом», очищенном от прикрас и косметики виде их выносить на люди рискованно. Вот и маскируются они изо всех сил. То под крайний коммунизм, то под патриархальный феодализм, который бесспорно в смысле эстетичности, духовности, способности увлечь и слачивать народные массы вокруг каких-то идей стоит несопоставимо выше.

Протекционизм в Казахстане взяв на вооружение культ почти уже отмерших родоплеменных связей. Боюсь, что сейчас, после разоблачения погрязшей в коррупции группы руководящих работников, в республике начнут напрапалу обличать реакционность и безнравственность этих связей. А что плохого в них самих по себе? Симпатии к роду, племени, землякам, своей нации не только естественны, но и духовно продуктивны — при нормальных социальных отношениях. Не став предметом спекуляций, маскировки и натравливания друг на друга разных групп населения, они только украшают жизнь, становятся дорогой нам, интимной ее стороной, никому не опасной и вполне заслуживающей уважения. Интернационализм вовсе не обязывает нас превращаться в иванов, не помнящих родства. Это-то как раз свойственно буржуа, для которого родина там, где ему легче делать деньги.

В. Щепоткин, говоря об алма-атинской «элите», правильно отмечает, что все здесь только прикрывалось фразами о благе народа. «На деле же лишь определенная группа людей пользовалась благами за счет народа». Как казахского, так и русского. Когда происходит вспышка шовинизма или национализма, всегда полезно приглядеться, кто ее организовал, кому позарез надо отвлечь людей от собственных неблагоприятных делишек, прикрыть свои грехи или даже преступления «кознями» чужой нации. Межнациональная рознь, подозрительность, вражда настолько противоречат интересам простых людей, честных тружеников любой нации, что «самовозгорание» национализма, думается, просто исключено. Характеризуя протекционизм в вузовской системе Казахстана, В. Щепоткин дает такой перечень его примет: «Коррупция, семейственность, взыточничество, прием в студенты полуграмотных людей, подбор кадров по каким угодно, но только не по деловым признакам — все это пышно расцвело в вузе за короткий срок». Спрашивается: неужели все это хоть в какой-то мере выражает интересы казахского народа или хотя бы одного его жуза, рода?!

«Переплетенные земляческими и родственными узами, они еще переплелись массой взаимных услуг». Вот где корень единения — взаимные услуги, взаимное пособничество и укрывательство. Земляческие и родственные связи — только один из каналов к совершенствованию такого единения. «Они, как пауки, связаны друг с другом. Тронешь одного — зашевелиятся все, и порой удар следует с самой неожиданной стороны». Вот в чем суть. И можно не сомневаться: встань на их пути мама родная — в

<sup>10</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 426.

<sup>11</sup> Там же, т. 23, стр. 187.

сумасшедший дом ее укутут эти «поклонники родовых святынь», дедушку тонором зарубят, друга в тюрьму упрячут.

А мы еще подыгрываем этим людям и создаем более одухотворенный, более человечный их образ в общественном мнении, когда, «обличая» их, вспоминаем феодализм, родоплеменные идеалы, приверженность «устаревшим» национальным традициям и обычаям. В итоге у некоторой части тех же казахов, унижаемых и обворовываемых их собственными неофеодалами, в глубине сознания могут возникнуть иллюзии, будто «феодалы» эти как бы то ни было, а все же верны их роду, все же отстаивают народные интересы, способствуют развитию национального самосознания. Как тут не сказать, что казахов-то они и предавали в первую очередь, им причиняли наибольший ущерб. И не только тем, что выносили на верхние этажи безграмотных, циничных дельцов. Они обездоливали свой народ, своих единокровников и единоверцев прежде всего духовно — позоря, лишая святынь, разрушая традиции и уничтожая тем самым духовное единство, духовные опоры в прошлом, настоящем и будущем.

Очень печально все это могло кончиться для казахского народа, не начнись в стране перестройка. Очень! И думается, нет необходимости делать оговорку, что все сказанное относится не только к Казахстану.

### МОЖЕТ ЛИ РЕВОЛЮЦИЯ БЫТЬ БЕЗЗУБОЙ?

Революции бывают разные: великие и просто значительные, социальные и промышленные, победившие и подавленные, кровавые и бескровные... Вот только беззубыми и робкими революции быть не могут. И благостными, такими, чтобы никого не трогать, а всех только умилять. Революции тогда и происходят, когда болезнь общества настолько запущена, что спасти его способно только радикальное хирургическое вмешательство. Надеюсь, наша болезнь еще не зашла так далеко, чтобы хирургу ничего другого не осталось как торопливо зашить разрез и, отводя глаза в сторону, бодро заверить больного, будто ничего не обнаружено. Обнаружено! Болезнь не смертельная, но такая, что на самоизлечение рассчитывать рискованно.

Контроль снизу, демократия, народовластие, самоуправление, саморегулирующаяся экономика... Все это для нас великая стратегическая магистраль, ведущая в коммунизм. Но магистраль эту еще только предстоит построить. А пока? А до того?.. Выбор вариантов тут очень скромный — или отступить, или решительно идти путем, намеченным январским (1987) Пленумом ЦК КПСС: кадры, кадры и еще раз кадры!

Сейчас, слава богу, не послеоктябрьская ситуация. Есть из кого выбирать при всех (колоссальных!) кадровых потерях эпохи безвременья и апатии. Но если мы этот участок работы отложим на потом, решив сначала выправить дела на самом главном — экономическом — фронте, мы снова можем оказаться отброшенными на исходные, досездовские позиции и даже далее того. Во всем, и в экономике тоже.

О чем речь? О кампании типа чисток? Об избиении кадров на маозздуновский манер? О срочной замене всех старых кадров на новые? Меньше всего мне хотелось бы быть понятым так.

Когда на встрече с руководителями средств массовой информации кто-то пожаловался на трудность подбора новых кадров обществоведов взамен старых, М. С. Горбачев сказал: «Будем вести перестройку со своим народом, со своей партией, со своей интеллигенцией, со своими учеными — с теми, кто есть. Другой подход — авантюра» («Московские новости», 22.02.87).

Когда Ленину доказывали невозможность построения социализма в обозримом будущем по причине нравственного несовершенства людей, он отвечал им: «В этом трудность построения коммунистического общества, но в этом же гарантия возможности и успешности его построения. Тем и отличается марксизм от старого утопического социализма, что последний хотел строить новое общество не из тех массовых представителей человеческого материала, которые создаются кровавым, грязным, грабительским, лавочническим капитализмом, а из разведенных в особых парниках и теплицах особо добродетельных людей»<sup>12</sup>.

Это ответ и сегодняшним скептикам, сегодняшним пессимистам. Порочный софистический круг (чтобы построить идеальное общество, нужно иметь идеальных людей, а идеальные люди могут вырастать только в идеальном обществе) марксизм ра-

<sup>12</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 409.

замкнул, решительно поставив на первое место социальные условия. Если условия эти сделать человеческими человек легко и радостно станет Человеком! Истина сия не раз уже подкреплялась практикой, подтверждается она и сейчас, даже в самом начале обновления, очищения нашей жизни. И государственный служащий, «аппаратчик» вовсе не обязательно должен быть чиновником, бюрократом, представлять силу, стоящую над народом, чуждую и враждебную народу. Быть вместе с народом, служить народу — это не столь уж нереальное для руководителя любого ранга состояние. А главное — очень радостное, счастливое состояние, хотя и конфликтное, беспокойное, финансово невыгодное. Но, как заявил однажды американский философ-коммунист Б. Данэм, «нет такой радости в жизни — радости ли славы, победы или удовлетворенного желания, — которую можно было бы сравнить с радостным чувством товарищества в достижении возвышенной цели»<sup>14</sup>.

Что ни говорите, все-таки изрядным простофилей, а отнюдь не человеком, «умеющим жить», выглядит каждый, кто право первородства продает за чечевичную похлебку. Рано или поздно это поймут большинство тех, кого сейчас мы относим к бюрократам и саботажникам перестройки. Надо ведь искать пути, чтобы и у такого рода категорий людей личный интерес начал совпадать с общественным. И все станет на место, как стало когда-то у крестьян после замены продрозверстки продналогом. Так что политика определенной снисходительности, терпимости к прошлым (разумеется, не уголовным) отступлениям от норм социализма со стороны тех, кто направлял ход событий в стране административными методами, думается, вполне оправданна. Далеко не все люди и в период культа личности и в период застоя имели реальный выбор в своем поведении. Им надо дать возможность сделать свой выбор сейчас. Нам, как и при Ленине, не отыскать для перестройки где-то «в особых парниках и теплицах особо добродетельных людей». С теми, что есть, мы должны (и можем) горы свернуть. Но и ублажать и уговаривать колеблющихся (к какому берегу им прибиться) долго — дело рискованное. Как говорил М. С. Горбачев на встрече с активом Эстонской ССР: «Сегодня мы еще можем... дискутировать, обмениваться мнениями, искать подходы, как воплотить в жизнь решения январского Пленума... Но уже завтра тот, кто будет упорствовать, тот, кто не поймет требований нынешнего времени, тот просто должен уйти с пути» («Правда», 22.02.87).

Думается, что «завтра» уже наступило, а большая часть не желающих понимать требований времени с пути перестройки уходит отнюдь не намерена. Да и те, что открыто отвергают перестройку, ведут себя на удивление самоуверенно, по-хозяйски.

«Поднимаем на щит гласность и перестройку, а тем временем назначаются на ключевые посты люди, для которых гласность и перестройка — все равно что нож острый», — с горечью, отнюдь не лишенной оснований, пишет писатель Ион Друцэ («Литературная газета», 29.07.87).

«За последнее время раскрыты крупные хищения в хлопководстве, виноделии, местной промышленности, торговле и некоторых других отраслях народного хозяйства», — пишут из Азербайджана спецкоры «Правды». Раскрыты — стало быть, покончено с ними будет вот-вот? Следующая колонка корреспонденции оставляет на это мало надежд: «Своего рода замкнутая руководящая элита сложилась в Агдажебинском районе. Сменяя друг друга, руководители там перемешаются по кругу номенклатурных должностей. Проработав год-два, а то и несколько месяцев, они увольняются по собственному желанию и вскоре вновь оказываются в другом должностном кресле» («Правда», 26.04.87).

Но ведь попал уже район под луч прожектора гласности! Попал. И что изменилось от этого? «Литературная газета» четыре раза выносила на всенародное обозрение историю «замполита из Баку» — Намеда Алиева, публично обличившего руководство транспортной милиции города во взяточничестве. И ЦК партии республики признал правильность выступлений. И ничего со взяточниками не случилось, процветают, по службе продвигаются без помех, Алиева докучивают.

Опыт общественного бессилия — очень опасный опыт. Думается, для перестройки сейчас нет ничего более опасного, ибо он саму гласность грозит превратить в жалкий фарс. В газеты наши попадает малая толика преступлений, нарушений, случаев произвола, беззакония, коррупции. Нельзя допустить, чтобы даже эти случаи (если они не опровергнуты в печати же) оставались без последствий или чтобы циничные

<sup>14</sup> Б. Данэм, Герои и еретики. Политическая история западной мысли. М. 1967, стр. 102.

уголовники с портфелями отделялись выговорами, которые давно уже выглядят насмешкой над «неотвратимостью» возмездия. Случаи эти запали в народное сознание, по ним проверяется серьезность намерений нынешнего руководства страны, его способность контролировать ход событий.

Случай с Н. Алиевым не тот, думается, мимо которого мы вправе пройти, как будто ничего особого не случилось. Мало того, что общественности страны брошен наглый вызов,— брошен он органами правопорядка, с которых тройной спрос. В таких случаях зарвавшиеся чинуши должны быть поставлены на место непременно. Любыми средствами, любой ценой. Иначе... Иначе не стоило и начинать нашу перестройку.

Не выходят из головы и факты, приведенные в статье И. Гамаюнова «Криминальный помидор». Годы уже не месяцы. Ретивые администраторы Приморского и Дубовского районов Волгоградской области куражатся над жителями вверенных им территорий, в основном над стариками, пенсионерами, инвалидами труда, ветеранами войны. Цель — «государственная» — подавить частнособственнические инстинкты, развить у молодежи преданность к общественным формам организации труда. Методы — уголовные. Вся «общественность» районов — органы советской и партийной власти, милиция, прокуратура, печать, хулиганы-«суточники», учащиеся — избыток своего времени, высвобожденного ради столь высокой цели от работы и учебы, весь пыл души изо дня в день тратят на травлю тех, кто кровью берега Волги кропил, кто растил без мужей нынешних передовиков производства, поднимал из руин страну. Врываются к ним в дома, на огороды, подсчитывают кустики помидоров, ползают с рулетками вдоль теплиц, мобилизовали целую армию доносчиков, следящих, кто из стариков (тайно!) топит по ночам в теплицах запрещенные градоначальниками печки... Как нам не хватает на столе прекрасных нижеволжских помидоров, как надоела привезенные из тридесятых царств безвкусные недоросли! А тут их уничтожают на корню, оставляют по жару без воды, рушат бульдозерами теплицы, штрафуют хозяев, выставляют кордоны ретивой милиции, чтобы не дать вывезти на рынок выращенное (не принимая и в коопторг), закрывают пристани, фальсифицируют документы.

И что же — эти «народные слуги», отнюдь не случайно оказавшиеся по одну сторону баррикад именно с хулиганами, признанными таковыми по суду, так и отделаются несколькими выговорами? Так и будут представлять на необъятных российских просторах советскую власть и Коммунистическую партию? Так и будут трактовать законы, мораль, идеологию, как им захочется и как позволяет их интеллект, верша бесконтрольно суд над беззащитными стариками и старухами?

Перед лицом такого рода фактов надо или, узнав о них, судить виновных, снимать с постов покровителей (областное руководство), или перестать витийствовать о нашей с вами революционности и коммунистичности.

Разумеется, одними карательными мерами кадры нового типа не сформируешь. Очень серьезно надо отнестись к учебе, воспитанию, поднятию политического и культурного уровня руководящих кадров. Знаете, какая публикация вызвала у меня за последние месяцы наибольшую тревогу за судьбы перестройки? Небольшая корреспонденция Ю. Вигоря под названием «Что читает секретарь райкома?» («Советская культура». 27.09.87). В ней, в частности, воспроизведен диалог (увы, достаточно типичный), состоявшийся у автора в кабинете первого секретаря периферийного райкома партии.

Увидев на полке книги из серии «Библиотека фантастики», Ю. Вигорь завел как бы ненароком разговор о литературе и попросил назвать любимых современных авторов.

«— Современных, говорите? Я так сразу и не упомяну... Лично я предпочитаю в основном специальную литературу и общественно-политическую да едва успеваю за текучкой проглядеть нашу областную газету и районку.

Я решил повести речь о публицистике, занимающейся аграрными темами,— пишет далее автор статьи,— перечислил асов этого жанра: Геннадия Лисичкина, Юрия Черниченко, Бориса Можаяева, Анатолия Стреляного, Ивана Васильева, книги которых, я заметил, в изобилии лежали на полках местного магазина. Спросил собеседника, говорят ли ему что-нибудь названные имена.

— Это, по-видимому, товарищи из агропрома? — ответил он вопросом на вопрос.

Вот так. Спорим, горячимся, глубин ищем, историю пытаем, а...

«Именно от инициативы первичных партийных организаций прежде всего зависит ход преобразований, умение мобилизовать и вдохновить людей, умение добиться

конкретного улучшения в работе»,— говорил М. С. Горбачев на торжественном заседании во Дворце съездов 2 ноября прошлого года. Это бесспорно так, но хочется привлечь при этом внимание и к другой бесспорной мысли доклада — о нереальности попыток перескочить через какие-то этапы развития. Реальность же сегодняшнего этапа состоит, в частности, и в том, о чем сказал корреспонденту «Правды» председатель колхоза Х. Ф. Валиев: «Все идет от первого секретаря райкома. Каковы его поведение, стиль работы, таковы они и у других руководителей» («Правда», 26.10.87). Таков, добавим, зачастую и предел инициативы всех первичных организаций района. Ненормально это? Да. Но такова пока действительность, которую ни за месяц, ни за год не переделаешь. Выше уровня первого секретаря райкома во многих регионах страны ни в хозяйственной, ни в политической, ни в духовно-интеллектуальной сферах, как говорится, не воспарить. Не получится.

Так стоит ли нам экономить время и деньги на просветительскую работу, в том числе и среди первых секретарей райкомов? Конечно, нет. Надо, чтобы у них обязательно было время для чтения новинок литературы, журналов, газет, для неспешного обдумывания «отвлеченных» научных и идеологических проблем, для бесед и споров со специалистами в разных областях культуры... Не везде есть первоклассные лекторы, музеи, театры?.. А может быть, надо сделать так, чтобы не меньше месяца в году первые секретари райкомов проводили (с женами, это очень важно, не улыбайтесь!) в столичном или хотя бы областном центре, освобожденные от текущих забот. Только в театры они должны ходить обязательно в хорошие, экскурсоводов получать самых эрудированных, лекторов слушать таких, которые мыслят творчески и современно, вроде вышеназванных Ю. Черниченко, А. Стреляного, Б. Можаява, Г. Лисичкина...

Право слово, такой вклад может дать невиданные до сих пор в мировой практике дивиденды, и материальные и духовные. Нельзя же, на самом деле, допустить, чтобы люди, от которых в первую очередь зависят темпы перестройки, осваивали все богатство ее идей через областные и тем паче районные газеты! И вообще, как говорил В. И. Ленин, «на одной грамотности далеко не уедешь... Нам нужно громадное повышение культуры»<sup>14</sup>. Нужно. Очень нужно! Особенно сейчас — в решении задач, выдвинутых перестройкой.

У кадрового вопроса есть и еще одна сторона, тоже исключительно важная. Речь идет о выдвижении людей, преданных социализму, демократии, перестройке, тех, без самоотверженности и неуемной жажды справедливости которых мы не продвинемся вперед ни на шаг. В выявлении, отборе и сплочении их сейчас мы переживаем очень ответственный момент, ибо «идет схлестка тех, кто поверил в перестройку, и тех, кто ожесточенно сопротивляется ей. Мы, газетчики, подняли людей в атаку, но если мы же их теперь не прикроем, их просто скосят» («Московские новости», 9.08.87). Это не пустые тревоги. Чем-чем, а искусством расправы над теми, кто покушается на их привилегии, бюрократы овладели в совершенстве. Сейчас для этих целей весьма неплохо используются и лозунги перестройки: сокращение раздутых штатов, поиск новейших организационных форм, переемственность, омоложение жизни, расширение выборности и конкурсного замещения должностей (на кого при этом жаловаться? на коллектив?)... И если бы речь шла только о единичных фактах!

«Самая банальная трагедия нашего времени,— исповедуется перед читателями журналистка Лидия Графова,— человек выступает с критикой, а его объявляют клеветником. Сколько их, оскорбленных и униженных правдоборцев, пишут, звонят, приезжают в редакцию — за последней надеждой. «Я прилетел с Камчатки... Неужели напрасно?», «Казалось: дожили наконец-то до своего времени,— но тут-то и началось...», «Пришлите корреспондента! Остальное — без толку...» Изо дня в день видишь чьи-то измученные глаза, слышишь по телефону просящие голоса... читаешь душераздирающие исповеди в почте... И охватывает отчаяние: чего стоят наши статьи, наши вдохновенные разговоры о правде, если люди, отвоевывающие эту правду в жизни, страдают сегодня, как и вчера?» («Литературная газета», 22.04.87).

Демократия, пока она не выработала механизмы самосохранения, не столько средство, сколько цель. В этом случае ее надо не «предоставлять», не объявлять, а утверждать в делах, организовывать, отвоевывать. Революции, что и говорить, отнюдь не самый демократичный механизм социального прогресса, но, минуя их, пока еще

<sup>14</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 170.



нигде не утвердилась ни одна демократия. По этой причине и нельзя допустить, чтобы революция была беззубой. Неловко прибегать к недемократическим репрессивным мерам? Так ведь в рамках закона и ради законности. Это во-первых. А во-вторых, если перестройка сорвется и силы торможения возьмут власть полностью в свои руки, то уж они-то покажут нам, как надо решать кадровый вопрос. Такую еще раз селекцию произведут, что сто лет на ниве общественной жизни ни одного здорового колоска отыскать будет невозможно!

И еще одна мысль. Очень уж усиленно в печати стали нам навязывать идею на вид очень трогательную и даже глубокую: начни с себя! Я думаю, человек, впервые поднявшийся на трибуну собрания и, рискуя всем, высказавший правду в глаза начальству, начал с себя. Многого надо в себе преодолеть, чтобы сделать такого рода шаг по наведению порядка вне себя. Так ведь не об этом нам толкуют, нет. Начни с самоусовершенствования своей души, с повышения производительности труда на своем рабочем месте... Знаете, чтобы усовершенствовать свои души, у нас было несколько десятилетий общественного застоя. Что-то это не очень помогало. Есть такой анекдот: в классе кто-то без конца икает, потерявшая терпение учительница предлагает Иванову выйти и попить воды. Раз, другой, третий, пока послушный Иванов не взмолился: «Я, Марья Ивановна, уже полбачка выпил, а Петров все равно икает!» Так вот и с лозунгом «Начни с себя!». Начнем, не впервой, но даже если весь бачок выпьем, Петров икать не перестанет.



В ОСКОЦКИЙ



## ЛОГИКА НЕДОВЕРИЯ

**Н**ачиная, кажется, с повести «Сотни ков», к прозе Василя Быкова все настойчивей прилагается слово «притча». Возвращаясь сегодня мысленно к рубежу 60—70-х годов, когда оно прозвучало впервые, понимаешь: рассуждения о притчеобразности быковского реализма (например, в монографической работе Алеся Адамовича «Василь Быков») носили зачастую не столько аналитический, сколько тактический характер, вызванный необходимостью хотя бы задним числом защитить, узаконить так называемые трудные (благообразный эффе-мизм тех лет!) повести писателя «Мертвым не больно», «Атака с ходу» «Круглянский мост». Ничего не поделаешь: и не на такие обходные маневры обрекала себя критика, чтобы ценой переходящих литературоведческих ухищрений оградить талант от мелочных придирок и шумных проработок, вернуть читательскому достоинию то, что насильственно отторгалось от него, установоч-но изымалось из творчества писателя.

Так именно было с названными повестями, опубликованными в «Новом мире» А. Твардовского и «трудными» исключительно в том смысле, что последующая издательская судьба их, как вспоминал позднее Василь Быков, складывалась под непрерывное громыхание «критических залпов». Приглушить, ослабить их хоть немного и помогала апелляция к притче. Не стоит дескать, строго корить, жестко взыскивать за некамуфлируемую трагедийность событий и судеб, нескрываемый драматизм характеров и обстоятельств, коль скоро не жизнеподобие их раньше и прежде всего занимает писателя, а откровенная поучительность сконструированной сюжетной модели, предельная обнаженность привне-

сенной в нее нравственной проблематики, неперемнная заостренность моральных выводов и оценок.

Нельзя сказать, чтобы ни то, ни другое, ни третье не было присуще «суровой прозе» Василя Быкова, но внешняя притчеобразность ее скорее следствие художественной многозначности повествования, чем корневая причина самобытной выразительности. Нравоучительная, морализаторская притча предпочитает условные декорации действия, тяготеет к сюжетам, не стесненным реалиями времени и места, тогда как социально-аналитический, психологический реализм писателя, исключая разве что романтическую «Альпийскую балладу», решительно противится каким бы то ни было условностям. Непререкаемая сила его в первозаданной дополнительности, безусловной достоверности событий войны и судьбы человеческого на войне тех предельных столкновений критических коллизий на которые не скупилась ни фронтовая, ни партизанская действительность. При неукоснительном же равнении на нее притча перестает быть собственно притчей и при нередкой притчеобразной обобщенности уплотненного, сгущенного смысла извлекаемого из воспроизведенного эпизода рассказанного случая. Так даже отдельно, вне повествовательного контекста взятую историю героической гибели комбрига Преображенского («Круглянский мост») возможно назвать притчей о совести лишь с риском спрямлений и упрощений. Что же говорить тогда и об этой повести в целом и о других повестях Василя Быкова где богатство жизненного содержания, многозначность его образных воплощений и художественных решений также не укладываются в про-

крустово ложе притчи о героизме («Дожить до рассвета»), самопожертвовании («Обелиск»), стойкости и предательстве («Пойти и не вернуться»)?

А между тем ходкое слово, подхваченное и усиленное литературной модой 70-х годов, закрепилось за ним, и столь прочно, что и во всех последующих повестях писателя упорно стали выискивать обязательную «притчу о...», выводить из нее соответствующие каноны сюжетостроения, черты стиля, особенности поэтики. Вот и о последней, «В тумане» («Дружба народов», 1987, № 7), уже заявлено, будто в ней выстроен «откровенно смоделированный, придуманный, заостренный сюжет», что верный себе Василь Быков не «рисует», а конструирует ситуацию, в которой «слишком много.. очевидных совпадений неожиданных поворотов». Сказано в похвалу писателю, с одобрением его мастерства, но невелик прок от похвал и одобрений, если они не к месту. Стало быть, отдадим их стойким заблуждениям, которыми обернулся тактический ход, заданный недавними условиями литературно-критического бытия. Этого требует, к этому по-своему взывает каждый из трех героев, к которым вплотную приближен объектив писательского повествования...

«Кто бы подумал, что их судьбы когда-нибудь пересекутся таким дьявольским образом? Но вот пересеклись...» И так накрепко, прочно, что, кажется, одной смерти по силам разрубить тугой узел. Неминуемость, неотвратимость ее предвещает начало повести сухо и скупо извещающее, как «холодным слякотным днем поздней осени во втором году войны» партизанский разведчик Буров и приданный ему в помощь партизан Войтик, «отмахав километров тридцать лесного пути», выбрались на опушку вблизи станции Мостище, где надлежало «застрелить предателя — зещнего деревенского мужика по фамилии Сущеня». Если и есть в такой завязи сюжета что либо преднамеренное, то лишь подчеркнутая обыденность повествовательной интонации. Впрочем и она сродни будням войны обесценившей природное естество человеческой жизни заступившей ее место противоестественности смерти которая стала явлением привычным и заурядным.

Подчеркнуто буднично и последующее развитие действия напряженную динамику которого направил роковой случай, алогичный однако, ничуть не меньше чем действительность войны. Тем более — в партизанском тылу, каждодневно, ежечасно чередом крутыми, резкими поворотами событий. У случая же на войне два лика, как

у медали две стороны. Не нагрыв местные полицейши на лесной пригорок, где роет себе могилу несчастный Сущеня — свершил бы Буров неправое, черное дело, принял на совесть тяжкий грех смертоубийства. Не заплутай потом партизаны в ночном лесу — не услышал бы смертельно раненный разведчик доверительную исповедь мнимого предателя. И не умри он под самый конец душераздирающей исповеди («Я же ему всю душу, а он и не слышал!») — по-иному, глядишь, повернулись бы судьбы и Войтика, и Сущеня, не приведя одного к гибели а другого к самоубийству. Случай распорядился, решил по-своему, и высеченная им искра жарко разгорелась в трагедию. Но так ли уж слепа или прихотлива его игра?

Суть в том, что и рокового случая на пригорке могло не быть, если б партизанский разведчик Буров не усомнился в разумности командирского приказа, справедливости смертного приговора заглазно вынесенного Сущене «там, в лесу», если б совершил над ним самосуд-расправу так вот бездумно, нерассуждающе, «просто и скоро», как представлял это себе Войтик: вызвать предателя «на порог и прихлопнуть без лишних слов Собаке собачья смерть, зачем канителишься?» Нет же, проканилелся на беду себе, «не в лада со своим намерением» тянул и тянул время, «будто не решаясь переломить себя настроить на главное», все дальше и дальше отодвигал «то, ради чего он приехал сюда и чему невольно противилось его существо». Сначала из-за ребенка в хате, который «портил ему все дело»: как пристрелить отца на глазах малолетнего сына? Потом из-за самого безропотного Сущеня его непротivления ужасной доле, «почти добровольного примирения с тем, что его ждало. Самое лучшее было, конечно, не думать о том, побыстрее сделать свое дело и смыться. Но вот думалось...».

«Не следовательно и не судья», всего лишь исполнитель рокового приговора — «ему ли пересматривать», а не слепо выполнять его? — не решился внемую сыграть палаческую роль, предписанную приказом «поколебался в сознании своей правоты». И как ни распаял, как ни «старался разозлить себя» усыпляющим самовнушением, будто перед ним не «свой человек бывший сосед», а «прежде всего . предатель», не оно, а «все остальное» перевесило бездушные аргументы формальной логики. По ней бедолага Сущеня виновен уже в одном том, что остался в живых, не казнен вместе с другими участниками неудачной диверсии на железной дороге, а побитый да невредимый вышел из гестапо, которое, «и дураку по-

нятно», не выпускает «за так». Безупречная с виду логика дает сбой, отозвавшийся смятением души. Не успев перерасти в бунт совести, оно все же вылилось в работу мысли, изнутри порушившей в Бурове «железную твердость» человека «крайних взглядов». Вплоть до того, что, ни за кем до сих пор «не признавая никакого права на смягчающие обстоятельства, особенно сейчас, в войну», он испытал неловкость «от своей незавидной роли в этой истории», захотел, чтобы все в ней «обошлось по-хорошему без ругани и издевки», а не так «противно, не по-людски», как приказано.

В развернутой цепи взаимосвязанных причин и следствий, плотно стыкующихся в движении событийно драматического, психологически напряженного сюжета, колебания, сомнения Бурова образуют первое, но самое важное звено. В нем — смысловой ключ ко всему происходящему в повести, создающему остроконфликтную ситуацию, которую по образной аналогии с «двое в степи» в многострадальной повести Эм. Казакевича справедливо назвать ситуацией «трое в лесу». Жизненная многомерность ее, насыщенность и плотность не поддаются отвлеченному притчевому истолкованию, на примере повести пристало вести речь о художественном полифонизме действия, не замкнутого хронологическими рамками сюжета, разомкнутого вширь и вглубь как «военной темы», на материке которой высвечена еще одна партизанская (подобно «фронтной» в давней повести Василя Быкова) страница, так и народной истории в целом. Лишь в ее социальном и духовном контексте дано в полной мере постичь ведущий мотив катастрофического взаимонепонимания людей, всепроникающего их недоверия друг к другу, что не только и не просто усиливает и без того накаленный драматизм человеческой судьбы на войне, но разрушает нравственные отношения, размывает моральные ориентиры народной жизни.

Не впервые доводится Василю Быкову размыкать календарное время сюжетного действия своих повестей, соотносить его со временем историческим, сопрягая войну то с современностью («Мертвым не больно», «Обелиск», «Волчья стая», «Карьер»), то с довоенным прошлым («Знак беды»). Вот и в действие повести «В тумане» 30-е годы то и дело вторгаются не отдельными внесюжетными заставками, как это было, скажем, в воспоминаниях Сотникова и Рыбака о довоенном житье-бытье («Сотников») или в беглых эпизодах, сливавшихся в штриховой контур биографий Зоси Нарейко и Антона Голубина («Пойти и не вер-

нуться»), но органичной частью сюжета, не отторжимой от разыгравшейся в лесу драмы. Не предысторией характеров каждого из трех ее участников, а собственно историей, преломленной в духовном мире личности, переплавленной в чувство и мысль, слово и поступок героя.

Не случайно поэтому в предсмертный час Бурова его угасающее сознание, отчаянно цепляясь за приключившуюся беду, вместе с тем «невольно, однако, погружалось в прожитые им довоенные годы с их житейской неустроенностью, частой голодухой, материнскими слезами и угрюмой отцовской озлобленностью. Но что же еще ему теперь вспомнить? Других лет не было у Бурова, именно эти выпали на его долю», и в нетерпеливом, как за баранкой полуторки, суматошном их беге «все что-то мешало остановиться, подумать, оценить по справедливости, отвергнуть или полюбить — не было времени, заедала работа и проклятушая работа о том, как перебиться, свести концы с концами, выплатить все, что полагалось выплатить государству, рассчитывать по всем поставкам, чтобы почувствовать себя свободным и хоть немного счастливым. Но уж, видать не почувствуешь никогда...». Не только в обиходном смысле мало-мальски обустроенной, обеспеченной хоть скудным достатком жизни, но и в духовном смысле понимания ее справедливого порядка, разумного лада, которое никак не дается Бурову «Даже сейчас, перед скорым концом, когда абсолютно ничто уже не обязывало его — ни долг, ни начальство, ни даже страх, пережитый им множество раз и начисто израсходованный его душой, — что-то не давало ощутить освобождение, мешало; путаное в жизни запутывалось перед кончиной еще больше».

Живым воплощением этой путаницы, в которую так и не проник Буров, звучит рядом с ним «знакомый голос своего человека — полная боли и горечи исповедь земляка — Веря ей — «да и как было не поверить?», — он настолько оглушен навалом противоречий, что не может разобраться до конца ни в собственном поступке, когда «едва не прикончил... неповинного», чуть ли не совершил расправу, которая «была бы роковой ошибкой на совести» ни в том хотя бы, «кто теперь от кого зависит: Сущеня от него или, наоборот, он от Сущени. Что-то запуталось в его прерывистых мыслях и Буров не знал, как поступить лучше, слишком разные проблемы замкнулись на нем, чтобы он мог их разрешить. Наверное, за коротенький остаток его жизни уже ничего не решишь. И не поймешь даже».

Нет, не только шальной полицейской пулей и не одной «своей чувствительной совестью» обречен Буров умирать «в неполные двадцать семь лет», но, по сути, той же отчужденной, фатальной силой всеограшающих недоверия и непонимания, которой и Сущеня приговорен к бесславной гибели «Нелепая история» мнимого предателя открылась Бурову внешним, наружным слоем, но не глубинным подводным течением скрывающим беспощадную, обнаженную правду. Упрощая ее, он видит Сущеню и себя жертвами неблагоприятного стечения обстоятельств, а не их жестокой закономерности, которая проявилась в его начальной готовности свершить во исполнение приказа скорый, да неправый суд.

На свой лад упрощает эту правду и смятенный, раздавленный душевными терзаниями Сущеня. Еще и потому не оставляет он тело партизанского разведчика лесному воронью, что «даже мертвый Буров был нужен ему для уверенности в себе, для ощущения своей невинности, и Сущеня держался за него, как утопающий держится за соломинку. Только много ли поможет ему эта соломинка?». Наверняка бы не помогла никому и ни в чем. Со смертью Бунова угас и малый, робкий проблеск надежды на благополучный исход, счастливую развязку, да и он был не более чем иллюзией. В самом деле: останься Буров в живых, заявись в отряд с человеком, которого заведомо считают предателем. — не миновать бы ему и черного клейма на себе и суровой кары. А с мертвым Буновым Сущене и того горше: что исповедь живого перед погибшим, кто бы стал выслушивать, вникать в нее заново? Поистине замкнутый лабиринт из сплошь острых углов. Но только ли коловертью войны заточены убийственные острия?

Резко, контрастно война обнажила то, что задолго до нее навязывалось народной жизни, закладывалось в основу общественной морали, вменялось в правила человеческого общежития. С карьеристским рвением приспособленца к любым установочным лозунгам сверху рассуждает об этом Войтик, намеренно заглушая в себе интуитивное доверие к Сущене, в чистосердечном рассказе которого и ему послышалась на мгновение «какая-то правда». Но все равно, продолжает писатель, «поверить ему Войтик не мог, ибо за недолгий свой век «уже убедился, как хитро работает враг, как умело прикидывается другом, в доску своим, чтобы затем выбрать время и нанести удар. Как тот Хмелевский. Сколько лет разыгрывал роль принципиального партийца, а вги-

хомолку вил свою вредительскую веревочку, разваливал сельское хозяйство, организовывал слабые колхозы. Но все-таки нашлись люди умнее, разоблачили врага и наказали безжалостно. И разве один Хмелевский? И директор школы Протасевич, милицкий начальник Локтенко, предрайпотребсоюза Кузьмич. Да в каждой деревне, в каждом колхозе. А в области? Всюду поналезло врагов, шпионов, предателей. Разоблачили многих, но немало и осталось. Нет, видно, на то она и бдительность, чтобы всегда быть начеку, не позволить дремать в себе непримиримости. Враг хитер. Так вас обставит, что многое в его вредительстве кажется неправдоподобным, сомнительным, а то и просто станет жаль человека, особенно если он давний знакомый, друг или родственник. Но в таком деле всякое постороннее чувство следовало душить в себе, без колебания, сжав зубы, исполнить то, чего требовал беспощадный принцип борьбы. Кто кого — так ставился вопрос в довоенные годы, таким он остался и теперь, когда так явно обнаружилось упущения и недоработки прежнего времени в образе вот таких сущеней. Эти недоработки в войну обросли новыми сложностями, но надо бороться. Иначе не победить».

Велик соблазн списать этот самообличительный внутренний монолог на бездумие недалекого карьериста, расхоже подхватывающего официально узаконенную демагогию. Увы, не списывается. Даже при очевидной оговорке, что довоенные шпиономания и доноительство растлевали не всех и каждого. Ведь не растлили они того же Сущеню, чья большая семья, сколько он помнил, всегда «жила в каком-то остром стремлении к правде и чистоте в отношениях с ближними — родней, соседями», «к покою в душе». Но как ни противостоит Войтик Сущене, не о нем изречено, будто в роду не без вырожденца. В том и дело, что он не выродок. Обыкновенный, так сказать, типичный гражданин общества, не упускающий своих прав и соблюдающий свои обязанности. Не последняя спица в колеснице районного масштаба, он прилежно усвоил уроки, которые преподаны ему «в годы проведения сплошной коллективизации», когда «несгибаемая воля была может, главным качеством характера каждого руководителя в районе, только она приносила успех». И едва ли не первым из них стал урок недопущения участия в чужой судьбе, сострадания, которое, забыв о «тонкостях классовой борьбы», мягкотело проявил он к жене разоблаченного врага народа, распорядившись скинуть у ее нетопленной хаты

пару бревен «Кто бы тогда мог подумать, что месяц спустя и его соседка окажется там, где уже оказался ее хозяин, бывший заведующий райзо и вредитель Кузьма Хмелевский? А Войтик потом едва оправдался. Каясь, чего только не наговорил на себя: и что потерял политическую бдительность, не сориентировался, проявил гнилой буржуазный либерализм. Еще хорошо отделался — всего лишь схлопотал выговор»...

Здесь, пожалуй, нужны и пояснение и отступление. Если в приведенных цитатах из повести, как и в комментариях к ним, читателю послышится вдруг ирония над Войтиком, она вряд ли отвечает замыслу писателя и не входит в намерения критика. Не до ироничной улыбки там, где впору кричать в голос, соприкасаясь с изнутри прослеженным выявленным насильственным отторжением морали от нравственности, вырождением последней в откровенную безнравственность. С горечью и болью отмечает это Даниил Гранин, упоая на милосердие в надежде «очеловечивания нашего бытия», взывая к нему, «чтобы растревожить совесть, чтобы лечить глухоту души». И убежденно доказывая, что невосполнимая убыль милосердия в наши дни имеет глубокие исторические корни прорастающие из давних десятилетий «Во времена раскулачивания, в тяжкие годы массовых репрессий людям не позволяли оказывать помощь близким, соседям, семьям пострадавших. Не давали приютить детей арестованных, сосланных. Людей заставляли высказывать одобрение суровым приговорам. Даже сочувствие невинно арестованным запрещалось. Чувства, подобные милосердию, расценивались как подозрительные, а то и преступные: оно-де аполитичное, не классовое, в эпоху борьбы мешает, разоружает.. Оно стало неположным в искусстве. Милосердие действительно могло мешать беззаконию, жестокости, оно мешало сажать, оговаривать, нарушать законность, избивать, уничтожать. В 30-е годы, 40-е понятие это исчезло из нашего лексикона. Исчезло оно и из обихода, «милость падшим» оказывали таясь и рискуя» («Литературная газета», 1987, 18 марта).

Так проникала в жизнь, склалывалась и утверждалась в ней разлагающая философия насилия, вменявшая жестокость в моральную норму обыденного поведения и не оставлявшая места не только милосердному поступку в повседневном быту, но и мысли о нем в общественном сознании. Показателем в этом отношении эпизод, происшедший не в тяжкие 30—40-е, а в «оттепельные» 60-е годы.

Помнится, в начале их в Институте мировой литературы имени А. М. Горького проходила научная дискуссия о гуманизме. «По праву разделенного страдания», данному ленинградской блокадой, и, как мы догадывались тогда, но знаем сегодня, не только ею, участие в дискуссии приняла Ольга Берггольц. Яркое, темпераментное выступление ее вылилось в горячую защиту добрых по Пушкину, чувств отзывчивости на боль сопереживания в беде, сострадания в горе как первичных гуманистических ценностей человека. Что же услышала она в ответ? Бурю негодующих обвинений в абстрактном гуманизме...

И недавняя статья Даниила Гранина «О милосердии» и давнее выступление Ольги Берггольц в дискуссии о гуманизме к «троим в лесу» из повести Василя Быкова имеют самое прямое, непосредственное отношение. Не просто сырой и плотный осенний туман обволакивает, поглощает их лица и фигуры. Он — метафорический знак, символический образ нравственных деформаций разъединяющих людей, отчуждающих их взаимными непониманием и недоверием ставших первоисточком трагедии, зорко увиденной, чутко разгаданной среди многих и разных драм войны. Выхваченная из потока народной истории, она принимает на себя отсвет объединяющего «мы», которое, обостряя сострадание Сущене, равно распространяется и на прозревающего, стращивающего лозунговые наваждения Бурова, и на закосневшего в демагогической бдительности Войтика:

А мы, кичась неверьем в бога,  
Во имя собственных святинь  
Той жертвы требовали строго:  
Отринь отца и мать отринь.

Забудь, откуда вышел родом,  
И осознай, не прекословь.  
В ущерб любви к отцу народов —  
Любая прочая любовь.

Ясна задача, дело свято, —  
С тем — к высшей цели — прямоком.  
Прeday в пути родного брата  
И друга лучшего тайном.

И душу чувствами людскими  
Не отягчай, себя щады  
И лжесвидетельствуй во имя,  
И зверствуй именем вождя.

В печали и гневe этих строк из поэмы Александра Твардовского «По праву памяти» заключен помимо всего и ответ на вопрос, простодушно (или лукаво?) заданный одним из первых рецензентов повести почему Сущеня так безропотно, так покорен неправой судьбе, почему не доказывает

свою невинность, не защищает себя, не борется за жизнь и доброе имя? Разумеется, не потому лишь, что, как объяснено писателем, выросший в крестьянской семье, воспитанный в традициях не склонной к ораторству трудовой морали, Сушеня «сызмалу знал за собой одну нелегкую особенность» — теряться перед несправедливостью, тут же утрачивая «естественную способность противиться обиде, жаловаться или протестовать... Доказывать, божиться, спорить или «брать горлом», как некоторые, было противно его существу, его лишь охватывала неодолимая тоска, которую он мучительно переживал наедине с собой» Несправедливость, выпавшая ему на втором году войны, превзошла все пережитое прежде. «Я тут тридцать семь лет прожил, меня все знают. Всегда все уважали, ни с кем не поругался ни разу. Ну а почему теперь перестали верить? Вот получается, что немцам верят, а своему человеку — нет» В чем и кого мог он переубедить, с кем и за что бороться, если чаша весов оказалась враз перевешенной не честной, совестливой, праведной — вся на глазах родичей и соседей! — жизнью труженика, а прилипчивым, несмываемым клеймом? «Его сторонились Потому что он предатель». И даже знающий правду «самый... дорогой человек, жена Анеля», не выдержав душевной муки срывается на признание, от которого впору наложить на себя руки: «Лучше бы они тебя там (в гестапо. — В. О.) повесили». Что же спрашивать в таком случае с партизан, чего требовать, к чему обязывать, если их отношение к Сушене определяется издали понаслышке исключительно тем, что он не казнен вместе с другими рабочими-путейцами? Страдательная психология без вины виноватого — такая же антигуманная реальность народной истории, как и агрессивный комплекс Павлика Морозова, в сравнении с которым нынешний Плюмбум, на счастье, не более чем бледная копия с потускневшего оригинала

Доктор Гроссмайер таким образом, ведал, что творил, сохраняя Сушене жизнь, которая вышла «похуже смерти» Равно как и его предшественник Шварц-Чернов из повести «Западня» знал, что делал, когда, посылая «зондерпривет коллегам», отпускал из плена лейтенанта Клименко Первоначально финал той ранней повести Василя Быкова был трагичен, но во времена ее публикации право на трагедию не признавалось не только за литературой, но и за самой войной. Повесть вышла с иным — открытым — финалом, содержащим обнадеживающий намек на возможность счастливого ис-

хода. Нынешней повестью «В тумане» писатель как бы договаривает, дописывает то, чего ему не позволили высказать до конца четверть века назад. И если эту коллизию, проигранную заново на другом — партизанском — материале, в самом деле можно назвать моделью, то с уточнением: она и впрямь моделирует в миниатюре типовые провокации куда более крупного размаха Вплоть, скажем, до ареста и расстрела М. Н. Тухачевского, ускоренных, как известно, путем подложных «уличающих» документов, которые через чехословацкого президента Бенеша подкинула Сталину гитлеровская разведка. «Но как он мог не вызвать, не поговорить!» — сокрушался Г. К. Жуков, поражаясь податливости будущего генералиссимуса на компрометацию маршала, который и тогда был и десятилетия спустя остался гигантом военной мысли, звездой «первой величины в плеяде военных нашей Родины» Согласимся, что в масштабах такой акции, предпринятой с оправдавшимся расчетом на личную заинтересованность Сталина в любых невероятных поводах для репрессий против крупнейших военачальников, высшего командного состава Красной Армии, действия Чернова-Шварца в прежней и доктора Гроссмайера в новой повестях Василя Быкова не превосходят уровня подготовительного класса...

Поддерживая одни и оспаривая другие положения статьи Даниила Гранина «О милосердии», философ А. Гулыга высказывает мысль, которая, в свою очередь, требует существенных коррективов: «Добро — продукт истории. Зло возникает само собой, а добро надо прививать» («Новый мир», 1987, № 10). Признавая необходимость воспитательных прививок добра (избави только бог от чиновного администрирования еще и по этой части!), не будем надеяться зло некоей исконной, самодовлеющей, надвременной силой. Природа его также исторична и социальна Зло беззакония и произвола, неотвязно сопутствовавшее культуре личности, возникло на определенном этапе развития советского общества, в конкретных условиях, к фундаментальному исследованию которых наука и литература (причем литература пока что заметно опережает науку!) еще только приступают, и его уродливые социальные и нравственные последствия, включая декретированное недоверие к человеку, привносились в народную жизнь не управляемой стихией мирового зла, а целенаправленным растлевающим воздействием на общественное сознание, умы и души людей, укореняющуюся в них психологию «колесиков и винтиков» репрессивной политики, идеологии,

морали Одних оно сокрушало физически, других калечило духовно, третьим потворствовало и благоприятствовало.

Войтик из числа последних. Атмосфера всеобщей мнительности, тотальной подозрительности удобна и выгодна ему тем, что скрадывает его собственные прегрешения перед нравственностью, частые сделки с совестью, малые и большие предательства. По себе зная, сколь малодушен может быть человек, он и к «злосчастной судьбе Сущени» примеряет свой аршин. «Его угораздило пробыть в лапах полиции каких-нибудь полчаса или час, но и того достало, чтобы погубить трех человек. Сущеня же просидел две недели в СД и смеет уверять, что не сдался Выстоял, не покорился. Знаем мы таких непокоренных.. Сломали и завербовали иначе не могло и быть» Вот почему со смертью Бурова у Сущени не осталось даже иллюзорных шансов на жизнь. Если в Бурове, как он понадеялся, «на равных сошлись как его гибель, так и его спасение», то Войтик не без корысти для себя (впереди их ждал опасный переход через шоссе, где наверняка не обойтись без помощи Сущени) лишь отсрочил ненадолго исполнение смертного приговора И не погибни затем на шоссе, живым «предателя» до отряда бы не довел, зато сам вернулся б героем.

Вероломные потайные мысли Войтика Сущене неведомы. Но что меняется от того в его обреченном положении смертника, который пережил обоих судей? Нет, как и не было, пути в партизанскую пущу и напрочь отрезан путь домой «Человек не все может Иногда он не может ничего ровным счетом». И тогда единственное, что остается ему,—вольная воля умереть, но «по своему выбору». А «самый решающий в человеческой жизни выбор,—размышляла Василь Быков в статье «Как была написана повесть «Сотников»,— умереть достойно или остаться жить подло» Так как никем не понятый Сущеня, не умирал до сих пор ни один из героев писателя. Но кто посмеет утверждать, будто такая смерть недостойна человека с искореженной судьбой но незамутненной совестью, которая и в последний час помогает ему «оставаться собой, какой он ни есть»?

Тут, впрочем слышатся полемические возражения возможного оппонента, не согласного с предложенной интерпретацией повести Мыслимо ли дело так категорически ратовать за априорное доверие в разгар войны, зная жуткую реальность предательства которые как в повести Алеся Адамовича «Каратели», оборачивались прямым пособ-

ничеством фашизму, палаческим участием в его преступлениях? Пожалеем поэтому бедного Сущеню, но простим партизан, действовавших отнюдь не безрассудно, а по суровым законам борьбы, не оставившей времени для понимания.

...Так получилось, совпало: когда писались эти заметки, голос воображаемого оппонента вдруг как бы персонифицировался, въявь прозвучав с газетной полосы в воспоминаниях участника войны о прожитом и пережитом. (Из уважения к его боевым подвигам не стану называть ни газеты, ни фамилии автора.) Летчик, сбитый над Днепром, он попал в плен, но вырвался «из ненавистного плена», вернулся в строй после проверок (приговоренного к смерти Сущеню даже проверками не утруждали!), которые называет долгими и унижительными. Но обиды подчеркивает следом, «я не затаил. Принимаю: такова была суровая необходимость. . и проверять людей тоже надо было В тех проверках отражалась и настроения военного времени и тяжелейшая обстановка в стране». Добавить бы отразилась в них и формула Мехлиса — «каждый, кто попал в плен,— предатель Родины»,— которую автор считает позорной. Но тем не менее в унисон ей призывает не задаваться «под лозунгами гласности» зрящими вопросами, на которые «давно уже ответило время», отмечавшее от фронтовиков тех, кто пропал на войне без вести Пересматривать «сложившееся у нас отношение» к ним, ушедшим «с поля брани», опустившим «штык в землю»,— значит «размагничивать» современную молодежь

Что это, если не цепкая инерция давних анкетных стереотипов, по которым, как сказано поэтом, всем. «кому с графой не повезло — для несмываемой отметки подставь безропотно чело»? Не только о плене, напомним, взыскующе пытались бывлые графы анкет, но и о пребывании на оккупированной территории, словно миллионы населения отвечали за то, что были оставлены в оккупации как полки, дивизии, армии — в окружении .

Все так, и время жестокое и законы под стать ему. Но признаем наконец, что на еще большее ужесточение их «работали» не переизбыток а дефицит понимания, не безоглядное доверие, а огульное недоверие, антигуманную природу которого как раз и вскрывает Василь Быков повестью «В тумане». Не по войне, конечно же, мерка, не для нее совершенство, о котором грезил у него Сотников в одной из повестей: «Нет, жизнь — вот единственная реальная ценность для всего сущего и для человека —



же. Когда-нибудь в совершенном человеческом обществе она станет категорией-абсолютом, мерой и ценою всего. Каждая такая жизнь, являясь главным смыслом живущего будет не меньшею ценностью для общества в целом, сила и гармония которого определяются счастьем всех его членов» Ис отсюда вовсе не следует, будто не пришла пора переосмыслений войны, восприятия ее драм и трагедий и под таким углом зрения, настоятельно диктуемым осознанным убежде-

нием в самоценности человеческой жизни как неотъемлемой частицы бытия человечества. Особенно сейчас, когда новое мышление, вырываясь из под нагромождения прежних стереотипов, не легко и не просто пробивая себе дорогу, выдвигает первым условием взаимопонимание а стало быть и взаимодоверие не просто людей, но народов.

В его поле мощного притяжения — гуманистическая мысль Ваиля Быкова которой проникнуты идеи и образы новой повести...



Л. АННИНСКИЙ



## «ПРЕД ВОЛЕЮ И БЕДОЙ»

**В** круг — за сорок лет его работы — несколько поэтических эпох наступило и миновало, несколько раз ситуация сменилась чуть не наново, а искрило так, что впору было сгореть. Эшелоны фронтовиков разгрузились и закрепились в поэзии, отбив критические нападения. Лейтенанты и солдаты, философы атаки и философы окопа, певцы глобуса и певцы верстовых столбов. С ликующим криком ворвались подростки дети войны, мечтатели, идеалисты, правдолюбцы, искатели, экспериментаторы — прошумели и стихли. Тихо запели дети деревни, оплакали брошенные избы, прокляли город, в котором, однако, и обосновались в силу хода вещей Мелодии столкнулись, в их контрапункте обнаружилось странное равновесие, ситуация замерла, «эстрада» сменилась тишиной, тишина ощутилась предгрозем; из этой тишины возникли голоса совершенно непривычные, на грани абсурда, нарочитой невнятицы, и в этой «абракадабре XX века» тоже как бы обнаружился смысл века.

Много было поветрий.

Владимир Корнилов прошел сквозь поветрия не участвуя.

Неучастие — тоже ответ на вопрос о человеке. О формах и путях реализации личности в ситуациях меняющегося времени. А может быть, и больше: это корректировка самого вопроса, попытка повернуть вопрос другой гранью. Способна ли реализоваться личность, если она отказывается повторять все изгибы ситуации и жить под диктовку обстоятельств? Откуда она тогда возьмет материал для своей реализации? На чем реализуется? Неужто на «чистом отрицании»? Возможно ли это? Но тогда непрерывное «нет» и неуступчивость, и упрямое стояние на своем — свидетельство того, что свое есть... А что оно такое?

В сущности, речь идет о фундаментальных ценностях, определяющих ход нашего литературного и духовно-практического

развития. Присутствие Корнилова в этом процессе позволяет осмыслить его ценности в неожиданном и резком ракурсе.

Есть и еще одна причина, по которой я хочу вдуматься и вчувствоваться именно в его стихи, причина, которая может показаться субъективной и даже несколько необязательной для критика, однако рискованно сказать и о ней: из всех поэтов моего поколения Корнилов — самый близкий мне. Подчеркиваю: из всех, из множества, из огромного числа хороших, разных, интересных и просто достойных внимания поэтов моего поколения — самый близкий.

Понятно, самый близкий вовсе не значит самый лучший. Субъективно-то, может, и лучший, но именно для меня, то есть по складу души, судьбы; объективно же — есть мастера не хуже, есть даже и лучше — по технике стиха, по виртуозности отделки, по изобретательности формы. Как ни мало ценю я саму по себе форму отделки и технику

Впрочем, это вопрос особый и существенный: о небрежности корниловского стиха, о его ткани; я и оставляю этот вопрос для отдельного объяснения ниже.

А пока вот о чем: много ли Корнилов сделал?

Как посмотреть. Мало! Другие побольше издали и погромче шумели. Когда за сорок лет работы поэту удается выпустить два (два!) гоших сборничка стихов с дырами и умолчаниями, да и те после долгих мытарств и даже после неоднократного рассыпания набора, и это в лучшем для нашей лирики 60-е годы! — а притом все это десятилетие поэт присутствует как отчетливая величина (почти невидимо — по гамбургскому счету), — так сами судите, мало это или много.

Но независимо от этого я решаюсь, преодолевая неловкость, все-таки сказать тепер о близости. Речь не о вкусах, да и что я за

птица такая, чтобы оповещать почтенную публику о своих вкусах и запудривать читателю мозги тем, кто мне близок, а кто не очень. Речь, повторяю, о концепции литературного процесса последних десятилетий — концепцию-то тоже выстраиваешь не из изучения источников, а из собственной судьбы.

Судьба распорядилась так, что Владимир Корнилов появился на горизонте лирики в начале давних 60-х годов. Формально-то раньше: в середине 50-х кое-что уже было в «Литературной газете», был и «Шофер» в «Тарусских страничках», — но формально с 1951 года еще печатался «взводный командир» Корнилов в армейской прессе, однако речь не о библиографических справках, а о резонансе. Резонанс возник в начале 60-х, когда литературный процесс «дозрел» и молодая лирика усилилась настолько, что стала вызывать настоящий отпор и, соответственно, настоящий энтузиазм.

Тогда Корнилова и расслышали. Он даже с эстрады шел; особенно часто читался «Лермонтов» — стихотворение в жанре модного для начала 60-х годов плача об убиенном поэте. «Дорога вьется пропыленной лентой, то вверх ползет, то лезет под откос И засыпает утомленный Лермонтов, как мальчик, не убрав со лба волос...»

Корнилов даже интонационно «срифмовался» с тогдашней молодежной модой; слышно в его стихе что-то ахмадулинское: закругление рисунка, плывущая сонорность звукописи красота детского наива — и прежде всего вот это патентованное, ключевое именно для ахмадулинской эстетики «как мальчик»...

Корнилов, правда, эту элегию быстро дрожит огнем: «А солнце жжет. И, из ущелья вынырнув, летит пролетка под колесный шум, под горный шум, под пистолет Мартынова на молниях играющий Машук».

Ритм начинает задыхаться. Быстрый, набегающий, «до жизни» существующий, сверх жизни важный ритм: красота стиха, «крепость слова». Типичные 60-е годы, не так ли? Шум — Машук, видимая корявость рифмы тоже в духе времени: весь стих насквозь пробит гулками ударами колес по камням, «шипеньем шин». Музыка, музыка. Полет стиха!

Наконец вот пик психологической боли:

. Когда с собой приносишь  
Столько мужества,  
Такую злобу  
И такую боль,—  
Тебя убьют.

И тут-то обнаружится,  
Что ты и есть  
Та самая любовь.

Пронзающий удар смысла, полного горечи и сокрушения. И этот мотив запоздалого воздаяния, чувство «отвергнутого дара» — тоже абсолютно в духе времени: молодая обида, неразделенная преданность, неоцененная верность... Евтушенко в ту пору весь держался на таких эмоциях: вы нас еще оцените! «Мы с вами отомстим талантливо всем, кто не верит в наш талант!..» Корнилов, пожалуй, жестче, поглубже... и всего-то?

Нет, Корнилов другой. Финальной строфой он все переворачивает. Строфа кажется странной, лишней, но в ней самая суть:

Тогда судьба  
Растроганною мачехой  
Склоняется  
К простреленному лбу,  
И по ночам поэмы пишут мальчики,  
Надеясь  
На похожую судьбу.

О чем мечтают мальчики? Доказать всем, что они герои? Заслужить, пусть посмертное, признание? Да хоть бы и погибнуть, но в правой борьбе? Да, в молодой поэзии того времени так. Но не так у Корнилова. Его мальчики переключаются с другой мелодией лирики 60-х годов — с «мальчиками державы», с «лобастыми мальчиками» революции, гибнущими безупречно... Переключаются. Но не совмещаются. Чисто корниловский поворот: герои готовятся не к воздаянию, а к тщете — они идут навстречу судьбе, зная, как она будет тяжка. И не просто тяжка, а трагична, нет, она будет непросветленна. Тут судьба не мать — мачеха. И к этой доле, к этому испытанию духа человек готовится как к единственному для себя возможному... счастью?

Нет, не к счастью. К доле. К предназначению, которое надо выдержатъ. Вот эта горечь только у Корнилова, ею мечены только его стихи. Так и звучали они наперекос поэтическому хору начала 60-х годов, вроде бы и сливаясь, а — наперекос. Горько звучали.

Теперь я скажу, когда написано стихотворение «Лермонтов» В 1948 году.

Господи, что делали в 1948 году поэтические светила 60-х? Что в том году делала Ахмадулина? Что вошло из той предрасветной поры в ее стихи? «Отдаю себя на съедение этой скорости вперед.» А Евтушенко? Он что делал? Таскался по земле с геологами? Что писал? «Партия нас к победам ведет, у нас за успехом новый успех...»

А Соколов, корниловский ровесник, что тогда делал? «Снопья вязал, а может быть, работал на пропалке...» Что чувствовал? «Украшен мир насколько видит глаз. Как дорожить нам нашей жизнью нужно!..»

Конечно, у каждого свой путь. Корнилов начал писать раньше, и он понял больше многих своих соратников по поэтической волне 1962 года. Родился в 1928 году, один год отделяет Корнилова от той черты, за которой призывались и шли в огонь последние рекруты войны, один год — состояние тоньше сердечной стенки, — и Корнилов попал бы в тот обжиг, из которого вышли в поэзию Слуцкий, Самойлов, Окуджава. Но его повернуло в «мирную жизнь». И эту «мирную жизнь» он увидел, понял и познал так ранѣ и жестко, как мало кто из его поколения.

Дело и в характере, не только в судьбе. Судьба, может, была и не самая тяжкая, Жигулину, например, досталось пострашнее. Сверстники Корнилова, старшие в послевоенном поколении, люди, самым «зацепом рождения» коснувшиеся 20-х годов... Кто? Жигулин, Соколов, Сухарев... Так или иначе, все трое попытались «залечить» свое детство гармонией. Гармонией природы, гармонией стиха. Через музыку и примирились. Через нее и любить научились. Как у Соколова. «Любить ее светлые воды и темные воды любить». Так и спаслись, соединив в гармонии стиха темное и светлое.

Корнилов от спасения отказался. Примиричь ничего не смог. В гармонию не поверил.

Помню разговор с Анатолием Передревым в редакции журнала «Знамя» году в шестьдесят втором. Сравнивали мы как раз стихи Соколова и Корнилова, двух поэтов. Явно в том потоке тяжелейших, падавших на дно, уходивших в осадок. Передрев сказал приблизительно так: «Конечно, они оба обогнали свое поколение. Но по-разному. Соколов переступил через свое отчаяние в красоту стиха, а Корнилов даже отчаяния себе не позволил — у него перерел о».

Стих его — вправду обгорелый, что ли? Фактура словно тронута огнем, шершава. Иногда кажется, что стих технически плохой: небрежный, недотянутый, брошенный на полуусилии. Сила идет из глубины, словно сквозь препятствия, сквозь плену, или кору, или окалану. Вслушайтесь:

Твоя незадача, беда и тщета  
Заказанная путь-дорога.  
Но жизнь  
Как поэма была начата,  
И нету начала второго.

И даже обратного нету пути,  
И мало отпущено смелости.  
Но, страх заглуша,  
Не пускает уйти  
Великая магия цельности.

Дорога — второго... Рифмы — кой-какие. Смелости — цельности... Само «голо-соведение» словно бы мечено усталостью. «Великая магия цельности»... Что за слова? Чужие какие-то. И этот сбой — в высшей точке стиха! Словно нет сил искать слово, нет желания попасть словом в точку. Корниловская точность не афористична, это точность другого психологического типа: тут прямота факта, прямота последней, простой правды, упирающейся в невыразимость.

Магия строк не в красоте, а именно в этой достоверности, идущей через перенапряженье и разлом слов. Стих прост и гол. «Пусто, голо», — как-то обмслвился сам Корнилов, невзначай переинтонировав Пушкина. Нет, он не пушкинский наследник. Немузыкален стих. Не антимузыкален, а именно немущакален, то есть на другое ориентирован. А ведь музыка стиха — пароль всех молодых направлений после Твардовского: от саксофониады Вознесенского до простой деревенской мелодики Рубцова — везде так или иначе стих гармонизирует мир, собою гармонизирует, своим звучанием, своей само-достаточностью. Стих Корнилова изначально строится иначе. Этот стих — в оле прозы, он не противостоит бесконечной материи жизни как иной полюс — полюс гармонии и совершенства, он силится вместить, переварить, передать саму жизненную материю. Поэтому в грубости корниловского стиха нет той валкой походки, той шатающейся раскачки, которая после Луконина стала еще одним вариантом «музыка», собирающей мир вопреки «хаосу». Корнилов просто рассказывает, у него подробности как бы забивают все, и голоса у него то и дело не хватает, и концы сводить нет охоты, а внутренняя тема, мысль прет сквозь слова с угрюмой, упрямой силой. Иногда Корнилов и сам с сомнением оглядывается на свой стих: на что он похож! На «сток водосточный»! Ох, по-корниловски сказано: «сток водосточный» — м а с л о — неловко, но близко к факту, в таком стихе «поместится все, что хошь»: и жизнь с подробностями и судьба с итогом...

Нет, все-таки это неточно — «сток». Есть другая обмолвка у Корнилова: стих «скрытно-богатый», зарывающийся в «скуку жизни», стоящий гордо... У Корнилова сказано — «горделиво», опять-таки неточно; гордели-

восте в нем нет, а все остальное правда, стих «беден». Он неловок, тяжел и коряв, но точен в каком-то своем смысле, и потому его нельзя обрабатывать, обтачивать, гармонизировать, ибо обточится та самая жизнь, которая его продиктовала.

В основе тут лежит право художника на свою жизнь, на свою судьбу, без подравнивания под что бы то ни было. С тем и берите:

«Это право писателя подставлять пуле лоб. Так что необязательно сыпать меняя на гроб.

Это право художника знать шесток свой и срок. И примите как должное. И поймите как долг.

Никакой здесь корысти, и не стоит казать: это воля артиста роли не доиграть.

Если действие без цели и дерьмо режиссер, рухнуть прямо на сцене доблесть, а не позор».

Стихи — о самоубийстве Хемингуэя Были когда-то споры: самоубийство ли? Еще большие споры. имел ли право? Корнилов права не спрашивает, он его знает без спросу. Это написано уже не в 40-х — в 60-х годах.

Нарочно беру примеры из разных десятилетий, чтобы было видно: в тридцатилетнем поэте — та же твердость, что и в шалом двадцатилетнем студенте, который вот-вот загремит в армию Корнилов не знает эволюции Ландшафт его души не меняется по сезонам возраста или истории. Кремень.

Ландшафт души. Весна? Осень? Его сверстники любили определенность наступающих сезонов — побеждающую звонкую весну с проклевывающимися ручьями, устоявшуюся золотую осень. Впрочем и зиму. морозную, крепкую — символ здоровья. Как «Станция Зима» у Евтушенко.

Что у Корнилова? Дождь. Мокрый снег. Вечный, одинаковый. Взгляд — с юга на север: от кричащей яркости красок и звуков в тусклый полусумрак «Мы ведь все-таки были зимние» Зимние значит сжавшиеся, сжавшие зубы От холода? «Не поймешь то ли взаправду холод, то ли в сердце снегу нанесло» У Корнилова мокрый снег и холодный дождь мешаются друг с другом Всесезонный дождь «Осенний, летний или вешний. он все равно какой-то вечный» Серая ли казарма в «дальнем гарнизоне» 1952 года, ночная ли Москва тогдашних увольнений, теперешний ли городской ландшафт — пейзаж в стихах Корнилова с мешанный Это не полутона, столь милые сердцу тонких критиков; Корнилов

полутонов не знает, это именно смешение красок, тонов и планов, смутная, безвидная хлябь, в которой путь, смысл и строй надо находить внутренним усилием, потому что внешние знаки смутны и неясны.

Краски редко проступают в этом графичном сумраке. Чистых красок у Корнилова как бы и нет, а ведь чистая краска — сквозной, так сказать, принцип, лейтмотив современной ему лирики; чиста синь у Соколова, или бел зна у Евтушенко, сияют оранжевые блики у Ахмадулиной, а Окуджаву, доводя этот стиль до гротескостерской виртуозности, собирает всю палитру вместе: «Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и в зарю...» Тут и суета, как заря, светла.

У Корнилова зари нет. Свет притенен, рассеян. Один блик мелькает, но и тот как бы соединяет колеры, берет у природы цвет неочищенным: рыжие крыши, рыжий дождь, рыжая листва...

В любви концентрируются черты мира, противоречивого, полного борьбы и муки. В этой любви все сразу: «грусть, и горечь, и гордость», воля и неволя, благодать и проклятье. Как расцепить? «Но, видно, ты не из ребра, ты скрытна, с виду — не добра, ты не к добру, как летом — снег, как бунт в тылу, как в церкви — смех...»

«Летом — снег» — настоящий Корнилов.

Но с чем это сравнить — любовь-страдание? Что это — непредсказуемая мука взаимоотношающихся чувств?

Что-то близкое переживал Луконин:

...Ты тень или ты свет?

Меняешься мгновенно.

Ты пересверк такой, что путаю слова  
Ты пестрота цветов и звуков, перемена  
дней и ночей моих, очерченных едва

Луконин все это ненавидел, по натуре не терпевший неопределенности, он страдал от непредсказуемой музыки, от «разноцветных ниток» в характере любимой, он все это рвал, отвергал, отрезал от себя.

Корнилов — приемлет. Это для него — как крест, как роковая задача жизни, беда заложена в основу бытия, горе — в основу любви, бытие надо принимать вместе с болью:

Любимая,  
Желанная,  
Люби меня,  
Жена моя!  
Люби в беде  
И во тщете,  
В неправоте  
И в нищете.

Какой сплав! В те же годы Евтушенко закликает: «И днем, и ночью думай обо мне...» — там в обволакивающей магии не предвидится ни неправоты, ни нищеты. А тут — углы, кровотокающие ссадины, и отделить нельзя любовь от неправоты и жизнь от тщеты. Любовь словно проваливается у Корнилова в свой негатив; в ней правота неотделима от муки. «Никакой черемухи» Никакой «врачующей» любви — боль и расплата.

Без меня — осень. дождь,  
Снег, весна, слякоть ..

Без меня  
Подрастешь  
Жить, любить, плакать.  
. . . . .

Сам решил. Сам ушел  
И молчу в тряпку.  
Мне теперь хорошо,  
Изнутри — зябко.

Так вот жизнь свою сам,  
Собственной властью  
Разрубил пополам,  
Надвое,  
Настежь...

Точность слов, выдавленных как в спазме. Беспощадность суда над собой: сам решил... сам... сам...

Может ли безоблачная любовь поселиться в такой душе? А вера? Нет веры у Корнилова в том общеупотребительном смысле, в каком этот мотив постепенно (музыкально!) гармонизировал на протяжении последних десятилетий нашу лирику: от жесткости 40-х к мягкости 60-х и далее. Корнилов другой: «Если башка слаба — вера необходима» Ему вера не нужна, ему нужно знание, причем знание с оттенком библейской горечи умножающий познание умножает скорбь. Знание горько, потому и вера обманчива. Я говорю вовсе не о профессиональном аспекте, столь модном сегодня... впрочем, отчего же? Можно и об этом.

«Я последний безбожник и на этом стою» — прямее не скажешь. Но знаете, неверующий герой Корнилова, который в армянской церкви «шалает» от внутреннего света, понятнее и ближе мне, чем какой-нибудь верующий святоша, который говорит так, как говорило бы лампадное масло, умея оно говорить (да простится мне эта парафраза из Маяковского). Какие там псалмы, какие иконы! В мире Корнилова нет милосердного бога, а есть судьба, неотвратимая и немилосердная. Дело не в том, что «сатана близок» (как в стихах о раффме недавно заметил Корнилов), дело в

том, что надо отвечать, отвечать с а м о м у, отвечать о д н о м у, с глазу на глаз с судьбой, и надеяться не на кого, и перекладывать не на кого, и молиться некому, а только стиснуть зубы и приготовиться:

Ни при какой погоде,  
Хоть дело было — гроб,  
Со мной иного вроде  
Случиться не могло б.

Ни при которой льготе,  
Ни на какой волне.  
Ни при какой погоде  
Не пофартило б мне.

Ни форта, ни везения, ни счастья стандартного — ничего не нужно. Верность судьбе — заповедь личности, которая сохраняет себя и держится «непонятно чем», одним «воздухом», одним чистым духом.

Знает ли он надежду? Это важный пункт, к которому прикована душа Корнилова. «Надежда» — название одного из последних циклов его. Надежда — узел противоположных чувств, она стоит рядом с «безнадегой», две эти эмоции как бы держат друг друга.

Решение же — в третьем, глубоко характерном для Корнилова и, как ни странно, разрешающем мотиве. Этот мотив — тщета.

Тщета — не отказ от надежды, не отчаяние, не капитуляция. Тщета — отказ от пустых надежд, от форта и везения. Это расчет только на свои силы и это готовность к худшему, готовность и в худшем случае выстоять. Ключевое понятие корниловской этики находится в сложном соотношении с такими понятиями, как судьба, долг и свобода. Судьба у Корнилова достает человека, она сродни древнему фатуму, року, она вне личности, и от личности зависит — выдержать судьбу или тщетно пытаться избежать ее. Выдержать не значит покориться, а именно выдержать. Тут смирение паче гордыни. Тут свобода потяжелее несвободы. Тут долг потяжелее внешней обязанности. Долг в устах моралиста, читающего герою поучение, вызывает смех и презрение, но это же слово, сказанное самому себе, заставляет героя покориться самосмирением, изнутри. Стало быть, есть долг и — долг. Слова могут наполняться противоположным смыслом. Даже молчанье корниловское — другое... молчанье вместо ожидаемых слов.

Вознесенский, встретив молодого священника, кричит тому: «Эх, парень, тебе б дрова рубить, на мотоцикле шпарить, девчат любить!» Корнилов молча перелазит в глаза вается со своим собеседником.

иереем. Тут существенно, конечно, и то, что смысл жизни для Корнилова не укладывается ни в какие внешние параметры и достижения, даже если это достижения стремительного XX века, включая, помимо лесоповала, и мотогонки и секс... Эти «мечты 60-х годов» у Вознесенского, кстати, оказались не такими уж беспочвенными (я беру хотя бы мотострасти у молодежи 80-х годов — угадал же!). Но дело в том, что для Корнилова не существенны никакие аксессуары потребления и удовольствия, даже секс и спорт, радостно приветствуемые борцами против застоя и догматизма. Он лучше будет пятый угол искать, чем объяснит, что же ему надо. Для него больше всяких объяснений значит в тайне судьбы молчаливый взгляд в глаза: «Может, я обидел этого попа?» И такой же молчаливый взгляд ста двадцати деревенских парней, когда он, солдат из городских, забывший увести на ночь коней в конюшню, стоит перед ротой. Он выдерживает этот взгляд, сгорая от стыда. Можно припомнить здесь для сравнения десятки рыдающих инвектив современных деревенских поэтов в защиту обижаемых лошадей, но такого молчаливого перекрестья взглядов, такой тихой самоказни, такой саморасплаты не припомню.

Скитанье корниловского героя только по внешности похоже на горизонтально-географические порывы молодой лирики его времени. В сущности, речь о свободе. Как и все крупные поэты «оттепельной волны», Корнилов пробует себя свободой, но у него свобода лишена того ореола, которым она светится «издалека»: свобода изнутри — это жернова ответственности, это невозможность освободиться от самого себя, от начавшейся судьбы. У одного Корнилова, кажется, так сильно выражен в послевоенном поколении этот мотив — жизнь нельзя переиграть. Мотив, сквозной для нашей лирики, мотив-соблазн для многих поэтов — можно переиграть, можно, дайте мне билетик на второй сеанс!

Или Шукшин сказал это в шутку? Может, и Визбор в шутку пел: «Начнем же все снова, а прошлое — зачеркнем!» Но у Евтушенко всерьез: «Я — разный!..» У Вознесенского всерьез: «Я — ничей!» Все верят, что никогда не поздно перевернуть страницу и начать с нуля. Корнилов говорит: нельзя. И хотеть этого нельзя. Тут — узел всех мотивов его лирики: «Жизнь как поэма была начата, и нету начала второго».

Тщета — не отчаяние. Отчаяние бывает там, где были иллюзии. А здесь их нет изначально. Поэтому нет и отчаяния, а есть

упрямство, есть крепость кремня, бурящего толщу. Нет того чувства, с которым переживает тему пути современная лирика, — чувства перевала: еще немножко, еще чуть-чуть, и — о! — открылось. У Корнилова путь не подъем к перевалу, у Корнилова туннель. Он собирает силы не для рывка, прыжка и полета, а для жизни при любой погоде.

.. Сберегайте, девчонки, силы,  
Запасайте, как сухари.

Понятно, что я прослеживаю все эти мотивы не ради демонстрации «богатства содержания» и «спектра эмоций». Позиция Корнилова в нашей поэзии 50—80-х годов состоит вовсе не в оппонировании по тем или иным пунктам, но прежде всего в общей системе ценностей. Поэтому я не решаюсь здесь на каламбуры вроде «корниловского мятежа», мятежа как раз нет, его куда больше у других, «громких» лириков, по пунктам и мотивам эти лирики куда яростнее спорили между собой, чем могли бы спорить Корнилов, однако вся его поэзия есть сквозное молчаливое замечание всей той «громкой», победоносной, молодой, наивной, бросающейся от восторга к отчаянию и обратно, так называемой современной лирики, которая стала во многом определять у нас погоду с середины 50-х годов.

В середине 50-х годов Корнилов писал большие поэмы; его тянуло в эпос; «вблизи прозы» его лирика жадно напивталась материалом; подстрочник жизни разворачивался в объемное, полное примет эпохи жизнеописание человека послевоенных лет, через детство которого рассекающей чертой прошла война, через молодость — второй чертой — смерть Сталина. Кто знает, каково было бы воздействие Корнилова на литературный процесс, появившись эти поэмы тогда в печати, но из всех них в свет проскочила только одна, наименее сильная — «Шофер», проскочила в сборнике «Тарусские страницы», после чего попала у критиков в черный список не из-за своих собственных недостатков, а именно за компанию с другими текстами злополучного и многорукого сборника. Что и обидно: поэма оказалась отключена от литературного процесса. Автор тоже.

Его первая книжка, «Пристань», после мучений вышедшая несколько лет спустя, в 1964 году, тоже, я считаю, не имела достойного резонанса, хотя и собрала с полдюжины рецензий, критики в ту пору охотнее витийствовали вокруг более громких имен; но смею утверждать, что воз-

действие этой книжки на поэтическую ситуацию было бесспорно — и вследствие ее, книжки, собственной силы, и по общему ощущению присутствия Корнилова в поэтической ситуации, все более выдававшему голос уникальный и мощный.

Вторая книжка его, «Возраст», вышедшая в 1967 году, воздействия на литературный процесс уже почти не имела. Не потому, что была слаба, нет, тяжесть и весомость ее несомненны, а потому, что ситуация уже отодвигалась в прошлое. Та ситуация, в которой Корнилов держал свой молчаливый фронт, была как бы аннулирована.

С 70-х годов имя его вообще исчезает из прессы.

Его стихи появляются теперь, в середине 80-х: эпоха гласности вернула Корнилову голос. И он прозвучал не как голос из прошлого, из 60-х благословенных годов, нет, он прозвучал словно бы изнутри нашего очнувшегося сознания.

Шесть больших поэтических подборок Корнилова в главных, самых читаемых сегодня журналах: в «Знамени», «Огоньке», «Новом мире» и «Дружбе народов» (приведем сюда и «Сельскую молодежь») — это около шестидесяти стихотворений, фактически книга стихов, большею частью новых, свежих, написанных за какой-нибудь год с небольшим: от ноября 1986 до ноября 1987-го... Возрождение? Воскрешение? Феникс из пепла? Мне, однако, приходят в голову другие определения и сравнения. Не Корнилов возродился — мы все возродились, не он воскресает — время воскрешено, ситуация возвращается, вопросы встают вновь, оборванные нити связываются. А он как был так и есть. Кремень. Молчал — теперь высказался.

Непраздничен этот Корнилов. Будничен. Прозаичская насыщенность его стиха вмещает бездну конкретности; это не программная прозаичность Слуцкого, воспаленно-поэтичного даже в прозе стиха, — это именно корниловский «подстрочник» бытия, бесконечно емкий к впечатлениям. Поверхность стиха — как ободранная кожа. Ощущение усталости внешнего слова, тяжести слова. И опять рифмует «свободу» и «заботу», «мытарства» и «горазды», «знакомство» и «изгойство»... Впрочем, за небрежностью — вдруг годами откованная хватка мастера:

И душу ободрить сиру  
Пред волею и бедой  
Навряд ли сейчас под силу  
Поэзии молодой.

Рифма-то глубокая... Но рифма, сатанинское ухищрение, безделка среди безделиц, —

только способ рассказать то, что впрямую, как есть, как прожито, ложится в стих.

Как прожито, так и ложится — в текучке быта, в элементарности забот. Прачечная в стекляшке: глажка белья совместно с незнакомым парнем, тянет разговориться, а страшно: вдруг, все узнав, отвернется собеседник от «отщепенца»? Тихо поет Окуджава, врачую души... В пустой полночной электричке джазисты тихо играют для себя... Военный оркестр на площади Маяковского громко играет про то, как вырыла немцу могилу в суровых боях под Москвой... Черный день начала войны: пустячная ссора с отцом и облегчение — отец у х о д и т и не успеет наказать... Тихий дождь в новом московском квартале. Эстакада у Рижского вокзала. Плачущий лай собак в питомнике на Погодинке... Весть о Чернобыле: серый дождь за окном, нельзя выйти, дети глядят на дождь, упираясь лбами в стекло. Доктор в поликлинике: диагноз, щитовидная железа, — значит, тоска, пропозывающая стихи, — всего только сбой каких-то кислотных процессов в организме? Жизнь современного интеллигента. Мысли об истории. Суворов, Гумилев, Перовская. Казни, бунты... Чтение Апокалипсиса — скука «страшных» сказок. Чтение Евангелия человеческая боль сквозь ненавистное святошество... Чтение Иннокентия Анненского: погребенное его богатство, загадка непризнанности Жизнь современного человека: похороны друзей, прощание в Шереметьевском аэропорту — как похороны. Старый артиллерист, умирающий в раковом корпусе на Каширке. Лицо Андрея Платонова, метущего в Литинституте двор, — и позднее покаяние студента, когда-то со скукой глядевшего на его муку... Похороны Александра Бека, речи и умолчания, судьба, убившая писателя за четырнадцать лет до всеобщего признания. Горькая мысль: «Это все мы сами натворили бед, никого над нами не было и нет». Слепенький старик на скамейке рассказывает о своей перчеркнутой жизни мальчику, круша тому детство... Мысль о Севере: люди терпеливо живут на вечной мерзлоте. Поездка в Армению: пьянящий Эчмиадзин, огонь чужой веры укрепляет душу. Шахматы и кино, когда-то, в юности, выручавшие от тоски. Дебелая Марика Рокк, завоеванная, трофейная, поет и пляшет на послевоенном экране в одной реальности с колоннами серых ватников... Вечер нового шахматного чемпиона: Гарри Каспаров — игрок и спорщик, фехтовальщик, артист, победитель, смеющийся над чужой слабостью,



человек из XXI века... Корнилов чемпиону аплодирует. Но не принимает.

Он — человек XX века. Летопись трудов и потерь, бед и крушений, иллюзий и прозрений этого века во второй половине можно составить по его стихам. С войны начинала. Через тщету быта. Через литинститутские собрания, выявлявшие «космополитов». Через армейские казармы 1952 года. Сюда к нам, в эпоху надежды. Что это? Дневник? Исповедь? Копошение поэзии «возле прозы»? А где же полет?

А полет там, где специально в небо не прыгают и крыльями напоказ не размахивают. «Возле прозы» дух поэзии может так укрепиться, до такой тверди достать, что небо с землей соединится. Надо же слышать в стихе ритмы духа, категории абсолюта, в самом быте гнездящиеся, надо в этом дневнике прозы почувствовать поэзию — систему ценностей прочесть!

Не готов я к свободе —  
По своей ли вине?  
Ведь свободы в заводе  
Не бывало во мне.

Никакой мой прапрадед  
И ни прадед, ни дед  
Не молил Христа ради:  
«Дай, подай!», видел: нет.

Что такое свобода?  
Это владеть утех?  
Или это забота  
О себе после всех?

Это о свободе стихи или о несвободе?  
Это с крыльями душа или без крыльев?  
Загадка для детей изрядного возраста.

Положим, поэзия и должна быть загадкой, до конца не решаемой. Но в таком случае надо поточнее сформулировать, в чем загадочность ее на данном этапе. Что разгадывается? Что он угадал? Корнилов ведь не угадчик...

Вот несколько вопросов для дальнейших раздумий.

Где центр тяжести корниловского стиха: в том, про что рассказывается, или в самом стихе, в его организме, в его фактуре и строении?

Любой школьник сегодня ответит, что поэзия вообще не про что, а что. Сам стих. Голос. Тембр.

А стих — что, самоцель? Голос — для нашего наслаждения, что ли? Тембр — чтобы войти в ансамбль?

Одному — войти, другому, наоборот, выйти. Голос — это голос человека. Стих как таковой — не сработанная вещь, это знак состояния, ступок реальности, духовной

реальности, в известном смысле всеми созидаемой. Тут диалектика в чистом виде: стих срабатывает на реальность, только если живет от нее автономно, как самостоятельный организм, но если он автономен и только — он не живет.

В корниловском стихе центр тяжести — «и там, и тут». Я недаром перечислил внешние темы его новых циклов: личность подключена ко всем клеммам — политика, религия, история, литература и, простите, чуть не напрямую — перестройка. Мешает мне это? Здесь — нет. Потому что это не передача информации, а весть о личности.

Честно говоря, я вообще лучше воспринимаю опыт, о котором напрямую сказано, просто по складу я такой же человек нашего времени, из поколения «шестидесятников», пробужденных XX съездом, мне нужно обо всем этом думать и говорить. Даже если и сформулируют, что это у Корнилова «гражданская зрелость». Ничего, стерплю. Хотя и понимаю, что осуществиться поэзия может и на отсутствии такой прямой фактуры. Отсутствие — тоже форма присутствия. «Шепот. Робкое дыхание» — отрицательная форма вопля и хрипа. И в теперешней «абсурдистской» поэзии молодых «концептуалов» (от которой мягко, но твердо отделил себя Корнилов) можно расшифровать, почувствовать, понять присутствие личности, заставшей мир в предощущении возможной катастрофы, о которой не говорят. Мне ближе — когда говорят, когда материал раскален.

Так что, дело в материале?

Нет. Дело в переживании материала.

О том, что Платонов мел литинститутский двор, я знал и до Корнилова. Теперь-то что уж кулаками махать, когда Платонов всеобщим любимым автор и полосы в «Литгазете» идут о том, как его недооценили. Но мне нужна корниловская мука, и то, как он теперь не может освободиться от чувства тогдашней вины, и то, как он говорит об этом — прямыми, угрюмыми словами, прямой речью.

Кажется, нет остранения. И уж точно нет чисто поэтического строфостроительства. Редчайший случай, когда у Корнилова виден прием, нет, след приема, какое-то полуавтоматическое движение профессионала — замкнуть стихотворение. «И чертежник из меня не вышел» — умелая литота, замыкающая воспоминание о 22 июня 1941 года. Но замкнутое как поэтический организм воспоминание разомкнуто в духовную бездну: дело именно в том, как прикрыта развершаяся бездна тонким ученическим черте-

жиком, в невозможности вернуть тот день, поправить судьбу.

Невозможность поправить судьбу, смирение с этой невозможностью — знак свободы? Или знак покорства обстоятельствам? Вопросы из той же серии, что и загадочная автономность корниловского стиха, его явная эстетическая самодостаточность относительно эмпирики, самоочевидное осуществление «второй реальности», — но так, что эта «вторая реальность» сама себе не нужна и прикована в свою очередь все к той же эмпирике.

А не загадочна ли категория личности, по определению, независимой от всего, что ее питает, и, по определению же, всецело этим воспитуемой? Общий поворот русской лирики (по внешним признакам и обобщенно говоря) от второй к третьей четверти XX века — поворот от массы к личности. 20-е, 30-е, 40-е годы... «Каплею льешься с массами», не так ли? По «желобу катишься», да? От Маяковского до Слуцкого индивид реализуется через единство с потоком. Затем от Евтушенко до Кузнецова — идет поперек. Но ведь и в единстве с потоком, в глобальной ситуации, когда революция и война Отечественная создали совершенно особое напряжение, реализовалась именно личность! Через слияние! А затем, идя поперек потока, новый герой черпал-то откуда? Из того же потока. Базис прежний: не из чего человеку себя собрать как из того же материала, что вокруг. Этот материал можно было переворачивать, можно было эстетизировать, можно было разом и переворачивать и эстетизировать, создавая для нового индивида как бы новую, современную (часто — катастрофическую, от Вознесенского до Кузнецова) духовную среду. Вне среды индивид засыхал.

В чем уникальность Корнилова? Он за все это не держится. Он не переворачивает пункты реальности, не исправляет ее, не верит в это, не реагирует на ее повороты; здесь дух держится как бы сам собой, из себя, изнутри — самим сознанием независимости. Здесь вторая и третья четверти XX века как-то странно состыкованы, без перехода и без сопряжения — ударом двух камней, ложащихся в стену. Старший брат верил безоговорочно, кричал «ура», воевал, погиб; Корнилов понимает, что произошло

с братом, что его убило; и все-таки — брат был «счастливей и лучше меня». Это — взгляд в прошлое, в 40-е годы, в поток, уносящий личность. А вот взгляд в будущее, в 80-е и 90-е: «Не готов я к свободе»... Стыкуется? Есть перестройка личности? Или есть трагическое ощущение пути, когда личность верна себе? Верна в себе — тому, что самый путь делает единым путем, а не серией поворотов по сигналу.

Личность начинает реализовываться в тот самый миг, когда она начинает реализовываться — и именно как целое, вполне. Нет «суммы качеств», по достижению которой человек может сказать себе: теперь я личность. Нет ни срока, ни веса для фиксации этого чувства, оно — в самом присутствии выбирающего «я», в самом праве выбора, в факте выбора, в факте отказа от выбора.

«Не готов я к свободе...»

Созданные, эти стихи становятся парадоксальным утверждением свободы, более весомым, чем иные манифесты самораскрепощения. Дело в тоне и в музыке, в том, какая преодолевается драма и каков опыт преодоления.

Есть такое старинное расчленение категорий свобода от... и свобода для... И то и другое — свобода. А разница — это уже от судьбы. В судьбе каждого коренится разница. В личности, в том, как оплачен опыт:

Что такое свобода?  
Это кладь утех?  
Или это забота  
О себе после всех?  
\* \* \* \* \*

Океаны тут пота,  
Гималаи труда!  
Да она ж несвободы  
Тяжелее куда.

Я ведь ждал ее тоже  
Столько долгих годов,  
Ждал до боли, до дрожи,  
А пришла — не готов.

Так я спрашиваю: этот стих свободен или нет? А само это высказывание — знак чего: свободы или несвободы? А строчки — летят или влачатся? О бессилии говорят или о силе? О какой силе? Толкнуть слабого? Или о какой-то другой?

А почему Корнилов мне ближе всех — понятно?

# ЖИЖИЖИ ОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Валентин Берестов. «И опять я в мыслях полагаюсь на слова людей...».—  
Э. Бабаев. Сообщающиеся миры. — Александр Зорин. Ключевое слово.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

И. Погребов. Критика нужна, но какая?

### Литература и искусство

## «И ОПЯТЬ Я В МЫСЛЯХ ПОЛАГАЮСЬ НА СЛОВА ЛЮДЕЙ...»

Владимир Высоцкий. Кони привередливые. Стихи. Составитель

Р. И. Рождественский. М. «Правда». 1987. 29 стр.

Я, конечно, вернусь... Стихи и песни В. Высоцкого. Воспоминания. Составитель  
Н. А. Крымова. М. «Книга». 1988. 463 стр.

Доверчивый инопланетянин, изучая русскую поэзию, решил бы, что классики XIX века, если верить их словам, пели свои стихи на площадях, во дворцах, в кругу друзей, аккомпанируя себе на струнных инструментах (Пушкин — на лире, Лермонтов — на арфе, Аполлон Григорьев — на гитаре). Гостя Земля потрясла бы в XX веке попытки сыграть на флейте водосточных труб, на флейте-позвоночнике. И не удивило бы, что в середине века на сцене в дружеском кругу вновь появились поэты-певцы со струнными инструментами в руках. Поэзия и весь облик Владимира Высоцкого — это осуществленная метафора поэтов XIX века. Они писали перьями и ощущали себя певцами. Высоцкий пел под гитару и считал себя профессиональным поэтом.

Главное в поэзии Высоцкого — то, что он предельно (ов все делал на пределе) был верен вековому образу поэта-певца, буквально следовал старинным заповедям. Особенно Лермонтова, чей могучий голос прозвучал в безгласное время:

В наш век изнеженный не так ли ты, поэт,  
Свое утратил назначенье.  
На злато променяв ту власть которой свет  
Внимал в немом благоговенье?

Недавний застой породил хозяйственников не от мира сего, у которых импортное оборудование ржавело под снегом,

и практичнейших поэтов, которые своего не упустят. Те и другие гнали вал и вечно что-нибудь пробивали. Пробовал пробиться и Высоцкий:

Я суеверен был, искал приметы,  
Что, мол, пройдет, терпи, все ерунда...  
Я даже прорывался в кабинеты  
И зарекался: — Больше — никогда!

Гордое «больше — никогда» достойно образа поэта-певца, барда. А техника XX века и впрямь может дать такому певцу «власть, которой свет внимал в немом благоговенье», и сделать так, чтобы записанный на пленку стих почти «как божий дух носился над толпой». Лермонтовские метафоры материализовались!

1968 год. Турбаза в Пасанаури. Только что пришла с ледника. Не люблю орущих динамиков. Но голос Высоцкого носился над Арагвой, над пушкинскими холмами Грузии, как дух самих гор:

Лучше гор могут быть только горы —  
На которых еще не бывал.

Романтическая красивость? Предыдущие строки настораживали, казались случайно подобранными для небогатой рифмы:

Так оставьте ненужные споры —  
Я себе уже все доказал.

Записал эти строки на бумагу и увидел в них истину. Да, бывает такое, что нуж-

но доказывать прежде всего самому себе, испытать самому... Тянь-Шань. Мы с Кайсыном Кулиевым поднимаемся в машине от Исфары вдоль белой от ярости речки. Горы лиловые, желтые, малахитовые поворачиваются то торцами, то фасадами. Кайсын счастлив, как дитя: «Это лучше моего Чегема! Я таких еще не видал!» Он не изменил родному Чегему, а лишь подтвердил постулат Высоцкого: «Лучше гор могут быть только горы — на которых еще не бывал».

Что же до споров, поэт ли Высоцкий или же он некое «явление», то тут, говоря его словами, я себе уже все доказал. И когда в 70-х годах нас с Б. Заходером спросили, как мы относимся к Высоцкому, мы, не сговариваясь и даже не упомянув о кино, о театре, о гитаре, заявили, что он — замечательный поэт... Гёте говорил, что поэт должен писать для миллионов. А мы оба тогда как раз писали для миллионов людей, только маленьких. И нам была понятна поэтика тех, кто пишет для миллионов. Говорят, это передали Высоцкому и он обрадовался.

Думаю, Высоцкий, как и многие его слушатели, возрос на советской детской поэзии, с малых лет усвоил ее дух. Ему стали близки и заповеди Чуковского, хоть они обращены к тем, кто пишет для малышей. Скажем, заповедь, требующая от стихов, чтоб они были игровыми, сценичными. В кого только не перевоплощался поэт-актер:

А это кто — в короткой маечке?  
Я, Вань, такую же хочу.  
В конце квартала, правда, Вань,  
Ты мне такую же сваргань.  
Ну, что «отстань», всегда «отстань»?  
Обидно, Вань.

«Детский» поэтический прием игры ритмами, и «взрослое» отвращение к бездуховности, и жалость, доброта к ее жертвам.

Как славно после этого перевоплотиться в альпинистов:

Ты идешь по кромке ледника,  
Взгляд не отрывая от вершины.

Дальше читайте вслух. Никто еще так не говорил:

Горы спят, вдыхая облака,  
Выдыхая снежные лавины.

Содержание самое взрослое, но осуществлено не менее четырех «дошкольных» заповедей Чуковского: 1) в каждой строке — материал для художника, 2) наивысшая смена образов, 3) рифмы опреде-

ляют суть (ледника — облака, вершины — лавины), 4) певучесть. «Поэт-рисовальщик, — настаивает Чуковский, — должен быть поэтом-певцом», что нелегко, ибо «поэт-рисовальщик почти никогда не бывает поэтом-певцом. Тут две враждебные категории поэтов».

И кому как не певцу осуществлять заповедь, требующую от каждой строки повышенной музыкальности поэтической речи. Повышенное благозвучие — важное свойство поэзии Высоцкого:

Вниз по Волге плывая,  
Прохожу пороги я  
И гляжу на правые  
Берега пологие.

На 28 гласных всего 30 согласных! И везде жесткая реальность рядом со сказочностью. Итак, перевоплощаемся в шахтеров:

Мы топливо отнимем у чертей —  
Свои котлы топить им будет нечем!

А вместо привычного «вперед и выше!»:

Не бойся заблудиться в темноте  
И захлебнуться пылью — не один ты!  
Вперед и вниз! Мы будем на щите —  
Мы сами рыли эти лабиринты!

Поэзия Высоцкого, как и хорошая детская поэзия, при всей популярности и ясности отнюдь не относится, как считают иные, к явлениям массовой культуры. Она, как и детская поэзия, ближе к фольклору, к романтикам прошлого века:

Я опущусь на дно морское,  
Я полечу за облака.

Гордое обещание лермонтовского Демона залетело в душщипательный романс про очаровательные глазки! Но возможен и обратный путь: под перебор гитары — к высокой поэзии. Итак, опустимся вместе с Высоцким на дно морское. Это стихи о войне:

Уходим под воду в нейтральной воде.  
Мы можем по году плевать на погоду,  
А если накроют — локаторы взвоят  
О нашей беде.

Какие внутренние рифмы (по году — по году), какое поэтическое открытие: люди, живущие без погоды в отсеках подводной лодки.

Зато сейчас за облака не полетишь разве что из-за той же погоды, из-за капризов небесной канцелярии:

Взлетим мы, распогодится — теперь  
запреты снимут.  
Напрягся лайнер, слышен визг турбин...

Но я уже не верю ни во что, меня  
не примут —  
У них найдется множество причин.

Мне надо, где метели и туман,  
Где завтра ожидают снегопада..  
Открыты Лондон, Дели, Магадан,  
Открыто все — но мне туда не надо.

А с неба на землю можно и затычным прыжком из стратосферы:

И обрывают крик мой,  
И выбривают щеки —  
Тупой холодной бритвой  
Серебрут по мне потоки.  
На мне мешки заплечные,  
Встречаю — руки в боки —  
Шальные, быстротечные  
Воздушные потоки.

И вот «шнур микрофона словно в петлю свился». Значит, снова «я к микрофону встал как к образам»? Внимание публики обращая на самого певца? Но микрофон — общий атрибут нашего времени. Он и у Высоцкого, и у нормального, не поющего поэта, у нормального, не пишущего певца, у казенного оратора с его ритуальным: «Разрешите, товарищи, ваши аплодисменты считать...» И — у космонавта. Мало того:

Эксперимент вошел в другую фазу.  
Пульс начал реже в датчики стучать.

Не только голос, а и все тело героя говорит с Землей, пославшей его в полет. Вернемся к микрофону первого космонавта, к голосам его души и тела:

Шнур микрофона словно в петлю свился,  
Стучали в ребра легкие, звеня.  
Я на мгновение сердцем подавился —  
Оно застряло в горле у меня.

Человек с микрофоном, кем бы он ни был, должен владеть стилем:

Я отдал рапорт весело, на совесть,  
Разборчиво и очень делово.

Вот они, истовость, толковость, звонкость, то, чего ждал от поэтов С. Маршак, патриарх детской поэзии! С совестью у Высоцкого рифмуется «невесомость»: «Я вешу нуль, так мало — ничего!» В общий опыт человечества, а с помощью поэта и в его лирический опыт включалась невесомость. Это не пелось под гитару, это просто стихи в ритме «О доблестях, о подвигах, о славе...»:

Но я не ведал в этот час полета,  
Шута над невесомостью чудной,  
Что от нее кровавой будет рвота  
И костный кальций вымоет с мочой.

Физиологично? Но без этого не оценить всей меры героизма.

Натуралистично? Вне традиции? А Пушкинское «и в распухнувшее тело раки черные впились»? А лермонтовское «и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел»? Отзвук «Бородина» послышится у Высоцкого в песне «Мы возвращаем Землю»:

Всем живым — ощутимая польза от тел:  
Как прикрытые используем павших.

Он, как и Лермонтов, решился говорить от имени участников Отечественной войны. Этому помогла его психология бойца. Он был так правдив и смел, что, услышав его песни о войне, бывшие фронтовики порой думали, что Высоцкий — их однополчанин. Он всегда был вонителем:

А рядом случаи летают, словно пули,  
Шальные, запоздалые, слепые, на излете.  
Одни под них подставиться рискнули,  
И сразу — кто в могиле, кто в почете.

Он не хотел хитрить и приспособляться:

Средь суеты и кутерьмы, ах, как давно  
мы не прямы!  
То гнемся бить поклоны впрям, а то —  
завязывать шнурок.  
Стремимся вдаль проникнуть мы, но даже  
светлые умы  
Все излагают между строк — у них расчет  
на долгий срок.

Высоцкий оставался смелым и прямым, даже сочиняя песни на заказ. Для фильмов, для спектаклей. Иные отметались, но им все равно была суждена долгая жизнь, ибо поэт вложил в них всю душу. Иные поручались профессиональным исполнителям. Есть и песни для детей к диско-спектаклю «Алиса в стране чудес». Поэт и тут проверял жизнью привычные формулы (например, «счастливые часы не наблюдают») и вооружал юных слушателей понятиями чести, высоким взглядом на мир:

Но... плохо за часами наблюдали  
Счастливые,  
И нарочно Время замедляли  
Трусливые,  
Торопили Время, понукали  
Крикливые,  
Без причины Время убивали  
Ленивые.

Так мы проиграли перестройку 60-х годов. (Я был в числе «счастливых».) И — урок потомству:

Обижать не следует Время,  
Плохо и тоскливо жить без Времени

Его Гамлет мыслил и сражался и на сцене и в песнях. Парадоксальную вещь

сказал об актере Высоцком режиссер А. Эфрос: «В нем не было ничего актерского, никакой позы, монолог Гамлета читал будто собственные стихи». Зато свои стихи не читал, а пел в микрофон. Спасибо НТР, спасибо техническому прогрессу! Благодаря им народ услышал поэта. Услышал, но, в сущности, не прочел при его жизни. Увлеченный мелодиями, манерой пения, обаянием личности, не стал переписывать на бумагу тексты с крутящихся кассет. Но после смерти Высоцкого вышел сборник «Нерв», составленный Р. Рождественским. Там стихи еще не совсем отделены от музыки, они даны по темам, как в фольклорных собраниях песен и частушек.

Но с легкой (и щедрой) руки Р. Рождественского поклонники Высоцкого заинтересовались его стихами. Мне попалось немало самодеятельных «изданий» Высоцкого, бережно переплетенных, иногда со статьями и стихами, посвященными поэту.

Зато две новые книжки Р. Рождественский и Н. Крымова составили не по тематическому принципу. В них даже очень известные песни воспринимаются именно как стихи. А в сборник «Я, конечно, вернусь...» включены короткие эссе и воспоминания о поэте.

О чем пел бард со сцены? Он пел о литературе. Пел от имени Гамлета:

Я прозевал, глупея с каждым днем,  
Я прозевал домашние интриги  
Не нравился мне век и люди в нем  
Не нравились. И я зарылся в книги.

А это уже от имени не Гамлета, а своих сверстников И снова Высоцкий связывает духовность с физическим напряжением:

Липли волосы нам на вспотевшие лбы,  
И сосало под ложечкой сладко от фраз,  
И кружил наши головы запах борьбы.  
Со страниц пожелтевших стекая на нас

Ему, актеру, не раз приходилось (Галилея все-таки играл!) передавать физическую мощь работы мысли... Как-то, стоя внутри только что раскопанных венцов сруба на Ярославовом Дворище в Древнем Новгороде, я наблюдал, как рождается новая мысль. Мы, студенты-практиканты, спросили профессора Арциховского: «Артемий Владимирович, вы часто говорите афоризмами. Могли бы вы с ходу определить какое-нибудь общее понятие?» «Например?» — загорелся профессор. «Например, мораль». Лицо Арциховского налилось кровью и

усеялось потом, и он сказал: «Мораль — это пошлая попытка кодифицировать веления человеческой совести».

Гамлет у Высоцкого стоит и перед такой проблемой:

Мой мозг, до знаний жадный, как паук,  
Все постигал: недвижность и движенье.  
Но толка нет от мыслей и наук,  
Когда повсюду им опроверженья.

Значит, одних знаний мало. И Высоцкий принялся будить не только мысль, не только чувства. Всеми средствами, включая магическую хрипоту, он будил даже инстинкты, скрытые в глубине таинственной подкорки. Ведь есть же, должен быть инстинкт самосохранения человечества! Есть великие книги, песни, легенды, сказки, созданные не без его помощи. И если этот инстинкт заработает в полную силу, то:

Упадут сто замков, и спадут сто оков,  
И сойдут сто потов с целой груди веков,  
И польются легенды из сотен стихов —  
Про турниры, осады, про вольных  
стрелков.

Ты к знакомым мелодиям ухо готовь  
И гляди понимающим оком.  
Потому что любовь — это вечно любовь,  
Даже в будущем вашем далеком.

Возрождение высоких понятий, как и рождение мысли, как работа в космосе, связано для поэта с предельным напряжением всех сил, духовных и физических:

Время эти понятия не стерло,  
Нужно только поднять верхний пласт —  
И, дымящейся кровью из горла,  
Чувства вечные хлынут на нас!..

Зато никакой физиологии — в стихах о любви. Любовь — личное достояние каждого из нас. Но объединяя двоих, любовь объединяет и человечество, страны, времена в единую Страну Любви. В том числе — и «погибших от невиданной любви»:

Их голосам — всегда сливаться в такт,  
И душам их дано бродить в цветах,  
И вечностью дышать в одно дыханье,  
И встретиться — со вздохом на устах —  
На хрупких переправах и мостах.  
На узких перекрестках мирозданья.

Любя одну, он любит всех любящих:

Я поля влюбленным постелю —  
Пусть покоят во сне и наяву!  
Я дышу — и, значит, я люблю!  
Я люблю — и, значит, я живу!

Большая, плодотворная вещь — детские вопросы. Мальш рыдал, выслушав Пушкинскую «Сказку о мертвой царевне». «Но ведь королевич Елисей поцеловал царевну,

и она воскресла», — утешали его взрослые. «Да-а, — всхлипывал ребенок. — А собачку не поцеловал!» Он рыдал по псу, отравленному Чернавкой.

У Высоцкого немало таких детских вопросов. Вот, например, знаменитая песня про то, как в степи глухой замерзал ящик, отдавая наказ товарищу. Кого смутит эта условность? Но поэт дружества, считавший дружбу главной ценностью, удивился: значит, один замерзнет, а другой поедет выполнять наказ друга к его семье?

И звенела тоска, что в безрадостной песне поется,  
 Как ящик замерзал в той глухой  
 незнакомой степи  
 Усыпив, ящичка заморозило желтое солнце.  
 И никто не сказал — шевелись, подымайся,  
 не спи.

Тут мы свидетели того, как фольклоризм сочетается у Высоцкого с реализмом. Что же спасло второго ящика? Тот, первый —

.. хлеща лошадей, мог бы этим немного согреться,  
 Ну, а он в доброте их жалел, и не бил,  
 и замерз.

В письме другу из Парижа Высоцкий, внешне фамильярничая с классиками, но при этом всерьез относясь даже к их обмолвкам, замечает: «Только кажется, не совсем это верно говорили уважаемые товарищи Чаадаев и Пушкин: «Где хорошо, там и отечество». Вернее, это полуправда. Скорее — где тебе хорошо, но и где от тебя хорошо».

От него было хорошо всем, кроме, говоря языком персонажей детской сказки Татьяны Александровой, «нечувственников и ненавистников». У Высоцкого есть стихи «Мой черный человек в костюме сером...». Досталось там и бюрократам, и кликушам, и сплетникам. Но досталось и

нам, его собратьям, в том числе и любившим его:

И мне давали добрые советы,  
 Чуть свысока, похлопав по плечу,  
 Мои друзья — известные поэты:  
 — Не стоит рифмовать «кричу — торчу».

Капля, переполнившая чашу? Сразу после этого:

И лопнула во мне терпенья жила.  
 И я со смертью перешел на «ты»...

Я не был знаком с Высоцким. Но до меня долетали его песни. В 1968 году, когда мне неистово писалось, я нашел дом у шоссе, откуда каждый день, кроме выходных, от четырех до шести слышался голос Высоцкого. Кто-то работал под его песни, мастерил, чертил, изобретал. А я сидел на краю кювета и слушал, успевая восхищаться рифмами, строчками, поэтическими находками. Нужно было не полениться, найти магнитофон, свести для себя на бумагу строчки стихов с вертящихся кассет, написать поэту о том, как мне это все нравится. Написать хотя бы о том, что у юного Лермонтова есть стихи, посвященные московскому гитаристу Высотскому (разница в одной букве!).

Всемогущий! что за звуки! жадно  
 Сердце ловит их,  
 Как в пустыне путник безотрадной  
 Каплю вод живых!

А дальше — важные черты поэзии Владимира Высоцкого:

И опять безумно упиваюсь  
 Ядом прежних дней,  
 И опять я в мыслях полагаюсь  
 На слова людей.

И я вижу улыбку Владимира Семеновича в ответ на это странное наблюдение.

Валентин БЕРЕСТОВ.



## СООБЩАЮЩИЕСЯ МИРЫ

С. Г. Бочаров. О художественных мирах. Сервантес. Пушкин. Баратынский. Гоголь. Достоевский. Толстой. Платонов. М. «Советская Россия». 1985. 296 стр.

С. Бочаров. Роман Л. Толстого «Война и мир». М. «Художественная литература». 1987. 156 стр.

В старину были такие карты, где в центре помещался общий очерк мира в окружении укрупненных изображений отдельных великих частей света. Так сборник статей С. Г. Бочарова «О художественных мирах» соседствует с его монографиями «Роман Л. Толстого „Война и мир“» и «Поэтика А. С. Пушкина».

Книга Бочарова «О художественных ми-

рах» состоит из нескольких очерков, посвященных «внутреннему миру художественного произведения». Эти «внутренние миры» рассматриваются не как замкнутые системы, а именно как «сообщающиеся миры» с их «тайными и явными переключками».

В статьях, составляющих книгу, как отмечает Бочаров в авторском предисловии,

можно видеть фрагменты «большой картины», «только отдельные звенья», но это звенья «связного, духовно направленного пути». И книга Бочарова, несмотря на объявленную автором фрагментарность, производит цельное впечатление именно благодаря тому, что в ней есть это ощущение «духовно направленного пути».

Очерки сменяют друг друга как последовательные главы сюжетного повествования, посвященного исследованию исторических, психологических и поэтических глубин самого понятия реальности в литературе.

Книга начинается главой о «Дон Кихоте» («Композиция „Дон Кихота“»), в которой речь идет о значении критического сознания в жизни и литературе. У Дон Кихота, например, история и сказка идут как бы в одном ряду: «Для Дон Кихота нет перехода от исторической личности к герою рыцарского романа — как в его образе мира и во всех его действиях нет перехода между реальностью и фантазией».

С исторической точки зрения особенности мышления Дон Кихота объясняются тем, что он был человеком эпохи средневековья. «Сознание Дон Кихота — сознание реалиста (в средневековом значении), который верит в реальность общих понятий». Кажется, очень просто опровергнуть фантазии рыцаря. Великим мастером на этот счет был Санчо Панса, но он недаром изображен как его оруженосец. Все дело в том, что Дон Кихот сам «знает все то, что могут ему сказать, но знает и что-то еще».

И вот почему Достоевский с такой страстью и увлечением читал и перечитывал Сервантеса, считая «Дон Кихота» одной из величайших книг мировой литературы. Дон Кихот во время кукольного представления роняет вешние слова: «...чтобы вывести истину на свет божий, потребны бывают и проверки и даже перепроверки». Он не сомневается в существовании великанов. Ему только кажется сомнительным, чтобы рыцарь мог одним ударом рассечь сразу целую толпу своих врагов, как об этом говорится в романах.

Его смутила частность, подробность, деталь, в то время как самое основание фантастического взгляда на жизнь он считал несомненным. «Фантастический человек вдруг затосковал о реализме!» — восклицает Достоевский с торжеством мыслителя, который знает силу и необходимость идеальных представлений, но который знает и неотвратимость реальности, требующей проверки и перепроверки.

В очерке о Сервантесе ярко обозначена, сосредоточена сама проблема реальности,

которая определяет и освещает «далевую перспективу» всей книги Бочарова о художественных мирах.

Органичным выглядит переход ко второму очерку, где речь идет о соотношении реального и фантастического миров. На сей раз в повести Пушкина «Гробовщик». У Пушкина гранью между реальным и фантастическим становится сон, который «образует другой порядок событий». Причем этот новый порядок обращен не в будущее, а в прошлое, изменяя в нем течение и последовательность событий. И действие переключается из «фабулы яви» в «фабулу сна», и сама повесть становится странной панорамой, в которой сопоставлены «явный и неявный план жизни». Герой повести благодаря тому, что он скован сновидением, совершенно лишен возможности опознать реальность или противоборствовать фантомам сна.

Бочаров усматривает определенную связь между Адрианом Прохоровым, гробовщиком из повести Пушкина, и героем раннего рассказа Достоевского «Господин Прохарчин», который оказался в плену какого-то «полусна, полубреда», когда «вдруг как будто во что-то прозрел и заробел перед чем-то».

В чем состоит этот прохарчинский бред? А состоит он в том, что Прохарчин всю жизнь хотел «выключить себя из круга общей человеческой беды» (смерти или чего другого), а между тем в глубине сознания у него идет своя «разрушительная работа совести».

...«Параллель, которая нам показывает, как всходили незаметные пушкинские посевы в нашей литературе». Такое сопоставительное изучение истории литературы кажется нам в высшей степени плодотворным. Бочаров сумел уловить острый луч гениальной мысли Достоевского, вдруг осветивший таинственные глубины повести Пушкина.

За развертыванием внутреннего сюжета книги «О художественных мирах» интересно следить. Нигде не пропадает ощущение внутренней логичности последовательности внешне совершенно свободного повествования.

Очерк, посвященный Баратынскому («„Обречен борьбе верховной“»), — один из самых сложных в книге. Бочаров характеризует аналитический ум Баратынского, силу его «раздробительного» силлогизма в поэзии как одну из стадий пройденного им сложного творческого пути.

В поэме Баратынского «Вера и неверие» все отзывается карамазовской раздвоенностью и противоречивостью. Достоевский в лирическом мире Баратынского — эта тема



как бы заново открыта Бочаровым и впервые представлена в таком неожиданном сопоставлении: «Поднимаются будущие вопросы Ивана Карамазова, и с той же аргументацией: боготорческий ропот с силой аргументируется указанием на нравственное несовершенство мира».

Поэзия Баратынского была свидетельством глубокой моральности мышления как коренной особенности русской классической литературы. Именно поэтому его поэзия оказалась «в родстве» с художественной прозой Достоевского.

«Моральность мышления», органически присущая гуманистической культуре XIX века и столь притягательная для нас в XX веке, и определяет внутреннюю связь художественных миров в русской классической литературе.

При разборе такой сложной книги, какой представляется нам книга Бочарова «О художественных мирах», важно, говоря словами автора, «не отрываться от текста повести и суметь от него оторваться».

В очерке о Гоголе («Загадка «Носа» и тайна лица») говорится о сложности самого понятия «реальность», о последствиях разрушительной работы «раздробительного анализа». И Гоголь пишет о «дробях прихоти» и «дробях познаний». Такой «дробью» и явился «Нос» вместо «лица». Гоголевский вопрос в литературе как раз и есть не вопрос даже, а запрос о значении лица человеческого. «По отношению к так увиденному герою,— пишет Бочаров,— и поднимается гоголевский запрос о лице человека».

Гоголь затосковал о лице человеческом; он увидел возможность распада, разрушения, «замещения лица», низведения его к нулю. «Эта литература,— пишет Бочаров о русской литературе 30—40-х годов,— уже имела дело с человеком в таком последнем унижении и оскудении, какое для западного мира и искусства станет столь осязаемой реальностью и актуальной темой уже в результате испытаний XX века».

И снова мысль исследователя обращается к Достоевскому который остается его главным собеседником. Различие между Гоголем и Достоевским очевидно, но они создали сообщающиеся художественные миры. «Восстановление» человека было как бы «противоположным заданием» которое осуществлял Достоевский если сравнить его с Гоголем Но он был во многом подвигнут к исполнению этого «задания» художественными открытиями Гоголя «Этой гоголевский разрыв в человеке.— пишет Бочаров,— и задавал вопросы. «Лавящие ум», о которых скажет потом Достоевский».

Глава «Переход от Гоголя к Достоевскому»— центр историко-литературной концепции Бочарова, потому что вся его книга «О художественных мирах» прежде всего посвящена Достоевскому.

И далее речь идет о «Братьях Карамазовых»— и традициях Пушкина. Здесь намечаются две магистральные темы: первая— это выход и уход Достоевского из мира Гоголя. «Легендарная фраза: «Все мы вышли из гоголевской „Шинели“, кому бы она ни принадлежала, оказалась удачной формулой этого двустороннего отношения: „вышел“ одновременно — „произошел“ и „ушел“— „оторвался“». А вторая— это «двустороннее отношение» Достоевского к Пушкину, выраженное им в столь же легендарной формуле: «У нас все ведь от Пушкина».

Для Достоевского особенно важен Пушкин «в композиции русской литературы», в ее перспективе. М. Бахтин метко сказал, что Пушкин в эстетике Достоевского был «далевым образом», он видел его в перспективе будущего. «„Далевого образа“ Гоголя у Достоевского не было»,— замечает Бочаров.

Гоголевский вопрос в истории русской литературы отличается большой остротой и актуальностью. Потому что здесь речь идет не только о «непосредственной жизни», но и о «сердце вышнем» и «глубочайшей совести», что и определяет «переход» от Гоголя к Достоевскому и Л. Толстому.

Книга Бочарова завершается развернутым очерком о прозе 20—30-х годов XX века. В центре этой статьи сложная и притягательная личность Андрея Платонова, чье творчество рассматривается в его соотношениях с поэзией Заболоцкого, прозой Неверова и других писателей.

Между прочим, эта статья может служить примером того, в какие сложные условия попадал еще недавно историк литературы, наталкиваясь на запреты, наложенные даже на упоминание таких замечательных произведений, как «Ювенильное море» или «Котлован».

Книга Бочарова противостоит и моде на научность, и скороспелому и самоуверенному наукообразию. В этом заключается ее не только филологический, но и, я бы сказал, нравственный смысл. Бочаров как автор отличается большой филологической зоркостью. Поэтому и его научный кругозор оказался таким широким, панорамным. Из размышлений над внутренней природой творчества возникает столь характерный для книги «философский спор на такую огромную тему, как свобода и закон в космическом мироздании...».

Бочарову как писателю особенно близки те художественные миры, в которых под покровом «хаоса, игры произвола и случая» чувствуется «целесообразная связь», «гармоническое начало», «царство правды». Можно сказать, что гармоническое начало чувствуется и в его книге, что и придает ей не только научное, но и художественное значение.

И если есть у нашего литературоведения долг перед наукой и перед читателем в преодолении моды на научность, в освобождении от поверхностного наукообразия, от скороспелого и самоуверенного тона, то книга Бочарова может быть очень своевременным напоминанием о том пути добросовестного исследования, на котором всегда находили свой долг и исполнение его настоящая наука и настоящая литература.

Монография Бочарова «Роман А. Толстого „Война и мир“» в настоящее время является одной из самых распространенных и признанных книг о Толстом. На наш взгляд, успех книги Бочарова объясняется тем, что это не эссе, каких много, а исследование, каких мало.

Автор строго придерживается принципа историзма и бережно относится к тексту Толстого, к образной системе его великой книги. Жажда историзма в наш век становится формой деятельного противостояния всякого рода искажениям и «исправлениям» прошлого, ради каких бы целей они ни предпринимались.

Книга Бочарова о «Войне и мире» начинается с рассуждения о сокровенном значении искусства. «Война и мир» раскрывается как бы наудачу, на том самом эпизоде, где описано возвращение Николая Ростова домой после крупного проигрыша Долохову. Дома никто ничего не знает о постигшем его несчастье. И Наташа собирается петь. Беспечность домашних удивляет и раздражает Николая Ростова. Чему она может радоваться, думает он, глядя на Наташу Пуля в лоб, а не петь. Все это в сцене психо-

логически точно, но, как верно отмечает Бочаров, «психологическая верность — не самоцель для художника».

Николай Ростов слушает пение Наташи рассеянно и вдруг замечает, что музыка «говорит» что-то такое, чего он не то не знал никогда, не то знал, но позабыл. «Вдруг весь мир для него сосредоточился в ожидании следующей ноты». «Николай, только что бывший самым несчастным человеком, — отмечает Бочаров, — переживает минуту самого полного счастья». В старину именно это и называлось очищением страстей.

Однако «очищение страстей» и установление лада, строя и гармонии не есть благодущное «примирение», а некое духовно направленное деяние, требующее напряжения всех нравственных сил человека или общества. «Н а с т о я щ е е открывается через разлад, через кризис, — пишет Бочаров. — Очень для Николая драматична эта минута острой и яркой радости: она на фоне перевернувшего его потрясения, она и вышла из этого потрясения, ее бы не было без него». Бочаров захватывает глубинные темы искусства в его отношении к реальности и жизни.

Там, где речь идет о Гоголе или Достоевском, сообщаются художественные миры открыты не только для искусства, но и для философии и истории. Бочаров не отступает перед сложностью такого полифонического анализа, улавливая и устанавливая гармоническую связь между «фрагментами» огромного поэтического мира русской классической литературы в ее отношении к реальности.

Исследованиям Бочарова присуще то особое интеллектуальное изящество, которое сродни художественности. Что касается самой художественности, то свое отношение к ней Бочаров определил словами А. Толстого, взятыми как эпиграф к статье о Пушкине: «Я знаю, что анализировать этого нельзя, но это чувствуется и усваивается».

Э. БАБАЕВ.



## КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО

Лариса Миллер. Земля и дом. Стихи. М. «Советский писатель». 1986. 176 стр.  
Лариса Миллер. Вешний свет. Книга в газете. «Московский комсомолец»,  
15 марта 1987.

**З**емля и дом, если вдуматься, почти тождественные понятия. Что есть наша планета — обжитая, замусоренная — как не дом с прохуdivшейся крышей?.. Геофизики говорят об озонной дыре, угро-

жающей человечеству. Не возникла ли она от загрязнения не только воздушной среды, но и атмосферы духовной, от глобальных изменений нравственного климата?..

В представлении Ларисы Миллер бытие

соприкасается с бытгом, как небо с землей. Трезвость мысли помогает ей не утонуть в эмпирии, с высоты которых проще полюбить галактику, чем живого человека. Такая «возвышенная» любовь мало к чему обязывает.

Автор не рвется «искать утешенья... в делах и планах иллюзорных». Хватает дел повседневных. Важно пробудить в людях чувство ответственности друг перед другом — столь дефицитное в наше время. Поэтесса уверена, что семья — в идеале — это не только единство духовно близких людей, не только ячейка общества, но и всего мироздания, целостность и равновесие которого удерживается и семейными узлами. Интонация стихов так проникновенна и убедительна, что с доверием отзываешься на слова: «Прими на веру свод небесный уравновешен в час чудесный пылинкой, пляшущей в луче...» Это равновесие — динамическое; его не нарушает энергия «большого взрыва», формирующего вселенную. Под «сводом небесным» прекрасное мгновение сменяется другим, не менее прекрасным («Лети, мгновенье, ты прекрасно»), и останавливать их — безумие, останавливать — значит предпочесть гармонии застывшую идиллию.

Налетевшая невеста откуда тревога не разрушает гармонии. Тревога лирической героини безотчетна, но преодолима. И силой преодоления организует порядок внутренних и внешних.

На что же опирается поэт — на априорное знание, безотчетное чувство или попросту на веру, — когда заявляет: «Под этой сенью не на погибель все дано, а во спасенье»? Человеку дана свобода выбора. Утверждая непреходящие ценности, он делает спасительный выбор между жизнью и небытием. Он умеет простодушно радоваться: поводов — бесчисленное множество. Не надо их упускать, жизнь может стать праздником. В стихах воссоздано состояние духа, граничащее порой с юродством или мудростью блаженного: «Хоть кол на голове теши — все улыбаешься в тиши». Но только так и способен удержать в себе радость тот, кто заглянул в бездну.

А бездна притягательна. Боящийся ее либо закрывает глаза («Будем петь и кружить, и ни звука о смерти»), либо находится в плену сиюминутных настроений и подвержен их резкому перепаду. Он ма-

ется, взлетая и падая на «непрестанных качелях», теряет истинные критерии, путает верх и низ, падение со взлетом. Это, пожалуй, самая тревожная нота в книге. И она звучит как бы вопреки общему мажорному тону.

Стихи Ларисы Миллер требуют от читателя внимания и вдумчивости. Безучастный взгляд будет только скользить по словам, раздражаясь их кажущейся эфемерностью. Она обращается к читателю-союзннику, разделяющему ее пристрастное отношение к жизни.

Ни одно из стихотворений сборника не имеет названия. Так они ближе к импровизации. Кажется, будто это фрагменты стремительного монолога. И своей ненавязчивостью оставляют простор для медитативного прочтения. Вот стихотворение из подборки «Внешний свет»:

Погляди-ка, мой болезный,  
Колыбель висит над бездной,  
И качают все ветра  
Люльку с ночи до утра.  
И зачем живя над краем,  
Со своей судьбой играем —  
И добротный строим дом,  
И рожаем в доме том  
И цветет над легкой зыбкой  
материнская улыбка.  
Сполз с поверхности земной  
Край пеленки кружевной.

Посмотрите: простоватая поначалу, обыденная интонация внезапно обрывается. Нет в мире уюта. Нет былого экологического равновесия, которое на протяжении тысячелетий отпечатывалось в фольклоре. Казалось бы, зачем обживать такой дом, где все непрочно, все сквозит и зияет? Однако обживаем. Воспитываем потомство. Близость края, бездны, над которой висит колыбель, хочется думать, прибавила нам ответственности, заставила трезво взглянуть на мир, может быть, прибавила бесстрашия, ведь осознание этой близости уже есть смелость...

Характер поэта сказывается и в «тонкостях ремесла». Иная миниатюра изящна и полновесна одновременно. Звук близок к смыслу, помогает лепить его. В аллитерациях нет мастерской нарочитости. Каждый из элементов мастерства свидетельствует, что для Л. Миллер поэзия — органичный способ существования.

Александр ЗОРИН.

Политика и наука

## КРИТИКА НУЖНА, НО КАКАЯ?

Идеологический плюрализм: видимость и сущность. М. «Мысль», 1987. 316 стр.

**Ж**изнь, как часто говаривал В. И. Ленин, является самым лучшим учителем, гораздо лучшим, чем сотни университетских профессоров. На состоявшейся в июле 1987 года встрече М. С. Горбачева с руководителями средств массовой информации и творческих союзов нашим политическим лидером — и, думается, вовсе не случайно — было употреблено непривычное для нашего слуха словосочетание «социалистический плюрализм». Им обозначалось то желаемое для нашего общества состояние научной и культурной жизни, которое предполагает свободу интеллектуального выбора и свободу отстаивания этого выбора, свободу дискуссий и свободу обмена мнениями по любым проблемам общественного развития. Только такое состояние может привести к действительной активизации широких масс населения, к действительной перестройке экономической и духовной жизни.

Между тем понятие «плюрализм» давно и прочно является одним из «бранных» понятий нашего обществоведения, о чем свидетельствует хотя бы статья в Философском энциклопедическом словаре.

Вышедшая недавно в свет монография ряда видных советских философов целиком построена именно на указанном («бранном») понимании принципа плюрализма. Критика современных идеологических течений в капиталистическом обществе, вне всякого сомнения, исключительно важна в настоящее время. Но не любая! Гораздо важнее то, как проводится эта критика, насколько весомы и логически обоснованы аргументы, на которых она строится. Без постоянного внимания к этой стороне (нет, сути!) дела критика вырождается в грубое критиканство, формально-отчетное разоблачительство, вызывающее недоверие и тоном и поверхностностью аргументации, работающее зачастую против прокламируемой цели.

Введение, написанное Б. Н. Бессоновым и И. С. Нарским, буквально дышит верой в неизбежный скорый конец капитализма. При этом, цитируя новую Программу КПСС, авторы делают из цитаты логический вывод о том, что концепция плюрализма в различных его модификациях, будучи несомненно идеологическим образованием, направлена на подрыв по-

зиций социализма. Но с тем же успехом можно любое явление духовной жизни Запада объявить направленным на подрыв социалистического общества. Прецеденты такого подхода в изобилии имеются в нашей недавней истории, да и сегодняшний день не вполне свободен от них. В качестве одного из курьезов можно указать на некоторые выступления на съезде писателей, в которых, например, рок-музыка и аэробика квалифицировались ни много ни мало как... духовный СПИД нашего времени! Установка такого подхода предельно ясна: конфронтация с Западом по всем направлениям, без разбора, во имя конфронтации как таковой. И если для поэта такой интуитивно-эмоциональный подход еще как-то объясним особенностями профессионального видения, то, скажем, в науке вера и пожелания, пусть и самые благие, не работают или работают наоборот.

Итак, плюрализм, однозначно связываемый голько с духовной жизнью Запада, объявляется поэтому — и именно поэтому — совершенно неприемлемым для стран социализма. При этом игнорируется тот простой факт, что условия, порождающие плюралистические тенденции в капиталистическом обществе, могут возникнуть и в иных общественных системах. В этом случае плюралистические тенденции могут отражать объективно присущее обществу стремление к разнообразию. Но для наших авторов важно не понятие, но слово, от которого они ни в коем случае не отступят, тем более что это освящено многолетней традицией, сформированной в течение сорока—пятидесяти последних лет, в полном соответствии с которой обществоведением «...навязывалось представление о нарастающем единообразии по мере продвижения к коммунизму, об исчезновении, отрицании многообразия» (А. Н. Яковлев, «Достижение качественно нового состояния советского общества и общественные науки». — «Коммунист», 1987, № 8, стр. 7).

Говоря о гносеологических корнях плюрализма, авторы пишут, что таковыми являются «объективная существующая возможность преувеличения роли реального разнообразия, множественности качественных различий и относительной само-

стоятельности конкретных проявлений действительности в материальной и духовной сферах жизни индивида, групп и классов людей» (стр. 8).

В научной работе не может быть заклинаний. Но чем же в таком случае обусловлена полная уверенность авторов в том, что буржуазная идеология преувеличивает роль «реального разнообразия», а они — авторы — знают истинную цену этой роли? В рамках монографии нет ответа на этот вопрос. В таком случае, как это обычно бывает, ответы следует искать где-то вне. Например, причина может быть в том, что «преувеличение роли реального разнообразия» влечет за собой необходимость констатировать с иным мнением, бороться за свои идеи (если таковые имеются) и отстаивать их не с помощью безапелляционных суждений, а прибегая к серьезной научной аргументации. А преуменьшение роли реального разнообразия, наоборот, позволяет игнорировать элементарные требования, предъявляемые к научному исследованию.

«...В конечном счете разнообразие теорий и теориеподобных структур буржуазной идеологии,— читаем далее на странице одиннадцатой,— по сути дела кажущееся: все они имеют общую философскую основу — идеализм, все они при внешних их различиях построены на одних и тех же методологических принципах — субъективистских и метафизических».

С чем борются наши авторы? Не с ими же самими придуманными пугалами? И как быть в таком случае с утверждением одного из них (И. С. Нарского) в Философской энциклопедии, где он говорит о естественном материализме Р. Карнапа (вполне буржуазного идеолога)? Как быть с просветительским материализмом XVIII века или материализмом Локка? В связи с этим возникает вполне резонный вопрос: продуктивна ли подобная «черно-белая» классификация? Отражает ли она что-либо реально? Вместо исследования действительных процессов, отражением которых являются взгляды идеологов любого общества, наша философско-критическая мысль продолжает бухгалтерский дебетно-кредитный учет этих идеологов. Если не черный, то белый! Третьего не дано. Это ли не образец метафизического (энтидиаlecticского) мышления, принятый в качестве методологического принципа?

Принцип такого «критического» анализа крайне сложной панорамы современной западной философии чрезвычайно удобен, ибо не требует ни больших званий, ни напря-

жения ума. Он покоится на следующих основаниях: а) из контекста какой-либо философской доктрины (а уж из контекста живой жизни и подавно) выдергивается ряд цитат, долженствующий охарактеризовать того или иного автора как материалиста или идеалиста; б) при наличии разноречивых утверждений критикуемый оценивается как «материалист с некоторыми идеалистическими тенденциями» либо как «идеалист с элементами материализма». Вот такая философия! Вот такая критика!

Конечно, основной вопрос философии есть основной вопрос философии, вещь для ориентации полезная, но нельзя вычерпать воду вилами. В вопросах общественного сознания подобная схоластика не помогает, а мешает.

Критика современной буржуазной философии продуктивна, если те или иные концепции рассматриваются в их связи с реальным бытием капиталистического общества. Конечно, если это реальное бытие искусственно сводится только к противостоянию странам социалистического лагеря (и их идеологии), то в этом случае вполне правомерно трактовать любую философскую концепцию так, как это делается в рецензируемой книге. Но такой подход является не более чем вульгаризацией действительного положения дел.

Впрочем, авторы книги не обращают на жизненные реалии ни малейшего внимания, так как критикуют принцип плюрализма *sub specie aeterni* с точки зрения, находящейся вне времени и пространства, как нечто такое, что скомпрометировано уже самим фактом своего существования.

Вот еще один пример «аргументации»: «Так называемая свобода интеллектуального выбора,— читаем на странице двести сорок второй,— выступает в действительности проявлением анархии в духовной жизни и неспособности буржуазной общественной мысли к познанию объективной истины».

Антитезой свободы интеллектуального выбора является, полагаю, несвобода такого. Но поскольку свобода выбора хулит в приведенной цитате, то наиболее желательным состоянием по известному логическому закону является несвобода! Или частичная свобода? Или свобода как осознанная необходимость? Тогда — кем осознанная? Очевидно, что стремление к свободе само является необходимостью, воплощенной в чувствах, эмоциях и действиях человека и оформленной в его понятиях, поэтому критиковать кого-либо за стремление к свободе значит под-

ходить к делу с позиций «чистого мышления», то есть как раз идеалистически!

Трудно вообразить, что буржуазные идеологи такие уж простачки, чтобы полагать возможность достижения абсолютной свободы. Их постоянное обращение к теме свободы означает их интенции, духовное противодействие многих из них имеющей место несвободе, иными словами, отражение их реального бытия. Что в этом плохого?

Несколько ниже заявляется о неспособности буржуазной общественной мысли к познанию объективной истины. Давайте задумаемся. Можно ли считать Гегеля мыслителем, внесшим вклад в познание объективной истины? Что за вопрос, ответят мне. Только профан может ставить вопрос подобным образом! Заслуги Гегеля перед философской мыслью и научным познанием бесспорны и общепризнанны. Но ведь Гегель также был продуктом буржуазного общества (правда, на иной ступени его развития). Почему же мы в таком случае должны отказывать в праве на познание объективной истины в той или иной степени Конту или Миллю, Расселу или Витгенштейну, Куну или Фейерабенду, Гадамеру или Хабермасу? Потому что они наши современники? Или потому, что по поводу них нет положительных отзывов Маркса, Энгельса и Ленина?

Нужно полагать, далее, что поскольку буржуазная общественная мысль не способна к познанию объективной истины, то это прерогатива общественной мысли социалистических стран (или, может быть, «третьего мира»)? В свете последних событий, происходящих в нашей стране, такое утверждение выглядело бы по меньшей мере детски непосредственным. Несколько ниже на

странице двести сорок второй читаем, что ближайшим следствием свободы интеллектуального выбора являются жалобы (?) буржуазных идеологов на то, что «слишком «многоплановой» и «неясной» остается картина, которую составляет в капиталистических странах общественное сознание и представляет современная философия».

Для авторов это — семечки. Весь западный плюрализм — «пустая абстракция, выполняющая апологетическую роль в отношении капиталистического строя».

Так просто? Со всеми семью видами буржуазного идеологического плюрализма, выделенными Б. Н. Бессоновым и И. С. Нарским (онтологический, гносеологический, социологический и пр.)? Тогда зачем эта классификация? Горы грудов, читаемых во всем мире? Да и сама эта монография, во все не тоненькая, местами интересная из-за конкретных сведений о некоторых сторонах нынешнего парада идей в западной общественной мысли?

Разумеется, в атмосфере застоя общественной мысли и чиновной монополии на истину общественное сознание не может являть нам своих загадок, рождаемых его «многоплановостью». Не это ли и привлекает авторов монографии? И это ли нам сейчас нужно?

Резюмируя, хочу сказать, что — увы! — и под флагом борьбы с буржуазной идеологией может быть создан труд, идеологически оправдывающий и теоретически обосновывающий наш застой и нашу косность, все то, с чем мы боремся в эпоху перестройки.

**И. ПОГРЕБОВ.**

## ГАРМОНИЯ — ВМЕСТО ХАОСА

**П**рочитал статью Ю. Азарова в «Новом мире» (1987, № 4) и подумал: неужели и этот крик не будет услышан, неужели и теперь, когда всем должно быть ясно, что общеобразовательная школа нуждается в коренной перестройке, а не в косметическом ремонте, не произойдет решительного поворота просвещения от задворков цивилизации к фасаду мировой культуры? А то, что школа действительно находится в состоянии косности и застоя, ни для кого уже не секрет. Вспоминаю статью Владимира Тендрякова «Ваш сын и наследство Коменского», напечатанную еще в 1965 году в журнале «Москва», — ее бы сегодня издать миллионным тиражом, она стоит того! Указав на все наиболее существенные изъяны средней школы, Тендряков предлагал сломать классно-урочную систему, заменить изучение наук в школе ознакомлением с науками при сохранении возможности для ребят, проявивших интерес и способности к той или иной области знания либо практической деятельности, углубленно и увлеченно заниматься любимым делом; он предвидел то, что сегодня мы называем компьютеризацией. Как пророческие прочтываются теперь мысли писателя: «Рано или поздно мы придем к выводу, что нельзя выправить положение одними лишь частными административными мерами, как то: десятилетку переключить в одиннадцатилетку, механически приклеить политехническое обучение и прочее. Рано или поздно жизнь заставит пойти на революционную перестройку нашего просвещения».

В той глубокой и страстной статье В. Тендряков показал вопиющее отставание общеобразовательной школы от уровня развития общества. И что же? Педагогические силы пришли в движение? Органы народного образования занялись перестройкой просвещения? Нет, чего не было, того не было. Но почему? Разве учителя так уж равнодушны к своему делу, а руководители просвещения все поголовно рутинеры и ретрограды? Нет, тысячу раз нет. Так в чем же дело?

Как человек, ищущий очки, не замечает, что они у него на лбу, так мы в поисках причин несовершенства нашей школы не видим того, что у всех перед глазами, не придаем должного значения одному известному всем обстоятельству, роковому, на мой взгляд, для школьного дела, но как бы несущественному на фоне множества наших наблюдений и рассуждений, благих пожеланий и остроумных проектов.

Это обстоятельство — структура учебного дня в школе. Что происходит в школе год за годом, изо дня в день? Возьмем произвольный вариант расписания уроков в старших классах, например: история, математика, литература, химия, иностранный язык, физика. Или такой: обществоведение, физкультура, биология, математика, химия, иностранный язык. Варианты могут быть разные, суть одна — между учебными предметами нет органической связи. Из этого неоспоримого факта вытекает целый ряд следствий, разрушающих все усилия учителей давать систематические и прочные знания учащимся, всю воспитательную работу. О какой систематичности и прочности знаний может идти речь, когда каждый последующий урок перекрывает предыдущий, стирает в головах школьников только что приобретенную ими информацию? В конце учебного дня сознание ученика оказывается напичканным разрозненными и отрывочными сведениями из далеко отстоящих одна от другой областей человеческого знания — разные темы, факты, методы изучения, эпохи... Наиболее устойчивым и определенным остается лишь впечатление от того или иного урока — в зависимости от личности учителя. А в конце недели? Месяца? Четверги?.. Учитель постоянно сталкивается с недостаточным знанием учащимися пройденного материала, и тут он ничтоже сумняшеся начинает подозревать их в нерадивости, бестолковости, а то и просто в нежелании стать образованными людьми!

Итак, вместо прочных знаний в головах учеников каша. Формально объективируется она в виде двоек, троек, четверок и пятерок (что школьная пятерка редко, по

сути дела, отличается от двойки, каждый год подтверждают результаты вступительных экзаменов в вузы), реально — в виде полной беспомощности школьников в ситуациях, когда знания проверяются на практике. Ю. Азаров приводит почти анекдотический, но, увы, знакомый всем пример поразительного невежества десятиклассников в самых простых философских вопросах!

Что же делает обычно учитель, когда ученик нетвердо знает урок, забыл формулу, дату, правило, фамилию литературного персонажа? Он требует, чтобы ученик был более внимательным на уроке, более ответственным в таком серьезном деле, как учение... Короче, прибегает к различным способам авторитарного нажима на ученика. «Заставлять», «требовать», «запрещать», «не разрешать» — самые частые, пожалуй, слова в воспитательном лексиконе учителей, не представляющих, как без насильственных методов может осуществляться учебно-воспитательный процесс.

Авторитаризм в школе — прямое следствие бессистемности, разрозненности учебных предметов. В свою очередь он порождает «объектное» отношение к ученику, когда происходит «овеществление» личности, а ученик превращается в объект обучения, воспитания, и только. В нем видят не личность, не растущего, развивающегося человека, а функциональную единицу, наделенную обязанностью хорошо учиться. Неудачающий ученик — плохой человек! По математике он, может быть, и хороший, а по химии плохой. Или наоборот.

Мировоззрением учителя, которое он передает ученикам, становится своего рода «метафизический идеализм» — произвольные, волюнтаристские цели и программы, формулируемые учителем и предъявляемые ученику к исполнению, основаны на механически сложенных в подобие системы догматических правилах, безразличных к живой жизни как отдельного ученика, так и всего контингента учащихся.

И вот этот наш ученик выходит из стен школы в жизнь. Поступает в вуз или на производство. Со временем становится специалистом — ученым, инженером, руководителем, рабочим. Диалектически мыслить его не научили, зато научили, что человек оценивается по внешним, «объективным» признакам. И он знает, что чем выше его служебное положение, чем больше размер его заработной платы и престижнее предметы личной собственности — тем выше его ценность как члена общества. Других ориентиров жизни он, как правило, не знает. Свой «метафизический идеализм» он привносит в дело, которым занимается. Рассогласованность, отчужденность, бессистемность, приобретенные им в школе, он буквально насаждает всюду, где только может. Надо ли удивляться, если ему приходит в голову вдруг осуществить поворот рек, отгородить залив от моря плотиной, провести рискованный эксперимент на АЭС, построить гигантский комбинат на берегу уникального озера...

Неправильное, деформированное мышление, складывающееся как результат хаотического, бессистемного «прохождения» учебных предметов, наносит страшные удары обществу, когда реализует себя в действии.

«Метафизический идеализм», хаотизм мышления формируются в голове ученика независимо от личности учителя. Даже если бы каждый учитель был таким, как В. Ф. Шаталов, М. П. Щетинин или Ш. А. Амонашвили, все равно в школе царил бы та же рассогласованность между уроками, между педагогами и воспитанниками. Потому что при нынешней бессистемности в преподавании учебных дисциплин ученик оказывается (да и учитель, впрочем, тоже) напрочь выключенным из культуры; исторический процесс, развитие человечества для него — абстракция, чистая теория; он может знать миллион фактов, имен, дат, цитировать наизусть классиков, но главного в нем не будет — ощущения своей причастности к истории. Точные и актуальные слова сказаны Ю. Азаровым: «Когда ребенок ощутит себя связующим звеном между великими эпохами, между прошлым и будущим, тогда и начнется истинный воспитательный процесс, достойный нашего времени». А для этого, утверждает автор статьи «Учиться, чтобы учить», «нужно конструировать новую школу с новым содержанием обучения, с новой системой средств, с новыми перспективами, отвечающими задачам исторического развития нашего общества».

Какой должна быть эта школа, чему и как должна учить? Что нужно сделать, чтобы нынешний хаос, царящий в школе, уступил место «космосу» — порядку, гармонии, системности? Думаю, что новой школе нужен один-единственный предмет — история культуры человечества. Специализация (куда от нее денешься!) сохранится, но совершенно не в том виде, в каком она существует сейчас. Химик будет рассказывать о возникновении и сложном пути развития своей науки, повторяя с учениками драматиче-



скую историю постижения материи; математик изложит историю — не менее драматическую — своей науки и так далее. В такой школе учитель не сможет быть посредственностью, простым исполнителем схоластических методик и программ, по необходимости он вынужден будет стать философом, историком, филологом, психологом, искусствоведом

Не механически овладевать культурой, а включиться в культуру — вот задача и для ученика и для учителя. Человек, осознавший ценность культуры, свое место в ней, роль своей страны в мировой культуре, не может быть безразличным и неумным, непатриотом или плохим работником, потому что в нем будет укоренено чувство ответственности перед Историей, перед людьми, всеми, кто жил, живет и будет жить после него...

Однако все это еще не более чем те же благие пожелания. Необходимо действовать. Нужны практические шаги по решительной, подлинно революционной перестройке просвещения. И самые первые шаги мне представляются такими. Прежде всего надо, чтобы все здоровое, мыслящее и жаждущее коренных перемен в просвещении получило возможность объединиться. Такую возможность я усматриваю, в частности, в создании литературно-художественного и общественно-политического журнала, в котором объективно освещалась бы современная школьная действительность, и не только в нашей стране, ставились бы актуальные вопросы школьной перестройки, предлагались решения тех или иных проблем педагогики и так далее. Педагогическая общественность имела бы свою трибуну, с которой она могла бы сказать широко и открыто обо всем наболевшем.

Пора бы на практике испытать те принципы, которые провозглашает Ю. Азаров и которые разделяют все, кому дороги наши дети, кто думает о будущем страны. Надо создать — хотя бы одну — экспериментальную школу с программой обучения и воспитания, соответствующей тем большим задачам, которые стоят перед нашим обществом.

В. ЛЫСЕНКО.

Москва.

## СУВОРОВ И ЕГО СОЛДАТЫ

**Е**сли для А. С. Грибоедова синонимом старины служили времена Очакова и покоренья Крыма, то какие чувства должны были испытать в 1854 году чиновники инспекторского департамента<sup>1</sup> Военного министерства, через четверть века после смерти автора «Горя от ума» готовившие на высочайшее имя доклад о проживающем в Ростове столетнем суворовском солдате Парамоне Федоровиче Веселове, участнике штурма Очакова в лютую зиму 1788 года. Очаковская крепость играла важную роль в войнах за овладение черноморским побережьем, поэтому ее название надолго сохранилось в памяти современников этого события и перешло в следующий век. У Пушкина в «Евгении Онегине» Очаков также — древняя история. Отец Татьяны, бригадир Дмитрий Ларин, покоем на сельском кладбище, но Ленский вспоминает, как часто в детстве играл очаковской медалью старика, полученной им за штурм Очакова в 1788 году. И в пушкинской «Полтаве» не забыт Очаков: «в стенах Очакова паша» внимал посулам гетмана Мазепы, тайного союзника Карла XII (1709 год), а в 1788 году очаковский паша был взят в плен. Долгую и упорную борьбу за эту крепость вели русский и украинский народы, чтобы иметь свободный выход к морю из устьев Днепра и Буга, который с XVI века запирали Очаков, и, не опасаясь разбойных набегов, заниматься хлебопашеством на благодатных южных черноземах.

...На обложке архивного дела о суворовском воине значится: «По записке м-ра внутренних дел об отставном солдате времен блаженной памяти императрицы Екатерины II Парамоне Веселове»<sup>2</sup>. В этой «записке» сообщение о том, что в Ростове-на-Дону проживает престарелый отставной солдат очаковских времен.

<sup>1</sup> В 1812—1865 годах инспекторский департамент Военного министерства ведал личным составом

<sup>2</sup> ЦГВИА (Центральный государственный военно-исторический архив), ф. 395, оп. 252/539, д. № 86.

«По уверению гражданского губернатора, рядовому Веселову уже за сто лет; в отставке он состоит более 50 лет, лицо его свежее и приятное, поступь довольно твердая, память свежа, лишь зрение несколько ослабло. Веселов здоров, ведет жизнь трезвую, гуляет по городу и ежедневно ходит в церковь, которая от жилища его в довольно не близком расстоянии Солдат сей получает за рану пенсии по 21 руб. 54 коп. и имеет жену 80-тилетнюю. Он участвовал в походах и сражениях в Турции и Польше». Николай I, ознакомившись с докладом инспекторского департамента, распорядился выдать столетнему солдату 100 рублей серебром

В полицейском участке города Ростова в подтверждение своего возраста и службы Парамон Федорович предъявил паспорт, выданный ему по указу Александра I при переходе в отставку в 1802 году из Псковского гарнизонного батальона В документе после перечисления сражений, в которых участвовал Веселов за двадцать пять лет своей службы, читаем: «Грамоте не умеет, в штрафах и домовых отпусках не бывал, от роду ему 49 лет, холост, имеет приметами, он, Веселов, росту 2 аршина 6 вершков, лицом круглолик, волосами рус, глаза серые, нос продолговат». Отпущенный по его желанию «на собственные пропитание», Веселов «с разрешения помещика» мог жить у родственников или где пожелает. Он выбрал Ростов, прожив там всего два года. Копия указа 1802 года («паспорта») имеется в деле. Далее, в 1854 году чиновник старательно, «слово в слово» записывает рассказ Веселова: «Рядовой Парамон Веселов, в службы вступил 24 лет, в Екаринославский гренадерский полк 1777 года, июня 26 дня, Орловской губернии, Болховского уезда, села Чернова, из крестьян помещика Алухтина, потом за неспособностью к строевой службе, вследствие полученных в сраженьях ран, переведен в Псковской гарнизонный батальон, но времени поступления в оный не помнит, и в документах его не объяснено, был в походах 1787, сентября с 12 по 26 октября, при осаде Кубанской крепости, 1788, при взятии города Очакова и при сдаче турками городов Аккермана и Бендер, 1790, декабря 11, при взятии Измаила; 1792, июля 7, в Польше, при местечке Дубенках, 1794, мая 20, при Щекачихине, июня 28 и 29, при местечке Песочном, июля с 2 по 23 августа, при атаке Варшавы, сентября с 26 по 29, при переправе через реку Висла в местечке Казеницах и при Мацеевском замке; ранение при Кубанской крепости в левую ногу пулею и при Измаиле двумя картечами в переднюю часть шеи и в левую руку навывлет, с повреждением большого пальца; имеет две медали с следующими надписями: «За храбрость, оказанную при взятии Очакова декабря 6 дня 1788» и «Победителям при Мире декабря 29 1791 г.».

При разговоре о войне Суворова с турками столетний старик и теперь не может вспомнить без воинственного восторга времена Очакова. С особенным чувством рассказывает о внимании князя Потемкина к солдатам, о приказании его под Очаковым сделать для них теплые бурки, о денежной плате, полученной солдатами по его распоряжению с офицеров за устройство офицерских палаток. Веселов помнит прочное укрепление Очакова, в особенности казавшиеся неприступными сделанные турками вокруг города окопы с множеством палисад с железными остриями, и говорит, что накануне очаковского штурма князь Потемкин говорил князю Суворову: «Хочу отступить, боюсь поморозить людей», но Суворов отвечал: «Спросите, ваше сиятельство, у войска, что солдаты скажут, не честь нам, если отступим, и, помилуй бог, матушка государыня сердиться будет». Потемкин спросил солдат, надеются ли они взять Очаков, и, узнав о желании их идти на приступ, объявил о том Суворову, который сказал. «Я знаю, что Очаков будет взят». В тот же день назначено было начать штурм Очакова ночью. Городские ворота, менее других укрепленные, указанные одним из пленных турок, пойманных во время вылазки, были разбиты пушечными выстрелами, и по наведенному через окопы фашинному мосту русское войско устремилось в город, где знаменитое сражение увенчало славу нашего оружия. В числе пленных находился турецкий паша.

Трое суток пировали русские в Очакове при звуке музыки и солдатских песен, из которых рядовой Веселов рассказал следующую: «Мы в лагерях стояли, все дни красны провождали, на ученье мы ходили, ружью строго нас учили Скоро ружья заряжать и плутонками<sup>3</sup> стрелять. Мы собой не дорожили, командиры нас хвалили Нам сказали новину, турок объявил войну Мы недолго там стояли, нам в поход идти сказали Мы шли к туркам войной и дорогой не одной; проходили мы деревни, мно-

<sup>3</sup> Повзводно.

гочастыя селеньи, перешли мы реку Буг, нам сказали славный слух: запорожцы к нам склонились, на мелки суда садились. К нам еще полка пришли и в поход вместе пошли. Горы, холмы проходили, в степях лагерь становили. Мы пришла к славному Лиману, к устью речки Березани. Так мы лагерь становили, весь Очаков окружили. Три недели мы стояли, с флота пушки выгружали. Мы там время не ронили, ближе к граду подходили. Ближе к морю мы пришла, в садах турок мы нашли. Мы еральско<sup>4</sup> поступили, в садах турок полонили. Турки, видя нашу смелость, побежали назад в крепость. Батареи становили, на град пушки наводили. Когда утрення заря, у нас пушечна пальба. В дыму головы нам ломит, стужа сердце переломит. Не покрытый льдом Лиман, флотом взята Березань. С флота в город вобрались, с нами турки не дрались. Мы на том лишь утвердились, на Очаков устремились. День и ночь мы в шанцах были, осторожно всегда жили. И палаток не снимали, зиму в лето поверстали. Батареи оправляли, с нами егеря стояли. Нас в колонны становили, смело в шанцы заводили. Кирки мы, лопатки подбирали, свои шанцы прорывали. Мелки пушки там выправляли, и лестницы подымали, и фашичник зажигали. Страшны мины обходили, палисадники рубили. Закричали мы «ура», а турки кричат «алла!». Мы на крик их не смотрели, всех без милости их били, и кололи, и рубили, и в полон много склонили. А еще свет не открылся, весь город кровью обились. Страшны мины мы взрывали, прах на воздух подымали. Ярославцы в крепость тут вскочили и пашу там захватили. К светлейшему князю приводили. С Божьего благословенья и княжьего повеленья. Трое суток мы гуляли, все Очаков поздравляли. Предводитель<sup>5</sup>, наш отец, так сказал нам наконец: «Поздравляю вас с победой, победители вы турок, неприятелей сваял. И достойны вы хвалы монархини своей».

Песня эта — образец солдатского фольклора. В ней с большой точностью воспроизводятся многие обстоятельства осады и штурма Очакова. Знакомство с песней убеждает, что солдаты Суворова, сложившие песню, не были «немогузнайками», в ходе штурма очаковской твердыни они хорошо понимали свою задачу.

Долгое время казалось, что столь редкостная находка в архиве, как этот живой рассказ суворовского солдата Парамона Веселова, повториться не может. Но случай помог мне познакомиться еще с одной сходной солдатской историей, которую я, правда, обнаружила на сей раз не в архивных, а в библиотечных фондах. Речь идет о небольшой и уже забытой книжке «Воспоминания суворовского солдата», предназначенной для солдатского чтения. Это подробная запись устного рассказа старого ветерана, служившего под началом Суворова, а позже Кутузова, запись, сделанная молодым офицером, который обозначил себя тремя инициалами: Н. И. Н.

О первой встрече с Ильей Осиповичем Попадичевым (так звали столетнего суворовца) этот офицер рассказывает так: «7 октября 1854 года, в Пятигорске, мне удалось встретить солдата чуж ли не сказочных времен. Грудь его была увешана медалями, которых до того времени мне никогда не случалось видеть». Старик вел на водопой казачью лошадь. «Здравствуй, старина и крабрая служба!» — приветствовал его офицер. Ветеран ответил по уставу, сняв форменную егерскую шапку. «Голова почтенного война была украшена густыми седыми волосами, на груди Георгиевский крест, медали за штурм Очакова, Измаила и Праги и за 1812 год»<sup>6</sup>.

Илья Осипович Попадичев родился в 1753 году в городе Купянске Харьковской губернии в семье казака, позднее обер-офицера Изюмского полка. В отличие от Веселова, бывшего крепостного, родители Попадичева с семи лет учили его грамоте. В 1780 году его зачислили в Смоленский драгунский полк. С весны 1787 года эскадрон смоленцев нес форпостную службу под Херсоном, в устьях Днепра и Буга. Здесь, недалеко от Очакова, Попадичеву впервые довелось увидеть Суворова и поест солдатскую кашу из одного котла с полководцем. Он вспоминал, как просто одетый человек в сопровождении казака подъехал к их костру и попросил разрешения поужинать с ними и отдохнуть. Уезжая, незнакомец передал записку генералу Кутузову<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Геройски

<sup>5</sup> Князь Потемкин.

<sup>6</sup> Попадичев побывал и в других боях и походах Суворова — на Дунае в Польше, в Италии, в Швейцарских Альпах, а также с Кутузовым под Аустерлицем и в кампании 1812 года, когда ему было около шестидесяти лет. Воспоминания И. О. Попадичева изданы несколькими отдельными книжками в 1895—1907 годах. Инициалы «Н. И. Н.» расшифрованы в одном из выпусков — это Николай Иванович Назанский.

<sup>7</sup> М. И. Кутузов в это время командовал войсками, находившимися в лагерях.

и назвал себя. Драгуны не успели опомниться, а Суворов уже скакал далеко в ночной степи...

Офицер несколько раз приглашал Попадичева к себе на квартиру, сам посещал его убогое жилье и старательно записывал рассказы старика. «При этом я должен заметить,— писал он,— что вся повесть походов старика рассказана им самим в том порядке, какой сохранился в удивительной памяти маститого героя, бодрого духом и здорового телом, хотя удрученного годами». Ценность воспоминаний суворовского солдата — в его скромности и правдивости, воспитанной великим полководцем. «Если провинился, сам, первый доложи командиру — таково правило». Беседа с Попадичевым, офицер спросил: «„ Ну, дедушка, а с тобой Суворов разговаривал?“ „Этим счастьем ему не случилось меня удостоить“, — сказал старик со вздохом».

Далеко не каждый мемуарист удержался бы от соблазна придумать «факт» встречи. Записывая воспоминания солдата, офицер проявил глубокое понимание своей задачи и абсолютно прав, когда говорит, что со своей стороны считал лучшим не справляться ни с одним сочинением о походах прославленного полководца, чтобы передать изустное предание в том виде, в каком пришлось его услышать из уст рассказчика. Быть может, иные станут сомневаться в подлинности некоторых суворовских приказов и изречений, отчетливо сохранившихся в памяти старика. Офицер добавляет, что, естественно, ветеран не мог в строгой последовательности помнить всего, что одновременно было говорено Суворовым его солдатам, и что существование некоторых приказов нельзя доказать фактически. Имя Суворова неизгладимо врезалось в души воинов, которые верили в своего вождя как в чудо: все распоряжения и приказания, облеченные их полководцем в особый склад речи, они исполняли с каким-то почти религиозным чувством.

Попадичев, вспоминая очаковскую эпопею, отзываясь о Потемкине резко отрицательно. Он не прощает ему плохого отношения к Суворову, уклонения от личного участия в бою. Рассказ Попадичева об осаде Очакова, хотя и дополняет Веселова, воспроизводит несколько иную, нежели у Веселова, картину осады. Весной 1787 года войска подошли к Очакову, и, став вне досягаемости выстрелов из крепости, пехота приступила к строительству шанцев и продвижению вперед. Попадичев находился на левом фланге на берегу Днепровского лимана. Драгуны несли однообразную форпостную службу. Все внимание уделялось Кинбурнской косе, хорошо видной через лиман. «Раз осенью, на рассвете, смотрим, а на косе идет бой». Воины наблюдали полный разгром турецкого десанта Суворовым. А войска Потемкина в это время простояли под Очаковым до конца 1787 года, правда, «зима была сносная», но на следующий год завернула лютая зима, да какая! В народе она стала называться «очаковскою». Люди мерзли в плащах в окопах, лошади падали. «Но вот стало слышно, что Суворову приказано идти на крепость через лиман по льду. Мы обрадовались, думали, что скоро будет штурм и кончится поход; стоянка нам страшно надоела! Тем временем Суворов уже прибыл в наш лагерь. Однажды ночью вдруг сделалась во всем нашим линиям тревога. Кавалерия села на коней, пехота стала в ружье — двинулись вперед, но их остановили и приказали возвратиться». «Суворову не дали помочи... рассказывали потом, что Потемкин хотел над ним посмеяться, и Суворов, раненный, принужден был отступить в окопы, а потом и совсем уехал из-под Очакова в Крым... носилось между нами эхо, будто Потемкин сильно его гонил!»

Наконец 6 декабря при морозе в двадцать три градуса пошли на штурм. По прошествии шестидесяти шести лет Попадичев помнил: «...по 1-й ракете строиться, по 2-й — выступать, а по 3-й «ура!» и на штурм». Забросав ров фашинами, кинулись на стены. Они были высоки, с трудом их преодолевали, но вскоре разбили ворота, и Очаков пал. Через десять дней после победы войска ушли на зимние квартиры в Херсонской губернии. И снова поход. На этот раз к Измаилу.

Попадичев рассказал и о штурме Измаила. Слава этого штурма безраздельно принадлежит Суворову. «Мы уже думали, что под Измаилом придется стоять так же долго, как под Очаковым. Но к концу осени слух — будет Суворов... мы так его любили, что и сказать нельзя; сколько к Потемкину были отвратны, столько к Суворову привязаны!» «Суворов, где бы что ни делал — все по его выходило. Где не было Суворова, там в лагерях было скучно, а где он был, там солдаты, кажется, хотели бы на руках его носить.. А бывало, если что худое заметит, то наедет и говорит без сердцов: «Дурак ты, дурак! Ну зачем ты это сделал?» — Да тем и кончится. Да и дураком-то назовет, так все равно что ласковым словом подарит...»

Падение Измаила (1790) вынудило Османскую империю согласиться на мир с Россией, который и был подписан в Яссах 29 декабря 1791 года.

Как командующий действующей армией Потемкин не мог соперничать с непревзойденными полководцами Суворовым и Румянцевым. Он не чужд был известной зависти к их успехам. Только особое расположение Екатерины II давало ему преимущества. Вместе с тем умный и талантливый дипломат, организатор, Потемкин немало сделал для экономического развития и военного обеспечения края. Много полезных преобразований произвел он и в армии, в ее вооружении, экипировке. Потемкин ограничил телесные наказания, ратовал за разумное, гуманное отношение к солдатам. Любите их, как я люблю, наказывал он офицерам. Отвечали ли солдаты Потемкину взаимностью? В известной степени и далеко не все. Сам образ жизни фаворита царицы не мог быть по душе простым воинам. Суворов же был свой, солдатский генерал, делил вместе с рядовыми их труды и тяготы, говорил понятным им языком.

Попадичев вспоминает далее: «В Италии мы с Багратионом вертелись в разные стороны, делали большие переходы и сейчас же шли в бой; кто их упомнит, в каких именно боях мы бывали?» Но бой «на Требии-то реке» и «под Новией» старик хорошо помнил.

О противнике того времени Попадичев отзывался так: «В то время они были как-то полегче, на ногах как-то нетвердо стояли, а потом выучились, каналы!.. А все больше потому, что Наполеон стал ими командовать». «Знакомство» с последним у Попадичева состоялось уже в начале XIX века, под Аустерлицем. Полк, в котором служил Попадичев, стоял в Прилуках и отсюда двинулся «опять под француза». Но ускоренные марши были напрасными. После «измены», как говорил Попадичев, австрийского генерала Макка и пленения его тридцатитысячного корпуса под Ульмом русским войскам пришлось отступить<sup>8</sup>. «Тут за всю службу в первый раз я узнал, что такое ретирада — да и не дай бог никому это знать... То ли дело — иди вперед, перед глазами все видно, и шея не болит, оглядываться назад не надо». Когда прибыл император, устроили смотр. Усталые, обгорелые у костров, голодные проходили войска перед Александром, который «стоял верхом... на нас изволил смотреть в лорнетку». Тут интонация рассказа Попадичева та же, что и в отношении Потемкина. Вместе с тем старый солдат отметил, что в битве под Аустерлицем император со своей свитой находился в зоне действительного огня, и Кутузов просил его удалиться. Попадичев в числе вызвавшихся охотников сражался храбро и умело, но был тяжело ранен в ногу и попал в плен. Через полвека он вспоминал: «Неприятель хорошо маневрировал, ох хорошо, не хуже Суворова! Тут в деле все солдаты говорили: был бы Суворов, так этого бы не было! Нет нашего батюшки Суворова!»

Трудно приходилось раненому солдату в плену, но Попадичев с признательностью, теплыми словами вспоминает французского врача-хирурга, благодаря которому он сохранил ногу и после размена пленных мог продолжать службу и участвовать в войне с Турцией под начальством М. И. Кутузова. Когда был заключен Бухарестский мир, полк, в котором служил Попадичев, зимовал в Евпатории и в 1812 году при известии о движении наполеоновских войск к границам России ускоренными маршами устремился к Вильно. Но вскоре пришлось отступать. «Враг валял и валял сплошной стеной, — шел отовсюду облавом, уж подлинно, что грудью!» Под Сморгонью в рукопашном бою Попадичев в числе сотни русских солдат был окружен многочисленным противником и попал в плен. Его побег из плена и возвращение в строй — удивительная по героизму эпопея. Нет возможности изложить ее здесь подробно, но о том, как Попадичев увидел в Вильно Наполеона, расскажем его же словами: «Ехал Наполеон верхом, а за ним огромная свита; на нем сверху было надето что-то вроде пальто или сюртука темно-серого цвета, на голове черная треугольная шляпа! Он смотрел на нас и усмехался; рад был, каналья, а у самого глаза так и бегают. Уж немолод был, а смотрел быстро во все стороны!»

Так выглядел, по словам старого суворовского солдата, «непобедимый полководец», или «абсолютный дух на белом коне»<sup>9</sup>.

Но умеючи и ведьму бьют — так оно и получилось. Следует добавить, что Попадичеву довелось непосредственно участвовать и в изгнании Наполеона из России...

<sup>8</sup> Пятидесятитысячное войско Кутузова против двухсоттысячной армии Наполеона.

<sup>9</sup> Абсолютный дух в философской системе Гегеля — заключительное звено развития духа, реализующее самосознание абсолютной идеи.

Так уж повелось, что о значительных событиях отечественной истории мы чаще всего вспоминаем в связи с юбилейными датами. Очаков в данном случае не исключение. Еще с легкой руки Грибоедова времена Очакова приобрели звучание скорее ироническое, как старина, достойная забвения. Но забывать о том, что в нынешнем, 1988 году исполняется двести лет со дня взятия Очакова русскими войсками, было бы непростительно. Включение в пределы России и хозяйственное освоение обширных черноземных степей Северного Причерноморья — Новороссии, как стали называть эти районы страны с конца XVIII века, имело немаловажное значение. Здесь крепла и развивалась двуединая мощь соседних народов — хлебопашцев и хлеборобов. Недаром в цитированной выше песне суворовских войнов есть примечательные строки: «Перешли мы реку Буг, нам сказали славный слух: запорожцы к нам склонились, на мелки суда садились». Солдаты знали, что осада такой крепости, как Очаков, с суши должна обеспечиваться с моря. Подобную службу и могли нести запорожцы на своих чайках — ладьях — вдоль побережья.

Очаков, Измаил — яркие вехи в истории борьбы России со всемогущей Портой на черноморских берегах, неразрывно связанные с именами А. В. Суворова и Г. А. Потемкина. Надо думать, что двухсотлетний очаковский юбилей будет отмечаться по всей стране, в том числе и в самом Очакове, на тех, ныне давно уже мирных землях, которые помнят ратный подвиг суворовских чудо-богатырей...

**А. Е. ШНЕЙДЕР.**

Москва.



## КОРОТКО О КНИГАХ



**АЛЕКСАНДР ЖИТИНСКИЙ. Потерянный дом, или Разговоры с милордом. Роман. «Нева», 1987, № 8—12.**

«Иногда, чтобы приблизиться к жизни, нужно довольно далеко отойти от нее. И я не хочу спасательного круга с надписью «Правдоподобие», когда под рукой Реализм в широком понимании этого слова.

— Реализм «без берегов»?

— Нет, с берегами, с руслом, с холмиками на берегу, со стадами коров, дающих реалистическое молоко, но чтобы река была широкой и живой — Волга, к примеру, а не прямая, как палка, Лебяжья канавка, — ибо нашу удивительную российскую действительность может вместить река разнообразная и не менее удивительная».

Так в начале своего романа «Потерянный дом, или Разговоры с милордом» заявляет о своем творческом методе ленинградский прозаик, поэт и публицист Александр Житинский.

Что такое потерянный дом и кто таков милорд? Прежде чем отвечать на первую часть вопроса, ответим на вторую. Милорд — это английский писатель XVIII века Лоренс Стерн, поражавший современников веселостью, мудростью, неистощимой выдумкой, раскованностью письма Житинский, называя Стерна одним из своих учителей смело приглашает классика в соавторы. Присутствуя в романе то в виде 61-го тома из «Библиотеки всемирной литературы», то материализуясь в конкретный образ, учтивый и ироничный милорд сопровождает повествование до самого конца. Под двойным углом зрения — автора и милорда — все происходящее в романе обретает совершенно особую стереоскопичность.

Впрочем, и события, о которых повествует книга, — тоже особенные. Как и в прежних вещах (повести «Лестница», «Снюсь», «Хеопс и Нефертити» и др.), Житинский ставит своих героев в обстоятельства невероятные, порой фантастические. В данном случае — улетает кооперативный дом. Весенним вечером вместе со всеми своими обитателями дом снимается с фундамента и, вспарив ввысь, словно огромный дирижабль, переносится из района новостроек (с улицы Кооперации!) на Петроградскую сторону, к Тучкову мосту. Там и оседает, «заперев» собой проезжую часть старой улочки. С этого момента все персонажи романа начинают существовать в новых условиях, с изумлением осмысливая случившееся и ломая головы над тем, как быть дальше.

И, как всегда у Житинского, его абсолютно фантастический посыл разрабатывается затем в мельчайших достовернейших подробностях тем самым «реализмом в широком понимании», о котором уже упоминалось. Кооператоры — так именуются жильцы потерянного дома — это самые обычные люди, из тех, кого видишь в семье, на работе, в уличной суете. Обычные, но отнюдь не заурядные. У каждого — своя судьба, а за судьбой частной — наша общая судьба, общее наше время. Вот, например, мечущийся, талантливый, но душевно измельчавший, сломленный годами творческого зстоя архитектор Евгений Демилле (одна тридцать вторая французской крови от далекого предка). Евгений стесняется своей фамилии, давно изверился в идеалах, расстался с мечтой создать прекрасное здание, где могли бы быть счастливы люди со всех концов земли; не слишком предан семье.

Дом, в котором у него есть крохотная клеточка-квартира для бытия, пожалуй, единственное, что еще служит ему опорой. Но... дом улетает в неизвестном Демилле направлении, и архитектору нечем и незачем жить... За этой невеселой судьбой видится многое, и прежде всего — участь целого поколения интеллигенции, которой предстоит преодолеть внутренний кризис и вновь обрести духовные силы.

А вот другой герой — майор Рыскаль, честный служака, которому поручено опекать растерявшихся кооператоров. Майор — опытный организатор праздничных шествий, мастер направлять людские потоки в нужные русла, он бескорыстно предан идеям коллективизма. Кредо Рыскаля — сознательное подчинение своего «я» общему делу, приказу внутреннему и внешнему. Тонкий сатирик, насмешник — а юмором щедро насыщен весь роман! — Житинский отнюдь не издевается над своим героем. Он понимает: и на таких характерах многое в жизни держится и будет держаться впредь, они не списаны временем.

К сожалению, здесь нет возможности рассказать о других героях романа — обывателях, чудаках, пенсионерах, дворниках-позтах и сторожах-астрофизиках, доморощенных философах и элегантных приспособленцах с «дипломатами» в руках. Житинский как бы моделирует в своем потерянном доме все наше переживающее новое становление общество, болеет за своих кооператоров, к которым причисляет и самого себя. Он желает им счастья — пусть взгляд писателя на своих героев и окрашен иронией, но при

этом начисто лишен снобизма. Вместе со своим соавтором-милордом автор твердо уверен: на пути в будущее можно вынести все, «если знать зачем». А знать, по мнению писателя, пора, потому что в недавнем прошлом «каждый год приносил успехи цинизму, и его чудище росло, как на дрожжах»

Э. Ефремова.



**БОРИС СИРОТИН. Родное имя. Стихотворения. М. «Современник». 1987. 142 стр.**

Поэтическую книгу в отличие, скажем, от романа или повести можно читать практически с любой страницы. Есть любители начинать с конца — привычка, идущая от тех времен, когда именно в конце, после того как отданы все необходимые и обязательные дани, упрятывалось самое личное и сокровенное. Есть ценители, открывающие сборник — особенно если на обложке новое имя — на середине: наудачу, на пробу. Книжка волжского поэта Бориса Сиротина «Родное имя» таких ухищрений не требует, ее лучше всего читать не мудрствуя лукаво — с первой страницы, с первых строк:

В законченной форме кувшина  
Подножие есть и вершина,  
Лебяжий полет, высота,  
И тонко поет пустота.

Как прост он, как неповторяем!  
Мы жажду всю жизнь утоляем  
Невидимым этим вином  
Везмерности, замершей в нем.

Здесь есть и строгая графика и значительность мысли. И вовсе не мешает известная традиционность образа, заставляющая вспомнить, например, лермонтовскую «Чашу жизни». Есть вещи, над которыми поэтам суждено задумываться, пока существует поэзия. Хорошо и дальше, в следующем стихотворении, — о человеке, который «родимые пашни любил, мир видел сквозь детские слезы. Но все-таки суетно жил, но без артистической поэмы». И лишь на склоне жизни пришло к нему «спокойствие глаз и ясность души перед бездной»:

Всего и осталось идти  
До той вон опушки маяншей.  
Но этот отрезок пути  
Стал жизнью его настоящей.

Грустные стихи — как поздно пришла мудрость, как много упущено в суете! И светлые одновременно — жить никогда не поздно, пока жив, всегда возможны не только потери, но и обретения! Перевернула страницу — опять хорошо:

Через белый-белый день,  
Над рекой и кромкой леса  
Дельтаплан скользнул, как тень  
Везмоторного прогресса.

И сразу в памяти наши споры, наши тревоги последних десятилетий, когда с пугающей ясностью обозначились негативные последствия многих побед человеческого разума. Обозначились-то обозначились, но какова же альтернатива? Назад, в пещеру?

Или возможен какой-то иной, третий путь — не борьба с природой, не молитвенная капитуляция перед нею, а некий мудрый союз? Конечно, поэт не дает — и не может дать — ответа на эти вопросы. Он лишь задает натянутую струну, и она звучит, заставляя читательские сердца резонировать в ответ...

И тотчас возникает вопрос: да как же так, почему мы столь мало слышали и читали об этом поэте, выпустившем, согласно аннотации, немало книжек в Куйбышеве и в Москве? Это все, конечно, и критика, повинна, из года в год занимающаяся все одним и тем же кругом имен! Все верно: среди многих бед нашей критики есть и такая. И однако, может быть, в данном случае критика не так уж и виновата? Может быть, впрямь не так читала поэта? Открывала, к примеру, книгу на середине и находила такие строки: «Пред строгим лицом небосвода мир страсти нагие раздул». И недоумевала: как понимать эту метафору? Если, скажем, представить земные страсти в виде раздуваемых костров, то как быть с эпитетом «нагие»? Поневеле представляются какие-то обнаженные и при этом неестественно раздутые тела. Или: «Хоть мысль и нагая, понять все трудней, что люди ногами ходили по ней». По ней — то есть по мысли? Нет, оказывается, по Луне: выше речь шла об этом небесном светиле. Или такая вот характеристика современного общества: «И ныне среди изобилья несем животы и умы...»

Подобные примеры можно множить. Каков же, однако, итог? В сборнике Бориса Сиротина есть стихи, не побоюсь сказать, первоклассные, высокой пробы. Вольно или неволью большинство их сосредоточено на первых страницах сборника. Впрочем, есть и внутри такие, например, как: «И я сказал себе — остановись!» Может быть, беда в том, что поэт не всегда успевает сказать себе это слово. И возникают провалы и срывы вкуса, ничем кроме спешки не объяснимые.

Существует мнение: если в книге есть пять хороших стихотворений, значит, книга состоялась. Если так, с книгой Бориса Сиротина все в порядке. Наберется и пять стихотворений и даже больше. Но ведь их еще надо найти в почти полторастраничном сборнике! Не всякий ведь догадается читать с начала. Вдруг кто-то применится за книгу с середины? Или с конца? Ведь поэтическую книгу в отличие от романа или повести можно читать с любой страницы!

Илья Фояков.



**В. БАРАС. Глазами поэзии. Об открытиях искусства в современных поэтах. Издание второе, дополненное. М. «Советский писатель». 1986. 287 стр.**

Первое издание этой книги вышло в «Советском писателе» в 1966 году. Перечитывая ее сегодня, спустя двадцать с лишним лет, видишь, что не устарела она ни по конкретным своим оценкам, ни по общетеоретическим положениям. Владимир Яковлевич Барас поэзию понимал, любил и умел говорить о ней с читателем свободно, увлеченно и очень искренне. В стиле и ин-



тонации критика всегда присутствуют культура, изящество традиции; в его статьях нередки диалоги с воображаемыми оппонентами — «воинствующим моралистом», «внимательным читателем», «решительной поклонницей», «проницательным интеллектуалом» и т. д.

Очень ценными представляются мне те страницы, где автор ведет речь об искусстве и критической интерпретации стиха, объективности творчества, художественной правде в поэтическом произведении. Портреты Константина Симонова, Михаила Дудина, Александра Твардовского выполнены критиком тонко, умно, без тени какой-либо комплиментарности. Много верного, даже провидческого, сказано им было о молодом Евгении Евтушенко.

Внезапная смерть не позволила В. Барласу самому подготовить второе издание книги. В архиве автора остались три больших работы: «Ассоциативный поиск (Поэзия Андрея Вознесенского)», «Творческая судьба Александра Блока» и «Творческая судьба Бориса Пастернака». Все они вошли в сборник. Особенно интересна статья об А. Вознесенском. Пожалуй, впервые в нашей критике о творчестве этого крупного поэта написано столь серьезно, аналитично и доказательно. Вскрыта его корневая связь с исканиями Хлебникова и молодого Маяковского, показаны новизна и традиционность его поэтического стиля. Ассоциативные поиски А. Вознесенского, принципиальная невозможность поэта пробиться к гармонии мира постигаются критиком исторически — и как проблема личности художника и как проблема — общая — искусства и жизни. Вот характерное для В. Барласа суждение из финала статьи: «...поэт действительно верен своей участи, хотя и неутешительна свобода, достигаемая ценой такого опустошения. Но мне ли, человеку, в сущности, другого поколения, настаивать на своем суждении. Дело сделано, и силы отданы не напрасно и даже то, что сожжено, бродит перегноем в почве поэзии, и ей уже не обойтись без этого»

В статье о поэзии Николая Тарасова меня остановили строки, хорошо передающие характер самого критика, его отношение к искусству. Он пишет о первооснове лирики, «которая, живя одними исключениями, ускользает от любых формулировок; и, беззащитная перед доводами деловой целесообразности, все же неистребима в биении своей живой сути, ибо без нее человек не мог бы оставаться человеком». Чем беззащитней этот гретет духовной жизни, тем он дороже поэту, который не устает напоминать о переливах подобных состояний, остро ощущая их губительную уязвимость. Никогда не настаивая, ничего не растолковывая поэт осторожным прикосновением слова стремится «запечатлеть их во всей первозданности, веря, что сама их суть, неотделимая от каждой подлинно человеческой радости и боли, способна давать нам опору всегда и в любых обстоятельствах».

По основной своей профессии В. Барлас был геофизиком. Он участвовал во многих экспедициях, публиковал научные статьи, перевел с немецкого и английского фундаментальные труды по геологии и географии. Однако главным его призванием была

поэзия, мысль о ней. Печатался он редко, тем заметнее было каждое его выступление. Об этом хорошо написал в послесловии к книге близкий друг покойного критика Ст. Лесневский.

Евгений Сидоров.



**ВЛАДИМИР КАРПЕЦ. Муж отечестволюбивый. Историко-литературный очерк. М. «Молодая гвардия». 1987. 93 стр.**

«Он был значительным лицом в русской истории», — пишет Владимир Карпец о герое своей книги Александре Семеновиче Шишкове (1754—1840) — «государственным муже воине, мореплавателе, ученом, писателе, поэте», участнике Отечественной войны 1812 года. Автор пытается восстановить доброе имя Шишкова, который «имел мужество идти поперек могущественных в то время исторических сил, антинародность которых выявилась в полной мере только сегодня».

Можно ли связывать одностороннюю репутацию Шишкова с происками масонов (речь у В. Карпеца идет именно о них)? Думаю, что если «традиционная» его репутация и несправедлива (хотя она возникла не на пустом месте), то причина этого не в заговоре злых сил, а в элементарной инерции наших исторических представлений, в лености нашего мышления. «Мы ленивы и нелюбопытны» — это пушкинское высказывание по-прежнему актуально. Несправедливых, односторонних репутаций много и в отечественной и в мировой истории; историческая «реабилитация» — дело нужное и благородное.

К сожалению, В. Карпец пошел по самому легкому пути. Вместо того чтобы предложить читателю трезвый критический анализ объективный очерк жизни и деятельности Шишкова в контексте его времени, автор по сути заменяет одну легенду на другую, не менее одностороннюю. Он меняет не только прежний минус на плюс, создавая своеобразную «шишковистскую» апологию, но и прежний плюс на минус, утверждая например, что известное («шумное» по его определению) литературное общество «Арзамас» образовали «бойкие» второстепенные писатели из тех, что «всегда стараются оказаться „впереди прогресса“». Выйти за пределы ложной, в сущности, дилеммы (либо Шишков — фигура реакционно-карикатурная, либо он мудрец и герой) автору не дано.

Из брошюры можно узнать много интересного и неожиданного об истории нашей родины. Например, что должны были делать «честные и порядочные русские люди» в период с 1819 по 1824 год? Шишкову (а вместе с ним и Карпцу. — В. А.) ясно: надо было крепить союз русского государства и русской культуры против «многочисленного международного мракобесия». А почему было обречено русское самодержавие? Потому, отвечает автор, что «силы, унаследованные от предков, шедших за Александром Невским и Дмитрием Донским, от героев Казани, Астрахани и Полтавы, оно (русское дворянство. — В. А.) растрачивало в „Арзамасах“ и „Зеленых лампах“, масон-

ских ложах и „негласных комитетах“». Автор интригует читателей, замечая, что, выступив против Библейского общества, Шишкова «рисковал всем — масоны мстили жестоко и наверняка, и немало людей, столкнувшихся с ними, погибло загадочной смертью...». О том, кто из русских людей того времени был убит масонами, В. Карпец странным образом умалчивает.

Поразительно методологическое новаторство В. Карпеца. Так, разбираясь в споре Шишкова и Дмитрия Дашкова, автор вынужден признать, что попытки Шишкова вывести происхождение наречий «далеко» и «близко» из выражений «даль око» и «близ око» с точки зрения академической грамматики произвольны. Но тут же неожиданно заявляет: у Дашкова — правда «малая», а у Шишкова — «большая», отличающаяся тем, что она понятней и не изъяснима. Поскольку «большая» правда сильнее «малой», прав все-таки оказывается Шишков.

Поначалу все это вызывает недоумение и даже улыбку. Но когда узнаешь от В. Карпеца, что в 20-е годы уже нашего столетия ОПОЯЗ стремился вырезать (да-да!) нашу культуру, когда в послесловии к брошюре С. Залевский пишет, что данная работа помогает молодому современнику «разобраться не только в политической и литературной жизни прошлого века, но, что не менее важно, в постижении (разобраться в постижении? — В. А.) современного литературного процесса», — тогда убеждаешься, что А. С. Шишков тут ни при чем. Почтенный старец, и без того пострадавший из-за своей несправедливой репутации, вновь становится жертвой — на этот раз, так сказать, «истинно патриотических» умонастроений. Способствует ли это «всеобъемлющему оздоровлению нашей жизни», как утверждает В. Карпец? Сомневаюсь.

Впрочем, если отличительной чертой «большой» правды является уже упомянутая понятийная неясность, В. Карпец может с полным правом считать себя ее приверженцем. Кстати, автор уточняет, что «большая» правда постижима через символ, и это постарался наглядно доказать читателю художник Борис Сопин. На обложке книги он крупным планом изобразил седовласого адмирала Шишкова, за которым в качестве фона расположились маленькие Кутузов, Карамзин, Суворов, Новиков, Аксаков, Жуковский, Крылов и... Пушкин, притулившийся на уровне адмиральских эпюлет!

В. Андреевский.



**РОССИЯ XV—XVII ВВ. ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ.** Подготовка текстов, вступительная статья и комментарии Ю. А. Лимонова. Л. Лениздат. 1986. 543 стр.

В книгу включены отрывки из описаний России, ставших для историков классическими, многие из которых тем не менее давним-давно не переиздавались. К ним относятся прежде всего «Записки о московских делах» австрийского посла в Москве Сигизмунда Герберштейна и «Описание

путешествия в Московию» немецкого ученого Адама Олеария.

Герберштейн понимал славянские языки, что значительно облегчало его общение с москвитями. Его книга — богатейший этнографический, географический, исторический документ, рассказывающий о России XVI века. Между прочим, говоря о «помазании» русских великих князей на царствование, Герберштейн описал знаменитую шапку Мономаха.

Адам Олеарий, профессор Лейпцигского университета, выдающийся ученый-гуманист (он был историком и языковедом, математиком и географом), трижды побывав в России. Невозможно даже вкратце изложить все сюжеты его «Описания»: по сути, эта книга — первый энциклопедический путеводитель, справочник по России 30—40-х годов XVII века. Олеарий удачно разрушал стереотип дикой, варварской страны Московии, бытовавший на Западе. Автор отмечал, что русские доброжелательно относятся к чужеземцам (а не сажают их сразу на кол, как писали некоторые путешественники), что у русских «нет недостатка в хороших головах для учения. Между ними встречаются люди весьма талантливые, одаренные хорошим разумом и памятью». Временами Олеарий даже идеализирует москвитов — они живут в «святой простоте», не знают кошмаров европейской «цивилизации» XVII века с ее погоней за деньгами и куском хлеба (в Европе католическая церковь гонит нищих с паперти прочь, а в России православная призревает всех сирых, убогих и юродивых).

Составитель сборника дал читателю возможность познакомиться и с другими описаниями России той поры, оставленными как внимательными наблюдателями (например, торговым агентом богатейшей английской Московской компании Джеромом Горсеем), так и случайными путешественниками, а то и авантюристами. Трудно, конечно, ожидать глубоких суждений о жизни страны от человека, изучающего ее из окна кареты; или топчущего ее землю в рядах наемников. Но и в этих мемуарах рассеяны бесценные крупинки правды. Как отмечал академик М. Н. Тихомиров, «в ряде случаев иностранцы рассказывают о таких событиях, которые без их известий остались бы тайной для позднейших поколений».

Именно к таким свидетелям относится венецианский дипломат Амброджо Контарини, проведший в Москве четыре месяца в 1476—1477 годах (по пути из Персии в Италию). Венецианец встретился с Иваном III, его женой Софьей Палеолог (гречанкой выросшей в Италии), своим земляком А. Фьорванти, строившим Успенский собор в Кремле.

А какой историк, изучающий Смутное время в России начала XVII века, обойдется без воспоминаний кондотьера и авантюриста-наемника, французского капитана Жака Маржерета? В. Н. Татищев, Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, С. Ф. Платонов — все они использовали мемуары бравого капитана, в 1600 году прибывшего в Россию сначала для войны против Лжедмитрия I, затем переметнувшегося к самозванцу и ставшего начальником одного из отрядов дворцовой гвардии. Пять лет

капитан воевал на стороне то одних, то других, а в 1606 году уехал на родину, в Париж, и там издал книгу «Состояние Российской империи великого княжества Московии». Но на этом похождения Маржерета в России не закончились: он поступает на службу к Джеммитрию II, подавляет бунт москвичей в марте 1611 года, жжет и грабит Москву. С изгнанием самозванца и поляков капитан-кондотьер бежит в Лондон и участвует в неудачной попытке англичан захватить русский Север... Маржерет видел и слышал царя Федора, Бориса Годунова, присутствовал на «коронации» Джеммитрия I в июле 1605 года в Москве. Он один из первых распространил на Западе версию, что царевич Дмитрий остался жив, а похоронили якобы другого мальчика. Наемник не скрывал своего отрицательного отношения к «варварам-москвитанам».

Другой авантюрист, француз де ла Невилль оказывается в России почти сто лет спустя, накануне петровских реформ. Кстати, в начале XVIII века в России считали, что никакого Невилля вообще не было, а книжку «Любопытные и новые известия о Московии» сочинил, не выезжая из Парижа, известный французский библиограф Адриан Байле. Ю. А. Лимонов убедительно разоблачает эту версию, автором которой был сам де ла Невилль — на то у него были веские основания. Тайный агент ордена иезуитов — «Общества Иисуса» прибыл в Россию как разведчик. Ему удалось, например, узнать от князя В. В. Голицына о проектах допетровских реформ — в частности, о намерении «начать с освобождения крестьян, предоставив им земли...». Узнал он и о тайной мысли князя «поставить Московию на одну ступень с другими государствами». Иезуит сообщает интересные детали о мятеже князей Хованских, о крымских походах Голицына, о заговоре царевны Софьи, о попытках Московии установить прочные связи не только с Западом, но и Востоком (проект посольства в Китай). Но общие суждения де ла Невилля о России крайне тенденциозны. Западу он представляет Россию как «страну варваров», неспособную вырваться из тьмы без помощи «Общества Иисуса»...

И все же, как справедливо пишет в предисловии Ю. А. Лимонов, хотя «эти сочинения не всегда объективны... это не умаляет интереса к запискам иностранцев о России... Они становятся весьма актуальными в наши дни», ибо «наглядно показывают, как складывался образ России на Западе».

**Владлен Сироткин,**  
доктор исторических наук.

★

**Г. ДАНАИЛОВ.** Не убить Моцарта! Пев. ревод с болгарского. М. «Педагогика». 1986. 127 стр.

Название этой книги воскрешает в памяти строки Сент-Экзюпери: «Между отцом и матерью кое-как примостился малыш... вот лицо музыканта, вот маленький Моцарт, он весь — обещание! Он совсем как маленький принц из какой-нибудь сказки, ему бы расти, согретому неусыпной разум-

ной заботой, и он оправдал бы самые смелые надежды!.. Но люди растут без садовника. Маленький Моцарт, как и все, попадает под тот же чудовищный пресс».

Именно «забота садовника», мучившая когда-то Экзюпери, заставила взяться за перо известного болгарского писателя Георгия Данаилова. Мы, чьи моральные ценности созрели в доядерную эпоху, должны воспитать детей ядерного века, в котором на каждого ложится иная степень ответственности перед лицом возросшей опасности. Казалось бы, задача пробудить дарование, раскрепостить личность будущего человека отошла на второй план. Речь сегодня идет уже о том, чтобы будущий Моцарт вообще мог существовать, жить на Земле. Но именно в этих условиях, убеждает нас автор, выжить способно лишь духовно воспрямившее поколение.

Без активного ежедневного употребления самые высокие идеалы и принципы тускнеют, поддаются эрозии, разрушаются. Каждое поколение имеет свой этический опыт, нельзя бесконечно ссылаться на опыт отцов. Остановка в духовной жизни равносильна отступлению. А остановка была. Чего стоят теперь восклицания о безверии и пинзиме части молодежи, о юных прагматиках и скептиках? Это всего лишь проекция духовной пассивности их отцов. «Мы были искренними в наших благих пожеланиях, но не оставались ли пожелания лишь пожеланиями, в лучшем случае — намерениями?» — задает вопрос автор книги.

Болгарские проблемы на удивление похожи на наши. Читая книгу, не раз ловишь себя на мысли, что это наш, а не болгарский электрик отказывается выполнить порученную ему работу или делает ее в виде одолжения за дополнительную плату; что это сын нашего, а не болгарского мясника получает зачеты по благу. «Никто не называет такие отношения социалистическими, но надо сильно покривить душой, чтобы назвать их исключением... — с сарказмом замечает Г. Данаилов. — Однако они не будут изжиты, пока дети электрика и дети мясника не начнут думать по-другому. А это означает, кроме всего прочего, что они должны быть по-другому воспитаны».

И все же не вопросами воспитания детей занят автор (хотя его книгу при желании можно широко использовать и для этого), он озабочен воспитанием самих воспитателей, прояснением их идеалов, уточнением мировоззрения. Человеку вообще противопоказана бездумность, но особенно недопустима она в тех, кто решается подойти к ребенку».

Писатель анализирует попытки воспитания насильем, выявляет его результаты, разрушительные для личности. «Надеюсь, никто не хочет, чтобы его ребенок стал завтра ущербной личностью, склонной к рабскому повиновению, лишенной веры в себя. Чиновником, который терпит своего тупого начальника, человеком, который не смеет говорить правду в глаза. Гражданином, чей патриотизм истерсывается застойной похвальбой». Вывод однозначен: «Страх должен быть изгнан из мира детства. Это первая забота воспитателя».

«Хороший учитель — это настоящее счастье для всех его учеников на фоне того

общего несчастья, которое представляет собой современная школа», — горько признается писатель. Нет, наверное, такой школьной проблемы, которую бы он не затронул в своей книге. Тут и принцип учения без принуждения, воплощенный в жизнь шотландским психологом Нейлом. И отношение к существующей практике оценки знаний (автор категоричен: система баллов может лишь поощрять зависть и комплекс неполноценности). «Тупой мерой» названа традиция заставлять школьников носить одинаковые прически. «...Социализация личности не означает унификации. Одинаковость и коллективность не синонимы. Социалистическое общество — это не группа однояйцевых близнецов...» Неосуществившееся школьное самоуправление вызывает у автора печальную иронию: «Они (учащиеся.— А. П.) привыкли в школе имитировать общественную деятельность и продолжают имитировать ее и после школы».

Ребенок на улице, его искушение свободой, создание кумиров (впрочем, «кумиров творят себе только угнетенные»). Влияние спорта на личность: оно может оказаться не только созидательным, но и пагубным — о втором варианте мы не очень-то любим говорить. Значение природы в воспитании нравственной и гармоничной личности. Обо всем этом Г. Данаилов пишет нескучно, в яркой, остроумной, афористичной форме. Два главных чувства определяют настроение этой книги: радость от осознания красоты бытия, от уверенности, что Моцарт присутствует в каждом ребенке, и тревога за судьбу человечества и каждой отдельной личности. «Если мы, взрослые, сумеем проявить немного мудрой воли и целиком сохраним наш мир для детей, это будет самый лучший педагогический акт, на какой мы только способны» — так заключает автор свои раздумья.

**Анна Пастухова.**

# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** О работе аппарата управления и борьбе с бюрократизмом. 224 стр. Цена 40 к.

**М. С. Горбачев.** Избранные речи и статьи. Т. 4 511 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Гвардия Октября.** Петроград. 461 стр. Цена 2 р. 50 к.

**Семья Ульяновых.** Изд. 3-е. 447 стр. Цена 1 р. 20 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**В. Брюсов.** Сочинения В 2-х тт. Т. 1. Стихи. Поэмы 575 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Н. Задорнов.** Амур-батушка. Роман 671 стр. Цена 2 р. 70 к.

**Ю. Тынянов.** Пушкин Роман («Классики и современники») 544 стр. Цена 2 р. 50 к.

**И. Чавчавадзе.** Человек ли он?! Повести. Рассказы Перевод с грузинского. 286 стр. с илл. Цена 1 р. 80 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Б. Ахмадулина.** Сад Новые стихи. 160 стр. Цена 35 к.

**В. Конечный.** Ледовые брызги Из дневников писателя 543 стр. Цена 2 р. 20 к.

**Ю. Марцинкявичюс.** Трилогия Драматические поэмы 272 стр. Цена 3 р. 80 к.

**А. Нинов.** Сквозь тридцать лет Проблемы Портреты Полемина. 1956—1986. 464 стр. Цена 1 р. 50 к.

## «РАДУГА»

**Ф. Байнурт.** Избранное Перевод с турецкого («Мастера современной прозы» Турция) 540 стр. Цена 3 р. 60 к.

**Б. Брехт.** Избранное. Пьесы. Рассказы. Перевод с немецкого 375 стр. с илл. Цена 2 р. 40 к.

**К. Моуэт.** Люди с далекого берега Повесть Перевод с английского. 302 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Т. Флананан.** Год французов. Роман Перевод с английского 672 стр. Цена 4 р. 20 к.

## «СОВРЕМЕННИК»

**Е. Евтушенко.** Стихотворения («Библиотечка поэзии «Россия») 349 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Л. Карелин.** Змеелов Последний переулоч Даю уроки Романы 493 стр. Цена 2 р. 20 к.

**М. Рошин.** Полоса. Повести, рассказы, статьи 558 стр. Цена 2 р. 10 к.

**Шторм.** Пьесы о революции. («Сыновья века Серия книг о коммунистах») 511 стр. Цена 2 р. 60 к.

## «ИСКУССТВО»

**История русского драматического театра.** В 7-и тт. Т. 7. 1898—1917. 585 стр. Цена 3 р. 60 к.

**Ю. Смирнов-Несвицкий.** Вахтангов. («Жизнь в искусстве») 280 стр. Цена 2 р.

**Б. Тенин.** Фургово комедианта. Из воспоминаний. 383 стр. Цена 2 р. 20 к.

## «НАУКА»

**Великий Октябрь** и исторический прогресс. 304 стр. Цена 2 р. 10 к.

**А. Грибоедов.** Горь от ума («Литературные памятники») 479 стр. Цена 2 р. 50 к.

**От берегов Босфора до берегов Евфрата.** Антология Перевод, предисловие комментарий С. Аверинцева 360 стр. Цена 1 р. 80 к.

## «ПРОГРЕСС»

**С. Мацумото.** Поблещий мундир. Перевод с японского («Политический роман») 268 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Л. Мештерхаз.** Беру слово Перевод с венгерского («Зарубежная художественная публицистика и документальная проза») 364 стр. с илл. Цена 1 р. 10 к.

**К. Оэ.** Обращаюсь к современникам Перевод с японского. («Зарубежная художественная публицистика и документальная проза») 286 стр. с илл. Цена 95 к.

**И. Тауфер.** Судьбы и свершения Художественная публицистика и документальная проза Перевод с чешского 349 стр. с илл. Цена 1 р. 10 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**К. Булычев.** Миллион приключений Фантастическая повесть 256 стр. Цена 85 к.

**Как хорошо уметь читать!** Рассказы. 158 стр. Цена 1 р. 30 к.

**С. Лагерлёф.** Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями 271 стр. Цена 3 р. 20 к.

**Ю. Яковлев.** Кепка невидимка Сказки. рассказы. 256 стр. Цена 75 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**В. Гляеров.** Мои скитания Люди театра М «Правда» 478 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Жизнь природы там слышна.** Русская лирика природы XVIII—XIX вв М «Правда». 574 стр. Цена 2 р. 20 к.

**Р. Киплинг.** Свет погас Роман Отважные мореплаватели. Повесть Рассказы Перевод с английского. Минск. «Мастацкая літаратура» 398 стр. Цена 2 р. 40 к.

**Сказки народов Закавказья.** Цхинвали «Ирыстон». 448 стр. Цена 2 р. 70 к.

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов, Д. А. Гранин, И. А. Дедков, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крупин, Д. С. Лихачев, М. Д. Львов, Д. Мулдагалиев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, М. В. Тимофеева, О. Г. Чухонцев**

Адрес редакции: 103806 ГСП Москва К-6, Малый Путинковский пер. д. 1/2. Тел. 200-08-29

Сдано в набор 20.11.87 г. Подписано к печати 29.12.87 г. А 03868  
Формат бумаги 70×108<sup>1/8</sup>. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл. печ. л.)  
27,06 вч.-изд. л.

Тираж 1.150.000 экз. (1-й завод 1—450.000 экз.). Зак. 4099

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
103798 Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известия Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5

Цена 1 р. 20 к.

70636